

10

НОВОБЫТЪ
МИРЪ

НОВОБЫТЪ МИРЪ

10



1955

1955

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 10

Октябрь, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

<i>СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ СЕРГЕЕВУ-ЦЕНСКОМУ</i>	Стр. 3
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ, И. ВАЙНБЕРГ — Заводские будни	4
<i>К 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина</i>	
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — В Мичуринске, стихи	39
ГЕННАДИЙ ФИШ — Мечта и подвиг	41
ОВАНЕС ШИРАЗ — Памятник Абовяну, стихи. Перевод с армянского Елены Николаевской	54
КОНСТАНТИН ФИНН — Ошибка Анны, драма	55
Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ — Митрич, рассказ	92
ЮРИЙ ПИЛЯР — Всё это было	113
ШАХЕР БОРДЖАКОВ — У моря, стихи. Перевод с туркменского Н. Гребнева	159
АННА КОВУСОВ — Ремесло поэта, стихи. Перевод с туркменского Н. Гребнева	161
Д. СИМАНОВИЧ — Весенняя сказка. Лейтенанты. Товарища встретишь... О разлуках. Не улыбкой... Трое, стихи	162
О. ДЪЯКОВА — Угощение, рассказ	165
МИХ. ЛУКОНИН — Новые стихи	176
ИДА РАДВОЛИНА — Рассказы о Юлиусе Фучике. Окончание	182
ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА	
АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Римские рассказы. Перевод с итальянского З. Потаповой	206
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
ТОМАС МАНН — Моё время. Перевод с немецкого Л. Чёрной и Д. Мельникова	223
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — Давид Гурамишвили (К 250-летию со дня рождения поэта)	237
СЕРГЕЙ ЛЬВОВ — В книжном магазине на улице Горького	244
ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ	
Лев Славин. По поводу двух рассказов	250

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	254
Л. Лазарев. Рождение драматурга.— Н. Леонтьев. Поэзия народа мари.— Г. Владимов. Спасённое искусство.— Р. Фаизова. Поэма о любви и дружбе.— Сергей Васильев. Боевая книжка.— П. Антокольский. Новое о Лермонтове.— А. Штейн. Ценная книга о Шекспире.— Анна Илупина. Артисты — труженикам целины.— И. Орнатский, Э. Вартумян. В борьбе за будущее.— Д. Брегова. Живой образ писателя.	
<i>Политика и наука</i>	272
Член-корреспондент Академии наук СССР А. Авакян. Мичуринское учение в действии.— И. Крупеников. Малоизвестные труды великого учёного.— Кандидат биологических наук И. Халифман. Цветы и пчёлы.— Заслуженный деятель науки профессор А. Цейтлин. Как укрепить сердце.— Н. Сергеева. Париж наших дней.— Б. Леонтьев. Американский посол об Индии.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285



СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ СЕРГЕЕВУ-ЦЕНСКОМУ

Дорогой Сергей Николаевич! Редакция и читатели журнала «Новый мир» горячо приветствуют Вас с наступившим восьмидесятилетием Вашей достойной и славной жизни и от души желают Вам ещё многих и многих лет плодотворного литературного труда.

Более полувека неисчерпаемый и нестареющий талант Ваш радует и обогащает миллионы читателей в нашей стране и далеко за её пределами. Органично и стройно связывается в единое целое всё Ваше творчество — от поэтического рассказа «Тундра», напечатанного в 1903 году в журнале «Русская мысль», до «Слова к молодым», опубликованного ныне в «Комсомольской правде». С исключительной целеустремлённостью идёте Вы по своему долговому писательскому пути, умея весь повседневный творческий труд подчинять единому замыслу.

Сорок два года работы отданы эпопее «Преображение России!» Не много примеров такого последовательного, настойчивого и плодотворного осуществления широчайших литературных замыслов знает мировая литература! Но ведь и это ещё не всё. Ведь и «Преображение России», в свою очередь, лишь венчающим звеном входит в трилогию эпопей «Россия и Запад» — в огромное, уже под крышу подведённое Вами здание. И архитектурными деталями этого могучего и стройного здания может по праву явиться едва ли не всё написанное Вами.

Нам радостно вспомнить, что с 1926 до 1944 года более пятнадцати Ваших произведений было напечатано на страницах журнала «Новый мир». В числе этих произведений были и части эпопеи «Преображение России».

Рабочие и инженеры, крестьяне, интеллигенция и старое чиновничество, солдаты и офицеры, жизнь столичного города, шахтёрского посёлка и глухого деревенского уголка, дни мира и дни войны, собрания подпольных революционных кружков и яркие картины баррикадных боёв — вся эта обширнейшая галерея героев, чередование будничных дел и крупнейших исторических событий составляют грандиозное полотно, на котором Вы изобразили жизнь страны. Это удалось потому, что путь талантливого писателя совпадает с путями народа, ибо весь труд свой писатель посвящает своему народу, который он глубоко знает и безгранично любит.

Теперь достоянием всех читателей стало обращённое к Вам личное письмо Алексея Максимовича Горького, в котором он, свидетельствуя своё чувство «искреннейшего восхищения» и причисляя Вас к первоклассным литераторам русским, отметил безгранично ценную черту Вашего творчества: «Удивительно солнечно можете Вы писать!»

И вот ещё три десятилетия прошли с той поры, как были обращены к Вам эти слова, а их можно по праву повторить и сегодня, потому что неистощимая сила таланта Вашего сохранила и эту солнечность письма, и скульптурность образов, и ту мудрую глубину, которая так радует Ваших читателей.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ, И. ВАЙНБЕРГ

★

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

Слушая речь директора Московского станкостроительного завода (МСЗ) Николая Михайловича Мямлина, произнесённую при первой встрече с нами, мы были несколько смущены. Нас деликатно убеждали в том, что явились мы на завод, собственно говоря, зря. Директор не возражал против нашего длительного ознакомления с жизнью завода, но не обещал ничего особо интересного. На заводе, в общем и целом, всё... было благополучно.

И в самом деле. План первого полугодия выполнен по товарной продукции на 109 процентов, по валовой — на 102 процента. Правда, по номенклатуре значится в итогах полугодия цифра в 90,5 процента, зато по снижению себестоимости завоёван один процент сверх плана. Количество выпущенных станков? Пожалуйста! 102,9 процента. Специальных станков? 122,7 процента. Чего ж тут беспокоиться! Недостатки, конечно, есть, но где, скажите, их нет? К тому же, как говорится, победителей не судят...

Цифры нам показались подходящими, чего нельзя было сказать о комментариях к ним. Однако отчего же не написать и о хорошем — это не менее, чем критика, полезно и поучительно.

— Вас, наверно, интересуют колоритные фигуры? — добродушно произнёс директор. — Есть, есть у нас передовики, покажем.

— Колоритные фигуры нас интересуют. Но коллектив — ещё больше. Нам представляется коллектив завода живым организмом, со своими особенностями, традициями, со своей биографией и, можно сказать, индивидуальным характером. Понимаете? Индивидуальный характер коллектива. Это не парадокс.

— Не советую, — ласково предостерег нас присутствовавший при разговоре секретарь партбюро МСЗ Евгений Григорьевич Гришин, с лица которого ни на секунду не исчезала легкокрылая улыбка. — Очень сложно влезать в жизнь всего завода.

— Не будем их ограничивать, — хозяйски вымолвил директор, — пусть смотрят. Только учтите, — наставнически обратился он к нам, — люди будут говорить вам о недостатках (есть, есть ещё у нас недостатки!), но природу недостатков понимать надо. Вы сами в них не разберётесь, а цеховые люди вам помочь не могут. Они требуют: «чтоб было!», а откуда что берётся — знать не хотят и наговорят вам всякой всячины. Угол зрения у них не тот. А механика здесь тонкая. Ведь сами же эти люди преодолевают все недостатки! Народ у нас хороший, работающий. Хватит вам материала для многих поэтических произведений...

— А завод работает ритмично? По графику?

Вопрос оказался явно не поэтическим. Оправившись от лёгкого смущения, товарищ Мямлин по-житейски просто изложил нам свой взгляд на ритмичную работу. Вернее, это был итог взглядов, вырастающий в философию.

— Эх, хватили! Двадцать лет говорим об этом, а ведь многие заводы не работают ритмично, даже предприятия массового производства... У нас — как у людей... Вот выпускаем мы много специальных станков, кроме серийных. Ритм наладить трудно. Затем нас кооперация, снабжение подводит. Вот если бы позвонить и через два часа тебе доставили, что надо, — тогда да! Затем литейный цех ставит нам палки в колёса...

Мы отметили в блокнотах три столпа неритмичности: большая номенклатура, снабжение, литейный цех.

— Но главное, — с эпическим спокойствием продолжал Мямлин, — заключается в том, что неритмичность коренится в психологии людей. Народ привык к такой работе: в течение месяца решают всякие вопросы, а потом все нажимают, вертятся в последнюю декаду, как волчки, а план выполняют. Народ хороший, план — закон. Будьте здоровы...

Прости, дорогой читатель, что мы так подробно описываем эту напутственную беседу. Она имеет очень существенное значение хотя бы для понимания того, что нам сразу встретились две колоритные фигуры. Ради создания поэмы о них одних, и то стоило ознакомиться с жизнью завода. Сложность проникновения в природу недостатков, «имеющихся ещё» в цехах, нас не испугала. Люди помогут разобраться. Правда, нас предупредили, что у них не тот «угол зрения», но авось найдётся правильная геометрическая поправка к этому углу. И уж совсем соблазнительным показалась нам раскрытие тайн психологии, являющейся фундаментом и источником неритмичности. К тому же влекла к себе ещё одна тайна: психология нехорошая, а план выполняется.

«Победителей, как говорится, не судят...» — пронеслось у нас в сознании.

Ну что ж! Если победителей не судят, то всё-таки у каждого человека есть право судить о победителях. Небезинтересно знать, как и кем у тех завоевана победа...

И, предъявив пропуски, мы прошли через проходную.

1. Лицо штурмовщины

Представь себе, читатель, что ты стоишь на дворе МСЗ двадцать восьмого числа. Какого месяца? Ну, хотя бы мая 1955 года. Перед тобой облезлая широкая (метра в два) доска показателей выполнения плана. С левой стороны доски — названия цехов. От них тянутся вправо мутно-розовые ленточки процентов. Редкая ленточка выходит из зоны первой половины месяца. Ленточка сборочного цеха примыкает почти вплотную к названию цеха — ну, сантиметра на два ушла, не больше. А ведь через три дня нужно завершить месячный план, сдать станки, собранные и покрашенные. Как же это произойдёт?

Представь себе, читатель, что ты стоишь на дворе МСЗ перед той же доской 28 июня 1955 года. Вариации в расположении ленточек по сравнению с 28 мая колеблются в рамках одного-двух миллиметров.

28 июля, 28 августа 1955 года. На доске картина такая же, как 28 мая и июня. 17 сентября. На одном из важнейших участков сборки был готов... только один станок (из 31). Может, хотя бы в первые три месяца года было не так?

Поглядим на официальные цифры сборочного цеха, бесстрастно фиксирующие факты. За первые декады шести месяцев 1955 года выпущено сборщиками 14 серийных станков «372-Б», за вторые — 106, а за третьи — 168.

Поглядим на официальные цифры выпуска продукции всего завода в первую половину 1955 года. На первые декады падает 14,7 процента, на вторые — 18,8 процента, а на третьи — 66,5 процента! Картина ясна.

Войдѣмте двадцать восьмого числа любого месяца в цех генеральной сборки. Цех загромождѣн станками до предела. Если вам преградит дорогу сборщик, склонившийся над станком, можете взять его за талию, «переставить» на другое место. Он как ни в чём не бывало будет продолжать свою работу. В дни третьей декады ему привычна суматоха. В цехе — аврал.

Сверхурочные? Ладно! Выходные дни? Отменить! Втрое быстрее изнашивается оборудование при таком аврале и ломается инструмент? Неважно! Только бы не сломать ногу среди напирających станков, не запутаться в десятках неизвестно откуда появившихся дефицитных деталей. Давай, давай! Нажмѣм, нажмѣм!

Что уж говорить, народ работающий...

Войдѣмте второго или третьего числа любого месяца в цех генеральной сборки. Какой простор! Какая тишина! Тихо бродят сборщики, не зная, куда девать время. У всех на устах не очень «простое» по содержанию слово — простой!

Одни берут отгулы за выходные дни, другие идут в отпуск «по семейным обстоятельствам», третьи едут провожать или встречать троюродных братьев. Вот она, первая декада месяца! Да-с... «Ни вару, ни товару», — горько шутят сборщики.

Но всех в отпуск не пошлѣшь. Кое-кто остаѣтся. И что же оказывается? Люди сборочного цеха хотят работать и в первую декаду. Их психология... Впрочем, не будем пока что касаться этой острой темы, философски затронутой Н. М. Мямлиным. Факт тот, что сборщики не только жаждут, но и требуют работы, каждодневной, регулярной, на все 480 минут рабочего времени! Они заявляют: «чтоб было!», предоставляя все права на осуществление этого требования дирекции завода. В первую половину месяца им категорически не хочется, как они говорят, «возить дым на заводе»...

Да, возить дым — занятие мало продуктивное и мало рентабельное. Этим занятием ничего не сработает и ничего не заработает. А люди — представьте себе! — хсят заработать. Не бездельем, а честным трудом заработать. Трудом!

Руководители и мастера цеха сборки это понимают. В первую половину месяца они не «отдыхают», как многие другие в цехе.

Куда там! Они буквально носятся по заводу, чтобы как-нибудь «кормить» рабочих работой и заработком. Они днюют и ночуют (народ работающий!) в других цехах и «выбивают» узлы и детали. Но их усилия к большим успехам не приводят.

Первая декада мая. Сборка не производилась. Не было шлифовальных бабок, клиньев. Первая декада июня. В наличии было 10 станин, но отсутствовали колонки, каретки, бабки, цилиндры. Сборка стояла. На 7 июля подали двадцать девять станин, но к ним всего-навсего семь столов, шесть бабок, два клина, флянец не поступал, так как для него не хватало шестимиллиметрового винтика. Генеральная сборка не работала...

Зайдѣмте в первую половину любого месяца в цех узловыи сборки. Картина та же. Перебиваясь с проста на безделье, квалифицированные сборщики к пятнадцатому числу собирают узлы на 150—250 рублей. К тридцатому числу — «прихватывая вечерами», ломая свои выходные дни — в четыре-пять раз больше.

Когда мы в первый раз встретились со старшим мастером и секретарѣм партийного бюро цеха Петром Сергеевичем Паниным, мы его спросили, знакомаясь:

— Где вы работаете?

Панин почему-то рассмеялся и лукаво сказал:

— Ответить точно?

— А почему бы нет?

Старший мастер узловой сборки вытянул руки по швам и храбро отчеканил:

— Работаю в сборочном цехе, живу в механическом.

Ответ был предельно точным.

— Бежишь в механический цех добывать детали, — говорит Панин, — и сборщика с собой берёшь. Выбьешь деталь, сунешь сборщику — «на, дружище, трудись!», — а сам побежал дальше. В е с ь п л а н д е л а е т с я у н а с н а н о г а х, понимаете? Привяжи утром к моей ноге собаку, она к вечеру, пожалуй, околеет от усталости. А мне ничего! Тренированный...

Зайдём, читатель, в механические цехи. Здесь есть много поистине замечательных людей, о которых мы ещё расскажем. Но климат в механических цехах, как и везде на заводе, резко континентальный. Первая половина месяца — мороз. Вторая половина — жара. План выполняется. Но как? Почему нет ровного ритма вместо двухнедельной тишины, сменяющейся двухдневным или десятидневным авралом? Давай, давай! Нажмём, нажмём!..

Подыдемся в многочисленные отделы заводоуправления. Неужели именно здесь сидят одни только плохие люди? Нет, этого никак нельзя сказать. Но полюбуемся фотографией некоторых явлений.

Планово-диспетчерский отдел (ПДО) завода обязан обеспечивать равномерную работу всех звеньев завода. Он ежемесячно составляет графики в два метра ростом, в которых «расписаны» сроки изготовления деталей по всему МСЗ. Канцелярия в ПДО — блестящая. Вы можете получить там справку, начиная от Ноева потопа...

Но воздействовать на ход производства ПДО и не пытается. Он «пропланировал» — и умывает руки.

Составленный им график переходит в другую канцелярию — в планово-экономический отдел (ПЭО). Там «расписывают» планы-задания цехам. И оказывается, что не только у семи, но и у двух нянек дитя может остаться без глаз. До механических цехов планы месяца доходят слепыми — большинство деталей задают без сроков.

При такой «картине» (точных сроков нет) нельзя понять главного, основного, что может дать плавную ритмичность работы: в какой же о ч е р ё д н о с т и пускать детали в производство?

Начальник планового бюро второго механического цеха Ольга Захаровна Гаврилова, стараясь предупредить нужды сборщиков, спрашивает работников ПДО в начале каждого месяца: что пускать раньше, что позже?

— Все детали нужны сразу! — неизменно отвечает ей начальник производства В. В. Шестов.

Ответ, конечно, шикарный. Но принципов той плановости, которая создаёт ровный ритм работы, в таком ответе обнаружить невозможно. «Все сразу» — это звучит гордо. Но все детали запустить сразу нельзя, столько станков и рабочих в цехе нет. А производство имеет свои законы. Одна деталь понадобится сборке через три дня, а другая — только через три недели. Что же делать?

И Ольге Захаровне с болью в сердце приходится ориентироваться на очередной крик «караул!», несущийся к ней то из узловой, то из генеральной сборки. А сколь много и сколь часто раздаются такие крики, тебе, читатель, достаточно выразительно уже рассказал П. С. Панин.

Подлинная организация производства на МСЗ отсутствует. «Все детали сразу!» — говорит В. В. Шестов. Зайдём на склад, проверим, что из этой директивы получается. Поскольку многие цехи и участки работают вне общей согласованности, они сдают на склад что когда кому вздумается, безотносительно к тому, насколько это необходимо для главного — выполнения программы. В результате такая картина: запасы одних деталей накоплены на полгода, иных деталей на складе мало, иных и во-

все нет. Нетрудно догадаться, что в число отсутствующих на складе деталей входит огромное количество самых остродефицитных...

Чтобы свести концы с концами, в последнюю декаду месяца дирекция вынуждена всё внимание уделять «прорывным» деталям. По заявкам сборщиков (то есть по записанным на бумаге крикам «караул!») составляются списки таких деталей — «дефицитки», и начинается их выколачивание «на высоком уровне»: в кабинете директора, на «оперативках», или, как их называют на заводе, на «оперетках».

И здесь дело сводится к тому, чтобы «пропланировать» — записать срок. К следующей «оперативке» список «дефицитки» не укорачивается. Срок переносится — по формуле директора «вопросы решаются в течение месяца». Положение становится катастрофическим. Новые сроки вновь не выполнены.

Тогда начинают разыгрываться жанровые сцены, иллюстрирующие обычный стиль отношения некоторых руководителей МСЗ к работникам завода. Мы приводим не самые колоритные сцены из тех, что рассказаны нам очень многими товарищами. Но думается, что и эти случаи достаточно красочны.

— Ольга Захаровна, почему не сдали деталь?

— Нам не дали заготовок...

— Ах, вам не преподнесли заготовок? Каких? Откуда?

— Трубы. Нет на складе. Заготовительный цех не сдал.

Директор немедленно звонит в заготовительный цех:

— Вот что, товарищ. Отрежь трубу, отнеси во второй механический, поставь возле Гавриловой. Ей лишний раз пройтись к тебе трудно...

Довольный своим остроумием, директор продолжает:

— А эту деталюшку почему не сдали?

— Деталь изготовлена, вторую неделю на хромировании, в гальваническом цехе. Сообщили в ПДО — они мер не приняли.

— Мер не приняли? Ах, разбойники! Меры мы сейчас примем.

Звонок в гальванический:

— Алло! Второму механическому сделайте исключение, хромируйте им прямо заготовки. Где уж им детали успевать точить, они дефицит никак не закроют...

И опять смешок, новые сроки, давно слышанное поучение:

— Помните, спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Я вам детали выбивать не буду, не для того поставлен...

...Что тут сказать? Пожалуй, повторим два слова, великолепно определяющие плановые «порядки» на заводе. Эти слова произнесены главным диспетчером МСЗ М. М. Арефьевым:

— Такая школа!...

Угол зрения товарища М. М. Арефьева на природу недостатков, существующих на МСЗ, безусловно, правилен. Угол зрения директора Н. М. Мямлина и секретаря партбюро Е. Г. Гришина — неправилен. Геометрия не та...

Но и арифметика «такой школы» ставит диковинные загадки.

Седьмого июля мы вместе с начальником цеха генеральной сборки М. Ф. Назаровым рассматривали заданный ему план на июль месяц. Все трое усомнились в неизбежности арифметических правил.

Реши, читатель, задачу. Трудоёмкость одного станка «МШ-62» — 2 400 нормо-часов. Цеху нужно выпустить два станка «МШ-62». Сколько нормо-часов должно быть дано на два станка — вот что спрашивается в задаче. Применив несложную операцию, именуемую «умножением», ты, наверно, ответишь: 4 800. Как ты отстал! По арифметике «такой школы» получается иная цифра: 3 000. По той же арифметике на два станка «МШ-87», из которых каждый требует 1 720 нормо-часов, дано не 3 440 нормо-часов, а 2 500. Вот так история!

Просим обратить сугубое внимание на следующее обстоятельство. Если взять сумму нормо-часов, отпущенную цеху на все станки, вычислив её по законам обычной, настоящей, незыблемой арифметики, и сопоставить с ней сумму нормо-часов, данную по арифметике «такой школы», сразу можно убедиться в том, что первая сумма составляет объём полутора месячной программы цеха, а вторая сумма, «как в аптеке», равняется программе одного месяца.

Мы не смогли разгадать «тайну двух цифр» и обратились за разъяснениями к главному инженеру завода Петру Семёновичу Боброву. Но и он оказался бессилён перед математической мудростью своих плановиков.

Тайну двух цифр элементарно просто раскрыл нам М. М. Арефьев:

— Подгонка. Подгонка под план цеха.

Да-с. Арифметика типа «дважды два — стеариновая свечка» была бы делом пустяковым. А эта является прямым потворством методу штурма и безответственности за номенклатурный выпуск станков. Люди, которые записали в план цеха генеральной сборки «к обязательному выпуску» продукцию в полтора раза больше программы цеха, этим самым фактически «планируют» возможность выбора: какие станки самотёком подоспеют, те и штурмуй, те и собирай. А как же с плановой дисциплиной? Ничего! Авось обойдётся...

2. Механика штурмовщины

Скажем прямо: нам представляется требование рабочих «чтоб было!» требованием справедливым и правильным. Можно объяснить чем-либо отсутствие ритмичной подачи деталей в течение всего месяца, но оправдать нельзя.

Вспомним, что директор МСЗ назвал три «столпа», четыре источника штурмовщины. Поговорим о каждом из них, не скрывая ни от кого, что свои ответы товарищу Мямлину мы формулируем не без помощи многих замечательных людей завода. «Угол зрения» этих людей был обращён не к своему кутку, а к интересам всего завода и государства.

Источник первый: снабжение. Тут директор принимает на себя прямой грех. На заводе не знают случаев, чтобы сборка простаивала хоть час по вине снабженцев, хотя трудности перед ними немалые.

Источник второй: литейный цех. Да, литейный цех был всеобщей «притчей во языцех». Он тормозил работу всех цехов, был объектом неустанной ругани со стороны начальства МСЗ и объектом их малого внимания к нуждам цеха, малой помощи ему.

Литейный цех работал плохо. Но даже при плохой работе он полностью выдавал литьё для серийных станков. И завод ежемесячно выпускает серийные станки в количествах, заданных ему, хотя выпускает по «методу штурма», в конце месяца.

Литейный цех работал плохо. Но зря товарищ Мямлин определяет цех, как «объективную» причину штурмовщины. «Кое-какую» вину должен он принять и на себя. Директор МСЗ говорил о литейном цехе так, как будто этот цех существовал вне завода. «Мы» — завод, «он» — литейный цех. Но литейный цех это и есть «мы»! Недозволительно выделять одно звено предприятия и делать его козлом отпущения за все заводские грехи. Литейка находится в сфере воздействия директора завода не меньше, чем в сфере начальника цеха. Пристальное, действенное внимание директора к источнику главных поех предприятия могло круто изменить положение. А что было? Девятнадцать начальников литейного цеха калейдоскопически сменяли друг друга за последние годы. Их имён почти никто не помнит — и это немудрено. Гораздо хуже то обстоятельство, что никто не помнит, чтобы директор Н. М. Мямлин, секретарь партбюро Е. Г. Гришин, главный инженер П. С. Бобров или начальник производ-

ства В. В. Шестов вплотную занимались литейным цехом, «жили» бы в нём длительное время, влезли бы, что называется, в его работу, помогли ему безотрывно, а не наскоками. «Объективная» причина имеет свои точные имена, отчества и фамилии...

Источник третий: почти индивидуальное производство специальных станков. Да, обширная номенклатурность, разнообразие продукции, безусловно, осложняет планирование, выполнение планов цехами, ритмичную работу предприятия. Мы не берёмся судить, является ли номенклатура, планируемая министерством для МСЗ, столь недопустимо обширной, как это утверждают некоторые руководители завода. Но является ли эта номенклатурность той опять-таки «объективной» причиной, которая сама по себе фатально влечёт отсутствие ритмичности, штурмовщину? Не лучше ли на себя оборотиться, выверить систему планирования, систему организации производства на МСЗ?

Нельзя не обратить сугубого внимания на тот факт, что в деле выпуска специальных станков завод «имеет» и сам себе берёт такие льготы, которые сильно «облегчают» ему жизнь. Законно гордясь тем, что он производит станки специального назначения и автоматические линии, имеющие огромное значение для технического прогресса различных отраслей промышленности, МСЗ... немилосердно оттягивает сроки их выпуска.

Авторитетный в этом деле главный диспетчер завода М. М. Арефьев свидетельствует, что министерство, учитывая новизну и сложность специальных станков, могущие возникнуть конструктивные изменения и доработки, устанавливает заводу льготные сроки выпуска спецстанков. И хотя известно, что «большие сроки портят людей», первоначальные сроки с благословения министерства заменяются новыми, которые вновь и вновь не выполняются. Так, в этом году выпускаются «прошлогодние» станки, а есть в производстве сегодня и такие станки («МШ-60», «МШ-61»), первоначальный срок выпуска которых — сентябрь 1953 года.

Значит, точные сроки «не напирают» на завод; значит, сроки выпуска специальных станков не влекут за собой обязанности такого «нажима», который может увеличить штурмовщину. Впрочем, про «обязательность» нажима могут говорить только те, кто хочет оправдать штурмовщину, переложить свою вину в плохом планировании и плохой организации производства на плечи «объективных причин».

Раскроем ещё один секрет плановой механики этого дела. За выпуск специальных станков завод отчитывается «строчкой». Что это значит? Главк ежемесячно планирует заводу выпуск определённых, по имени-отчеству названных специальных станков. Завод же отчитывается не по заданной номенклатуре, а общим счётом, чохом, «строчкой». Можно вставить в «строчку» любые виды станков. И главк с этим мирится. Отсюда пристекают вольности, большие вольности.

Скажем, не изготовлен сложный станок, плывущий в производстве самотёком? Что ж! Можно штурмовать другой, попроще, тоже самотёком подоспевший к выпуску. Слепая «строчка» всё скроет.

Если нечем дописать «строчку», есть спасительная лазейка — «станки на базе». Так называются обычные серийные станки, в которых произведены незначительные конструктивные изменения, или те же станки без конструктивных изменений, но повышенной точности. Небольшая доработка или простая сортировка — и серийный станок «превращается» в «специальный на базе» (по методу превращения пороса в карася...) и вписывается в «строчку».

Нет, не выпуск специальных шлифовальных станков является причиной штурмовщины на МСЗ, а штурмовщина является источником срывов и анархических вольностей в деле создания важнейших станков специального назначения. Утверждение директора МСЗ об обратном — это отговорка, отписка...

Мы можем довести до сведения товарища Мямлина ещё один при- скорбный результат штурмовщины, ему как будто бы известный, но почему-то не упомянутый в разговоре с нами. На очень точном, хотя и весьма не поэтическом языке этот результат именуется не отпиской, а п р и п и с к о й.

Когда перед великим праздником трудящихся, Первомаем, для завершения очередного рискованного штурма не хватило дней апреля, дирекция завода при содействии отдела технического контроля выполнила план апреля... на бумаге. Были показаны в списке сданной продукции апреля станки (в немалом количестве), требующие больших доделок и покраски. Станки эти, отмеченные в за в е р ш ё н н о м плане апреля, доделывались до п о л о в и н ы м а я — «благо» первая половина месяца всегда пустует.

Этот факт был обнародован на партийно-хозяйственном активе завода заместителем начальника финансово-сбытового отдела МСЗ Петром Дмитриевичем Фёдоровым, членом КПСС с 1919 года, членом партийного бюро завода. Этот факт был опубликован в боевой многотиражке МСЗ «Станкостроитель». Этот факт не был предметом специального разбора и обсуждения на партийном бюро завода. Видимо, секретарь партбюро Е. Г. Гришин только улыбнулся — и всё. Вот ведь как бывает на МСЗ...

Остаётся неразобранной проблема психологии рабочих МСЗ, органи- ческим, и з в е ч н ы м свойством которых будто бы является желание работать по системе: нажал — отдохнул — раскачался — опять нажал. Ведь штурмовщина коренится в психологии людей, утверждает философия Н. М. Мямлина! Однако, чтобы яснее была картина с е г о д н я ш н и х заводских будней МСЗ, мы позволим себе осветить некоторые периоды славной истории завода, делая это с позиций невольно напрашивающейся лирики. К вопросу о психологии рабочих, техников и инженеров Москов- ского станкостроительного завода это имеет самое прямое отношение.

3. Лирические страницы истории МСЗ

У каждого человека есть своя биография. Есть она и у заводского кол- лектива.

Биография коллектива — это путь его работы, история его исканий и достижений, неудач и взлётов, замыслов и дерзаний. Кто творит эту био- графию? Каждый человек в отдельности и все люди завода вместе. Иной человек может иметь огромное значение в биографии коллектива, но сам- то он, этот человек, является детищем, воспитанником, «созданием» окру- жающих его товарищей. Слава одного человека может составить славу завода. Слава завода может превысить во сто крат славу любого из заме- чательных людей его коллектива. Человек творит свою славу. Человек творит славу завода. Завод — славу человека.

В биографии МСЗ есть великолепные страницы, служащие ярким до- казательством этому.

С 1933 года работает на заводе токарь Павел Борисович Быков, знат- ный человек страны, знаменитый во всём мире мастер скоростного реза- ния металла. Перелистаем страницы его личной творческой биографии, целиком связанные с работой в цехе.

1933 год. Токарь второго разряда. Первые неудачи, первые достиже- ния. 1934 год. Непрерывное набирание высоты полёта. Май 1935 года. В первый раз программа выполнена токарем на 150 процентов. Предел мечты — дать 80 метров скорости резания в минуту. Стахановская вахта 1935 года. 208,3 процента. Регулярные, из месяца в месяц, из года в год, заводские «молнии» об очередных победах скоростника, новые цифры ско- рости резания: тысяча метров, полторы, две четырёхста. Обработал деталь

за 54 минуты вместо 4 часов 20 минут, полагавшихся по старой технологии. Обработал деталь за 24 часа вместо 165 часов. Дал девять норм в день. Десять норм в день. За год выполнил пять годовых норм (пятилетка в год). Дал за один день 5 000 (пять тысяч!) процентов нормы. 1946 год. Семь с половиной годовых норм дал Быков, его бригада — три и восемь десятых годовой нормы, не меньше ста рабочих завода выполнили по две годовые нормы. 1949 год. Быков дал двадцать две годовые нормы (четыре с четвертью пятилетки за двенадцать месяцев). 1952 год. С керамическими пластинами Быков показал феноменальную скорость резания — 3 тысячи 200 метров в минуту.

Это был путь непрерывной учёбы, исканий, раздумий, экспериментов, опытов, напряжённого и вдохновенного труда. Прочти, читатель, книгу П. Б. Быкова «Путь к счастью»¹, и ты поймёшь, как достигался каждый рекорд, как добывалась каждая победа.

Кто же такой Быков? Талаптливыи одиночка? Бриллиант, сразу за-сверкавший всеми своими гранями? Нет. Это алмаз, грани которого были отшлифованы коллективом завода. Это человек, творческое рвение которого было поддержано, обласкано, укреплено, расширено, углублено и нацелено. окружавшими Быкова людьми, товарищами, соратниками, друзьями. В первую очередь это Ц. Л. Кунников, первый и многолетний наставник Быкова, инженер-коммунист, Герой Советского Союза, погибший в дни Отечественной войны в брѣх под Новороссийском. Это мастера Шишков и В. Маркин, рабочие П. Исаев, Калугин, конструкторы Макаров, Бобров, Чех, Крестешников, распред Гаврилова, секретарь партбюро И. Кузнецов. Это и заводская библиотечарша, посоветовавшая Быкову обязательно прочесть книгу «Обработка металла резанием» и не смущаться трудностями её усвоения. Это и старшая раздатчица Настя, строго «одёрнувшая» раздатчиц инструментальной кладовой, которым, по их словам, «надоел» Быков своими частыми хождениями в кладовую для подбора резцов и развёрток к стахановской вахте. Это десятки людей, направлявших токаря Быкова, помогавших ему, споривших с ним, вместе с ним отыскивавших наилучший путь к победе. Это, в целом, рабочий коллектив завода и в первую очередь партийная организация МСЗ, о чём говорит сам Павел Борисович в своей книге.

Кто же такой Быков? Эффектный рекордсмен, шеголяющий цифрами скорости резания металла? Нет. Это мастер-новатор, добившийся виртуозности в деле с о ч е т а н и я трёх важнейших элементов процесса токарной обработки металла: скорости резания, глубины резания и величины подачи. Быков обрабатывает деталь не всегда с максимальной скоростью, доступной станку, но всегда с той, которая нужна для обработки именно этой детали. Он настойчиво добивался наивысших показателей скорости резания, понимая, что это даст предельное увеличение производительности труда. Однако скорость резания — лишь составная часть его метода. Мы вправе считать элементами этого метода также рациональное использование станка и инструмента, рационализацию технологического процесса, организацию рабочего места и передовую организацию труда. В любую из этих областей Быков внѣс много новаторского.

Кто же такой Быков? Обладатель токарных секретов, единолично пользующийся ими? Нет. Это человек, с первых шагов своей работы стремившийся и ныне стремящийся передать другим всё, чем он владеет. Его ученики — Дмитриев, Королѣв, Губин и десятки других токарей — достигли блестящих результатов. Он возбудил в рабочих стремление стать Быковыми, Борткевичами, Колесовыми, вселил в них уверенность в возможности осуществления этого намерения. К тому же он дал им пример — стал Быковым.

¹ П. Б. Быков. Путь к счастью. Профиздат, М. 1952.

Нелегко передать в полной мере то главное, что возникало на заводе шлифовальных станков вокруг любого из его передовых работников. Творческая атмосфера — вот имя этого главного.

Ты знаешь, читатель, что один человек может своим творческим горением зажечь целый коллектив. Если таких людей много, это уж совсем превосходно. А если весь коллектив является очагом такого горения — ничего не может быть лучше.

Ритм непрерывных исканий и достижений рабочих МСЗ заставил подтянуться плановиков и мастеров, технологов и раздатчиков инструмента, приучил их дорожить временем рабочих. Станочникам начали выдавать чертежи и заготовки заблаговременно, чтобы они могли продумать работу, рассчитать её, подготовиться к ней. Их бесперебойно и заранее снабжали необходимым инструментом.

Мастера и технологи, руководители цехов и отделов, директор и секретарь партбюро буквально на лету подхватывали все рационализаторские предложения новаторов, прослеживали и облегчали путь таких предложений от зарождения новой идеи до её осуществления в металле.

Предоставим слово Павлу Быкову, чтобы рассказать об одном из замечательных начинаний коллектива МСЗ:

«Как-то раз после смены я задержался около станка, за которым работал Саратов, мой недавний ученик. В это время пришёл в цех директор завода Вячеслав Дмитриевич Глухарев.

— Поучиться, что ли, решили? — шутливо спросил директор.

— Вот смотрю на работу Саратова и думаю, — ответил я, — что полезно было бы передать его методы, его приёмы работы другим станочникам. И в то же время полезно поучить Саратова приёмам таких мастеров, как Адмиралов или Малышев...

— Очень хорошая мысль, — сказал директор. — К такому делу надо привлечь инженеров, технологов, цеховую администрацию.

Своими думами я, конечно (разрядка наша. — А. Б., И. В.), поделился с технологом Калугиным и старшим мастером нашего отделения Шишковым. Мы проговорили до поздней ночи.

— Для того, чтобы подтянуть весь цеховой коллектив до уровня лучших скоростников, — сказал Калугин, — надо посоветовать, например, одному рабочему изменить порядок технологической операции; другому — повысить режимы резания: скорости, подачу, глубину; третьему — применить новые приспособления...

— Если все рабочие начнут работать стахановскими методами, — добавил Шишков, — то это одно поможет нашему отделению увеличить процентов на двадцать выполнение производственного плана...»

И родилась новая форма социалистического соревнования — творческая группа новаторов, первая «комплексная бригада» на заводе МСЗ и в стране. Один человек подал хорошую мысль, товарищи её углубили, коллектив ею зажгётся, дирекция подхватила и осуществила. Полный порядок!

В самых кратких чертах мы напомним тебе, читатель, чем являлась бригада, называвшаяся «комплексной». Она не была бригадой в обычном понимании этого слова. В неё входили и технолог, и мастер, и рабочие разных специальностей. По существу — и теоретически и практически — это был технический совет участка.

Какие задачи ставил перед собой этот совет и как он их решал?

Задача первая: внедрить на всех участках наиболее совершенные и производительные методы обработки деталей. Как это делает селекционер, техсовет участка выявлял и внедрял лучшие методы работы, применявшиеся на участке, в цехе, в других цехах МСЗ; изучал методы, рекомендуемые учёными и новаторами других заводов. Внося в технологические карты отысканные им наиболее эффективные методы работы и режимы

резания, он делал их общим достоянием. Обмен опытом осуществлялся реально и широким фронтом.

Задача вторая: изменить, упростить, улучшить технологию деталей на всех операциях токарной обработки, фрезерования, сверления, зуборезания и т. д. Думая над этим, совещаясь, споря, творя, участники техсовета (каждый подходя к технологии отдельных деталей с точки зрения своей специальности) достигли больших успехов в деле совместного улучшения и совершенствования технологических процессов. Иногда это шло по линии укрупнения операции (например, по детали 3250Б-5013). Иногда это шло по линии расчленения процесса. Замена, к примеру, двух операций, нужных для обработки сложной шестерни, девятью простейшими не только повысила производительность труда, но и дала возможность токарям низких разрядов делать то, что раньше требовало работы мастера только высочайшей квалификации.

Успешно решались и другие задачи: использовать все возможности для сокращения вспомогательного времени, экономии металла, улучшения качества продукции, увеличения производительности труда. Мы могли бы привести много цифр, иллюстрирующих победы первого технического совета участка, но ограничимся только двумя. Одна из них — цифра, так сказать, «техническая»: за один год «комплексная бригада» одного отделения механического цеха МСЗ снизила трудоёмкость по 35 деталям на 375 часов. Другая цифра — и «техническая» и «общественная»: за 1950 год в одном цехе МСЗ было внедрено (!) 316 различных нововведений в технологический процесс, что сэкономило цеху 4 674 нормо-часов и 3 160 килограммов металла. Разительные цифры!

Они означают то главное, о чём сказано выше, чего не исчислишь и не измеришь никакими цифрами, — творческая атмосфера существовала на заводе шлифовальных станков. В технических советах участков, именовавшихся тогда «комплексными бригадами», в сознательном содружестве технологов, мастеров и рабочих всё было нацелено на то, чтобы и работать, и думать, и производить, и творить. Чёткая организация производства, заблаговременная выдача чертежей и материала, бесперебойное снабжение всех рабочих инструментом давали возможность думать. И люди завода могли подняться на ту вышку, которая возвышалась над ежедневной текучкой, на ту вышку, с которой можно видеть и организовывать за вт р а ш н и й день завода и промышленности страны, решать перспективные вопросы, двигать вперёд технику и развивать соревнование.

Вслед за бригадой Быкова в его цехе и в других цехах передовые токари, фрезеровщики, шлифовальщики, сборщики, технологи, мастера создали в течение 1950—1952 годов четырнадцать «комплексных бригад» новаторов. Потоками поступали предложения бригад по рационализации производства, но в этих потоках не терялось ни одно предложение — ни коллективное, ни индивидуальное.

Новаторы завода (а новаторами стремились стать все) постоянно чувствовали себя в центре общественного внимания. Стены цехов были украшены красочными плакатами и «молниями», сообщавшими о достижениях отдельных рабочих и «комплексных бригад».

«Стахановская технология заставила рабочих, ищущих решения той или иной проблемы, читать техническую литературу, посещать лекции», — читаем мы в книге «Путь к счастью». Знаменательный факт! Вот он, один из многих результатов творческой атмосферы.

С огромной теплотой в той же книге говорится о том, что в случае возникновения какого-либо препятствия, сомнения или затруднения люди шли прежде всего в партийное бюро завода, зная, что там им помогут, дадут разъяснение и совет, направят, вдохновят на новые искания и достижения. 20 мая 1950 года Октябрьский райком партии заслушал до-

клад о первых достижениях первой «комплексной бригады». На заседании присутствовали представители всех предприятий района. Бюро райкома поддержало инициативу новаторов МСЗ.

Движение «комплексных бригад» широкой волной разлилось по стране. А на самом заводе оно приняло чёткие формы, обогатилось опытом, окрепло. В 1953 году на МСЗ началась ритмичная пооперационная сборка серийных станков.

Кипучей творческой жизнью жил завод. Всё звало к творчеству, помогало ему. Слава отдельных людей сливалась со славой всего коллектива — и каждая из них была велика, заслужена, крепка...

Но вернёмся к заводским будням 1955 года.

4. О психологии рабочих

Настало время обратиться к вопросу о психологии людей МСЗ, в которой, по утверждению Н. М. Мямлина, коренится причина штурмовщины.

Всё, что рассказано в предыдущей главе и будет рассказано в последующих главах, является прямым, острым и неоспоримым опровержением сей мысли Мямлина. И штурмовщина и все прочие беды МСЗ не вызваны пороками психологии рабочих завода, а являются результатом плохой организации производства. Отсюда не следует, что можно снять вину за эти беды с вышестоящих организаций — главка и министерства. Исследованием степени их вины тоже следует заняться. Но основные причины неполадок гнездятся на самом заводе.

«На сегодняшний день», как говорится в унылой формуле многих отчётов и выступлений, на Московском станкостроительном заводе «комплексных бригад» не существует. Нет на нём ритмичной работы. Нет могучей атмосферы творчества и действительно реального, зримого, ощущаемого всеми соревнования.

Один за другим технические советы участков, называвшиеся «комплексными бригадами», прекратили на МСЗ свою творческую жизнь. «Упустили мы это дело», — сокрушается В. Я. Буров, начальник того цеха, где родилась первая «комплексная бригада». Он сознаётся, что за последние годы не собирался даже цеховой технической совет. При этом В. Я. Буров с трудом вспоминает, что председателем технического совета цеха является... он сам.

Мы не имели возможности и времени изучить во всех подробностях историю исчезновения на МСЗ «комплексных бригад», принесших ему столь громкую и заслуженную славу. Нет сомнения в том, что эту историю надо изучить и это будет кем-нибудь сделано. К сожалению, нередко приходится наблюдать, как вспыхнувшая новаторская инициатива, охватившая тот или иной рабочий коллектив и давшая уже большие результаты, гаснет и всё возвращается к прежнему положению. Слишком часто мы полагаем, что хорошее дело «пойдёт само собою», и не проявляем должного упорства, не прилагаем б у д н и ч н о г о, повседневного труда для укрепления и расширения важных начинаний...

Мы не настаиваем на том, чтобы технические советы участков назывались «комплексными бригадами». Разве дело в термине, в наименовании? Но мы убеждены, что такие технические советы жизненно необходимы. Постоянство их активной творческой деятельности ведёт к созданию участков коллективной новаторской работы по примеру участка Николая Российского.

Советы участков являются не только реальной силой технического прогресса, но и замечательной формой социалистического соревнования. На МСЗ это движение заглохло. Но и другие виды соревнования прижились на заводе убогие формы.

Так, в цехе, где выросли Быков, Дмитриев, Яшкин, Фомичёв, — кстати сказать, в одном из лучших цехов МСЗ — додумались до портативной формы показа соревнования. В июне вывесили листы социалистических обязательств участков. На листах под обязательствами написаны двумя столбиками фамилии рабочих и проценты предполагаемого выполнения ими норм. И всё!

В июле сняли на обязательствах название «июнь», приклеили посылку со словом «июль» — и вновь полнейшее спокойствие...

Нет сегодня на МСЗ реально ощущаемого соревнования. Нет и пооперационной сборки серийных станков... Живёт она сейчас лишь в воспоминаниях передовых рабочих МСЗ, ярко характеризую их подлинную психологию.

— Этот прогрессивный метод, — заявили нам сборщики, — оправдал себя и всем понравился. Был достигнут равномерный выпуск трёх станков модели «372-Б» ежедневно в течение всего месяца. Затем провели пооперационную сборку модели «3740». Работа шла без штурмовщины, повысился заработок рабочих, особенно молодых.

Самой примечательной особенностью этого действительно благословенного периода было то, что ритм генеральной сборки подтягивал не только узловую сборку и механические цехи, не только литейный цех и все участки завода, но и штаб производства — планово-диспетчерский отдел!

Вопрос о восстановлении пооперационной сборки — важного, реально существовавшего, само собою разумеющегося, полезного и прибыльного начинания — не сходит с повестки дня. Зря товарищ Мямлин взводит напраслину на психологию рабочих.

Возьмём комплект боевой, острой многотиражной газеты МСЗ «Станкостроитель» (редактор А. С. Родионов). Регулярно, настойчиво, неотступно поднимался и поднимается рабочими, мастерами и инженерами вопрос о восстановлении пооперационной сборки серийных станков «372-Б», «3756», «3740». Одно выступление за другим, одна статья за другой. Вот вам подлинная психология рабочих!

И вот 25 марта 1955 года директор МСЗ издал приказ о восстановлении пооперационной сборки серийных станков. Приказ был подкреплён несколькими листами организационно-технических мероприятий. Одни из них должны были подготовить начало равномерной сборки, другие — закрепить стабильность ритма. Начало равномерной сборки было определено приказом точно: 10 (десятое) апреля.

Коллектив завода бурно приветствовал приказ, справедливо видя в нём победу своих правильных устремлений. Газета «Станкостроитель» поместила статью с приказе. Но через два с половиной месяца газета уже вынуждена была бить тревогу. Из тридцати семи мартовских мероприятий по приказу — до июля завершено было только десять, частично выполнено шесть, находилось «в стадии выполнения» тоже шесть, а за остальные даже не брались. Пооперационную сборку не ввели, провалили.

Залп дирекции был дан холостыми патронами. Приказ был выпущен не для того, чтобы его выполнять. И это очень быстро подтвердилось.

Во-первых, поведением самого директора. 9 и июля в большой статье об очередных задачах коллектива товарищ Мямлин ни слова не сказал о своём приказе от 25 марта, а в трёх строках невнятно проговорил: «Надо восстановить пооперационную сборку серийных станков». Приказ был забыт. Впрочем, невыполнение приказов подчинёнными и невыполнение своих собственных приказов руководителями завода — на МСЗ обычное явление, общественное бедствие.

Во-вторых, и с исчезновением мероприятий, которые должны были быть проведены для осуществления приказа. Правда, они возникли в

другом месте, но уже с приказом связаны не были. О, тут механика тонкая! Сейчас объясним, в чём дело. Появился новый документ, касающийся работы промышленности. На заводе организовали чтение и обсуждение документа. Надо было, конечно, вынести резолюцию, по возможности конкретную. И те не осуществлённые меры, которые предназначались для выполнения приказа от 25 марта, были внесены в решение собрания, как будто их придумали для проведения в жизнь директив нового документа. Таким способом (не раз применявшимся на заводе и в других случаях) было амнистировано (мимоходом!) невыполнение мероприятий по приказу от 25 марта. Вот ведь как бывает!

В-третьих,— с предельной степенью откровенности — словами начальника производства В. В. Шестова, более всех повинного на заводе в процветании штурмовщины. Мы его спросили:

— Зачем же вы выпускали приказ от 25 марта, если вы не собирались его выполнять и вообще, как вы только что сказали, считаете невозможным выпуск даже серийных станков по графику?

Тот без обиняков ответил:

— Нельзя же так людям прямо сказать... Надо в них поддерживать настроение, надежду! Надо показать, что и мы думаем о ритмичной работе...

Точнее не скажешь: приказ был издан не для того, чтобы его осуществить.

Этот вывод подтвердился ещё и в разговоре с главным инженером завода П. С. Бобровым. Четвёртым участником беседы был неизменно улыбающийся секретарь партбюро Е. Г. Гришин.

— Пётр Семёнович! Вы были секретарём партбюро завода в 1953 году. Почему тогда ритмично производилась сборка серийных станков? Какова была в этом роль партбюро? Почему в 1955 году вы провалили приказ и собственные мероприятия по восстановлению ритмичной сборки?

Пётр Семёнович помялся немного, а затем с большевистской прямотой рассказал:

— Мы, знаете, тогда народ подняли. Во всех цехах собрания провели. Разстолковали людям значение ритмичной работы. Разъяснили каждому его задачи. Людей выслушали. И дело пошло хорошо. А в этом году мы ограничились оперативкой начальников цехов у директора завода...

Мы заметили, что в первый раз за всё время с лица Е. Г. Гришина слетела легкокрылая улыбка...

А вы говорите — психология!

5. О том, чего простить нельзя

Всё познаётся сравнением.

Сравниваешь некоторые страницы славной биографии коллектива МСЗ с сегодняшним положением на заводе — и просто диву даёшься. Неужели это так?

Талантлив советский человек. Сколько в нём инициативы, смелости, выдумки, загада и догадки! Он живёт пафосом борьбы за переустройство мира во имя счастья всего человечества, он охвачен стремлением к улучшению всего, что есть в мире, и уж, конечно, всего того, к чему он непосредственно прикладывает руки.

Талантливы люди заводского коллектива МСЗ. Десятки их технических усовершенствований и достижений заслужили подлинно мировую славу. Тысячи их технологических новинок и организационных мер облегчили труд рабочих, реализовались в огромных суммах экономии металла, материалов, денег, времени, двинули вперёд технический прогресс в родной стране.

Должность любого руководителя любого участка работы в нашей стране — большого или малого — это, в частности, должность открывателя, поощрителя и вожака людских талантов. Любой руководитель должен не только брать то, что ему несут, но и будить людскую мысль, наталкивать её на изобретательство и выдумку, подмечать и распознавать способности каждого человека, давать им пищу, возбуждать пафос исканий, дерзаний, указывать пути к свершениям. Всё, что задумано человеком, сделано, предложено, руководитель обязан быстро рассмотреть, дать ответ, оказать помощь и — что важнее всего — провести в жизнь. Если всё это существует где-либо, создаётся та творческая атмосфера, при которой и таланты людские расцветают и польза, приносимая Родине, становится поистине гигантской.

Такая атмосфера на МСЗ была. Такой творческой атмосферы сегодня на заводе нет.

«У нас на заводе все стахановцы постоянно чувствуют себя в центре общественного внимания... Растит и воспитывает новаторов наша партийная организация. Всё новое, творческое, что зарождается на заводе, находит прежде всего поддержку партийной организации», — так пишет Павел Борисович Быков в книге, вышедшей в 1952 году.

«Глушат инициативу новаторов» — гласит заголовок статьи, напечатанной в газете МСЗ «Станкостроитель» 25 июня 1955 года. «Что с моим предложением?», «Мы не получаем ответа» — так озаглавлены две другие заметки в том же номере. «Предложение рабочего Мельникова пролежало в Отделе главного механика свыше полутора лет... Бюрократизм в работе БРИЗа — вот что тормозит подъём технического творчества на заводе», — говорится в корреспонденции, напечатанной 16 апреля. «Ценное предложение т. Гусакова, снижающее на 60% трудоёмкость изготовления резьбовых фрез, рассматривалось с декабря 1954 г. по 6 мая 1955 г.», — пишет уполномоченный БРИЗа в номере от 2 июля. За последние два года таких заметок в газете «Станкостроитель» — уйма. «Участок работы БРИЗа совершенно беспризорен», — подводит итог Н. Арсеньева в статье, появившейся 6 августа 1955 года.

Обратим особое внимание на то, что в этом безобразии есть своя система. Какая? Штурмовщина!

Ты, читатель, конечно, поражён. Неужели в работе с рационализаторами, с новаторами может существовать штурмовщина? Неужели в этом деле можно действовать по принципу «Давай, давай! Нажмём, нажмём!»? Представь себе, можно.

Обратимся к цифрам, выявляющим такую систему. Эти цифры являются суровым обвинительным актом по адресу «порядков», существующих на МСЗ.

В механическом цехе № 2 за первые три месяца 1954 года подано двадцать рационализаторских предложений. За апрель—сентябрь (за полгода!) — одно предложение. Далее следует октябрь — месяц принятия социалистических обязательств («Давай, давай!») — поступило двадцать два предложения. В ноябре — одно предложение. В декабре проводили месячник смотра рационализаторских предложений («Нажмём, нажмём!») — подано двадцать пять предложений. За шесть месяцев 1955 года рабочими дано одиннадцать предложений — по два в месяц. Одно принято (находится на изменении чертежа), два отклонено, восемь «плавают» полгода где-то «наверху». Ведь это же страшно — одно принятое предложение за сто восемьдесят один день!

Посмотрим цифры по всему заводу. Их сообщил нам А. Я. Хлопков — начальник БРИЗа, он же начальник спецотдела, он же зам. предзавкома, он же член партбюро коммерческих отделов заводоуправления и «прочая-прочая». Обременённый нагрузками, А. Я. Хлопков ещё не принимался

«вплотную» за бризовскую работу, но не теряет бодрости духа. Он читал нам цифры, весело улыбаясь и, как говорится, не без лихости.

— Вот, пожалуйста. За одиннадцать месяцев 1954 года по заводу подано сто девятнадцать предложений. Стоило в декабре объявить смотр — за один месяц поступило сто девять. Крепко нажали!

Ты подумай только, дорогой читатель, чем человек гордится. Из одиннадцати месяцев года на каждый месяц приходится по всему заводу одиннадцать предложений. Это на МСЗ, на огромный коллектив, в котором несчётное число творческих талантов, умевших рождать целый поток рационализаторских предложений. Одиннадцать предложений в месяц, когда их в былые времена поступало больше одиннадцати в день!

— Крепко нажали! — радуется товарищ Хлопков. Это он считает «работой» с рационализаторами. То, что предложения новаторов годами плавают по отделам завода и не внедряются в производство, его не смущает. Он «нажимает» раз или два раза в году, чтобы хоть как-нибудь залатать дыры своего «плана», и твёрдо уверен: рационализаторы выручат! Каждодневная работа с новаторами, мобилизация их мысли, забота о каждом их предложении — это ведь морока, утомительное дело. Нажмём в октябре! Нажмём на смотре! Проштурмуем — залатаем.

Что уж говорить! Такая школа...

Перед нами Юрий Дмитриев, бывший ученик Быкова, ныне сам знаменитый на заводе скоростник. Он был участником «комплексной бригады», автором и соавтором десятков превосходных усовершенствований и улучшений технологического процесса. Юрий Дмитриев с глубокой скорбью говорит о том, что перестал подавать предложения, ибо «всё равно ничего не выдет», ибо он теперь видит полное равнодушие руководства завода к широкому техническому творчеству рабочих. Бросил он «это дело»...

Оправдать такое решение нельзя, но понять можно.

Анекдотична и «красочна» судьба одного из последних предложений Дмитриева. В марте 1954 года он внёс предложение о замене шлифования шестерён по наружному диаметру точением. Обеспечивая качество изделия, эта замена должна была предельно снизить трудоёмкость операции на каждой шестерне: вместо двадцати минут — две минуты! Для внедрения этого предложения не требовалось никаких затрат, никаких приспособлений.

Предложение Дмитриева «рассматривали» в отделах заводоуправления год и три месяца. Может быть, сие продолжалось бы и дальше, если бы не произошёл из ряда вон выходящий случай. 29 июня 1955 года «Вечерняя Москва» напечатала статью о производственных достижениях рабочих МСЗ, в том числе и Дмитриева. Газета сообщила о вышеназванном предложении Дмитриева, как о якобы уже внедрённом в производство. Работники отдела главного технолога немедленно «исправили» невольную ошибку газеты: 30 июня они изменили одну строчку в технологии шестерни и этим... внедрили предложение, сразу снизив трудоёмкость операции в десять раз. Можешь быть уверенным, читатель, что они не поторопились сообщить в газету своё канцелярское достижение: внедрение предложения в несколько минут вместо пятнадцати месяцев...

Дмитриев вспоминает те кажущиеся далёкими годы, когда по заводу гремела слава Быкова, зарождалась его собственная, дмитриевская, слава и слава других новаторов МСЗ. Дмитриев помнит, что тогда секретарь партбюро, директор, предзавкома, главный инженер непрестанно приходили в цехи, сами давали задания и подхватывали любое начинание и предложение новаторов.

— Что же случилось? В чём дело?

— Не знаю,— недоуменно отвечает нам знатный скоростник,— тогда была война, нужно было...

Дмитриев не отделяет послевоенную пятилетку от времени войны, вероятно, потому, что и в послевоенные годы на заводе царил творческий подъём. Ему ясно одно: рационализаторская работа теперь, как видно, не в чести, он сам бросил «это дело» и не удивляется тому, что другие бросили.

А нам ясно и другое: разговоры руководителей завода о техническом прогрессе — пустые слова, поскольку на МСЗ так относятся к новаторству рабочих и мастеров. Пропали и следы былой творческой атмосферы. Чиновничьи подсчёты числа предложений, «работа» с рационализаторами по методу штурма, полная безответственность по отношению к внедрению предложений и даже к их рассмотрению — вот картина, которую руководителям завода, большим и малым, простить нельзя. Не имеем права!

Это к вам относятся в первую очередь, товарищи Мямлин и Гришин. Люди вкладывают в изобретение или усовершенствование силы, ум, сердце, вдохновение, а что встречают они? В БРИЗе завода числятся за леж и нереализованных предложений, начиная с 1952 года, с этикетками: «на заключении», «на разработке», «на подсчёте», «на оформлении». В 1955 году не выпущен и отсутствует в цехах «темник» для направления работы рационализаторов. Давно и точно проверено опытом, что внедрение одного рабочего предложения рождает (как по цепной реакции!) десяток новых. А бюрократическая волынка с одним рабочим предложением отбивает охоту «заниматься этим делом» у десятков людей. Руководители МСЗ гробят неисчислимо богатство рабочего творчества, инициативы, смекалки.

Не только к техническому творчеству рабочих, но и к собственному инженерному творчеству руководители завода относятся с пренебрежением. Мы уже видели, что сделали они с организационно-техническими мерами «по потоку», утверждёнными директором и главным инженером.

Из сорока одного оргтехмероприятия по второму механическому цеху, которые должны быть выполнены в первом полугодии, завершено шесть, частично выполнено десять. Остальные двадцать пять «переброшены» на вторую половину 1955 года.

Центробежная отливка вкладышей, сулящая заводу большую экономию дорогостоящей и дефицитной бронзы, из года в год кочует из одного плана в другой.

Годами не выполняются требования работников узловой сборки по изготовлению ванн для подогрева, разсалки и промывки узлов. Годами еборщики не могут добиться изготовления примитивных пирамид для хранения шпинделей, и микронной точности шпиндели валяются на полу, среди хлама и грязи. Это — дело обычное! В том же цехе узловой сборки валяются 70 статоров, стоящих десятки тысяч рублей. В них обнаружены незначительные дефекты. На исправление каждого из них требуется 20—30 минут. Но статоры (то есть в конечном счёте 70 станков) не бракуются и не исправляются. Ты хочешь знать, читатель, сколько времени эти статоры пребывают у стены цеха в таком состоянии? Узнай: два года.

Канительная это штука — технический прогресс. Возиться надо, добиваться, беспокоиться. Вот в 1953 году газета «Станкостроитель» опубликовала статью старшего мастера сборки № 1 Г. И. Кирюхина, побывавшего на Харьковском станкостроительном заводе. Г. Кирюхин рассказал о ценном опыте харьковских станкостроителей, которые производят покраску станка не в четыре дня, как на МСЗ, а за четыре часа. Он рассказал также о действующем в литейном цехе харьковчан несложном, но очень эффективном конвейере. Мало того, Г. Кирюхин привёз с собой подробный технологический процесс покраски, привёз чертежи

литейного конвейера. Бери и осуществляй! Нет. В план МСЗ эти «мероприятия» внесли, но за выполнение их не брались. Сколько времени не брались? Два года.

В социалистическом обязательстве завода был такой пункт: «Расширить применение скоростного и силового резания металла». На скольких станках? На каких станках? Нет, это не пункт, а отписка, дань времени. Нас, мол, и так знают: как пионеров скоростного резания...

Кстати, о пионерах-скоростниках, а также о скорости резания металла на заводе. Поразительный факт! Павел Быков дал мировой рекорд скорости резания — 3 200 метров в минуту в сочетании с рациональной подачей и глубиной резания. Отдельные токари, например, Дмитриев, Фомичёв, Сизов, Александров, Бирюков, Балаев, не уступают Быкову в умении максимально использовать всю мощность своих станков, все их возможности. Средняя скорость Павла Быкова за многие годы — пятьсот — шестисот метров в минуту. Какова же сегодня средняя скорость резания металла на Московском станкостроительном заводе? Не так давно на большом собрании Пётр Семёнович Бобров объявил эту цифру: сто пятьдесят метров в минуту.

Следовательно, подавляющее число рабочих МСЗ не работает по-быковски. Высокое достижение замечательного скоростника не сумели сделать массовым. Юрий Дмитриев даёт ежедневно по 350 процентов нормы, ряд токарей подходит к этому уровню, но широкого фронта повышенных скоростей резания металла на заводе нет. Цифра, названная товарищем Бобровым, как зеркало, отражает систему отношения к техническому прогрессу на МСЗ. Это ещё и отражение штурмовщины. Кропотливой — напористой, но регулярной — деятельности, направленной на внедрение в массовом масштабе опыта и достижений своих же новаторов и рекордсменов, завод не знает. Вот пошуметь вокруг рекорда — это да!

Ярчайшей иллюстрацией всему этому служит невероятное, опять-таки анекдотическое, происшествие, рассказанное нам Павлом Борисовичем Быковым. Печальный смысл этого происшествия тебе, читатель, будет ясен без комментариев.

П. Б. Быков совместно с учёными одним из первых стал работать над внедрением в производство минерало-керамических пластинок для режущих инструментов. Эти пластинки во много раз дешевле твердосплавных и вместе с тем таят в себе исключительные возможности повышения скорости резания металлов. Именно резцами, оснащёнными минерало-керамическими пластинами, Быков достиг рекордной скорости резания.

Быков наряду с основной производственной работой с увлечением занимался опытами над керамическими пластинками. Опыты нужно было организовать по-научному, широко, тщательно, на долгий срок, по-настоящему. И Быков предложил дирекции МСЗ поставить на их освоение технолога и двух-трёх токарей, дать им средний заработок, окружить вниманием. — Пусть доводят до конца превосходное дело!

Ни дирекция МСЗ, ни министерство на это не пошли. Кропотливой работе по освоению пластин они предпочли широкую демонстрацию первых успехов П. Б. Быкова. Он был командирован на заводы Москвы, Ленинграда, Рязани, Уфы, Тбилиси, Еревана для показа работы резцами, оснащёнными керамическими пластинами. Читал он лекцию и демонстрировал свою работу с пластинами, в частности, и на Московском заводе имени М. И. Калинина. Вернувшись к станку, Быков продолжал работу... победитовыми резцами.

К тому времени, когда на МСЗ о минерало-керамических пластинках основательно позабыли («Дело, как у нас водится, заглохло», — говорит Быков), случилось следующее. Дирекция завода имени Калинина, по достоинству оценив возможности применения керамических пластин, взяла

на себя задачу их освоения и внедрения в производство. У неё нашлись средства, чтобы платить средний заработок трём токарям, им дали достаточное время для изысканий и опытов. В результате этого завод имени Калинина добился больших успехов в применении пластин в деле повышенной скорости резания металла.

Это стало известно многим рабочим МСЗ, которые, конечно, не знали о том, что работа по освоению керамических пластин на заводе имени Калинина началась после лекции П. Б. Быкова, устроенной в порядке обмена опытом. В июле 1955 года на партийно-хозяйственном активе МСЗ выступили эти товарищи, говоря: хорошо бы поучиться у калининцев, пусть передадут нам опыт!

И в решении актива появился пункт, гласящий, что актив просит дирекцию МСЗ командировать на Московский завод имени Калинина нескольких рабочих МСЗ, в том числе и П. Б. Быкова, перенимать опыт по скоростному резанию металла минерало-керамическими пластинками.

Комментарии, повторям, излишни. Не так ли?

Канительное дело — обмен опытом. Во-первых, нужно обмениваться им в пределах самого завода. Что делается в этом направлении на МСЗ?

«Комсомольцы завода шлифовальных станков проявили инициативу. Они решили организовать школы передового опыта. Это помогло бы распространить среди всех рабочих методы труда новаторов производства. И, как ни странно, партийная организация и дирекция на деле не поддержали предложения комсомольцев».

Это абзац из выступления секретаря Октябрьского райкома ВЛКСМ товарища Фалина на собрании партийного актива района...

Во-вторых, нужно обмениваться опытом между заводами. В этом кровно заинтересованы и МСЗ, и главк, и министерство. Парадная сторона такого обмена поставлена у МСЗ и главка отлично. А что творится по существу?.. Тут выходит на сцену третий анекдотический случай, не менее прискорбный, чем два других.

Когда П. Быков поехал к своим друзьям, рабочим Германской Демократической Республики, он захватил с собой несколько оригинальных державок для крепления режущих пластинок. Показав свои достижения, Павел Борисович подарил одну державку лучшему токаря немецкого завода.

— Как? Бесплатно? И... без патента? — удивились немецкие товарищи.

— Да, — спокойно ответил Быков, — от гражданина СССР.

Прошло время, и один из лучших немецких скоростников приехал в СССР и на заводе «Красный пролетарий» демонстрировал свои успехи. В работе он применял оригинальную державку. Державка настолько понравилась краснопролетарцам, что они сняли с неё чертежи, да ещё в газету написали: вот, дескать!

Это была державка, подаренная Быковым. К сему остаётся добавить, что и МСЗ и «Красный пролетарий» входят в один главк, в одно министерство...

Плоды всего, что здесь сообщено, очень горьки для МСЗ.

Если подсчитать ущерб, причинённый заводу. — а тем самым и стране — отвратительной постановкой работы с изобретателями и рационализаторами на МСЗ; невниманием и равнодушием к ним; штурмовщиной; отсутствием подлинного обмена опытом; отсутствием широкой и каждодневной мобилизации людских талантов; пренебрежением к масштабной и вместе с тем регулярной работе по внедрению технических и организационных усовершенствований; крохоборческим отношением к техническому прогрессу и многим другим, о чём здесь рассказано, — получится огромная сумма. Начнёшь её высчитывать — косяшек не хватит на счетах...

План, заданный МСЗ министерством, выполняется. А сколько планов угроблено? Сколько денег и материальных ценностей утрачено? И уже никакими деньгами не определишь травму, причинённую сотням талантливых людей, отдавших разум, сердце и вдохновение рационализаторской работе и в ответ на это казнимых равнодушием.

Простить нанесение такого ущерба нельзя. Не имеем права!

6. Цена минуты

Организация производства, исключая штурмовщину, исключая потери рабочего времени,— великое дело...

На знаменитой тумбочке Павла Быкова висит большой, амбарного типа, замок «с секретом». Висит он давно, висит и сегодня. Когда Быкова спрашивают, каковы главные секреты его производительности, он, шутя, указывает на тумбочку у станка.

— Здесь,— говорит начальник цеха Владимир Яковлевич Буров,— хранится половина инструментально-раздаточной кладовой, именуемой в просторечии ИРК. У Быкова есть всё необходимое для работы, и всё в образцовом порядке. Не глядя, может он достать из тумбочки любой нужный ему резец своей, быковской, заточки.

На тумбочках других рабочих тоже висят замки, не всегда «с секретом», но солидные.

В чём дело? Не является ли это результатом какой-либо организационной неполадки или беды? Бесспорно, так.

Немыслимо, чтобы в каждой из тумбочек была «половина ИРК». Дело заключается не в одной или нескольких тумбочках, а в бесперебойном снабжении всех рабочих постоянным личным инструментом: в необходимом количестве для тумбочек и в любом количестве для той работы, для которой нужен специальный инструмент. Нельзя не помнить, что не все рабочие, особенно низших разрядов, могут придать резцу выработанную в содружестве теории и практики высокопроизводительную геометрию; что фрезы, развёртки и протяжки затачиваются на специальных станках. Значит, почти весь режущий инструмент должен проходить через ИРК и централизованную заточку завода.

Проблема заключается в ИРК, в инструментально-раздаточной кладовой,— «общецеховой тумбочке», в которой каждый рабочий мог бы получать нужный инструмент, тоже не глядя, не теряя времени, не стараясь втиснуть побольше инструментов в свою личную тумбочку. Ведь есть на свете и такое понятие, как «затоваривание» инструмента...

ИРК цеха не стала тумбочкой всех рабочих. О работе ИРК этого цеха лучше других может судить председатель цехкома Николай Андреевич Маркин. Николай Андреевич работает в ИРК слесарем седьмого разряда по ремонту инструмента и изо дня в день видит непроизводительные затраты времени рабочими.

— Приспособления в ИРК не могут разыскать сами её работники. Их разыскивают производственные мастера и рабочие, отрываясь от своего прямого дела. Специальные мерительные инструменты приходится искать по часу-полтора: то они взяты в другой цех, то находятся на перепроверке. За обычным инструментом рабочий вынужден раза два-три в день ходить в ИРК и терять на это минут десять каждый раз, а то и больше...

По скромным подсчётам Николая Андреевича все рабочие цеха теряют в ИРК в среднем по двадцать — тридцать минут рабочего времени ежедневно. Если помножить это число на количество рабочих в цехе, получается цифра, означающая, что более десяти рабочих полную смену проводят у окошка ИРК. Значит, теряется для производства время полных десяти людских рабочих дней — каждый день!

А умельцы завода давно и точно подсчитали, что если бы каждый рабочий завода ежедневно в течение года сберегал по одной (одной!) минуте рабочего времени, то это дало бы стране дополнительно четыре станка «372-Б» (модель серийного станка МСЗ).

Вот она — цена минуты! Подсчитай, читатель, огромную сумму станков, недоданных заводом Родине, и сообрази после этого, насколько занижен план, выполняемый заводом.

Товарищ Маркин говорит об этом так:

— Если ликвидировать потери времени у нас на заводе, мы без всяких технических нововведений дадим полторы программы!

По официальной фотографии рабочего дня, проведённой отделом труда и зарплаты МСЗ в начале июня 1955 года, «организационные» потери времени рабочих в механическом цехе № 2 составили 9,5 процента, потери самих рабочих — 9 процентов. Итого потеря — 18,5 процента, почти одна пятая часть всего рабочего времени всех рабочих! Тут и потери по вине ИРК и большие потери из-за недостатка работы, особенно в первой половине каждого месяца.

— Можно ли сократить потери рабочего производственного времени, создающиеся из-за не порядков в «цеховой тумбочке» — в ИРК? — с таким вопросом обратились мы к начальнику цеха В. Я. Бурову и к тому же товарищу Маркину.

— Можно, — ответили они, зная опыт разных заводов по борьбе с потерями времени, в том числе и опыт... своего завода, именуемого МСЗ.

— Как же это сделать?

— Хотя бы так, — сказали они, — добавить в штат ИРК двух комплектовщиц.

Неожиданно просто, дорогой читатель? Вызывает сомнение? Давай вникнем в суть этого простого выхода, являющегося на МСЗ очень сложной финансово-бюрократической проблемой.

Цеховые комплектовщицы успевают за смену подготовить инструмент и приспособления по сменно-суточному заданию каждого рабочего и по-стаслять их на рабочие места, помогают поддерживать порядок в ИРК. Роль комплектовщиц в обеспечении ровного ритма работы цеха велика.

Товарищ Маркин и товарищ Буров буквально с восторгом вспоминают о том периоде, когда в штате цеха такие комплектовщицы значились в должном количестве. В те времена на тумбочке каждого рабочего была стоечка с красным шаром. Понадобилось что-либо рабочему, — он щёлкает кнопкой на стоечке, поднимается на стержне красный шар. Через несколько минут появится комплектовщица.

.. — Что нужно?

— Через полчаса мне понадобится такая-то развёртка, такое-то приспособление, а вот этот резец надо переточить.

Можно спокойно работать дальше. Отрываться на бегодную в ИРК не надо. И особенно важно вот что: не прерывается душевное упоение и е станочника своей работой.

Знаете ли вы, что такое душевное упоение токаря своей работой?

Когда мы спросили В. Я. Бурува, как работает Юрий Дмитриев, он долго думал, а потом уверенно произнёс два слова, в которых заключалось самое верное, самое точное определение:

— Красиво работает!

Да, Юрий Дмитриев работает красиво. Ровный ритм, уверенность, красота и предельная целесообразность каждого движения, полное подчинение могущества умницы-станка своей воле. Рука токаря действует сама по себе, одним, единственно правильным движением, выверенным длительным опытом. Великолепно сделанные, зеркального блеска детали с конвейерной точностью сходят со станка.

Но самое красивое в токаре Дмитриеве во время работы — это его лицо и глаза. Они выражают радость существования на земле, гордость своим жизненным предназначением, вдохновение создателя-художника, реализующего идею конструктора в металле, упоение процессом работы, чувство власти над станком, счастье хозяина страны.

Какими деньгами можно возместить потерю этого творческого состояния, когда приходится прерывать работу, чтобы бежать в ИРК, долго возиться там с разыскиванием инструмента или приспособления, ругаться с кладовщицами, тоскуя о потере времени, об оставленном, остановленном станке? Какую травму приносит это рабочему, притом приносит часто, регулярно, при нынешних порядках на МСЗ «неотвратимо»! Много времени требуется, чтобы после путешествия в ИРК возобновилось прерванное творческое самочувствие...

Попробуйте сравнить сумму ежемесячного заработка двух комплектовщиц с суммой стоимости ежемесячных потерь рабочего времени в цехе, названной товарищем Маркиным. Что обойдётся заводу дешевле? Но тут выступает на сцену финансовый гений отдела труда МСЗ. Добавить штат? Ни в коем случае! Мне, отделу МСЗ, неинтересны разговоры о стоимости потерь и, тем более, о каком-то не касающемся нас творческом упоении рабочего. Не хочу ничего ни с чем сравнивать. Единица в штате — расход!

И вместо ликвидации потерь отдел труда МСЗ ликвидировал комплектовщиц. Добавление числа комплектовщиц не единственная форма борьбы с потерями рабочего времени на МСЗ, но и о ней не мешает подумать.

Огромна стоимость минут рабочего времени, теряемых на МСЗ, огромны эти потери. Всё это результат того, что штурмовщина пронизала все стороны работы завода.

Что и говорить, такая школа!

7. Микроны точности. Тонны грязи

Пройдёмся по цехам МСЗ. Представь себе, читатель, что теперь начало месяца — ну, скажем, конец первой декады. Значит, в сборочном цехе просторно, ни в одном цехе нет аврала. Можно, не торопясь и никому не мешая, разглядеть то, что находится у нас под ногами и вокруг нас, на станках и в пролётах цехов.

На крыши некоторых цехов долго смотреть не приходится: с первого взгляда видно, что они протекают. Рабочие рассказывали нам, какие «приспособления» придумывают они для того, чтобы защитить станки и готовые изделия от струй воды, порой обрушивающейся с крыш. К тому же долго на крыши глядеть опасно: можно поскользнуться, и это грозит человеку большой бедой.

А поскользнуться в цехах МСЗ нетрудно, даже если ты, медленно шествуя, не глядишь на крышу, а внимательно рассматриваешь пол. Грязь на полу невероятная.

В большинстве цехов пол асфальтовый. Впрочем, трудно назвать асфальтом ту жижу, по которой идёшь. Асфальт стал мягким, масло, керосин и эмульсия всосались в него, смешались с ним. Нога вязнет, ходить нелегко, как в осеннюю распутицу на немощёной дороге... А сердцу горько, больно, обидно.

Мы находимся в механическом цехе. К окошку инструментально-раздаточной кладовой совершают паломничество станочники, в пролётах цеха то с одной, то с другой стороны появляются мастера сборочных цехов, спешащие «выбивать» дефицитные детали, рабочие, стоящие у станков, сосредоточенно трудятся, производя микронной точности детали...

Но что творится вокруг них? Изю всех углов, из-за станков, из-под тумбочек нагло выглядывают ленивый Хлам и въедливая Грязь...

Была у нас большая и памятная беседа с начальником цеха В. Я. Бу-ровым, опытным и умным руководителем. Когда речь коснулась грязи в цехах, Буров горестно вздохнул.

— Сотни раз говорили о том, что пол является рассадником грязи. Сотни решений выносили. И ничего не изменилось. Есть у нас «опытный» ксилолитовый участок пола. Вы сами его не найдёте, если я не укажу его границы. Завален, запакощен. Утром расчищу — к вечеру он опять исчезнет. Уборщиц только две. Резание скоростное, а уборка — дело длительное! Грязи — тонны, хлама — горы. В метро окурков не бросишь, на пол не плюнешь, а тут... — И Буров безнадежно махнул рукой.

В сборочном цехе не асфальт, а деревянные шашки. Но и они утрамбованы слоем грязи. Безотрадная картина!

Да, на переделку пола нужны капитальные затраты. Но не совершить их — недозволительно, недопустимо. Без этого слова о культуре производства — прямое издевательство. А эти слова кое-кем на МСЗ произносятся часто.

Недавно Пётр Семёнович Бобров резко поставил перед Главстанко-промом вопрос о замене пола, процитировав при этом лозунг о несовместимости микронов точности и тонн грязи. Главк дал указание составить смету на переделку пола, нашлись средства, нашёлся и завод, вырабатывающий деревянные шашки для полов.

Обещание главком дано. Следует зорко следить за его выполнением. Необходимо изъять рассадник грязи на МСЗ. Нужно ликвидировать грязь на заводе. Это — дело чести заводского коллектива.

Если будет сделан новый пол и будет организована его систематическая уборка, это избавит руководителей МСЗ от необходимости глядеть себе под ноги, идя по цехам, авось они сумеют тогда взглянуть и на крыши цехов.

8. Люди завода — его сила

Не десятки, а сотни людей завода работают на нём десять, двенадцать, шестнадцать, двадцать пять лет. Это крепкий массив, могучий коллектив, каждый человек которого имеет свои заслуги перед заводом и советской индустрией. Мы назвали только несколько имён (Быков, Буров, Шишков, Гаврилова, Маркин, Кирюхин, Родионов, Дмитриев, Панин, Балаев, Пётр Фёдоров, Арефьев, Фомичёв, Сизов, Александров) и, честно говоря, очень горюем, что не можем в этом очерке рассказать биографии каждого из них.

Все они — но не только они — писали и пишут биографию завода, именуемого МСЗ. Вот шлифовщик Алексей Якимов, бывший знатным стахановцем ещё в ту пору, когда Павел Быков был «начинающим»¹. Природная одарённость, любознательность и настойчивость помогли Якимову разработать технологию шлифования направляющих станин. Десятки процентов тяжёлых шабровочных работ заменены им точной, иногда даже прецизионной (сверхточной) шлифовкой.

¹ Думается нам, что именно «на этом месте» следует сообщить тебе, читатель, как работает П. Б. Быков сегодня. Его часто отрывают от станка поездки в другие города и страны. Нередко предлагалось ему перейти на другую работу, оставить цех, станок... Однако он всегда отвечал категорическим отказом. Профессия токаря — его призвание, любовь и радость. Он строит широкие планы производственной и новаторской деятельности на родном заводе, на МСЗ. Особо надо отметить, что, как только Павел Борисович возвращается к станку, он в тот же день во много раз «перекрывает» самые высокие нормы выработки. Над всем этим, по нашему глубокому убеждению, стоит задуматься, чтобы всеми силами и мерами поддержать и развить эту линию его жизни...

Вот строгальщик Файзурахман Якубов, «старшина» строгальщиков завода, обучивший свыше двадцати учеников. В 1950 году Якубов занял первое место во Всесоюзном соревновании по профессиям. В следующем году первое место занял его ученик, комсомолец Бороздин. Вот карусельщик Николай Сергеевич Батов, рабочие и мастера Яшкин, Липкин, Королёв, Жильцов, Спиридонов, Царёв, литейщики Титков, Нефёдов, Паршиков. Золотые руки, светлые умы, широкий замах!

Люди завода из года в год накапливают умение, опыт, новые знания. Творческая энергия коллектива неисчерпаема. Но непланомерная работа завода, устаревшие формы организации производства, косность и зазнайство некоторых руководителей сковывают силы коллектива. К тому же перед подавляющим большинством работников МСЗ очень остро стоит вопрос об учёбе.

В среде конструкторов МСЗ дипломированных инженеров и техников только половина; среди работников отдела главного технолога их одна треть; в числе цеховых инженерно-технических работников (ИТР) дипломированных инженеров и техников — только десять процентов. Только десять процентов из ста!

Типичной для кадровых производственников ИТР является биография старшего мастера участка Наума Хацкелевича Шишкова. На заводе он двадцать пять лет. Работал чернорабочим, токарем, нормировщиком, технологом и уже девятнадцать лет — старший мастер. Окончил курсы нормировщиков, мастеров, учился в партийных кружках. Шишков во многом способствовал успехам других рабочих. В составе «комплексной бригады» участвовал в разработке новых технологических процессов. И вот в возрасте 47 лет Шишков пошёл в седьмой класс вечерней школы и закончил его успешно в этом году. Но в заводской вечерний техникум он уже не пошёл: возраст, велика производственная нагрузка, семья, дети учатся и т. д. Оставили мысли о техникуме и богатый опытом старший мастер генеральной сборки Г. И. Кирюхин и старший мастер и секретарь партийной организации цеха узлов сборки П. С. Панин, двадцать два года проработавший на заводе; оставили мысли о техникуме и другие. Только отдельные кадровики, такие, как начальник инструментального цеха Бобченко и заместитель начальника сборочного цеха Бочаров, нашли в себе мужество на пятом десятке лет пойти учиться в техникум «вместе с девчонками». Но какие поистине героические усилия потребуются от них, чтобы в течение пяти лет совмещать сложную и тяжёлую производственную работу с не менее сложной и трудной учёбой, прежде чем стать д и я л о м и р о в а н н ы м и техниками! Мы подчёркиваем «дипломированными» потому, что это имеет значение не только по существу завершённого комплекса образования, но и по формальному положению, перспективам и моральному состоянию людей.

Практики — конструкторы, мастера, технологи, — сильные своим опытом, сознают явную недостаточность своих знаний на новом этапе технического прогресса. К этому грустному для каждого советского человека сознанию примешивается горькое чувство своей личной бесперспективности как ведущего специалиста в любимом деле. Парадоксально, но эти настроения в среде практиков посеяны правильной установкой:

— Все ИТР должны быть дипломированными!

У нас действует широкая сеть дневных, вечерних и заочных институтов и техникумов. Но большинство практиков (а их много!), десятки лет проработавших на производстве, по выполняемой работе и возрасту не в состоянии воспользоваться этой возможностью. Не только десятилетиями своей славной работы эти люди заслуживают специального подхода в деле завершения их образования, но и потому, что они являются огромным резервом великолепных техников, которые смогут с новой силой двигать вперёд производство.

Руководители завода и отдел кадров свою верную установку — «все ИТР должны быть дипломированными» — понимают узко и удобно для себя: придут дипломированные и заменят практиков. На самом деле нужна не замена практиков, а их обучение на специальных курсах техникумов, учитывающих их опыт и возраст. На заводе имени Войкова Министерства строительных материалов такой курс техникума создан: кадровики учатся там два с половиной года без отрыва от производства и полгода с освобождением от работы и сохранением среднего заработка.

В. Я. Буров сообщил нам, что после многократных сокращений штата в министерствах н и о д и н дипломированный техник или инженер «не дошёл» до МСЗ — не торопятся на производство эти товарищи! Надо готовить своих дипломантов, и сделать это можно, в том числе из практиков.

Нет, не обречены практики на уход с завода, на автоматическую замену их присланными дипломированными инженерами и техниками, которым на заводе — честь и место! Практики сами могут стать дипломированными, и нужно звать их к этому, оказать им в этом всяческую помощь.

Но весь коллектив завода в целом (и дипломированные и недипломированные) должен приложить все усилия, чтобы не только организовать учёбу, но и создать ту творческую атмосферу в работе, исканиях, новаторстве, которая даст возможность каждому работнику МСЗ выявить и вложить в дело все способности, всё вдохновение, всё умение.

У каждого человека есть свой характер. Есть он и у заводского коллектива.

Характер коллектива — это не механическое соединение, а сложный сплав характеров и стремлений людей, его составляющих. Характер коллектива вырабатывается в работе, в разработке нового, увеличивающего людской опыт и знания, в борьбе с трудностями и недостатками, в исканиях и творчестве. На характер коллектива оказывают влияние характеры людей, которые им руководят: их безволие или воля, могучий равномерный напор или благодушное плавание по течению, искания или бездумье, страстность или равнодушие, непримиримость к плохому или безразличие к его искоренению. На характер коллектива можно влиять, его переделывать или ломать, улучшать, совершенствовать, воспитывать. Это трудная и кропотливая будничная благородная работа, включающая в себя воспитание отдельного человека и людских масс, поддержку всего передового и новаторского, что есть в каждом человеке и в массе людей, борьбу против страшной силы иных привычек, подчас одолеваящих коллектив.

У коллектива МСЗ — сильная воля, огромное рвение к работе. Но это рвение и воля ещё не охватили всех сторон производственной жизни завода. Нет на заводе равномерного напора в улучшении всех сторон его производственной и общественной жизни. На коллектив сильно действует штурмовщина. Она не коренится, конечно, в его психологии, она навязана ему немудрой политикой и организационной неумелостью и безрукостью некоторых товарищей, но она очень влияет на характер отдельных людей и частей коллектива. Коллектив борется с недостатками, он жаждет их искоренения, но нет на заводе всеобщей страстной непримиримости к недостаткам, большим и малым, той непримиримости, которая должна проявляться всюду и всегда, той непримиримости к злу любой величины, без которой невозможна победа.

Крепок заводской коллектив МСЗ. Ему под силу справиться с любым заданием, преодолеть любые препятствия. На заводе много замечательных людей, оказывающих огромное влияние и на производственную жизнь предприятия и на характер его коллектива. Есть они и среди руководителей.

Расскажем о работе одного из них.

9. Начальник литейного цеха Георгий Фёдоров

Он мечтал о партийной работе, этот тридцатилетний человек богатырского телосложения, человек с острым взглядом, пухлыми добрыми губами и резко очерченным волевым подбородком. Ему казалось, что окончание технической школы и двух совпартшкол, пребывание в течение девяти лет боцманом во флоте и двухлетнее секретарствование в заводском комитете комсомола являются лишь прологом к деятельности «чисто по партийной линии». Эта деятельность влекла его к себе своим содержанием и масштабом; в ней видел он своё жизненное предназначение.

Став бригадиром, а затем начальником модельного цеха, Фёдоров говорил о том, что сия административная «карьеря» отдаляет его от желанной цели. Думалось ему, что на партийной работе он развернулся бы гораздо шире, дав полный простор бушевавшему в нём вдохновению.

Однако произошло нечто неожиданное для него самого. Налаживая работу модельного цеха, завоевавшего под его руководством переходящее красное знамя, Фёдоров заметил, что почти невозможно отделить административную и производственную деятельность начальника цеха Фёдорова от работы члена цехового и заводского коллектива коммуниста Фёдорова. Приказ начальника цеха активизировал партработу, а мероприятия цеховой партийной организации, в выработке которых он тоже принимал участие, помогали деятельности начальника цеха. Получалось так, что он всегда действовал как коммунист, соединяющий в себе производственное умение, административную распорядительность и отношение партработника к любой, даже самой маленькой, части порученного ему дела. Он в полной мере ощутил п а р т и й н ы й с м ы с л своей производственной и административной работы.

Ощущение партийной направленности любого проводимого в модельном цехе мероприятия вооружило Фёдорова превосходным творческим самочувствием. Однако мечта быть партработником всё-таки в нём жила. Вот почему немедленным отказом встретил он предложение стать начальником литейного цеха. Впрочем, надо сказать, что была ещё одна солидная причина для его противодействия такому назначению.

Фёдорова не очень пугало то обстоятельство, что работа в литейном цехе была трудной, «грязной», что дисциплина в нём была расшатана, что цех давал очень много брака, что он считался источником главных помех в работе завода. Ну что ж? Трудности существуют, чтобы их преодолеть! Чем больше препятствий сломишь, тем почётнее победа. Фёдорова смущала... доля многих сменившихся начальников литейного цеха, редко задерживавшихся на этом посту более чем на полгода. «Технология» их пребывания в литейном цехе была точно отработана. В первый месяц нового начальника литейки «не трогали», но уже с начала второго месяца один выговор следовал за другим, а затем к нему применялась «решительная» мера, не требующая особого труда и кропотливого старания: его снимали. Несмотря на то, что все знали, какой помехой являлся для завода литейный цех, он не был в центре внимания директора завода и секретаря партбюро. Непрерывно ругать литейный цех было легче, чем каждодневно руководить им, помогать ему.

Тревога Фёдорова была обоснованной: не было никаких гарантий, что его не постигнёт такая же судьба. Отказываясь от нового назначения, он ссылаясь на отсутствие инженерского образования, на слабое здоровье, на «то и сё». Однако в его голосе не было достаточной твёрдости. Во-первых, он изрядно увлекался литейным делом и на заводских собраниях неоднократно выступал с резкой критикой порядков в литейном цехе и системы «руководства» им. Во-вторых, он не только разумом понимал, но и сердцем чувствовал справедливость заводского крылатого слова: «Модельщик — на 70 процентов литейщик». Но главное заключалось в том,

что его партийная совесть не давала ему покоя, неустанно напоминая великий завет: коммунист должен быть там, где всего труднее...

Фёдоров согласился стать начальником литейного цеха, приняв к сведению заявление директора завода Н. М. Мямлина, что тот «будет помогать литейке и днём и ночью».

Точно определив и чётко зафиксировав соответствующими требованиями те мероприятия, которые должны были быть проведены в помощь литейке дирекцией, отделами заводоуправления и другими цехами, он погрузился в стихию тех будничных дел, которые надо было выправить и без помощи извне, своими силами и силами цехового коллектива.

Положение было очень серьёзным. В цехе отсутствовала минимальная степень организации труда; командный состав цеха сжился с недостатками, равняясь по унылой формуле, имевшей хождение в литейке много лет: «Всегда не выполняли и будем не выполнять»; мастера превратились в подсобных рабочих; вместо того чтобы учить людей, требовать выполнения плана и качества продукции, вместо организации работы других они занимались перетаскиванием опок, стержней и прочими делами, не имевшими никакого отношения к подлинным обязанностям мастера; брак был огромен; технология запущена; дисциплина хромала.

Что же стал делать начальник цеха коммунист Георгий Алексеевич Фёдоров? Взял волшебную палочку, и многое изменилось? Представьте себе, да, именно так. Условимся только о том, что считать волшебством и что называть палочкой. Волшебной силой обладают права начальника, если ими правильно и по назначению пользоваться, умение руководителя разглядеть главное и неглавное, установить очерёдность мероприятий или их одновременность, настойчивость в проведении своих требований, стремление поддержать всё новаторское и рациональное, хотя бы это касалось самых малых дел, нетерпимость к недостаткам любой величины и неугасимая любовь ко всему, что движет вперёд работу.

Волшебной палочкой (неизменно превращающейся в палку) на заводе шлифовальных станков было принято считать «распёк», разнос, головомойку, непрерывные упреки и обидные сравнения люс выговор, строгий выговор, увольнение, снятие с работы. А ведь прикосновением волшебной палочки может являться и слово похвалы, лёгкое пожатие руки товарища, выражающее молчаливое одобрение, разъяснение сути операции, разъяснение смысла совершённой кем-либо ошибки, личный пример, показ.

Мы знаем, что описание деятельности начальника цеха Фёдорова будет принято многими людьми с недоумением, разочарованием, усмешкой. Только и всего? Где же подвиг, феерия, сказочные чудеса? Но это те люди, которые в с а м и х с е б е не ощущают волшебную силу своих способностей, волшебную силу всего, что дала и даёт им советская власть и могучий коллектив. Эти люди не считают подвигом каждодневную труднейшую и благородную работу преобразователя цеха или завода, каждодневную будничную жесточайшую битву с косностью, привычкой, рутинной, ленью; они не называют чудом каждодневное накапливание перемен в чём-нибудь характере и в характере коллектива, в творческом самочувствии какого-либо станочника и всего коллектива; они не сочтут сумму таких чудес ни феерией, ни искусством. В любом слагаемом этой суммы они не видят поэзии организованного деяния и вдохновенного творчества начальника цеха как руководителя, администратора, вожака, агитатора, педагога. А видеть эту поэзию надо. Видеть и понимать.

Начальник цеха Фёдоров начал с того, что при содействии подчинённого ему коллектива очистил цех от всякого хлама и годами залежавшейся грязи. Были приведены в порядок все рабочие места, а затем (средствами приказа и разъяснения) было приковано внимание каждого ра-

бочего к постоянному, каждодневному сохранению чистоты. Нельзя сказать, что этим мероприятием цех вовсе избавился от грязи. При нынешнем состоянии технологии литья в цехе, при нынешней его структуре, при отсутствии хотя бы самого примитивного конвейерного процесса литья, а также при большом объёме ручных работ достигнуть полной чистоты в цехе немислимо. Однако после максимально возможного избавления площади цеха от лишнего, неизвестно зачем валявшихся опок и стержней, бракованного литья и каркасных рам «жить» стало в цехе значительно легче.

Фёдоров приступил к восстановлению «по заводскому уставу положенной» роли мастера в цехе. Эту задачу решал он несколькими путями, многими средствами. Во-первых, средствами наставника и агитатора. Он собрал мастеров, разъяснил им недопустимость такого положения, когда мастер выполняет роль подсобного рабочего, наметил с ними пути к восстановлению законной роли мастера на каждом участке. Во-вторых, средствами административной строгости. Один из мастеров, давно проявивший себя как никуда не годный работник, был, что называется, «с треском» выставлен из цеха. В-третьих, средствами внимательного друга и товарища. Старый мастер Белов, не справлявшийся с работой не потому, что он не старался её сделать, а по причине болезненного состояния, был переведён на лёгкую, доступную ему работу, не требующую физического напряжения. Когда некоторые товарищи выразили недоумение по этому поводу, Фёдоров сказал: «Белова обижать не дам. Это не такой человек, которого можно вовсе лишит работы, перевести на пенсию. Без работы он будет жестоко страдать, а быть очень даже полезным там, куда мы его определили, Белов, несомненно, в силах. Старый производственник! Наш давний товарищ!»

Далее Фёдоров приступил к улучшению организации работы цеховых технологов.

Ещё до прихода в цех коммунист Фёдоров, выступая на заводских собраниях, утверждал (как и многие другие), что технология в литейном цехе была отсталой и находилась в запущенном состоянии. С неопровержимой ясностью эта мысль подтверждалась цифрой брака в литье: 12—20 процентов! Одной из основных причин такого положения была плохая организация работы технологов цеха. Технологи — творцы технической политики — вместо совершенствования и отработки определённых технологических процессов литейного производства с о о б щ а занимались в с е м и операциями. Такая обезличка вела к совместному скольжению по поверхности многочисленных дел, к системе «латания дыр», к отсутствию личной ответственности за определённое дело.

Начальник цеха Фёдоров немедленно раскрепил технологов по участкам. Эта простая мера сразу повысила роль технологов в цехе и их ответственность за участок наряду с мастером. Они стали заниматься улучшением технологии на своём конкретном участке, изучать причины брака, совершенствовать конкретные операции, отвечать за конкретное дело. Эта «небольшая» перестройка (которую, однако, раньше никто не ввёл) уже дала результаты. Но главное её значение заключается в том, что она явилась затравкой для дальнейших мер по улучшению организации производства в литейке, одним из шагов вперёд в деле технического прогресса.

Мы могли бы перечислить ещё ряд мероприятий Фёдорова, с виду столь же «простых». Все они били в одну точку — продуманно, рассчитанно, снайперски. Все они кажутся «само собой разумеющимися», а вот — поди ж ты! — их «не догадывались» провести.

Получилось вот что. В былые времена литейка давала 180 тонн литья, затем стала давать 280, всегда с перебоями, всегда с невыполнением, с большим процентом брака. Получив план на выдачу с тех же площадей

360 тонн литья, цех в течение длительного срока этот план не выполнял. А в июне 1955 года литейный цех МСЗ дал 376 тонн годного литья.

Спрашивается в задаче: сколько времени понадобилось Фёдорову, чтобы системой простых мер добиться такого результата? Ответ будет ясен, если мы сообщим, что Георгий Фёдоров стал начальником литейного цеха в середине мая 1955 года. Простейшие правила арифметики непрерываемо свидетельствуют, что сей результат достигнут в полтора месяца. В июле литейный цех тоже перевыполнил план...

Секрет такого волшебства не будет полностью ясен, если не рассказать о работе Фёдорова с людьми, о его работе по выработке (и ломке) характера отдельных рабочих и всего коллектива литейщиков.

Дисциплина в цехе была очень низкой. Прогулы, раннее окончание работ и опоздания были обычным явлением. Приказы начальников (в том числе и приказы директора завода) выполнялись, по выражению Фёдорова, «с пятого на десятое». Иные рабочие устраивали из цеха «шалопавку» в самые горячие часы. Мастера и даже начальник цеха, если они призывали к порядку таких людей, легко могли нарваться не только на дерзкий ответ, но и на ругань. Случаи легкомысленного отношения к распоряжениям и указаниям мастеров и начальника цеха нередко отмечались и в среде хороших рабочих; напомним, что мастера, превратившись по существу в подсобных рабочих, утратили позиции руководителей, не проявляли должной требовательности. Не было в цехе атмосферы нетерпимости к недостаткам, в силу чего иные «заводилы» недисциплинированности и грубости были особенно опасными для коллектива литейщиков, в целом здорового и крепкого, но не ощущавшего ясной и целенаправленной воли руководства цеха.

Уволить десяток людей было нетрудно, тем более, что некоторые из них сами напрашивались на это: «Не нравлюсь? Отпусти! Буду рад...» Фёдоров не пошёл таким путём, прекрасно понимая, что гораздо большее значение для воспитания коллектива будет иметь превращение таких «заводил» в дисциплинированных работников. Надо было сломить их характер, и Фёдоров взялся за это.

Ломать характер человека или коллектива, тем самым воспитывая человека или коллектив, можно разными способами. Мы приведём три случая из практики Фёдорова, весьма, как нам кажется, колоритных и показательных.

Понадобилась в цехе очередная футеровка вагранки. Нужно было внутри вагранки (при температуре 60—90 градусов) восстановить огнеупорный слой кирпича. Рабочий, который обычно это делал, ушёл в отпуск, а ремонт необходимо было произвести немедленно.

Зная, что литейщик Афонин работал в своё время вагранщиком и, несомненно, знаком с процессом футеровки, Фёдоров приказал ему завтра, с начала утренней смены, произвести ремонт вагранки. С грустью почувствовал Фёдоров, что его приказ, хотя и отданный деловитым, спокойным тоном, не произвёл на литейщика никакого впечатления. Но Георгий Алексеевич этому не удивился. Дисциплина была так расшатана, работа с людьми настолько запущена, что некоторые рабочие потеряли ощущение того, что любое дело в литейном цехе, тем более срочное, — это их дело, своё, родное, кровное...

Хмуро оглядев своего начальника, Афонин произнёс только два слова:

— Не буду.

— То есть как это не будете?

— Так и не буду.

— Но я вам приказываю!

— Всё равно не буду.

— За невыполнение приказа вы подвергнетесь суровому взысканию.

— Всё равно не буду.

Придя, как обычно, задолго до утренней смены и озаботившись доставкой к вагранке огнеупорного кирпича, Фёдоров увидел Афонина, мрачно «переглядывающегося» издали с вагранкой и не обнаруживающего никакого стремления подойти к ней.

Фёдоров подозвал его к себе.

— С первой минуты начала смены приступайте к футеровке.

— Не буду.

— Несмотря на приказ?

— Несмотря на приказ.

Положение было ясным. Коса нашла на камень...

— Скажите, Афонин, — медленно выговорил начальник цеха, — вы были на войне?

— Был. А что?

— Там вы тоже не выполняли приказов?

На лице Афонина отразилась глубокая внутренняя борьба. Оно должно было оставаться мрачным, но сквозь этот мрак прорывались лучи смущения, естественного смущения честного советского человека. В «позициях» принятого Афониным упрямого решения не приступать к ремонту вагранки оказалась брешь, куда и рванулся в атаку коммунист Фёдоров, начальник цеха. Афонин явно искал слова, которыми он хоть как-нибудь мог эту брешь заткнуть. Наконец он развёл руками и произнёс:

— Так то был фронт...

Фёдоров положил ему руку на плечо.

— А наша литейка — это не фронт? Может, объяснить?

Литейщик молчал.

— Повторяю приказ. Через двадцать минут приступайте, Афонин, к футеровке.

Тот отрицательно покачал головой:

— Не буду...

За пять минут до начала смены начальник цеха подошёл к вагранке. Афонина возле неё не было. Он стоял неподалёку и хотя надел брезентовую куртку и напялил рукавицы, но не обнаруживал желаний приступить к выполнению задания. Ни слова не говоря, Фёдоров спокойно глядел на литейщика. Это уверенное в себе молчание действовало куда сильнее обычно применявшихся в таких случаях ругани и крика.

Афонин подошёл к вагранке, заложив руки за спину. Фёдоров взглянул ему в глаза и вдруг заметил, что в них зазмеилась ядовитая усмешка, полупрезрительная, полуиздевательская.

— Товарищ командир-начальник! А я ведь не умею производить футеровку. Просто-напросто не умею... Покажите сами, что да как.

Начальник цеха понял смысл этого удара. И он немедленно дал на него ответ, наилучшим образом защитив своё достоинство руководителя и честь производственника.

— Не знаете? — спокойно вымолвил он. — Так бы и сказали. Я вам сейчас покажу.

Фёдоров надел рукавицы, взял первый кирпич и сделал движение, чтобы уложить кирпич в вагранку.

— Не надо, — тихо сказал Афонин, робко притронувшись к руке Фёдорова, — не надо... Сам сделаю.

И в привычном, размеренном ритме стал производить футеровку...

Нужно ли что-нибудь объяснять? Думаем, что не надо.

...Однажды, за полчаса до конца смены, Фёдоров обратил внимание на трёх литейщиков, готовящихся уйти из цеха, не убрав своих рабочих мест и прилегающего к ним участка. Начальник цеха приказал рабочим навести должный порядок. Те выслушали приказ, но производить уборку не стали.

— Неужели на вас не действуют справедливые слова? — спросил Фёдоров.

— От слова ничего не станется... — засмеялся один из литейщиков, известный остряк и бездельник.

— Нет, станется, — сказал начальник цеха, — если слово дойдёт до сердца и разума. Беда в том, что у некоторых людей сердце и разум шерстью заросли. А правильное слово — это могучая сила, верная сила.

— Верная, да не всегда...

— Что правда, то правда, — улыбнулся Фёдоров. — Прошу всех троих запомнить ваш ответ, чтобы понять, что вы сами обосновали и подтвердили решение, которое я сейчас принял.

На следующий день Фёдоров до начала смены поручил трём рабочим произвести уборку участка и рабочих мест; деньги, полагающиеся за эту работу, были вычтены из заработка трёх литейщиков, отказавшихся от выполнения своих прямых обязанностей. Это подействовало на них вернее слов, но слов начальника цеха они не забыли...

...Серьёзная схватка произошла у Фёдорова с обточником Сафоновым, могучим молодым парнем, считавшим своей особенной доблестью нарушение трудовой дисциплины. Он не подчинялся приказам мастеров, часто опаздывал на работу, а придя в цех, «отдыхал», когда хотел, часами отлынивал от дела и отрывал от работы своих дружков. Над взысканиями, неоднократно налагавшимися на него, он только посмеивался, в ответ на упрёки грубил. А однажды, споря с мастером, разразился грязной бранью и замахнулся на старшего товарища зубилом.

«Сломить» такой характер Фёдоров считал принципиально важным делом, ибо Сафонов «имел над другими тяжесть», как выразился начальник цеха в беседе с нами. Сафонова многие молодые рабочие называли «героем», любовались им, подчинялись его влиянию. Он был заводилой, вожаком, бациллоносителем недисциплинированности.

Казалось бы, это должно было побудить Георгия Алексеевича сразу применить крайнюю меру: увольнение. Нет! Это было бы отказом от той борьбы за людей, которой он не только не боялся, но всем сердцем жаждал. И скажем прямо: именно тот факт, что Сафонов мог быть вожаком, хотя бы в дурном деле, больше всего побуждал начальника цеха повести битву с ним, битву за него — и не только за него. А что, если его способности обратить на хорошие дела? Ведь это было бы победой не только над Сафоновым, но и над умами и сердцами многих людей. Был ли Сафонов столь безнадёжен, как казалось подавляющему большинству рабочих литейки? Нет, не был, твёрдо сказал себе начальник цеха. Неустанно следя за «бешеным» парнем, он увидел, что в иные часы (пусть немногие) Сафонов работал с увлечением, задором, огоньком, смело и умело. И Фёдоров «понял» его до конца: испорченный, но смыслённый, шальной, но талантливый человек.

Фёдоров приступил к выполнению боевой задачи, действуя, как администратор, товарищ, педагог. И во всех случаях — как коммунист.

— Вы почему не работаете, Сафонов? Неужели вы не понимаете важности своей работы для завода, для страны?

Сафонов поглядел на нового начальника цеха с удивлением. Он ожидал ругани, угроз, негодования. А тут обращались к нему спокойно, с достоинством, взывая к чести советского гражданина.

— Ну что ж? Увольте! — медленно выговорил он привычные слова. — Взысканий у меня много. Все меня считают человеком пропащим. Действуйте!

— Нет, Сафонов, я верю в то, что вы одумаетесь. Но если уж говорить об увольнении, крепко запомните: я не уволю вас без предания суду. За саботаж. За срыв дисциплины. За попытку ударить мастера, то есть за отвратительное хулиганство...

Сафонов изменился в лице. Суда он не очень страшился, но неужели то, что он делал, или, вернее, не делал, можно назвать саботажем? Слово то какое! До того обидное, что аж страшно. А не потому ли страшно, что это слово было в большой степени правдивым?

Несмотря на то, что обточник не пошёл к своему рабочему месту, Фёдоров не стал продолжать разговора и, спокойно повернувшись, повёл беседу с рабочими, окружавшими его и Сафонова. Тема беседы не касалась вопросов дисциплины...

В следующий раз начальник цеха выбрал время, когда обточник стоял один.

— Послушайте, Сафонов. Я не поколеблюсь привести в исполнение ту меру, о которой я вам говорил. Вы, как умный человек, понимаете, что я не случайно сказал это при людях. А то, что сказано при людях, администратору нельзя не выполнить, не так ли? Но вот мы сейчас беседуем с глазу на глаз. Ответьте мне, как товарищу: неужели вам не стыдно? Просто, по-человечески, неужели не стыдно?

Сафонов взволновался. По смене чувств, ясно отражавшихся на его лице, Фёдоров безошибочно определял: вот он собирается сказать что-то простое, от сердца идущее, вот он готов выкрикнуть нечто резкое, обидное. Многое вместились в эти несколько секунд молчания!

Обточник так ничего и не сказал. Кто-то издали позвал его, и он, с явным облегчением крикнув «Иду!», не пошёл, а побежал от начальника цеха.

Через несколько дней Сафонов сам подошёл к Георгию Алексеевичу.

— Ну вот! Стоит ли стараться? Заработок у меня мал...

— Неужели вы думаете, что при вашем разгильдяйстве можно много заработать?

— Разве я один виноват? Порядку мало. Не дают заработать...

— Порядок будет. Мы сами его устанавливаем, и вы можете этому помочь. А заработок — дело наживное. Такую дам возможность заработать, только поспевай!

И Фёдоров выполнил своё обещание. Простейшие меры, проведённые в цехе, приведшие к увеличению организованности и интенсивности труда, повысили заработок Сафонова — и не только его. В июне 1955 года, когда цех выполнил план, Сафонов вместо былых 400—600 рублей заработал 1 183 рубля плюс прогрессивка: итого 1 533 рубля. Но только ли организационные мероприятия явились той волшебной палочкой, которая сделала это «чудо»? Конечно, нет! О, как весомо — хотя и незримо — действовало на человеческое сердце прикосновение товарищеского слова, требовательного и ласкового! Фёдоров, следя за работой обточника, никогда не упускал случая строго поправить его, если он что-либо делал не так. Но начальник цеха не упускал также случая, чтобы выразить жестом, словом или взглядом чувство ободрения и одобрения. И это было обращено к тому человеку, который до сей поры никогда не слышал от своих руководителей похвалы, даже когда он её заслуживал.

В конце июня начальник литейки вызвал к себе Сафонова.

— Вот что, друг. Я не настаиваю на том, чтобы вы сразу дали мне ответ. Пойдите и подумайте. Но уж отвечайте не вполголоса, а всем своим существом. Я предлагаю вам стать бригадиром обточников.

И Сафонов стал бригадиром...

Могучая сила руководит поступками коммуниста Георгия Фёдорова, начальника цеха: любовь к стране, к её людям, к выполняемому делу. Эта сила порождает в нём острую непримиримость к любому недостатку — в большом и малом. Впрочем, что же нужно называть в нашей жизни «малым» недостатком? Разве не отражается иногда в крошечной недоделке или ошибке лицо таких страшных врагов, как равнодушие, недобросовестность, лень, корысть, зазнайство, наплевательское отношение к лю-

дям, неуважение к ним? Разве не выявляется иногда в схватке с будничными «мелочами» величавая красота души человека, борющегося против малого, думая о большом? Да, бывает именно так.

Вот почему — может быть, полнее, чем в чём-либо другом, — проявилась вся суть характера Фёдорова в его столкновении с водопроводчиками.

Георгий Алексеевич бушевал:

— Не приму! Ни в каком случае не приму в таком виде! И твёрдо знайте: ни копейки вам не заплачу. А если кто-либо другой заплатит, привлеку к судебной ответственности и его и вас. Весь цех поведу поглядеть, как судят людей, которые опозорили и себя и свою профессию!

— Подумайте только, — обратился он к нам, — что эти люди сделали! А впрочем, пойдёте со мной, увидите сами.

Перейдя площадку, к которой примыкала лестница, ведущая в конторку начальника цеха, мы вошли в душевую.

— Полюбуйтесь, — мрачно выговорил Фёдоров, — перед вами только что завершённый ремонт. Трубы висят косо, они ржавые, вместо крышки на отстойник положена деревяшка, вместо вентиля забита деревянная пробка. И это называется работа? Смотрите! Над умывальником они привернули такой кран, что, если пустить воду, струя будет литься на живот рабочего...

— Одному Фёдорову больше всех надо! — выкрикнул за нашей спиной кто-то из водопроводчиков.

— Да, — немедленно ответил начальник цеха, — это правда. Мне надо, чтобы вы работали добросовестно. Мне надо, чтобы всё, что делается для литейщиков, было прочным, удобным, красивым. Вы понимаете это слово? Красивым! Как в министерстве! Вот что мне надо. А вам нет?

Фёдоров вывел нас на лестничную площадку, провёл рукой по стене коридора и показал нам пальцы, измазанные извёсткой и порошком тощей отвратительной краски.

— Вот вам ещё один экспонат. Неделю назад покрасили, а всё уже мажется, стваливается. Люди, которые это делали, очевидно, думают, что, если у литейщика замаслена спецовка, им позволительно работать грязно. Не берегут свою рабочую честь такие пачкуны! Но пусть думают, как хотят, а я подобной работы не приму, делать так не позволю.

— Всегда за это платили и будут платить, — с явной насмешкой произнёс второй водопроводчик.

— Нет уж, не всегда. Прикончим эту лавочку!

— Подумаешь! Один Фёдоров работает лучше всех...

— Не знаю, лучше ли, — серьёзно сказал начальник цеха, — но я люблю тех, на кого работаю. Тех, на кого работаешь, надо и уважать. Понимаете? Не единожды уважить, а всегда уважать. Не вижу в вашей работе уважения к людям, да и к своему и чужому труду. А трудятся здесь литейщики! Не буду доказывать, что литейщик достоин любви и уважения, гордость не позволяет...

И Фёдоров твёрдым шагом направился в свою конторку мимо помрачневших водопроводчиков...

Спрашивается: как назвать «дело» с проводкой труб и покраской стен? Малым или большим? А как назвать случай с Афониним, столкновение с Сафоновым? Важным делом или незначительным? Думается, что решить этот вопрос легко, если понимать, что вся наша работа — в том числе и на заводе — состоит из тысячей тысяч «малых, но больших» дел, из которых каждое может обернуться так, что оно или приближит нас к великой цели, или отдалит от неё.

...Фёдорову, несомненно, будет трудно.

Трудно, потому что у него нет специального образования литейщика.

Трудно, потому что ему досталось тяжёлое наследство. Программа литейного цеха исчисляется в тоннах. Есть детали, обладающие большим весом и малой трудоёмкостью; они называются «сало». Есть детали малого веса и большой трудоёмкости: тонкостенное мелкое литьё. Это называется «солома». Если цех желает с большей лёгкостью дать план, он «гонит» многотонное нетрудоёмкое «сало», забывая о номенклатуре, о мелком литье, о «соломе». С начала года литейному цеху руководители МСЗ дали «зелёную улицу»: выдавай что хочешь, только приближайся к цифре заданного плана, исчисляемого в тоннах. Пользуясь сим разрешением на свободу действий, предшественник Фёдорова «натопил» почти всё «сало», оставив ему «солому». Склад забит тоннами «сала», а мелкого литья нет...

Трудно, потому что Фёдоров не только строго спрашивает с работников литейного цеха, но и бесстрашно теребит руководителей завода. Подумайте только! Он начал требовать того, чего годами не требовал литейный цех, о чём и не заикался: качественных крепителей, именно тех марок чугуна, которые литейному цеху положены, а не тех, которые ему всучивали...

Трудно, потому что его непримиримость к большим и малым недостаткам вызывает сопротивление со стороны «полпредов» лени, косности, рутины, зазнайства, со стороны представителей системы «авось, небось да как-нибудь».

Трудно, потому что эту непримиримость он не хочет ограничить рамками цеха. Она весьма встревоженно встречена любителями казённого спокойствия, потатчиками «порядкам» технического крохоборчества в литейке и на заводе, защитниками и осуществителями принципа невынесения сора из избы, когда любой недостаток стараются скрыть, чтобы не обеспокоить начальство.

Ну что ж? Ни одной работы без трудностей не бывает. А победа над ними приносит человеку радость.

«Дорога в тысячу миль начинается с одного шага» — гласит мудрая японская пословица. Фёдоров уже сделал несколько шагов вперёд, и дорога перед ним широка. Вникая в дело и в человеческие души, продолжает он свою работу в литейном цехе, серьёзно и кропотливо действуя как руководитель, администратор, товарищ, агитатор, вожак, педагог.

И в каждом случае — как коммунист.

10. Стране это не безразлично!

Мы не рассказали и малой доли фактов, которые могли рассказать. Мы не коснулись многих сторон производственной и общественной работы на МСЗ, которых следовало коснуться.

Но нельзя не сделать выводов по основной проблеме, затронутой нами: безразлично ли стране, как и кем путём выполняется план на заводе?

— План надо выполнять правильным путём! — сказал нам один из знатных токарей МСЗ.

План МСЗ выполняется. Значит, всё благополучно? Прослушаем, однако, комментарий к этому благополучию, данный секретарём Октябрьского райкома КПСС товарищем Холодковым на партийном активе Октябрьского района:

«...Ещё не всюду партийные организации активно борются за повышение технического уровня производства. Как отмечалось на активе, парторганизация завода шлифовальных станков плохо занимается этим вопросом, проявляет равнодушие к недопустимому положению, создавшемуся на заводе...»

Как же так? План выполняется, а положение недопустимое? Причины сосуществования таких, казалось бы, несовместимых явлений тебе, читатель, ясны. Они стали бы ещё яснее, если бы мы имели возможность подробно осветить деятельность партийной организации МСЗ. Партийный актив района дал этой деятельности справедливо резкую оценку в основном, в главном. К этому необходимо прибавить, что все виды массово-разъяснительной работы, наглядной агитации и стенгазетной информации на МСЗ находятся на недопустимо низком уровне. Что это означает? Нет работы с людьми...

Несомненно, дорогой читатель, многие порядки на МСЗ надо ломать, именно ломать! Только тогда включатся в производство огромные резервы, которые легкомысленно и безответственно растранижирует дирекция, — резервы явные, реальные, неоспоримые. Это может дать значительное увеличение продуктивности завода.

Но ломку многих порядков на заводе нужно соединить с кропотливой будничной работой на каждом участке по внедрению рациональной системы организации производства, иного отношения к новаторам, к людям вообще. Понадобится много сил и упорства, чтобы выкорчевать корни штурмовщины, равнодушие иных людей, зазнайство, косность, рутину. Сделать это можно и нужно, чтобы правильный план выполнялся правильными путём.

Поговорим в заключение о жалкой формуле, произнесённой директором МСЗ с явным желанием выгородить себя, защитить от критики. К великому сожалению, эта формула в большом ходу у руководителей, подобных Мямлину. Она гласит:

— У нас — как у людей...

Нет сомнения в том, что если бы директор МСЗ имел возможность сказать «у нас — как у лучших людей в стране, как на лучших заводах страны», он так бы и сказал. Но этого права он не имеет. Он и пропускает слово «лучших», взывая к снисхождению.

«У нас — как у людей» — это означает в его устах требование не осуждать беспорядки и безобразия на руководимом им заводе по той, мол, причине, что такие же беспорядки и безобразия существуют ещё где-то.

Народная мудрость говорит: ничьи чужие недостатки не оправдывают твоих собственных. К этим словам нечего прибавить. Против беспорядков на МСЗ надо яростно бороться независимо от того, есть ли такие же или похожие на них беспорядки на другом заводе.

«У нас — как у людей» — это защитная формула тех руководителей, которые стремятся утопить свою вину в гуще чьих-то чужих прегрешений. Товарищ Мямлин ориентируется не на лучшее у других. Он оправдывает своё худшее поступками таких же, как он, руководителей.

Перед нами образчик неприемлемой для нас в принципе «философии». Ориентируются ли на эту «философию» руководители МСЗ или нет — тоже отнюдь не безразлично ни самому заводу, ни Советской стране.

Московский станкостроительный завод имеет все возможности вернуть ту творческую атмосферу, которой он жил. Он в силах вернуть свою былую славу и стократно её умножить. Мы твёрдо верим, что это так и будет.



К 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

В МИЧУРИНСКЕ

Я встревожился,
 что не по зозрасту,
в окружении всяческих дел,
разучился
 ходить по воздуху —
притяженья
 не одолел.
Всё, что под ноги лезет,
 мешается,
всё низводит меня
 к мелочам.
Мне не любитса,
 не мечтается,
не читается
 по ночам.

Но, от летнего солнца прищурясь,
наших лет молодой старожил,
мне на плечи
 город Мичуринск
ветви добрые
 положил.

«Парень вроде ты
 уважительный,
ну да я ещё погляжу...
Об о́дном своём памятном жителе,
хочешь,
 я тебе расскажу?
Здесь ходил он
 тропинкой выющейся.
улыбаясь плодам налитым,
ни врагам,
 ни годам
 не сдающійся,
остающийся
 молодым.

То под вишнею,
 то под черешнею,
в птичьих солнечных голосах,
колдовал
 над природой здешнею,
но с нездешинкою
 в глазах...»

Я притих от смущения явного —
я не знаю, в каком я году,

По дороге
 катится
 яблоко,
и за яблоком
 я иду.

Где войска,
 где столбы пограничные?!
Всюду солнцем сады полны,
и лежат на земле клубничины
сверхарбузной величины.
Под навесами —
 персиков насыпи,
ну а в каждом персике —
 пуд!

Магаданские ананасы
мексиканским
 приветы шлют.
Улыбаются
 пальмы пражские.
Волжский говор
 в пекинской листве.
Парижанки берёзы спрашивают,
как шумится
 каштанам в Москве.
Хоть в Сахару пойдя,
 загляни-ка —
всё невиданным цветом
 цветёт.

И на Марсе
 растёт земляника,
на Земле
 марсяника растёт...

Но под звон
 задрожавших окон,
по следам дождей грозовых,
пробуждая меня,
 прогрохал
горсоветовский
 грузовик.
Только память рванулась за мною,
загудела,
 запела во мне
устремлённостью
 быть над землёю,
даже будучи
 на земле.
Снова замерли тени причудливо,
и деревья застыли в строю...

Я у памятника Мичурину
в городке среднерусском стою.

Мичуринск. Август 1955 г.



ГЕННАДИЙ ФИШ

★

МЕЧТА И ПОДВИГ

Он был великим поэтом. Втайне от других он даже писал стихи. И на закате дней своих он умел мечтать так же страстно, как и в годы трудной юности.

«Мечта моей жизни» — так называлась статья Мичурина, опубликованная «Правдой» в дни, когда страна торжественно отмечала шестидесятилетие его работ.

О чём же мечтал он?

О том, чтобы к Полярному кругу приблизить любимую и воспетую народом яблоню, грушу, вишню, а плоды благодатного юга — нежный персик, напоённый солнечным соком виноград, абрикос — перевести в среднюю полосу России. О том, чтобы дикорастущую горькую рябину, холодостойкую черёмуху, урожайный боярышник сделать культурными растениями со сладкими, вкусными ягодами. Мечтой его жизни было кощунственное, как многим казалось, желание превзойти бога и создать совершенно новые виды растений, «более полно отвечающие потребностям» человека.

О тернистом, трудном пути его («вся дорога моя до революции была выстлана осмеянием, пренебрежением, забвением»), пути, на котором были сделаны великие открытия, поднявшие биологическую науку на высшую ступень, хочется говорить стихами. И самыми подходящими кажутся мне сейчас эти:

Цветущим салом станет вся земля,
И все растенья страны переменят,
И пальма мира Север приоденет,
Украсит роза мёрзлые поля.

Если не знать, что поэму «Вечер» юноша Энгельс писал за девять лет до той суровой снежной осени, когда в сторожке, на опушке берёзовой рощи, в рязанской деревне родился Иван Владимирович, можно было бы подумать, что эти строки посвящены жизненному подвигу великого русского учёного.

Ведь ещё в молодые свои годы Мичурин вывел стелющуюся розу, которая переносила невзгоды русской морозной зимы. Мичуринская роза *Reptans* (стелющаяся) отлично растёт в открытом грунте под небом средней полосы России. Ей не страшны даже самые суровые зимы. Глубокий снег надёжно укрывает её от холодов, а земля согревает излучением своего тепла.

«Царица света» — так назвал Иван Владимирович другую созданную им розу. По прекрасному аромату, по силе его она не имеет равных в средней полосе. Это первая русская масляничная роза. В цветах её больше эфирного масла, чем даже у знаменитой Болгарки-Казанлыкской. «Первым русским розистом» назвал Мичурина давний его друг, профессор Кичунов, именем которого великий садовник окрестил другой

выведенный им сорт розы. Да, розы Мичурина славились. Софья Андреевна Толстая приезжала из Ясной Поляны в Козлов, чтобы достать у Мичурина несколько редких кустов из его розария.

Мало того, что Мичурин создал специально для Сибири яблоки «Ермак Тимофеевич» и «Таёжное», — его работа над стелющейся розой стала толчком для развития плодоводства в Сибири. Упрямые садоводы-сибиряки, следуя его примеру, создали сорта стелющихся яблонь, и это было логическое развитие судьбы мичуринской розы.

Нет, не случайно известный чешский садовод Ян Бём, выведя новый сорт розы с огненно-красными цветами, назвал её именем Мичурина ещё при его жизни.

Нет, не случайно на Всероссийском совещании плодоводов-опытников уже не в Козлове, а в Мичуринске в 1934 году на трибуну поднялся седой старик садовод из «полуночного края», с берегов Северной Двины. Это был старый корреспондент Ивана Владимировича — ещё с конца прошлого века, ученик его — Владимир Васильевич Спириин.

— Я стремился завоевать для плодов далёкий север... За Полярным кругом хорошо знают вот это яблоко. — Он показал собравшимся краснощёкое яблоко. — За Полярным кругом знают также и крыжовник. Тридцать сортов крыжовника выведено мною по методу Мичурина. К суровому климату севера я приучаю пенсильванскую вишню, бальзамическую пихту, боярышник... — В поднятой над трибуной руке Спирина заалел цветок. — Но венцом своих трудов я считаю северную розу, которая может расти в открытом грунте. Роза эта будет называться Роза Мичурина. Ибо ведь его указания, его советы, его методика помогли мне в труде и исканиях...

И разве нельзя было бы заключить эту речь строкой из поэмы Энгельса:

Украсит роза мёрзлые поля...

Что же сделало имя Мичурина бессмертным?

Есть учёные, давшие человечеству так много, что их имена знаменуют эпоху в науке. Таким гением был и даунский отшельник — Чарлз Дарвин. До него господствовало воззрение, что виды растений и животных ничем не связаны, случайны, «богом созданы» и неизменяемы. Бесстрашно ломая установившиеся каноны, Дарвин доказал, что виды преемственно связаны друг с другом, что они изменяются и что, короче говоря, «естественная история» есть действительно история. Этим самым он, по определению Ленина, «впервые поставил биологию на вполне научную почву». Дарвин гениально обобщил селекционную практику и научные открытия своего времени. Но в те годы селекционеры лишь отыскивали среди сотен тысяч животных и растений индивидуумы с такими отклонениями от нормы, которые были им нужны. Они научились накапливать эти изменения в ряде последовательных поколений. Но, затрачивая бездну труда, они даже и думать не могли о том, что человек может сам, своей деятельностью вызвать первоначальное появление этих нужных ему изменений.

Селекция до Мичурина поэтому начиналась не с создания первоначальных уклонений, а с поиска их. Начало селекционного процесса опиралось и могло опираться только на счастливую находку, на поиски «клада».

«Изменчивость... управляется... «неизвестными законами», — писал Дарвин. — «Этот вопрос тёмный, но, может быть, нам полезно убедиться в своём невежестве». И «ошибкой будет сказать, что человек «вмешивается в дела природы» и производит изменчивость...»

Значит, остаётся лишь отбирать из того, что нам предоставила природа.

Закладывая свой сад на маленьком приусадебном участке в глухом провинциальном городишке Козлове, Мичурин не мог примириться с тем, что человек бессилён вызвать первоначальные изменения. Он не хотел быть лишь «искателем счастья», зависеть от случайной находки.

Мы так привыкаем к часто произносимым словам, что уже почти не замечаем интонации протеста в знаменитых, ставших народной пословицей, словах Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё — наша задача».

Научный подвиг Мичурина, подвиг, благодаря которому его именем справедливо называют новый этап науки, заключается в том, что он прояснил многое из того, что до него считалось «тёмным», и открыл неизвестные Дарвину закономерности первоначальных изменений растений, знание которых позволяет управлять этим процессом.

Вряд ли нужно здесь рассказывать подробно о найденных и проверенных Мичуриным приёмах, об открытых им закономерностях, используя которые он по своему желанию управлял изменчивостью растений и создал более трёхсот новых сортов и видов нужных человеку растений. О теории, которой он вооружил своих последователей и продолжателей, написано немало. Достаточно будет сказать, что благодаря его трудам биология с того уровня, когда она лишь объясняла явления, поднялась на высшую ступень, которая позволяет переделывать природу растений так, как это требуется человеку.

Такой подвиг оказался посильным для Мичурина лишь потому, что он связал процесс биологического исследования с процессом агрономического производства, труд с познанием, практику с теорией, создав не только мичуринское учение, но и мичуринский стиль, мичуринский метод исследования.

Этот двойной научный подвиг Мичурина не мог бы осуществиться без каждодневного подвига всей его героической жизни.

Ещё в 1914 году, оглядывая свой путь, Иван Владимирович писал: «...Я, как помню себя, всегда и всецело был поглощён только одним стремлением к занятиям выращивать те или другие растения, и настолько сильно было такое увлечение, что я почти даже не замечал многих остальных деталей жизни; они как будто все прошли мимо меня и почти не оставили следов в памяти. А между тем, как теперь вдумаясь, сколько потрачено мною сил, сколько положено тяжёлого ручного труда и перенесено различных лишений, вследствие крайнего недостатка материальных средств, к достижению намеченных целей... Теперь даже самому не верится, как я, со своим слабым, болезненным сложением, не приученный с детства к тяжёлому ручному труду, мог вынести всё это? Только всепоглощающая страсть, до полного самозабвения могла дать ту невероятную стойкость организма, при которой человек становится способным выполнить непосильный для него труд».

Эти строки Мичурина сопровождали, как подпись, его портрет, опубликованный журналом «Садовод» в 1914 году.

Он был потомственным садоводом. До сих пор в Калуге славятся мичуринские груши — сорта, созданные его прадедом и дедом.

В годы, когда рушилось крепостное право, восьмилетний мальчик Иван Мичурин уже мастерски владел тонкостями «садовой хирургии», различными способами прививки растений и не расставался с садовым ножом.

И когда на восьмидесятом году своей жизни, обращаясь ко второму Всесоюзному съезду колхозников-ударников, он писал: «каждый колхозник должен быть опытным, а опытный уже есть преобразователь», — в его кабинете рядом с письменным столом — между шкафами — стояли садовые вилы, лопаты, мотыги, опрыскиватели и пилы. Окончив

письмо, он взял в руки секатор (своей же конструкции, сделанный им самим) и вышел в сад...

Не было дня в его длинной жизни, который он не посвятил бы любимому труду, мыслям о создании новых растений.

В молодости, работая монтером часов и сигнальных аппаратов на Рязанской железной дороге, он заносил в записную книжку, что во Владимире «у извозчика с третьей биржи» Деревенцева есть два старых дерева вишни скороспелки, а «Сорокин, мясной торговец, страстный любитель, имеет васильевскую вишню», — и раздобывал эти вишни. А когда за несколько дней до смерти, мучимый раком желудка, находясь уже на искусственном питании, он получил от саратовского любителя садоводства семена «лёжкого» арбуза, плоды которого могли лежать четыре года, и письмо от одного из командиров Красной Армии, нашедшего в лесу вблизи Ораниенбаума куст крупноплодной красной смородины, — то немедленно командировал сотрудников в Саратов и Ораниенбаум собирать сведения об этих интересных растениях.

Да, он был прав — им владела всепоглощающая, до полного самозабвения страсть.

Но страсть, помноженная на напряжённый творческий труд, не есть ли это то, что принято называть гениальностью!..

«Прогрессирующей технике всякого рода, а особенно сельскохозяйственной, приходится бороться на два фронта: противу вредящих явлений природы и противу привычек и предрассудков людских», — писал Менделеев. Природа нелегко открывала Мичурину свои тайны. Но он сумел взять себе в подмогу даже «вредящие явления природы». Знаменит русский селекционер — мороз. Но Мичурин и его превратил в своего подручного. А какой для этого надо было иметь характер!

Несколько суровых зим — и почти все плодовые деревья, собранные по акклиматизационному методу Грелля, которым увлекался молодой Мичурин, превратились в дрова.

Надо было всё начинать заново и по-новому — не по-греллевски, а по-мичурински.

Ещё несколько лет — и весной 1901 года, после того как сошёл снег, Иван Владимирович стал считать, сколько сеянцев персика, которые он получил в прошлом году, выдержало перезимовку. Итог был нерадостный. И в садовом журнале появилась запись:

«Итак, в общем, из всего количества в 2800 персиков не осталось ни одного экземпляра совершенно целого. Тем не менее, по-моему, это ещё не есть окончательное доказательство невозможности культуры персиков в нашей местности, и поэтому продолжаю борьбу далее...»

— Безрассудный, разве он не видит, что все его затеи идут прахом. Пора бы и образумиться! — сокрушались о нём родственники и соседи-доброхоты.

Но то, что многие считали безрассудством, было подвигом.

Испытал Мичурин на себе и силу «предрассудков людских».

«Чиновники из департамента кричали на меня: «Не смей!» Казённые учёные объявляли мои гибриды «незаконнорождёнными». Попы грозили: «Не кощунствуй! Не превращай божьего сада в дом терпимости!» (Так характеризовалась гибридизация)».

Но гораздо более трудной, чем борьба с предрассудками, для Мичурина оказалась борьба с тем, что он назвал «крайним недостатком материальных средств к достижению намеченных целей».

Были люди, которым Мичурин казался скупым. Они не принимали в расчёт, что, получая жалованье 12 рублей в месяц, он не только содержал свою семью, но и ещё выплачивал три рубля в месяц за аренду небольшого приусадебного участка. Шесть с лишним сотен видов различных пло-

довых и ягодных растений так густо заселили этот участок, что дальше не было никакой возможности вести дело.

В своём дневнике Иван Владимирович записал: «В течение пяти лет нечего и думать о приобретении земли. И расходы по возможности надо сокращать до крайних пределов. А после продажи части прививок и дичков, на шестом году (т. е. в 1893 г.) приблизительно 5 000 шт., на сумму 1 000 рублей (т. е. по 20 коп.) можно приобрести и землю, огородить её и засадить...» Надо было уничтожить хоть часть растений. Но он попытался найти другой выход.

В дневнике появляется новая запись:

«Между малиной посадить 6 штук вишни Евгения... посадить между деревьев и по забору... считая по 4 вершка на каждое растение, можно продержаться ещё три года».

Но и эти ухищрения не помогли: теснота становится нестерпимой — и, как сообщают биографы Мичурина, отныне Иван Владимирович тщательно учитывает все расходы до копейки. Заносит их в свои дневники. Туда же заносится и приход... 25 копеек — гонорар за починку швейной машины.

Сокращаются все «лишние» и «необдуманные» расходы. Два фунта чёрного хлеба на каждого члена семьи, на заварку чая по две копейки на человека — вот все дневные траты на еду.

Как он сам питался в те годы, можно представить себе, узнав о том, что считалось улучшенным питанием:

Когда отец заболел, вспоминала его дочь Мария Ивановна, «требовалось, конечно, улучшить питание, но добавочных средств для этого питомник не давал. Чтобы поддержать здоровье отца, мать старалась кормить его хоть несколько лучше, чем остальных членов семьи. Изнурительный физический труд днём, бесконечная подноска воды, выкопка и посадка растений, перекопка и рыхление гряд, письмо и чтение по ночам продолжали уносить силы отца. Он и сам понимал это и, чувствуя, что он слабеет, обращался к матери, говоря: «Саня, приготовь-ка мне, пожалуйста, тюрю. Что-то есть хочется». И мать крошила мелкими кусочками чёрный хлеб, резала лук, наливала ложку подсолнечного масла, солила, растирала и, разбавив водой, подавала ему».

Так через некоторое время, войдя в долги, отдав под заклад половину ещё не купленной земли, продав весь посадочный материал питомника, Мичурину удалось приобрести у священника Панской слободы участок земли в 12 с половиной десятин.

После совершения купчей — на имя жены — у Ивана Владимировича осталось в кармане всего семь рублей. Невелик, конечно, «капитал», но именно с этим-то капиталом и был основан первый в истории русского плодоводства «гибридизационно-помологический питомник».

Для того, чтобы улучшить отечественное садоводство, Мичурин согласен был подвергнуть тяжким лишениям себя и своих близких.

Да! То, что многим окружающим его людям казалось скупостью, на самом деле было подвигом...

Люди, приезжавшие побеседовать о том о сём, посмотреть сад и сообщить не имеющему образования самородку о последних истинах — модных биологических теориях, обижались, когда Иван Владимирович поворачивался к ним спиной, отказывался с ними разговаривать.

— Вздорный, с дурным характером, невоспитанный человек, — твердили они.

«Мне решительно нет времени заниматься этими почти ежедневными посещениями разных г. г. инспекторов, сельскохозяйственных садовых инструкторов, лесоводов и тому подобных лиц. Им хорошо разъезжать — затрата времени у них оплачивается двадцатым числом, а мне необходимо работать, для меня каждый час дорог. Свободного времени совер-

шенно нет; у меня не имеется нанятых садовников, я целый день в питомнике, а до половины ночи проводишь за корреспонденцией, которой, кстати сказать, такая масса со всех концов России, а в последнее время и из-за границы, что просто беда.» — сообщал Мичурин для всеобщего сведения всё в той же подписи под портретом в 1914 году, объясняя, почему он прекратил доступ посторонних лиц в свой питомник.

Что поделаешь, вежливость, видно, не всегда совместима с подвигом!

И статьи у него были резкие. Впрочем, и противники его и единомышленники тоже не отличались вежливостью.

Антон Павлович Чехов, который писал: «Мне кажется, что я, если бы не литература, мог бы стать садовником», — внимательно следил за газетой «Русское садоводство», где Мичурин и его друзья вели полемику с «кабинетными садоводами», «копиистами», «чужеучками».

«Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война. Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, так нужно», — думал Ковров, герой чеховского рассказа «Чёрный монах», прочитав несколько таких статей: «Об окулировке спящим глазком», «О перештыковке сада» и т. д.

Действительно, без человеческих эмоций не бывает поисков истины. Но дело, конечно, не в повышенной чувствительности идейных людей, как думал чеховский герой. Если бы Чехов мог тогда заглянуть в рукописи Мичурина, он нашёл бы там настоящий ответ о причинах резкости полемики. «Возбужу против себя многих, но что делать, новому течению приходится всегда сталкиваться на своём пути с целыми чрезвычайно плотными слоями застарелой плесени, глупых предрассудков, крайнего невежества и укоренившейся нетерпимости в среде копиистов ко всему новому», — записывал Иван Владимирович.

Я вспомнил о чеховском рассказе недавно в Никитском ботаническом саду, в красном тесовом домике.

Иван Николаевич Рябов, создатель сорока новых сортов персиков, рассказывал, что хотя и до 1930 года здесь много лет занимались селекцией персика, но похвалиться было нечем. И лишь после бесед с Мичуриным, бесед, которые определили направление работы, преодолевая немалые трудности (о них был особый разговор), Рябову удалось вывести замечательные сорта персиков — морозостойкие, плодоносящие на втором-третьем году жизни, высокоурожайные, столовые и консервные. Для удобства колхозов и плодородческих совхозов, чтобы не создавать авралов при уборке, удалось добиться того, чтобы все эти сорта созревали в разное время.

— Надо сделать всё, чтобы персик скорее стал ежедневным гостем на столе советского человека, а не казался многим лишь поэтическим вымыслом, — говорил Рябов.

Нежные, сочные, крупные персики лежали перед нами.

— Вот Замшевый, вот Красноцвет, вот Жемчужина.

Мы надрезали персики и, дегустируя, наслаждались вкусом плодов.

— А этот я назвал «Антон Чехов», — сказал Рябов, показывая на нежнейший персик с тонким ароматом. — Первый раз он плодоносил в день рождения Марии Павловны, и каждый год в этот день мы посылаем из Никитского сада ей в Ялту корзину этих персиков.

Встреча с мичуринцем Рябовым и персик «Антон Чехов» мне вспомнились, когда Анатолий Софронович Каверга, директор Никитского сада, показывал в засухливой крымской степи огромные персиковые сады-плантации, уже начавшие плодоносить.

— Вот они, наши питомцы, — с заслуженной гордостью говорил он.

Скоро персик перестанет быть редким плодом.

И ещё мне вспомнилось, что даже тогда, когда народ уже гордился Мичуриным, он оставался ещё не признанным многими и многими докто-

рами наук и академиками. Борьба двух течений продолжалась. Он не был действительным членом Академии наук. А когда, по предложению замечательного учёного академика Келлера и выдающегося ботаника академика Комарова, кандидатура Мичурина баллотировалась в почётные члены Академии наук, в урне всё же оказалось четыре чёрных шара.

Это было 1 июня 1935 года... Весть об этом избрании Мичурин получил за день до смерти.

На траурном митинге Одесского селекционно-генетического института было принято обращение, переданное по телеграфу в Мичуринск:

«Потрясены известием о смерти Ивана Владимировича. У праха величайшего революционера науки обещаем ещё более непримиримо бороться за освоение и развитие мичуринских идей. Будем крепить наш союз и совместную борьбу за обновление лика нашей социалистической земли. Пройденный Мичуриным путь для всех нас — образец большевистской борьбы за революционную перестройку агронауки».

Это была клятва друзей Мичурина — продолжателей его дела.

«Ленин первым оценил всю важность этой работы», — писал Мичурин.

Ленин. Имя это, без которого теперь не мыслится история человечества, впервые появилось в 1901 году. Так подписал Владимир Ильич статью «Гг. «критики» в аграрном вопросе». Остриё статьи направлено против теории убывающего плодородия. Можно бесконечно повышать производительность земли, если изобрести новые машины, новые системы полеводства, новые способы содержания скота, доказывал Ленин. Эта работа была направлена против тех, кто, подобно экономисту Булгакову, проповедовал, что «земледелие характеризуется господством природы в процессе производства и несвободой человеческой воли»...

И нам понятно, почему впоследствии так близок и дорог оказался Владимиру Ильичу великий естествоиспытатель Мичурин, чьи крылатые слова: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё — наша задача», стали боевым лозунгом советского народа.

Теоретические противники Ленина были и врагами материалистических идей Мичурина.

«Потому-то я был незаметным отшельником экспериментального садоводства в царской России. Потому-то, с другой стороны, так легко и глубоко понял мою работу и дал ей путёвку в социалистическую жизнь великий Ленин...» — писал Мичурин в обращении к профсоюзам, а в другой статье отмечал: «...Едва только окончилась гражданская война, как на мои работы обратил внимание не кто иной, как светлой памяти Владимир Ильич Ленин. По указанию Владимира Ильича в 1922 г. моё дело получило невиданный размах».

Критика «методом замалчивания» была настолько действенной, перегородки между чистой наукой и передаваемой землёй практикой настолько непроницаемы, что даже передовые учёные, даже любимый Мичуриным, посвятивший горячие строки «рабочему-чудотворцу» — Бербанку, Климентий Тимирязев не знал ничего о том, что в глубине России живёт человек, чья деятельность ещё более удивительна, открытия которого знаменуют новый этап биологии.

Всюду, и в учёных исследованиях и в газетных статьях, можно прочитать о том, что в 1922 году Ленин по телеграфу затребовал от Тамбовского губисполкома доклад о работе Мичурина. В телеграмме было сказано: «опыты по получению новых культур растений имеют громадное государственное значение».

В архиве Мичурина найдена рукопись с пометкой, сделанной рукой автора: «Копия этого доклада послана Тамбовским губземотделом

в конце ноября 1922 г. в Москву, в Совет Народных Комиссаров тов. Ленину при докладе своём».

Телеграмма Ленина и отчёт Мичурина общеизвестны, но лишь недавно выяснились обстоятельства, при которых Ленин узнал о Мичурине.

В конце двадцатого года Иосиф Фёдорович Франц, заведовавший тогда Тамбовским губземагделом, был вызван к Ленину.

Речь шла об организации коммуны в Кирсановском районе (коммуны, из которой вырос впоследствии знаменитый колхоз имени Ленина). В эту коммуну должно было войти несколько десятков семейств, которые ещё задолго до революции, гонимые нуждой и безземельем, покинули царскую Россию и отправились искать счастья в Канаду и США. Только что была снята блокада, и они возвратились на родину, в Советскую Россию. Вместе с ними приехало и несколько семейств американцев. Они привезли с собой машины, семена. Надежда Константиновна хлопотала об устройстве американцев в этой коммуне и говорила, что наши крестьяне могут у них многому научиться, особенно в области животноводства и садоводства.

И. Ф. Франц тогда рассказал о Мичурине и его питомнике.

«В. И. Ленин живо заинтересовался этим, хотя я тогда далеко не понимал всей значимости этого вопроса, и мои объяснения вертелись вокруг сладкой рябины и особо вкусных груш и крупных вишен, — чистосердечно признаётся Франц. — Помню слова Владимира Ильича:

— А не придётся ли, Надя, этому козловскому садоводу учить твоих американов, как надо разводить у нас, в России, сады, а?»

Владимир Ильич тут же дал наркому земледелия указание послать в Козлов комиссию для изучения работ Мичурина.

Наркомзем направил учёную комиссию в Козлов. Мичурин принял её недружелюбно. Результат обследования: чудак, выживший из ума, вздорный и скрытный, мечтающий выращивать на вербе груши. Питомник ничего особенного не представляет, а Мичурин создаёт себе рекламу.

Обо всех этих обстоятельствах ныне стало известно из ответа Франца на запрос академика ВАСХНИЛ И. Презента.

Переброшенный на новую работу, И. Ф. Франц через год снова был вызван к Ленину уже совсем по другому делу. В кабинете были Дзержинский, Калинин и Теодорович, тогдашний нарком земледелия.

И тут, вспоминает Франц, Владимир Ильич задал ему вопрос, как обстоит дело с Мичуриным. «Я доложил о всех комиссиях, об обследованиях и докладах. Владимир Ильич сделал мне упрёк за несоблюдение достаточной большевистской настойчивости и принципиальности, ругнулся и на себя и тут же строго приказал Теодоровичу раскопать все доклады и вообще всё дело Мичурина и неотлагательно предоставить ему лично, причём подчеркнул: «Только мне непосредственно лично»... М. И. Калинин при этом сказал, что он собирается в ближайшее время в Тамбов и постарается заглянуть к Мичурину сам. На это Владимир Ильич с живостью сказал: «Обязательно, непременно, непременно побывайте там, Михаил Иванович, и без всяких комиссий». При этом опять укорил меня за формализм в этом деле».

Франц попытался объяснить своё невнимание к этому делу тем, что его перебросили на другую работу. Владимир Ильич перебил его, взял за плечо и сказал:

«Нет, нет, поверьте, дело не в этом, а в том, что вы думали и хлопотали только о садовнике Мичурине, а не поставили перед собой весь вопрос в целом. Это вас отвлекло от сути дела. Теперь я это в сути возьму на себя...»

И Ленин взял это дело на себя.

В своём ответе Мичурин сообщал о восьмидесяти девяти выведенных им сортах, от яблони Ранет-Бергамотный и груши Бере-Мичуринской до

чёрной сладкой рябины, ребристой дыни и мичуринского табака. Ответ этот, в котором великий естествоиспытатель, рассказав детально о своих опытах и методе, писал: «Из приведённых мною выводов, многократно проверенных на практическом деле, вы увидите всю ошибочность менделевских законов, с которыми так пестуются все учёные последнего времени и не только в России, но и повсюду за границей...», — был незамедлительно послан в Москву.

И в книге поручений В. И. Ленина появилась отметка:

«5.XII. Исполнено Мичуриным».

В тот же день было записано поручение наркому земледелия: «Справку о том, что сделано для питомника Мичурина».

И потом в течение декабря, как отмечено в книге поручений, один за другим — четыре раза делались напоминания Наркомзему о том, что необходимо обеспечить питомник Мичурина всем, что ему требуется.

В результате этой пристальной заботы Ленина в книге поручений появляется отметка: «Исполнено: 26.XII».

И если многим раньше казалось удивительным, что среди огромных государственных трудов и забот, в тяжёлую для страны годину Ленин отыскал Мичурина и нашёл время, чтобы помочь ему, то теперь, когда становится всё яснее государственная важность «дела создания облегчающих, украшающих и улучшающих человеческую жизнь растительных форм», мы в этом видим ещё один пример ленинской прозорливости.

Это было одно из самых последних распоряжений Владимира Ильича — через несколько дней он уже навсегда покинул свой рабочий кабинет в Кремле.

А за четверть века до этого из глухой сибирской ссылки, из села Шушенского, он писал сестре:

«Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу... Гм, гм! Да ведь я, кажись, однажды уже описывал его. Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет».

И несколькими строками ниже Владимир Ильич писал: «Ваш план посылки сюда, тысячюк за 6 с хвостиком верст «пудика вишни» заставил меня только разинуть рот от изумления (...Вишни здесь нет...) перед богатством вашей фантазии...»

Но Ленин дал «путёвку в социалистическую жизнь» делу Мичурина и его последователей.

И вот сейчас в селе Шушенском, во всём Шушенском районе и соседних с ним — Ермаковском, Минусинском, Алтайском, — все колхозы имеют сады.

На 2 275 гектарах цветут и плодоносят выведенные мичуринцами для здешних мест яблони, груши, сливы, не говоря уже о смородине, крыжовнике, малине и землянике.

Вишня сейчас цветёт и плодоносит в Шушенском. Десять тысяч саженцев вишни вырастило Минусинское плодово-ягодное опытное поле и передало в сады колхозов и совхозов. Три сорта вишен выведено мичуринцами Минусинского опытного поля для окрестных садов.

Цветут сады в далёком сибирском селе Шушенском.

Цветут сады и в колхозе имени Ленина в Кирсановском районе. Здесь со 115 гектаров сада колхоз снимает рекордные урожаи плодов мичуринских сортов — до 100 центнеров яблок с гектара. Восемьсот тысяч рублей дохода в этом году принёс колхозу мичуринский сад. И уже плодоносят на пяти гектарах колхозного виноградника в суровой Тамбовщине лозы мичуринского винограда.

«Я видел себя седобородым волшебником, который нашёл способ выращивать хлебные зёрна объёмом в яблоко, картофель по пуду весом

и вообще успел придумать немало благодеяний для земли...» — вспомнил о своих юношеских мечтах Максим Горький в «Моих университетах». Алёша Пешков тогда не думал, что такой «волшебник», который делает всё, чтобы превратить эту мечту в реальность, уже живёт и творит не так уж далеко, в Тамбовской губернии. И в те годы этот человек совсем не был похож на седобородого волшебника, а тонким интеллигентным лицом, с небольшой бородкой клинышком и поблёскивавшими из-под очков глазами, скорее напоминал Чехова. И совсем уж не мог Горький, когда он писал роман «Мать», помыслить, что человек, который был прообразом главного героя романа, Павла Власова, сормовский рабочий-большевик П. Заломов, будет переписываться с этим волшебником.

В 1914 году, готовя к новому изданию «Жизнь растений», К. Тимирязев писал: «Совсем недавно, в статье М. Горького, так горячо выступающего в защиту молодого поколения от всяких нездоровых течений современной мысли, я мог прочесть следующие строки: «Поражаешься, откуда в посаде Снеговом, Херсонской губернии, или Осе, Пермской, знают... Тимирязева. Часто спрашивается его «Жизнь растений». Неужели, думалось, моя книга появилась уже в руках его Нила, этого представителя здорового молодого поколения, так просто, бесхитростно определяющего нравственную задачу жизни — тому помочь, другому помешать? Неужели простое, здоровое слово науки уже приходит на помощь нарождающейся здоровой русской демократии?..»

Да, революционной демократии это слово подлинной науки было необходимо. Именно поэтому книга Тимирязева появилась в руках горьковского Нила. А Павлу Власову — П. Заломову Мичурин сам вкладывал в руки книгу Тимирязева. Отвечая на письмо Заломова, что его мысль о внекорневом питании в общем правильна, и указывая на ошибки в деталях, Мичурин в заключение писал, что сведения по затронутому вопросу можно найти в книге профессора Тимирязева «Жизнь растений»: «Прочитавши эту прекрасную книгу, Вы получите полное представление... вообще обо всём нужном для растения...» И, сообщая о том, что Заломову высылаются черенки, Иван Владимирович давал советы, где можно достать книгу Тимирязева.

Переписка с Заломовым, как и вся огромная, напоминающая горьковскую, переписка Мичурина, не была случайностью. Это было огромное дело. В Козлов и из Козлова письма шли в Петербург и во Владивосток, в Благовещенск-на-Амуре и в Дубовку Царицынской губернии, в Вашингтон и Северную Дакоту, в Минусинск и в Шацк (Рязанский), в Алма-Ату и в село Песчанское Шадринского округа. Впрочем, список адресов этой корреспонденции мог бы заполнить целую книгу. Корреспондентами Мичурина были садовники и учителя, профессора и извозчики, крестьяне-опытники и редакторы журналов. Повторяю, это было частью огромного дела. Накапливались свидетельства о фактах, подтверждающих правоту новых взглядов, отыскивались единомышленники, подбадривались друзья, шёл непрестанный обмен мыслями, советами — мобилизация сил. Шла организация того, что мы теперь называем мичуринским движением.

Мичуринское учение, возникшее на основе мичуринского метода исследования, опиралось на непрерывно растущее, всё ширящееся мичуринское движение. В этом неразрывном триединстве и был залог победы в борьбе за обновление лица социалистической земли.

В массовости мичуринского движения залог и того, что трудности, переживаемые нашим плодоводством, далеко не удовлетворяющим ещё потребностей советских людей, будут преодолены. А трудности эти велики. Есть много прекрасных сортов яблонь, но яблок не хватает. Когда зимой 1940 года на редкость суровые морозы сожгли многие и многие сады, стало ясно, что восстанавливать их надо мичуринскими морозостойкими

сортами. Но не успели ещё дойти до этого руки, как война и вражеская оккупация почти начисто уничтожили колхозные и государственные сады на громадных пространствах в европейской части СССР. Восстановление коснулось их не в первую очередь. И хотя Мичурин и мичуринцы создали немало скороспелых сортов, но всё же не один и не два года требуется, чтобы вновь заложённые сады заплодоносили и вошли в силу...

В те дни, когда Мичурин собирал свою рассеянную по всей стране рать, о нём можно было бы сказать словами поэта:

Он
к товарищу
милел
людскою лаской.

Он
к врагу
вставал
железа твёрже.

«Недооценка работ Лукашёва — преступление» — так называлась статья в защиту Артемия Лукашёва, который, не имея никаких средств, кроме тех, которые даёт работа народного учителя, работал, как истинный учёный, охваченный только одним стремлением обогатить родной Дальневосточный край местными сортами плодовых деревьев. Он дал Дальнему Востоку несколько превосходных сортов груши «Лукашёвка», но вместо горячего сочувствия, какое должна была встретить его работа, она натолкнулась на бюрократизм и головотяпство. И Мичурин всенародно поднял голос в защиту «своего дальневосточного собрата».

Поддерживая другого молодого талантливую энтузиаста, он писал: «Лисавенко кладёт начало истории алтайского плодоводства».

Михаил Афанасьевич Лисавенко оправдал доверие учителя.

— У нас на Алтае люди рождались и умирали, не видя никогда в жизни плодового дерева,— рассказывала мне молодая учительница,— на алтайском языке даже не было слов: «яблоко», «груша».

Теперь, после тридцати пяти лет работы мичуринца Лисавенко, эти слова есть на алтайском языке и они звучат по-русски. Но и здесь слово лишь отражает дело — 576 колхозов на Алтае имеют сейчас свои плодовые сады, где наряду с сортами Мичурина растут и плодоносят яблони, груши, сливы, созданные сейчас Лисавенко и его сподвижниками.

Мичурин поддержал и старого селекционера, замечательного плодовода С. Черненко и молодых, пришедших к нему комсомольцев юннатов Филиппа Тетерева и Хасана Еникеева.

— Надо, чтобы яблочный год был замкнут,— сказал Мичурин в 1926 году своему ученику-сподвижнику С. Черненко.— Яблоки должны поспевать и быть свежими каждый месяц в году.

И вот теперь, после тридцати лет работы, к столетию со дня рождения своего учителя, Черненко мог бы рапортовать: в июле поспевают яблоки — Июльское, Юннатка, Радость, Парадокс летний. В августе — Превосходное розовое, Памяти Шевченко, Любительское, Смена. В начале сентября — Бархатное, Букетное, Улыбка осени. В конце сентября — Обильное, Подарок, Налив алый. С октября по январь могут лежать, созревая, яблоки: Мичуринец, Тамбовское, Прогресс. До февраля — марта: Первенец, Звёздочка, Оранжевое. До апреля — мая: Победа, Суворовец, Брат Победы. До июня — Богатырь, Успех, Пепин Черненко.

Это далеко не полный перечень сортов, выведенных Черненко, но и он говорит: яблочный год замкнут. Задание учителя выполнено.

Когда Мичурин задумал передвинуть абрикос и черешню к Козлову, северной границей абрикоса был Ростов-на-Дону. На семьсот километров к северу передвинул абрикос Мичурин:

Черешня Первенец и черешня Мичуринская, о которых Мичурин упоминал в своём докладе Ленину, заплодоносили в Козлове на пятьсот вёрст севернее, чем раньше было положено черешне. А сегодня бывшие комсомольцы юннаты, сейчас уже зрелые учёные, Филипп Тетерев и Хасан Еникеев могли бы по-настоящему обрадовать учителя. Тетерев перенёс северную границу черешни к Ленинграду. Некоторые новые его сорта ленинградской черешни превосходят многие южные сорта. Ещё на семьсот километров на север передвинулась граница абрикоса. Еникеевский абрикос плодоносит в садах Подмосквья.

Впрочем, разве можно в журнальной статье перечислить имена плодородов, когда в стандартный сортимент уже включён 421 сорт плодов и ягод, выведенный учениками и последователями Мичурина.

Но разве, постигая закономерности развития растений, Мичурин ограничивал себя плодоводством?

Вся живая природа стала его мастерской.

В тяжёлый для Станислава Штеймана час, когда сторонники устаревших взглядов готовились в борьбе с новаторами прибегнуть к административным приёмам, в Караваево пришло письмо.

«Молодец Штейман! — писал Мичурин. — Пора и в животноводстве иметь людей смелых, решительных, чтобы не корова заботилась о себе, а зоотехник о ней».

Караваевское стадо, Караваевская порода скота — вот воистину живой, непрерывно растущий результат работы мичуринцев-животноводов.

А разве Терентия Мальцева в его борьбе за новую систему земледелия не вдохновляло воспоминание о трёхдневной беседе с Мичуриным в 1931 году, беседе, которая стала переломной вехой всей его творческой деятельности. Мысль о жизненном подвиге Мичурина поддерживала Мальцева в самые трудные дни борьбы.

В апреле 1933 года Мичурин получил по почте брошюрку в плотной серой обложке — «Бюллетень яровизации».

На титульном листе бюллетеня он прочитал надпись: «Дорогому учителю Ивану Владимировичу от неизвестного Вам ученика Т. Лысенко».

Однако Лысенко ошибался, думая, что Мичурин о нём ничего не знает. Иван Владимирович взял из папки вырезанное им из газеты фото своего «неизвестного ученика» и приклеил над его статьёй... У неё было очень сухое прозаическое название: «Предварительное сообщение о яровизированных посевах пшениц в совхозах и колхозах в 1932 году». Это был анализ поведения яровизированных посевов пшеницы на 43 тысячах гектаров в нескольких тысячах колхозов. Статья молодого учёного была дорога сердцу Мичурина. Здесь воочию он увидел победу своего метода: процесс биологического исследования сочетался с процессом агрономического производства. Общие закономерности развития растений постигались на пшенице, на хлебе. Подтверждались основные положения мичуринской теории: наследование приобретённых свойств не только возможно, но и необходимо; доказывалось также в полном соответствии с его учением, что рост и развитие это не одно и то же. Дело касалось пшеницы и других полевых культур. И в тысячную армию мичуринцев-садоводов — и это было очень важно — теперь вовлекалась многомиллионная армия мичуринцев-полеводов, колхозников-опытников. Мичуринское движение приобретало небывалый размах, неоглядный масштаб.

И, видя это, Мичурин понял, что слова Михаила Ивановича Калинина, сказанные в феврале 1930 года: «Колхозы, Иван Владимирович, как только они окрепнут организационно и хозяйственно, — станут не только базой для применения естествознания, но и его мощным двигателем», — оказались пророческими.

На переднем крае всенародной борьбы за хлеб, за хлопок, за свёклу росла и развивалась мичуринская наука.

Иван Владимирович всегда убеждал своих сторонников: «Не простая перепечатка моей «зелёной книги», а продолжение её, дальнейшее её развитие — вот что требуется нам».

Такое продолжение — теория стадийного развития растений. Она стала основой современной селекции и многих агротехнических приёмов (яровизация, летние посадки картофеля и т. д.).

Новые открытия в науке о биологическом виде были развитием мичуринской теории и явились новым её подтверждением. Они дали в руки практикам хотя бы такой приём, как гнездовые посевы. Новая система удобрений малыми дозами органо-минеральных смесей, предложенная ВАСХНИЛ, широко оправдала себя на практике. Биологическая теория почвенного питания, из которой исходят эти предложения, является развитием мичуринского учения.

Естественно, что новое рождалось в непрестанных боях и каждое из этих открытий вначале встречало острое сопротивление отдельных групп учёных. Но и здесь критерием истины была практика.

Максим Горький поднял свой голос в защиту учения Мичурина, когда большинство биологов считало его не более как удачливым садоводом-самоучкой. В 1928 году, за двадцать лет до того, как истинность этого передового учения была окончательно доказана на августовской сессии ВАСХНИЛ, Алексей Максимович опубликовал свою статью о Мичурине.

...В одной из комнат дома в Горках, под Москвой, где жил Владимир Ильич Ленин, под стеклянным колпаком хранится маленький снопок тонких колосьев пшеницы. Эту первую пшеницу, высеянную здесь, принесли Ленину крестьяне. Как, наверное, доволен был Ильич, как улыбался он, разглядывая этот трогательный подарок — пшеницу, выросшую на считавшейся неплодородной земле Подмосковья!

Нет теперь колхоза в Подмосковье, на нивах которого не колосилась бы пшеница.

Кукуруза всегда считалась сугубо южным растением. Но сегодня ломается и этот канон. Для того, чтобы скорее прийти к изобилию, в невиданных ранее масштабах народ продвигает кукурузу на север.

И сегодня, когда мы узнаём, что учёные-мичуринцы вывели хорошие сорта кукурузы для Подмосковья, когда до нас доходят вести о том, что рекордный урожай кукурузы — больше девятисот центнеров — собран на полях Пудожского колхоза в Карелии, когда миллионы тружеников своими руками, каждодневным трудом воплощают мечту Мичурина, — мы с благодарностью думаем о нём.

Скептикам же полезно вспомнить совсем недавние времена, когда мысль о том, что можно в Подмосковье выращивать пшеницу, казалась еретической.

Нет у нас в сельском хозяйстве такого вида растений, к которому не прикоснулась бы преобразующая рука мичуринца.

«Наша страна и внешне должна быть самой красивой страной в мире», — говорил Мичурин. И сейчас мы уже любимся душистыми гладиолусами, цветущими круглый год лилиями, необыкновенными розами.

При коммунизме, говорил Карл Маркс, «хватит всем хлеба и роз».

Партия коммунистов подняла всех советских людей на борьбу за воплощение в жизнь этой великой мечты человечества, и неотъемлемой, прекрасной частью входит в эту борьбу подвиг гениального сына советского народа — Ивана Владимировича Мичурина.



ОВАНЕС ШИРАЗ

★

ПАМЯТНИК АБОВЯНУ

В октябре 1955 года исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения великого армянского писателя, основоположника новой армянской литературы Хачатура Абовяна (1805—1848).

В который раз, когда в родном краю
Перед Масисом молча я стою,
Я вспоминаю подвиг твой большой,
О гибели твоей скорбя душой.

И каждый раз, когда мой взгляд, скорбя,
На склонах ищет — не найдёт тебя,
Мне кажется, ты в тучку обращён,
Со склона поднимаешься на склон.

И каждый раз закатною порой,
Когда Араз¹ вздыхает под горой,
Мне кажется, что пропасть, где туман,—
Великий след твоих глубоких ран.

И каждый раз, когда в тоске стою
И на Масис смотрю я,— каждый раз
Мне кажется, вершина в честь твою,
Как памятник, над миром вознеслась.

Перевод с армянского Елены Николаевской.

¹ Араз — народное название Аракса.



КОНСТАНТИН ФИНН

★

ОШИБКА АННЫ

Драма в 4 действиях, 9 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

АННА.

БОЧАРНИКОВ.

ГЛАФИРА АНТОНОВНА.

ИЛЬИН (САША).

НИКОЛАИ (КОЛЯ).

ЛИДИЯ РОМАНОВНА.

ТАНЯ.

СОЛНЦЕВ.

МАРКИН.

ЧЕБОТАРЕВ.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

1934 год

Л Е Т О

Пэлустанок. День. Угол садика около дома начальника полустанка. Цветочная клумба. Грядки. Скамейка. Вокруг — лес. Время от времени слышно шипение паровоза, звяканье вагонов, гудки.

К скамейке подходит Пётр Кондратьевич Бочарников. Ему за тридцать. Красивый, хорошо сложен. Всё его дальнейшее поведение показывает, что он привык к успеху у женщин. Садится на скамейку, закуривает.

Вдалеке появляется Анна. Ей двадцать два года. Напевает на мотив «Ах, Самаргородок!». Бочарников оборачивается, с интересом смотрит на неё.

А н н а.

Я советская девчонка,
Не боюсь я ничего.
Много парней меня любит.
Я люблю лишь одного.

Хоть с лица он некрасивый,
Комсомольский он вожак,
Всех умней, и я робею.
Уверю, это так!

Б о ч а р н и к о в (*когда она подошла к скамейке*). Значит, вы тут и живёте, на этом полустанке?

А н н а (*останавливается*). А разве мы с вами знакомы?

Б о ч а р н и к о в (*улыбается*). Нет. Чего нет, того нет.

А н н а (*внимательно поглядела на него, усмехнулась*). Ох, вы о себе хорошего мнения!

Б о ч а р н и к о в. Ну да?!

А н н а. Уверю вас.

Б о ч а р н и к о в. Посидели бы со мной, с незнакомым!

А н н а. А что, одному скучно?

Б о ч а р н и к о в. Ужасно! И сколько ещё простоим тут у вас — неизвестно.

А н н а. Да быстро путь наладят! Вот ливни-то?! А? Пожалуй, я с вами посижу. Воскресенье, особых дел нету.

Б о ч а р н и к о в. А по будням вы что тут делаете?

А н н а. По лесу ходим, грибы собираем.

Б о ч а р н и к о в. А зимой?

А н н а (*хохочет*). И зимой собираем. (*Хохочет громче.*) Сыроежки!

Б о ч а р н и к о в (*невольно заражаясь её настроением, сам смеётся*).

А вы весёлая девушка!

А н н а (*садится на скамейку*). Уж если пригласили сесть, подвинуться бы надо. Так полагается.

Б о ч а р н и к о в (*подвигаясь*). Глуховато тут у вас.

А н н а. Тут глуховато, а вот там (*показывает рукой*) нет.

Б о ч а р н и к о в. Так вы же на лес показываете!

А н н а. Лесу конец имеется. А за лесом — фабрика ткацкая и ситце-набивная «Красная заря». Может, слышали?

Б о ч а р н и к о в. Нет.

А н н а. А вокруг фабрики — посёлок..

Б о ч а р н и к о в (*перебивает. Ей в тон*). А в посёлке — хорошие пареньки.

А н н а. Неужели ж нет? И девушки имеются хорошие и женщины. А вот одна как раз сюда идёт.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а (*входит. Ей за пятьдесят*). Мать дома?

А н н а. Дома, тётя Глаша.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а (*прошла несколько шагов, остановилась, обернулась, погрозила пальцем*). Смори!

А н н а. Что вы, тётя Глаша?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Чувствую я, что как только уйду, так ты с этим кавалером надо мной насмехаться начнёшь!

А н н а. Да разве я себе это позволю?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Ещё как позволишь-то! Смори! (*Бочарникову.*) А вы уйдёте, и вовсе дня на два смеху будет! Такой насмешницы во всём районе нету! Уж очень бойка! Пяти лет ей не было, она у матери с отцом палку с флагом из рук вырывала. Хотела самостоятельно поезда пропускать.

А н н а. Как нехорошо вы меня перед незнакомым человеком выставляете!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. А с незнакомым незачем на скамейке сидеть. Своих-то парней вконец измучила, за проезжающих взялась! (*Ушла.*)

Б о ч а р н и к о в. Серьёзная особа!

А н н а. Первая у нас ткачиха! С семнадцатого года в партии.

Б о ч а р н и к о в. А вы что, тоже работаете на фабрике?

А н н а. Да говорят... Только я скоро отсюда уезжаю. Учиться еду в Москву, в текстильный техникум.

Б о ч а р н и к о в. Скажи, пожалуйста!

А н н а. Вот вам и «скажи, пожалуйста»! На художественное отделение. Не как-нибудь!

Б о ч а р н и к о в. А у вас что, способности к рисованию?

А н н а. А как же им не быть? Смотрите, сколько узоров на деревьях! Нагляделась на них с самого детства. (*Смеётся.*) Вот я эти узоры впоследствии на ткани все и переведу!

Б о ч а р н и к о в (*улыбается*). Неужели все?

А н н а. Все. Что это вы на меня так смотрите?

Б о ч а р н и к о в (*улыбается*). Думаю, чем бы вам сейчас заняться.

Анна. Как это?

Бочарников (*показывает рукой*). Там что — огород?

Анна. Огород.

Бочарников. И в нём редиска?

Анна. Есть и редиска.

Бочарников. Вот я и нашёл вам занятие. Принесите-ка мне оттуда редиску какую получше! Или жалко?

Анна. Господи, пожалуйста! (*Встаёт со скамейки, идёт к грядке.*)

Бочарников вынимает пробку из дорожной фляжки, висящей у него через плечо, наливает в стаканчик вина. Анна подходит к скамейке, протягивает ему редиску.

Бочарников. Спасибо. Вам не предлагаю. За что же выпить? За здоровье ваше? Нет, этот тост ни к чему! Вы просто олицетворение здоровья. За вашу учёбу тоже пить не буду. Вот убейте меня сейчас, не сомневаюсь, что учиться вы и без всяких тостов будете замечательно и заткнёте эту вашу звероподобную тётушку Глашу в скором времени за пояс... Выпью я за ваше счастье!

Анна. Спасибо.

Бочарников. Чтобы было его у вас много-много, столько, чтобы могли с кем-нибудь даже поделиться.

Анна. Я тогда вам...

Бочарников. Вот, вот!

Анна. А разве не хватает?

Бочарников. А как вы думаете, если человек едет с трёхлетним сыном на новое место, если, пока он тут сидит с вами, за ребёнком присматривает соседка по купе, чужая женщина, нужно ли этому человеку счастье?

Анна. Нужно! А жена ваша где?

Бочарников. Умерла. (*Пауза.*) Что-то тост выходит глупый. На-чал за здравие, вышло за упокой! Не буду пить! (*Выплеснул вино из стаканчика на землю. Возвращает Анне редиску.*) Держите! Как вас зовут? Анной, наверное?

Анна. Почему вы узнали?

Бочарников. Не колдун, не колдун, не опасайтесь! Случайно сказал! Жену мою звали Анной. Привык к этому имени, будто бы на свете других и вовсе нет! Вот и вымолвил. А меня зовут Пётр Кондратьевич, фамилия Бочарников. На этом и расстанемся.

Анна. Надоело вам со мной?

Бочарников. Нет, не потому. Сейчас я буду всё более и более грустным становиться. Что тут для девушки интересного?

Анна. Девушка тоже не дурочка какая-нибудь, чтобы ей только всё хиханьки да хаханьки! А трудно, наверное, мужчине одному с ребёнком?

Бочарников. Ещё как! Но ведь судьбе своей не прикажешь. Что ж ему делать-то, мужчине этому, остаётся? Жить. Это-то, впрочем, нетрудно — изо дня в день жить. Ремесло несложное. Топ-топ по дорожке, топ-топ левой, правой, правой, левой. Только это, Аннушка, не для меня. Что это вы покраснели?

Анна. Меня никто ещё Аннушкой не называл.

Бочарников. Я жить хочу интересно.

Анна. Все хотят.

Бочарников. Но не все умеют.

Анна. А вы умеете?

Бочарников. Учусь.

Анна. А вы жену вашу очень любили? Господи, зачем я, дура, спрашиваю?!

Бочарников. А действительно, зачем? Вот минут, наверно, через двадцать уеду отсюда, и какое же это действительно имеет значение для

вас, любил ли пассажир из седьмого вагона покойную свою жену или не любил?

Анна. Ужасно меня заинтересовали ваши слова о жизни. Я вот, наверное, такая и есть. Топ-топ левой, правой. Вы знаете, я очень люблю жить изо дня в день, именно как вы сказали. Я и зиму люблю, и лето, и осень, и вечер, и утро, и день. Я всё, всё в жизни люблю! И вот вы меня Аннушкой называли... очень мне понравилось... Теперь всех заставлю меня Аннушкой звать.

Бочарников (*пристально смотрит на неё*). Да разве они так называют?

Анна. Да ну вас, в самом деле! Что вы так на меня смотрите?

Бочарников. Как?

Анна. Вы знаете как. Ещё раз так посмотрите, уйду! Вы, наверное, артист какой-нибудь?

Бочарников. Сразу и угадали.

Анна. Так я же вижу, что артист! В каком же вы театре?

Бочарников. В механосборочном.

Анна. Неужели инженер? Вот непохожи!

Бочарников. Механик я, Аннушка! Был слесарем, подучился — стал механиком, подучился — стал инженером-механиком...

Анна (*смеётся*). Ещё подучился... стал...

Бочарников (*смеётся*). А вот тут пока ещё не стал. Но постараюсь стать.

Анна. Кем же ещё?

Бочарников. Напишу если кандидатскую диссертацию, стану кандидатом наук. А вы — «артист»!

Анна. Вы, наверное, очень талантливы?!

Бочарников. Кто его знает! Пока из слесарей собственными силами стал инженером, а дальше посмотрим. Может, очень, а может, и не очень. Откровенно говоря, Аннушка, меня это не интересует... сегодня. Мало что меня сегодня вообще интересует.

Анна. Что ж за день такой несчастный?

Бочарников. Вот утром полез в чемодан за чем-то и нашёл. (*Вынимает что-то из кармана.*) Видите, что нашёл?

Анна. Записная книжечка с карандашиком.

Бочарников. Да, именно, записная книжечка с карандашиком. Найдёшь вот так случайно такую вот книжечку, ножик перочинный, платок носовой, и сколько эта вещь за собой воспоминаний потянет. Конечно, можно такую книжечку с карандашиком, ножик опять подальше куда-нибудь засунуть. Их-то уж перед глазами не будет, а воспоминания всё равно останутся и покинут только тогда, когда измучают тебя вконец.

Анна. А как вашего сына зовут?

Бочарников. Коля. Хорошо мы так с вами сидим, разговариваем. Давно я так ни с кем не разговаривал. Даже обидно, что вот-вот путь наладят. Хорошо, если бы вы ко мне в Москве в гости зашли. Только адрес-то у меня пока что... птичий.

Анна. То есть как?

Бочарников. Между небом и землёй.

Анна (*смеётся*). Что же, я к вам в гости на ветку приду?

Бочарников (*смеётся*). На ветку. И буду я вас на этой ветке чаем угощать. С конфетами! Дадут мне комнату, тогда вам напишу. Ладно? Адрес тут ведь простой. Железная дорога. Полустанок Авдеево. Начальнику полустанка, для Анны. Так, что ли?

Анна. Ну что ж, напишите. Я буду в Москве... почему не зайти? Очень мне хочется сына вашего поглядеть.

Бочарников. Понимаю, понимаю! Конечно, трёхлетних мальчиков больше на свете нет. И уж, побывав в Москве, не поглядеть на такого мальчика...

Анна. Ещё так будете насмехаться, никогда не приеду! Уезжайте уж вы поскорее.

Бочарников. Надоел?

Анна. При вас я не могу о вас думать. А мне хочется думать о вас, понять, хороший вы или плохой?

Бочарников (*усмехнулся*). А зачем вам, в сущности, понимать? Хороший? Так на свете столько хороших... Ну, будет ещё один. А плохой? И таких немало. Ещё один к ним прибавится! Вот когда люди друг для друга единственными становятся, вот тогда — хорошие они или плохие — всё равно будут искать один другого. И найдут!

Анна. Нет, я плохого человека никогда искать не стану!

Глафира Антоновна и Саша Ильин.

Саша (*горячо*). Вы не уважаете бытовой сектор, Глафира Антоновна. Думаете, мне не ясно?!

Глафира Антоновна. Скажи, пожалуйста! Догадался! А за что это я буду вас уважать? Вот вы людям помогите по-настоящему, тогда и будет вам всё на свете — почёт и уважение. (*Ушла.*)

Саша. Ну, и бабочка, бог с ней! Как твоя мама, Анна, с ней дружит, как к ней подходы находит, уму непостижимо!

Анна. Они друг к другу подходы нашли так это лет с трёх каждая.

Саша. Вот только разве этим и объясняются их взаимные симпатии. (*Ушёл, вернулся, Анне.*) Да, тебя выбрали в комиссию по подготовке вечеров «Десять лет без Ленина — по ленинскому пути». А тут вот ещё (*вынимает из кармана бумагу*) хочу с тобой посоветоваться.

Бочарников. Может, секрет? (*Хочет встать со скамейки.*)

Саша. Да нет, какой секрет? Статья для газеты нашей. Для первого номера. С августа начинает выходить у нас тут газета «Красный текстильщик». (*Вынимает из кармана бумагу.*) Название статьи — «Моральный облик советского человека». Тут я так развиваю! (*Читает.*) «Партия и комсомол воспитывают в советских людях благородные свойства души! Нет нигде и не может быть такой любви к человеку, такого беспокойства за судьбу человека, какие живут в сознании советских людей. И именно сейчас у нас по-настоящему звучат слова Горького». Беру в кавычки. «Всё — в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга! Человек! Это — великолепно! Это звучит... гордо!» Кавычки закрываются. «Вникните в глубокий смысл этих слов! Они сказаны ещё тогда, когда капитализм угнетал трудящиеся массы...» Ну, как?

Анна (*смеётся*). У Горького замечательно.

Саша. А у меня?

Анна. У тебя хуже. Плохо, что кавычки закрываются! Чересчур пышно как-то.

Саша. Придётся исправлять! (*Уходит в задумчивости.*)

Бочарников. Это кто?

Анна. Саша Ильин. Что это вы улыбаетесь?

Бочарников. Он, по-моему, из таких, что, как он был в детстве Сашей Ильиным, так Сашей Ильиным на всю жизнь до глубокой старости и останется. Александром... как его?

Анна. Васильевичем.

Бочарников. Александром Васильевичем ему никогда не быть.

Анна. Вы поосторожней, поосторожней — это, может, мой жених.

Бочарников. Поменьше бы таких женихов, невестам было бы лучше!

Анна. Да ну вас, в самом деле!

Бочарников (*встаёт со скамейки, вглядывается*). Какое-то оживление... Кажется, поедем. Всего хорошего, Аннушка! Я вам обязательно напишу, а вы мне ответите. Хорошо?

Анна. Хорошо.

Бочарников уходит. Анна стоит неподвижно, смотрит ему вслед. Гудок парвоза, стук колёс. Стук нарастает. Потом постепенно стихает. Анна продолжает стоять неподвижно.

Анна (*тихо, про себя*). Как будто бы ничего и не было.

Саша (*тихо подходит*). С кем это ты разговариваешь?

Анна (*вздрагнула*). Так...

Картина вторая

1934 год

ОСЕНЬ

Комната Бочарниковых. Неуютно, пусто. Всё указывает на то, что живёт тут одинокий мужчина. Над круглым столом лампочка без абажура. За столом, покрытым клеёнкой, Бочарников и Саша Ильин. На столе графин, две банки консервов.

Бочарников. Ещё рюмочку!

Саша. Нет, спасибо, хватит.

Бочарников. Одну!

Саша. Ну ладно!

Бочарников (*налил себе и Саше*). Будем здоровы!

Выпили.

Бочарников. Так вы, значит, в отпуску?

Саша. Да.

Бочарников. Чудесный у вас полустанок.

Саша. Хороший. А где ваш сын?

Бочарников. Маруся с ним гуляет. За последний месяц это уже вторая Маруся, которая с ним гуляет. Не живут у меня Маруси. Но и Кати не живут. Ещё по одной!

Саша. Нет, нет! Тут уж категорически нет!

Бочарников. Тогда, извините, сам выпью. (*Налил себе, выпил.*)

Саша. А почему не живут у вас работницы?

Бочарников. Да, наверное, им хозяйка требуется. Уж, кажется, тут у меня им полная свобода, чего уж лучше, а всё равно — поскучают, поскучают и... уходят. Мне так одна и сказала: «Я со своей хозяйкой ужасно ругалась, но всё равно решаю к ней вернуться, а тут у вас... не место!» А почему тут у меня не место? Вы что, адрес мой у Анны узнали?

Саша. Да.

Бочарников. Переписываемся с ней. «Не место». (*Усмехнулся.*) А вы знаете, верно! Не место. Без хозяйки в доме. Вот видите — лампочка? А где абажур? Думаете, не имеется? Вот там в углу лежит абажур. Можете посмотреть!

Саша. Я верю. А почему же вы не повесите?

Бочарников. А чёрт его знает почему. Сидишь тут за столом, поднимешь глаза на этот шнур, и будто бы ты сам на нём болтаешься. А как подумаешь: патрон отвинчивать, абажур чистить, он уж запылится, — а... ладно, завтра. «Не место». Теперь я и сам вижу, что не место. И потому не нравится ни Марусям, ни Катям. (*Пауза.*) Через ваш полустанок это я с Уралмашстроя ехал. Я там принимал участие ещё в монтаже первого цеха, цеха металлических конструкций. До чего же

время бежит! Словно вчера это было, а вот уже ко второй пятилетке приступаем! (*Хочет налить Саше.*) Может, соблазнитесь — ещё рюмочку?

С а ш а. Нет, спасибо! А почему так торопитесь? (*Усмехнулся.*) Подошли ко второй пятилетке и... к пятой уже рюмке.

Б о ч а р н и к о в (*выпил рюмку*). Неудовлетворённость.

С а ш а. Чем же это?

Б о ч а р н и к о в. Собой. Только собой!

С а ш а. Вот даже как?!

Б о ч а р н и к о в. Да, именно так. (*Встал, подошёл к маленькому столику у окна. Тут бумаги, кальки, рейсфедеры и т. п.*) Не поспело к первой пятилетке. Поспеет ли ко второй? Если вообще к какой-нибудь поспеет. Медленно, медленно пробираюсь. Шажком. Ну, да это ладно! Вы меня извините, я человек простой, всё-таки задам вам один вопрос.

С а ш а. Задавайте!

Б о ч а р н и к о в. Что такое? Идёт поезд. Идёт и идёт. Останавливается неожиданно на одном полустанке. Если бы ливень не размыл путь впереди, он бы там никогда и не остановился. Выходит из поезда человек, садится на скамеечку и в течение трёх каких-нибудь минут, не больше, беседует с очень милым блондином. Потом уезжает, как ему и положено, и через несколько месяцев этот милый блондин неожиданно приходит к нему в гости, в Москве. Вообще-то говоря, мне очень приятно, я людей люблю, но... поражён. Что тут такое?

С а ш а. А ничего такого. Оказался блондин в Москве, шёл по вашей улице, вспомнил адрес и зашёл.

Б о ч а р н и к о в. Так не бывает!

С а ш а. Но вот же есть! (*Поглядел на свои ручные часы, потом на будильник, стоящий на шкафчике.*) Ваши правильные?

Б о ч а р н и к о в (*взглянул на будильник*). Правильные. Семь сорок.

С а ш а. Уже семь сорок! (*Встал.*) Ну, вот мне и пора!

Б о ч а р н и к о в. Вы что, может, обиделись? Ну, тогда извините. Но согласитесь, ей-богу же, странно. И даже необыкновенно!

С а ш а (*беря свою кепку с подоконника*). Да, обида есть! Не на вас! Прощайте! (*Ушёл.*)

Б о ч а р н и к о в (*один*). Странно! Очень странно! Зачем он приходил? (*Встал из-за стола, прошёлся по комнате, подошёл к маленькому столику у окна. Стоит в раздумье.*) Непонятно! (*Сел за столик, чертит. Откладывает чертёж.*) И тут чем дальше в лес, тем всё больше непонятно.

Стук в дверь.

Б о ч а р н и к о в. Кто там?

Входит Анна.

Б о ч а р н и к о в. О господи!

А н н а. Здравствуйте, Пётр Кондратьевич!

Б о ч а р н и к о в. Анна!

А н н а. Вот, значит, какая у вас ветка! (*Смеётся.*) Ну, теперь по уговору угощайте чаем. С конфетами.

Б о ч а р н и к о в. Анна!

А н н а. Да, Анна! Прибыла Анна в Москву, поступать в текстильный техникум. Три дня уже Анна оформляет свои документы. Так могла ли Анна не зайти к человеку, который за три месяца прислал ей десять писем?

Б о ч а р н и к о в. Неужели десять?

А н н а. Десять. А какие замечательные письма!.. Ох, как у вас тут неуютно! (*Бросила взгляд на стол.*) А на ветке-то этой, кажется, не только чай пьют с конфетами.

Бочарников. Анна, что мне сейчас делать? Угощать вас, спрашивать о чём-нибудь или жаловаться на свою судьбу? Диктуйте! С того момента, как вы вошли в эту комнату, вся власть тут ваша!

Анна (*смеётся*). Беру власть. (*Показывает на графин.*) Ну-ка, вылейте эту гадость! Противно смотреть!

Бочарников. Выльем эту гадость. (*Берёт графин со стола, уходит.*)

Анна (*одна, огляделась*). Господи! Грязища, пылища!

Бочарников (*входит, подпрыгивая на одной ноге*). Исполнено!

Анна. Что это с вами?

Бочарников. Налетел на что-то в коридоре. У нас там темно.

Анна (*испуганно*). А вы не заметили, на что налетели?

Бочарников. Ну вот, буду ещё разглядывать! Торопился к вам! Мне всё кажется, что вы видение. Вот-вот растаете.

Анна. Не растаю, не опасайтесь. Это видение два с половиной кило за короткий срок прибавило!

Бочарников. Что так?

Анна. Сидела сиднем, занималась, готовилась. Двенадцатого первый экзамен. Русский язык. Боюсь ужасно.

Бочарников. Не бойтесь. Русский язык! Такая вы, Аннушка, русская, что не хватит духу у любого преподавателя по русскому языку вам плохую отметку поставить!

Анна. Духу-то, положим, хватит, но я подготовилась неплохо. Сколько у вас тут бумаг, чертежей!

Бочарников. Диссертация моя. Кран подъёмный.

Анна. Что же он будет поднимать?

Бочарников. Всё, что ему прикажут! (*Смеётся.*) А прежде всего меня!

Анна. Вас?!

Бочарников (*смеётся*). Меня, Аннушка, меня. На недостижимую высоту!

Анна (*смеётся*). Когда же это произойдёт?

Бочарников. А вот это сказать трудно. Боюсь, не скоро.

Анна. Ну и побудьте пока с нами на земле. Нам и хорошо! А то вы на высоту заберётесь, с неё-то вам нас не видно будет!

Бочарников. Побуду, побуду ещё на земле. Не беспокойтесь, не скоро ещё вознесусь. Если вообще вознесусь.

Анна. Вот так раз!

Бочарников. Трудно, Аннушка, очень трудно! Жизнь не устроена... Вот видите обстановку! Ребёнок. Всё держит, не пускает в чисто поле.

Анна. Правильно, правильно! Я вас очень хорошо понимаю. Конечно, я не сравниваю... но судить могу. Когда готовилась к экзаменам, всё, всё меня раздражало... Дома на всех кричу, кто мне мешает.

Бочарников. А мне кричать не на кого, Аннушка! Вот потому и выпьешь рюмку иногда. Глядишь — и без крику на душе легче!

Анна. Ну, знаете, тут дело такое — сперва легче, а потом так трудно станет... А где ваш сын?

Бочарников. Гуляет. Сейчас придёт.

Анна. Погляжу на него и побегу.

Бочарников. Что ж, бегите! (*Берёт со стола и даёт ей листик бумаги.*) Можете захватить.

Анна. Что это?

Бочарников. Одиннадцатое моё письмо к вам. Начало.

Анна (*читает*). «Дорогая Анна! Сегодня я понял, что тогда, на вашем полустанке, был самый счастливый день во всей моей жизни...» (*Пауза. Тихо.*) Это правда?

Бочарников (так же). Правда.

Анна. Значит, и мне надо вам правду сказать?

Бочарников. Как хотите.

Анна. Я хочу... Я не могу не сказать! Тогда... ушёл ваш поезд... вы уехали и... увезли меня с собой! Потом стала получать ваши письма: «Дорогая Аннушка! Хорошая моя Аннушка!» Я их читала на той скамейке, и как будто вы рядом со мной, вот сидите около меня и говорите: «Когда люди друг для друга единственными становятся, они всё равно будут искать один другого». После того, как вы уехали, все люди какие-то другие стали... для меня. Вот Саша Ильин, например. Вчера он уехал в Вологду...

Бочарников (изумлённо). Куда?!

Анна. Мама у него в Вологде заболела... Его срочно вызвали. Уехал, а я даже и не заметила этого. И это ещё не вся правда.

Бочарников. Какая же ещё?

Анна. Пойдите в коридор, зажгите свет и... поймёте!

Бочарников выбегает.

Анна (одна). С ума сошла, с ума сошла!

Бочарников (возвращается. В руке у него чемодан). Анна!

Анна. Поезд пришёл час назад, в семь сорок. Я прямо с вокзала поехала к маминим знакомым, на улицу Кирова. Поехала на улицу Кирова, сама не ожидала, а вот видите, где очутилась?

Бочарников (обнимает её). Аннушка!

Анна (прижимается к нему). Как хорошо мы будем жить! Лучше всех!

Бочарников. Когда вы со мной, мне уже ничего не надо! Ох, как я устал!

Анна. Я... не понимаю.

Бочарников. Устал ждать счастья.

Анна (улыбается). Значит, сейчас на душе легко?

Бочарников. Так легко, как давно уже не было.

Анна. А то я боюсь... я ужасно этого боюсь... И тогда у вас была фляжка, и теперь я тут у вас на столе... увидела.

Бочарников. Ну, теперь с этим кончено! Зачем?! И глядеть даже не стану! Зачем, когда пришло ко мне счастье?! Вот с этим рыженьким чемоданом явилось оно ко мне. (Прижимает к себе чемодан.) Ах, какой это хороший рыженький чемодан! Лучше всех на свете чемоданов!

Анна (улыбается). Это вы на него налетели в коридоре! Всё это как сон! Верно?

Бочарников. Как сон.

Анна. И точно во сне висит эта лампочка без абажура. Комнату эту даже рисовать нельзя. Нет теней. А я обязательно нарисую нашу комнату, но только тогда, когда в ней будет красиво, уютно. Нет, я её такой нарисую, с этой лампочкой. Это даже интереснее. Вот с этой точки я её нарисую! (Отошла к окну, прислонилась к подоконнику, с него что-то со звоном упало на пол.) Что-то я уронила? (Поднимает.) Портсигар. Как две капли воды похож... Такой же у Саши Ильина. Илья Муромец! Да нет, это сашин портсигар!

Бочарников. Таких штампуют тысячи.

Анна. Нет, это его портсигар! Я сама ему подарила на день рождения. Вот маленькая царापинка, как восклицательный знак! Он был здесь, Саша?

Бочарников. Был.

Анна. Когда?

Бочарников. Час назад.

Анна. Час назад?! Он же сейчас у матери в Вологде?

Бочарников. Значит, не у матери в Вологде!

Анна. Почему вы сразу не сказали и... хотели скрыть?

Бочарников. Сказал бы потом. А сейчас не мог портить нам такой момент!

Анна. Как же можно так?! Нельзя же только о себе думать! Зачем же он приезжал сюда, Саша? *(В задумчивости подошла к окну.)* Не понимаю... *(Поглядела в окно.)* Смотрите, это?..

Бочарников *(подошёл к окну)*. Коля.

Анна. Какой хорошенький! Как я волнуюсь!

Картина третья

1935 год

З И М А

Та же комната. Теперь её нельзя узнать. Чисто, уютно. Над столом красивый абжур.

За столом — Анна. Бочарников возбуждённо ходит по комнате.

Бочарников. Но что было поразительно, так это Солнцев! Сухарь, вяленая вобла, всё с оглядкой, ни одного лишнего слова. Какой там «семь раз отмерь, один отрежь»! Сто раз отмерит и так и не отрежет! Ну, ты бы слышала, что он мне говорил! Ах, Анна, Анна, это было так удивительно, так неожиданно, что все, кажется, и забыли о моём кране и усталились на этого старика. Потом старик, конечно, не удержался и влил-таки ложку дёгтя, указал на спорные положения в моей работе и заявил, что предполагает защиту не через полгода, как я говорил, а минимум через год.

Анна. Расцеловала бы я такого старика. Действительно, что это у тебя за подход? Полгода! Когда выйдет, тогда выйдет! Это же не дрова рубить!

Бочарников. Э-э, нет, Анна Ивановна, так рассуждать не приходится — «когда выйдет, тогда выйдет». Идеи, как говорится, носятся в воздухе. И пока я буду канителиться, у кого-нибудь тем временем, пожалуйста, и я... *(Разводит руками.)*

Анна. А ты тогда создашь ещё лучший кран! Мне кажется, если бы я что-нибудь создавала, я бы только так... никого бы не боялась! Даже сама бы предлагала: «Хотите моё? Пожалуйста! Берите! Не жалко! Не боюсь. Я ещё лучше сделаю». И ты не смей ничего бояться! Слышишь? *(Обнимает его.)* Ты что, пил?

Бочарников. Ну, знаешь, после такого обсуждения не зайти...

Анна. А говорил, что и глядеть не будешь! *(Пауза.)* Я очень жалею, что отпустила на ёлку Колю одного, без себя. Рано ему ещё без матери на ёлку ездить! Тут как получилось: приехал Иван Самсонович, я Колю одела, сама оделась, совсем уж собралась уходить, и вдруг дверь открывается... и так неожиданно...

Бочарников. Ну, всё-таки не так неожиданно, как в прошлый раз! Кстати, отдала ему его портсигар?

Анна. Нет. Придёт завтра — отдам.

Бочарников. Не спрашивала, что означал его приезд ко мне?

Анна. Нет. И не спрошу.

Бочарников. Почему?

Анна. Не хочу.

Бочарников. Резко, но неопределённо! Ну, что же он рассказывал?

Анна. Ничего он не рассказывал, а главным образом меня ругал.

Бочарников. За что?

Анна. За то, что не поступила в техникум.

Бочарников. Вот тут он абсолютно прав! А ты ему сказала, что в этом году поступишь?

А н н а. Нет.

Б о ч а р н и к о в. Почему?

А н н а. Он всё равно бы не поверил.

Б о ч а р н и к о в. Вот тебе раз!

А н н а. Если я в это не верю, как же ему поверить?

Б о ч а р н и к о в. Ты не веришь? Это новость для меня! Нет, Анна Ивановна, в этом году вы поступите в техникум обязательно. В том, как говорится, порукой моя честь!

А н н а (*смеётся*). О боже мой! Придётся мне теперь с бесчестным мужем жить! Слушай, бесчестный муж, подними меня!

Б о ч а р н и к о в. Это как?

А н н а. Возьми меня на руки и подними!

Б о ч а р н и к о в (*поднял*). Так?

А н н а. Выше!

Б о ч а р н и к о в. Так?

А н н а. К самому потолку. Вот я отсюда буду теперь рисовать! Лестницу достану высококую...

Б о ч а р н и к о в. Нарисуй, нарисуй! А то что это? (*Подносит её к стенке, на которой висит картина.*) Пустота и грусть какая-то. Лампочка без абажура. Чёрт знает что!

А н н а. Ничего ты, Бочарников Пётр Кондратьевич, в художестве не понимаешь! Поноси-ка ты меня лучше по комнате! Ты же страшно сильный!

Б о ч а р н и к о в. Совсем ты ещё девчоночка, Аннушка ты моя!

А н н а (*нараспев*). А в техникум я в этом году не поступлю...

Б о ч а р н и к о в. Ей-богу, сейчас на пол брошу!

А н н а. Бросай!

Б о ч а р н и к о в. И не жалко будет, если не поступишь в этом году в техникум?

А н н а (*соскакивает на пол*). Вместе мы не можем учиться, не можем?

Б о ч а р н и к о в. Почему? Прекрасно можем.

А н н а. Как это у тебя легко всё получается! «Прекрасно» даже? Не выйдет это. Я уже и так и так прикидывала. Не выйдет! Коля... хозяйство... тебе условия нужны для работы... О чём тут говорить... А ты такой у меня, что схватишь свои чертежи и через неделю к старику побежишь! (*Зажимает ему рукой рот.*) Подожди, подожди! Не говори! Я на рельсах выросла. Если какой важный поезд опоздал, его всё равно вперёд пропускают. Тебе тридцать пять, а мне двадцать три. Вот я тебя и пропускаю. Дойдёшь до своей станции, получишь кандидатскую степень, тут и я тронусь в путь! (*Хохочет.*) И подожди, где-нибудь начальник затормошится, так ещё и обгоню!

Б о ч а р н и к о в. Ах, Анна, ты моя Анна! Ну, как за такую женщину не выпить?!

А н н а. Вот чай на столе, выпей!

Б о ч а р н и к о в. За такую женщину — чай!

А н н а. Вот именно за такую — чай! Очень хорошо!

Б о ч а р н и к о в. Грех будет!

А н н а. Перестань! Очень меня пугает... Часто об этом говоришь, вспоминаешь, а сегодня ни с того ни с сего выпил!

Б о ч а р н и к о в. Господи, чепуха какая!

А н н а. Нет, не чепуха, совсем не чепуха, и дай, пожалуйста, честное слово, что не выпьешь больше ни одной рюмки без моего разрешения.

Б о ч а р н и к о в. Готов.

А н н а. Нет, ты подумай сперва, а потом соглашайся. Я не люблю, когда честное слово нарушают. Мне простить это очень трудно бывает. А иногда и совсем не могу простить.

Бочарников. Даю честное слово.

Анна. Ну, вот и хорошо! А знаешь что? Я за Колей съезжу!

Бочарников. Нет, я съезжу! Сам что-то волнуясь. Елка, свечи... он ужасно живой...

Анна. У тебя такой сегодня день, и так замучился, сиди. Ты пока повернёшься, я уж обратно буду!

Бочарников. Просто я тебя умоляю, бери сразу Колю и приезжай, не задерживайся. Ах, все эти ёлки...

Анна. Я мигом. *(Ушла.)*

Бочарников *(один. Прошёлся по комнате, что-то напевает. Бросил взгляд на дверь, подошёл к маленькому столику, на котором чертежи, кальки, ключом открыл ящик. Обнаружилась бутылка. Бросил взгляд на дверь, закрыл ящик, вздохнул)*. Какой это поэт сказал? «Жизнь коротка, а радостей так мало!» Поэт, подлец, был явно буржуазным поэтом. Но это писалось, кажется, тогда, когда буржуазия была ещё восходящим классом. *(Садится к столику, перебирает чертежи.)* Спорные положения. Значит, все расчёты снова! Брр... А станут ли они и после этого бесспорными? *(Задумался.)* Ах, старик, старик! «Меня, учёного, просто оскорбляет подобное легкомысленное отношение к науке талантливого человека. Неприличная торопливость!» Скажи, пожалуйста, оскорбляет! Ему хорошо говорить! И торопиться ему действительно уже некуда. *(Перебирает чертежи.)* Снова, снова и снова! И пока одни надежды! А надежд этих, попыток, желаний, стремлений вокруг очень много. Куда ни кинь! Достижений вот куда меньше! *(Подошёл к столику, открыл ящик.)* «Честное слово» — легкомысленно, опрометчиво, но дано! *(Хочет закрыть ящик.)* Может, нарушить? Без грехов ведь всё равно не умру! Ну, одним больше! А потому быстренько делается следующее. *(Вынимает из ящика бутылку, стаканчик, наливает, быстро выпивает. Прислушивается. Поспешно прячет бутылку в ящик, закрывает его.)* Счастлив ты, Пётр Кондратьевич, как раз во-время! *(Отходит к стене, устремляет взгляд на дверь, в которой появляется Анна.)* А Коля где?

Анна *(с трудом переводя дыхание)*. У трамвайной остановки встретила Ивана Самсоновича... привёз Колю. Идут... А я' поскорей... чтобы ты зря не волновался.

Бочарников *(нежно)*. Отдышись, Аннушка! Вот я думаю, имеются ли на свете лучше тебя люди?

Анна *(смеётся)*. И даже в большом количестве.

Бочарников *(обнимает её)*. Ну, уж я, во всяком случае, себя к их числу не причисляю.

Анна. Глупенький ты мой! Смотри, признаётся, бедненький! *(Целует его, отстраняет.)* Ты что... пил?

Бочарников. Нет.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина четвёртая

1935 год

Та же комната. Вечер.

Анна *(у двери, ведущей в другую комнату. Дверь приоткрыта. Анна говорит приглушённо)*. Спи, Коленька, папа скоро придёт. *(Прислушивается к тому, что говорит ребёнок.)* Нет, правда! Ты же знаешь, мама никогда тебя не обманывает. *(Прислушивается к тому, что говорит ребёнок.)* Ну, глупыш ты мой, ну, как же это папа больше не придёт? И ещё плачет! *(Ушла в другую комнату)*

Входит Маркин.

Маркин (*оглядывается, сел к столу; видно, не знает, как ему себя вести, куда себя девать*). Очевидно, его ещё нет дома.

Анна с удивлением останавливается в дверях, смотрит на Маркина.

Маркин (*встал со стула*). Здравствуйте!

Анна. Здравствуйте!

Маркин. Я аспирант Маркин. Очень рад с вами познакомиться.

Анна. Здравствуйте! Петра Кондратьевича ещё нет дома. (*Поглядела на часы*.) Без пяти одиннадцать. И ребёнок ещё не спит.

Маркин. Почему?

Анна. Ждёт отца. Пока отец домой не вернётся, он не заснёт.

Маркин. Любит?

Анна. Вы даже себе не представляете как! Это какая-то необыкновенная любовь к отцу. (*Прислушалась*.) Вот опять! Ну, что мне с ним делать?! Я сейчас! (*Ушла*.)

Маркин ходит по комнате, подошёл к окну, побарабанил пальцами по стеклу; видно, что-то хочет решить для себя нерешённое.

Входит Анна.

Анна. Вот видите! «Не вернётся мой папа!» — и всё тут! И это ведь каждый раз, когда Пётр уходит! Я и сама что-то волнуюсь...

Маркин. Да ну, что там волноваться! Сейчас придёт!

Анна. И потом хочется поскорей узнать, как решил Солнцев. Неужели Солнцев будет его держать до полуночи?

Маркин. Ни при каких обстоятельствах. Старик — педант, в одиннадцать он уже в постели! Это у него свято!

Анна. Но уже одиннадцать!

Маркин. Значит, он в постели.

Анна. Где же тогда Пётр?

Маркин. Этого я не могу вам сказать, но то, что старик в постели, это точно!

Анна (*пристально глядит на Маркина*). Вы что-то знаете. Что случилось?

Маркин. Не волнуйтесь. Но... старик отверг работу Петра Кондратьевича и не допускает её к защите.

Анна. Как же так?! Ох ты, как плохо, как плохо!

Маркин. Да, это нехорошо. Тем более, что старик тут абсолютно прав. Вот я и приехал поговорить с Петром Кондратьевичем... просили товарищи. И вот, пока вы ходили к ребёнку, мне пришла мысль: а почему же не воспользоваться его отсутствием и не сказать вам, что нужна ваша помощь?

Анна. Моя?! В чём?!

Маркин. Да, ваша! Жены! Наш коллектив вот уже довольно продолжительное время видит, как талантливый человек, простите, халтурит! Как могли, мы на него влияли. Но, может, одних наших усилий мало? Прежде всего... Анна Ивановна, кажется?..

Анна. Да просто — Анна.

Маркин. Прежде всего... Пётр Кондратьевич очень часто... да почти ежедневно в лёгком, так сказать, подпитии...

Анна. Это неправда!

Маркин. Это правда! Нам он отвечает, что он не может найти подхода к Солнцеву, а так ему, что ли, проще... ну для храбрости он будто бы это делает... А к Солнцеву вовсе никакого особенного подхода не требуется...

Анна. Ну, знаете, что я вам скажу...

Маркин. Можно просто — Юрий.

А н н а. Я его не знаю, конечно, этого Солнцева... но по рассказам... я чувствую... это, по-моему, очень злой старик... и, по-моему, он ненавидит Петра... всячески старается... его обидеть...

М а р к и н. Пока что Пётр Кондратьевич обидел старика!

А н н а. Этого не может быть! Пётр на это не способен!

М а р к и н. Способен. Он нагрубил старику, когда тот указал ему на поверхностный подход к работе. Пётр Кондратьевич был не совсем трезв. Старик это заметил. Вот уж этого старик никогда не простит! Для него наука — святыня! Всё, что связано с наукой, священно!

А н н а. Так же, как ложиться спать в одиннадцать часов? Или менее?

М а р к и н. Вот что, Анна...

А н н а. Просто — Анна.

М а р к и н. Нет, просто Анна сейчас не выйдет! Просто Анна предполагает товарищеские отношения... а я, знаете, не испытываю желания...

А н н а. Ох, смотрите какой!

М а р к и н. Да, такой! Именно такой! Я не позволю вам обижать профессора. Да, он со странностями... Да, он ляжет спать в одиннадцать часов, даже если случится наводнение, если небо упадёт на землю, но это огромный учёный! Вот как! И всё это очень серьёзно! Куда он, к чёрту, торопится, ваш Пётр Кондратьевич?

Входит Бочарников.

Б о ч а р н и к о в (*увидел Маркина*). А, Юра?! (*Анне*.) Это у нас, Аннушка, самый молодой и самый боевой аспирант!

А н н а. В этом я уже убедилась. Зайди к Коле!

Б о ч а р н и к о в. Не спит?

А н н а. А как ты думаешь?!

Бочарников ушёл в соседнюю комнату.

М а р к и н. Давайте, давайте с двух сторон!

Б о ч а р н и к о в (*входит*). Всего меня исцеловал.

М а р к и н. Маленький ещё! Подрастёт — разберётся!

Б о ч а р н и к о в. Слышишь, Анна? Вон он у нас какой — Юра! Рассказал он тебе о том, какие у меня сегодня успехи? Да. С таким руководителем можно получить кандидатскую степень только в глубокой старости!

М а р к и н. Получали и в молодости, да не кандидатские, а докторские... с таким руководителем!

Б о ч а р н и к о в. Ну, не знаю, не знаю! Я, во всяком случае, ему не подхожу. Меня в науку не пускает. Трудолюбие и аккуратность — вот что для него главное! А талант — бог с ним!

М а р к и н. Ну, о старике-то теперь вообще говорить нечего. Сегодняшнее он вам ни за что не простит! И речи даже никакой об этом не может быть! Ужасно он разволновался!

Б о ч а р н и к о в. Не беспокойтесь, сейчас мирно пребывает в постели! Ну, что вообще можно требовать от человека, который торжественно заявляет, что уже десятки лет не ложился спать позже одиннадцати часов, и именно в этом полагает самое великое своё назначение!

В дверях появляется Солнцев.

С о л н ц е в (*с минуту стоит, никем не замеченный*). Лечь спать — это ещё полдела..

Все с удивлением оборачиваются к нему.

С о л н ц е в. ...уснуть надо!

М а р к и н. Иван Иванович?!

А н н а. Раздевайтесь... пожалуйста!

С о л н ц е в. Спасибо!

Маркин. Я помогу, Иван Иванович! *(Помогает Солнцеву снять пальто.)*

Солнцев *(сел к столу)*. Так вот я не мог заснуть, всё думал *(Бочарникову)*, о вас думал. И понял — кран вы ваш создаёте только для себя, Пётр Кондратьевич. Для личного, так сказать, пользования. Вернее, использования.

Бочарников. А вот этого уж я, простите, не понял! Что, я его сюда в комнату поставлю, между окном и шкафом?!

Солнцев. Нет, сюда он, пожалуй, не станет. Кран будет находиться в цеху, но, тем не менее, вы его создаёте только для себя. Потому-то вы так и торопитесь — поскорее хотите вкусить все радости жизни! Всё для себя! Нет, Пётр Кондратьевич, в науке так нельзя. Помимо себя, многое любить надо советскому учёному, горячо любить! Понятно вам это?

Анна. Понятно.

Солнцев обернулся к ней удивлённо.

Анна. Нам понятно! *(Показывает то на себя, то на Бочарникова.)* Это всё равно.

Солнцев. Ну, если понятно, то прошу завтра ко мне в десять утра!

Анна. Он будет ровно в десять.

Солнцев. Ох ты, какая...

Анна. Какая?

Солнцев *(не сразу находит слово)* ...Семейная. *(Бочарникову.)* Потом вот что... Может, мне показалось... Вы не были сегодня в одурманенном состоянии? Имейте в виду, это у меня исключено! Слово коммуниста, на порог не пушу! *(Анне.)* Он что у вас, вообще пьёт?

Анна. Да нет, что вы, никогда! Просто это какая-то... случайность.

Солнцев. Случайность — тогда ещё полбеды... *(Встал со стула, надевает пальто. Маркин ему помогает.)* Всего хорошего!

Маркин. Я провожу вас, Иван Иванович! *(Быстро накидывает пальто, уходит вместе с Солнцевым.)*

Анна *(едва за ними закрылась дверь)*. Ты, оказывается, всё это время обманывал меня?! Ты же дал честное слово, что ни одной рюмки без моего разрешения... Разве я когда протестовала, если ты дома... или в компании... немножко... а ты, оказывается, ежедневно...

Бочарников. Ну, что я пил? Чепуха!

Анна. Какое это счастье, что старик мне поверил!

Бочарников. Ах, старик, старик... Пойми, мне трудно с ним, невозможно!

Анна. Так надо пить?!

Бочарников. Да я уж сам не знаю, что надо! Я человек порыва и если в чём-то талантлив, то именно в том, что могу найти нечто новое, но разработка, детализация... всё это копанье... *(Ходит по комнате.)* А с другой стороны, без этого тоже нельзя. Так, может быть, я вообще не из тех, из кого выходят учёные?!

Анна. Не смей так говорить, слышишь?! А что, если я буду тебе помогать?

Бочарников. Глупенькая ты моя! Не сумеешь!

Анна. Сумею! Я научусь чертить, подсчитывать. Ты будешь только творить! И всё будет у нас замечательно, только если ты не будешь пить! Поклянись любовью сына, что не будешь!

Бочарников *(улыбается)*. Может, перед иконой?

Анна. Обойдёмся без иконы! Ну, а что же делать, что же делать, если даже честное слово твоё не помогло?! Клянись!

Бочарников. Ну, если ты так настаиваешь, клянусь!

А н н а. Вот теперь я спокойна! Всё у нас будет замечательно! (*Обнимает его, целует.*) Будет замечательнс?

Б о ч а р н и к о в. Будет.

А н н а. То-то же! Ох, какой день сегодня был тяжёлый! Но теперь всё у нас будет хорошо. Ты же не ел ничего! Я сейчас разогрею. (*Ушла.*)

Б о ч а р н и к о в (*один*). «Теперь всё будет хорошо!» Ах ты, ребёнок, ребёнок! (*Вынимает из портфеля папки с чертежами, выкладывает их на маленький столик.*) Да, грустное возвращение! Не висеть вам на стенах в аудитории в этом месяце, как я предполагал! В конце концов я не с маленького места пришёл в аспирантуру! Что, мне плохо было? И на кой чёрт я полез?! Я бы теперь уже кем бы был-то?! (*Взгляд упал на лежащую на столе газету. Взял газету в руки.*) Вот, пожалуйста, открытие метро! Прославились люди! А что, там такому механику, как я, места бы не нашлось?! Будет же и вторая очередь, и третья. Может, попытать счастье, так сказать (*усмехнулся*), во вторую очередь?! (*Ворошит папки.*) А зачем же я тогда столько лет даром на это загубил?! Да, положение! (*Заходил по комнате. Посмотрел на часы.*) Пять минут второго. Ещё всё открыто! Пойти... отвести душу... Музыка там какая-нибудь... весёлая... шум вокруг. Уж очень что-то тошно! (*Нерешительно берёт шляпу.*) Она будет волноваться! И что я скажу, когда вернусь? Это будет свинство, ужасное свинство с моей стороны! Отпадает! (*Кладёт на подоконник шляпу, ходит по комнате.*) Тем более, только что клялся! Нет, нельзя, нельзя! (*Останавливается у окна.*) А, да какое это всё имеет значение, когда сегодня на земле, кажется, стало одним учёным меньше и одним неудачником больше! (*Решительно берёт шляпу, уходит.*)

Картина пятая

1939 год

Та же комната. Анна у стола за швейной машиной. Она шьёт, торопится. Напевает:

«Ах, Самара-городок, беспокойная я!»

Входит Глафира Антоновна.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а (*она почти не изменилась с тех пор, как мы видели её на полустанке*). Здравствуй, трудящаяся! Отвела?

А н н а. Отвела. И очень волнуюсь...

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Тебе бы только от чего не волноваться, лишь бы волноваться!

А н н а. Да что вы говорите, тётя Глаша! Мальчик первый день в школе.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Кроме него, там мальчиков нету.

А н н а. Ну и что? И все матери волнуются!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а (*подходит к столу, глядит на шитьё*). Неужто всё то платье шьёшь?

А н н а. Дошиваю уже. Да ведь всё урывками. (*Пауза. Напевает.*) «Я советская девочка, не боюсь я ничего!» Саша Ильин в Москве.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Вчера у меня был. Такой важный! В гостинице «Москва» номер занимает. Вон как!

А н н а (*напевает*). «Всех умней, и я робею. Уверюю, это так!» Просьба у меня к вам, тётя Глаша.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Если насчёт него какая, зря не старайся.

А н н а. Не по-партийному вы рассуждаете! Нет, не по-партийному!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Всё? Или ещё что-нибудь добавишь?

А н н а. Ничего я больше не добавлю!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Зря! Могла бы ещё сказать про себя, что совести у тебя маловато! «Не по-партийному!» Мало мы у себя на Трёх-

горке с ним возились? Ты скажи, мало? Чего ж молчишь? И так и этак! И строгостью и добром! Всё, всё делали для него! «Не по-партийному!» Из велосипедной мастерской, что, уже тоже выгнали?

А н н а. Не лежит у него душа. Посудите сами, как там ни говори, человек (*показала на маленький столик в углу, на котором в папках лежат бумаги и чертежи*) вот ведь до чего доходил! Ну ладно, пусть слесарь... но не в велосипедной же мастерской... на самом-то деле! И потом в материальном отношении... думаете, легко?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Брось врать-то, милая! А сроду-то он тебе денег давал? Может, первый год, как поженились? (*Пауза.*) Иногда думаю: хорошо, что Веры нет на свете. Поглядела бы она, как её дочка единственная, Аня её обождаемая, живёт! Как ночи до утра за работой про-сживает! Носки подшивает, куклы какие-то там раскрашивает! Всё выискивает, всё вынюхивает, мечется, где какую работу повыгоднее получить! А не раздобудет, так по восьмидесяти штук крупного белья в день на людей стирает! При твоём-то таланте, училась бы, кем бы ты сейчас была?!

А н н а. Ну да, «при таланте!» Талант человека от себя не отпустил бы!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. И опять не ври! Учиться не стала потому, что троих пришлось кормить, проить. Вот и ищешь работу часов так на двенадцать, на тринадцать в сутки, вроде той, что у тебя сейчас в шкафу лежит. Поучись-ка тут, попробуй! (*Подошла к шкафу, вынула какие-то береты и блёстки. Качает головой.*) Ну, как эту ерунду нашивать? В руках сыплется! С ума сойдёшь! (*Положила береты обратно в шкаф.*)

А н н а. Это последняя моя работа такая. Поглядите-ка на третьей полке!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а (*вынимает из шкафа какую-то вышивку*). Красивая!

А н н а. А на бархате какая получится! Вот теперь я только этой вышивкой и стану заниматься! А в артели как довольны! Такие комплименты! Они мне принесли образец, гляжу — цветы пышные, а птицы какие-то глупые. Роскошно, но скучно, приторно. (*Бросила шитьё, подошла к Глафире Антоновне.*) А я, смотрите, что сделала! Цветы простые, полевые, наивные! А видите, две пташки вьются? Глядят на цветы, цветы к ним тянутся, и всем тут очень весело. Я чувствую, что по-настоящему начинаю любить эту работу! (*Села опять за машину.*) Значит, так человеку и погибать?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Да что ты меня громкими словами-то пугаешь? Болезни в нём, врачи определили, никакой нет. Одна распушенность! От себя и погибает!

А н н а. Ну, я ещё поборюсь за него!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Я вижу, как ты борешься!

А н н а. Как умею. Уговаривала, умоляла... грозила. Чего только не делала! Ничего не помогло. Теперь вы себе представляете, если бы у меня руки опустились, что бы с ним стало? Ох, это страшно, если один человек оступился, а другой — за ним! Тогда конец! А так он знает: рядом с ним — сила! Она его лучше всяких слов укоряет! Вы что думаете, он не переживает, на меня глядя? Сегодня переживает, завтра переживает, и в конце концов это его заставит за ум взяться! Вот в чём моя борьба заключается! А тогда, может, опять начнёт... (*Указала на столик, на котором лежат папки.*) Знаете, тётя Глаша... снится мне по ночам, что он сидит там, что-то чертит, напевает... Он всегда что-нибудь напевал, когда чертил... С тех пор, как это место неживое какое-то стало, я вам откровенно скажу, мне жить очень трудно. (*Улыбается.*) Вот какие у меня сны.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Что там сон! Непрочное дело! Вот был — вот улетел! В газету надо написать, чтобы все узнали, каков он есть человек! Какой семьянин, какой работник!

А н н а. Да вы что?!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Не тарашь на меня глаза! Ты не напишешь — со стороны люди напишут!

А н н а. Не имеют права! Это наше с ним дело, семейное!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Семейное, это верно. Только не одной семьи из трёх человек это дело! Нет, тут всем миром наваливаться надо!

А н н а. Чтобы все узнали... чтобы ему повредило... и чтобы тогда всякая надежда пропала на то, что он поднимется! Этого хотите? Ненавидите вы его! Ну, а вы вот сами смогли бы на вашего мужа в газету написать?!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а *(после паузы)*. Не было у меня мужа.

А н н а. Ну, то-то и оно! Кончила платье! Теперь быстренько его наденем и — в школу за Колей! *(Встала из-за стола, идёт за ширму, оттуда слышно.)* «Много парней меня любит. Я люблю лишь одного». Должна я в школе произвести впечатление? Вот какая мама у Коли Бочарникова! *(Выходит из-за ширмы в новом платье, подходит к зеркалу, поворачивается перед ним то в одну, то в другую сторону.)* А какая мама у Коли Бочарникова? Мама эта, кажется, ещё ничего!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Интересная!

А н н а. Ну, не так, чтобы сказать очень, а не хуже других! *(Напеваёт, поворачиваясь перед зеркалом.)* «Хоть с лица он некрасивый, но другого не сыскать. Помогите мне, подружки, о своей любви сказать!» А у Коли-то, между прочим, не учительница, а учитель! Высокий такой, стройный, интересный! И говорит так медленно, солидно! *(Хохочет.)* Я заметила, что я ему понравилась. Он вроде на Колю глядит, а нет-нет и на меня глаз бросит. Так это я ещё была в старом платье. А теперь ему, голубчику, совсем худо станет!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Зачем зря человека смущаешь?

А н н а. Ничего, пусть немного посмущается. А то он какой-то чересчур солидный. *(Уходит вместе с Глафирой Антоновной.)*

Сцена минуту пустует. Из другой комнаты выходит Бочарников. Он изменился за эти годы, обрюзг, но лицо ещё красивое. Садится к столу.

Б о ч а р н и к о в *(громко)*. Анна! Нет её, что ли?

Входит Ильин.

Б о ч а р н и к о в. А, Александр Васильевич! Заходите, заходите! Вчера вы ушли от нас, а я тут же вернулся. Что ж не посидели?

И л ь и н. Да разрываюсь я у вас в Москве на части. Дела, а потом всё пытаюсь сельскохозяйственную выставку осмотреть. *(Улыбается.)* Да что-то не получается никак. Город! Грандиозно, голова кружится! Ну, что вы хотите, под землёй скрыто семьдесят километров кабеля и девятьсот километров провода только для освещения стендов и павильонов. Девятьсот тысяч кубометров объём строений. С ума сойти! Представить себе невозможно, что же может быть ещё грандиознее, какая ещё выставка?

Б о ч а р н и к о в. Так, наверное, и не может быть.

И л ь и н. А вы что считаете, что в тридцать девятом году наши достижения кончаются? А будут достижения, будет и выставка!

Б о ч а р н и к о в. Ну, это конечно! *(Пауза.)* Сожалел я, что вас уже не застал вчера, сожалел... Да... *(Пауза.)* Мужчины поддержат друг друга?

И л ь и н. Смотря в чём?

Б о ч а р н и к о в. Двадцать пять рублей.

И л ь и н. Пожалуйста!

Б о ч а р н и к о в. Предупреждаю: без отдачи. Я сейчас опять не у дел. А у Анны просить — это для меня нож острый!

И л ь и н. Да, ей трудно.

Бочарников. Трудно — это ещё полдела. А вот обидно! *(Подойшёл к маленькому столику, взял одну из папок, перелистывает бумаги.)* Мечты улетели, но... не в ту сторону. И, знаете, она каждый день пыль тут вытирает, с этих уже никому не нужных бумаг! Не вышло большое, огромное дело! *(Кладёт папку на стол.)* Вы её очень любите?

Ильин. Мы с ней большие друзья.

Бочарников. Посоветуйте ей меня бросить! Ну, что женщина мучается?

Ильин. Это ещё, как вы только что сказали, полдела.

Бочарников. А дело тогда в чём?

Ильин. Дело в чём? Зря жизнь её проходит. Вот в чём дело! А эта жизнь... могла быть очень ценной!

Бочарников. Вы меня извините, конечно, но ведь вас-то она всё равно не любит!

Ильин. Ну и что из этого?

Бочарников. А! Это вы, значит, в смысле общества?

Ильин *(ему в тон)*. Да, это я, значит, в смысле общества!

Бочарников. Высокая для меня материя. И, по правде сказать, не верю.

Ильин. Во что не верите?

Бочарников. Не во что, а кому. Вам не верю! Любите вы её. Жалеете. Хороший вы человек! И грустно вам, что она со мной мучается. Пять лет назад, когда приезжали и портсигар свой забыли, хотели убедиться, что же вашу Анну в жизни ожидает. Вот в это верю! И ещё верю в то, что, несмотря на ваш вежливый тон, ненавидите вы меня смертельной ненавистью. И тем не менее я пойду и превращу ваши деньги в жидкое состояние! *(Идёт к двери.)*

Ильин. Постойте!

Бочарников *(улыбается)*. Стою. Но денег всё равно обратно не получите.

Ильин. Да при чём тут деньги? Горе, большое горе у меня из-за вас! Такое горе, что не дай бог знать никому! Но я не могу, понимаете, не могу видеть, как гибнет человек! Вот не в состоянии я с этим мириться! Не в состоянии! Послушайте, я сейчас начальник цеха, поедemте к нам, начинайте работать. Я помогу вам, даю слово коммуниста. Я знаю, с вами будет много возни, вы втянулись, но у нас на фабрике народ хороший, дружный... возьмёмся за вас! А? *(Показал на столик с папками.)* Потом, может, и к этому вернётесь. Ведь и опускается и поднимается человек постепенно. Вам бы сейчас хоть одну ногу на твёрдую почву поставить. Соглашайтесь! Прямо можем послезавтра вместе выехать.

Бочарников. Нет, не выйдет!

Ильин. Почему?

Бочарников. Почему? А как вы думаете, могу я воспользоваться вашим предложением, именно вашим, в связи со сложившейся ситуацией? Нет, это исключается! Такой уж я... мужчина!

Бочарников уходит. Ильин шагает из угла в угол. Входит Анна.

Анна. Саша! Он один тут, оказывается!

Ильин. Хозяев нет, что же гостю делать остаётся?

Анна. Взял бы и разбудил Петра. Свой же человек, кажется. И довольно ему уже спать!

Ильин. Он ушёл.

Анна. Ушёл? Бегала в школу за Колей. Торопилась, торопилась, а, оказывается, только ещё через полтора часа за ним идти. Ну, как ты, Саша? Вчера и не поговорили даже мы с тобой. Во-первых, пока мы вдвоём, ты мне скажи, как ты находишь Петра. Верно, он куда лучше стал против прошлого года?

Ильин. Да.

Анна. И держит себя совсем по-другому как-то! В прошлом году, помнишь, он себе позволил тайком от меня десять рублей у тебя занять? Ну и попало же ему от меня тогда за это! А сейчас он, по-моему, очень изменился.

Ильин. По-моему, тоже.

Анна. Ну, так как же ты-то?

Ильин. Я как? Да хорошо, кажется.

Анна. Ну, а как там у нас вообще всё? Будка наша стоит?

Ильин. Стоит. И лес вокруг неё стоит.

Анна. Глафира тебя очень важным считает. *(Смеётся. Голосом Глафиры Антоновны.)* В гостинице «Москва» остановился!

Ильин. Да ну её!

Анна. Ты теперь начальник набивного?

Ильин. Да.

Анна. Ну, как?

Ильин. Да только что приступил. *(Пауза.)* Посмотрим. *(Пауза.)*

Анна. Саша, скажи мне откровенно, ты меня считаешь несчастной?

Ильин. Вовсе нет. Если человек любит, как он может быть несчастным?

Анна. Умница ты, Саша!

Ильин. Подумаешь, какая новость!

Оба смеются.

Ильин. Вот что, Анна! Только ты пойми меня правильно. Поймёшь?

Анна. Постараюсь.

Ильин. Постарайся, постарайся! Изю всех сил постарайся! Видишь, как дело обстоит... Я человек не семейный, а получаю вполне достаточно, чтобы содержать семью... а её нет у меня, семьи! И вообще у нас там ведь не Москва... куда там тратить? Билетов в парк культуры и отдыха не покупаем... Вон у нас какой там парк — на двадцать километров!

Анна. Это что, каждый год такие разговоры будут повторяться?

Ильин. Мы же с тобой товарищи, Анна! Настоящие мы с тобой товарищи! Разве ты посмеешь это отрицать? Бери у меня деньги, Анна, и учись! Ещё не поздно!

Анна. Это всё Глафира! Всё Глафира!

Ильин. При чём тут Глафира?

Анна. Представляю себе, что она тебе вчера наплела! Кто ей вообще даёт право, этой Глафире, говорить, что я плохо живу? Что, я ей жаловалась, что ли?! Вовсе я не так плохо живу! В общем даже хорошо живу! А в некоторых отношениях... *(Бросилась к шкафу, достала вышивку, показывает Ильину.)* Ну, как, как, ты скажи, как?!

Ильин. Хорошо, по-моему.

Анна. Так вот, целиком я сейчас на это переключаюсь! А это художественная работа. И ещё большой вопрос, что ценнее — это ли или *(показывает на стенке картину)* неуютная комната с лампочкой без абажура?

Ильин *(показывает на картину)*. Это ценнее.

Анна. Ты так считаешь? Я очень тебя люблю, Саша, но не сердись, не очень-то ты понимаешь в искусстве! *(Показывает на вышивку.)* А это вот искусство настоящее, и я просто влюблена в эту работу. Ах, эта Глафира! Бросила «Красную зарю», переехала в Москву. Только портит мне жизнь! Что, в самом деле, она хочет? И делом я любимым занимаюсь и книги читаю! Вот недавно вышел том «Тихого Дона» — прочла, «Хожение по мукам», всё от слова до слова, прочла!..

Ильин. Это неправда, Анна!

А н н а. Ах, неправда?! Хорошо! Ну, спроси меня — Мелехов вернулся к красным или не вернулся? Пожалуйста! Нет, ты спроси. Что ж ты не спрашиваешь?

И л ь и н. Ну... спрашиваю.

А н н а. Пожалуйста, пожалуйста! (*Говорит так, как отвечают урок в школе.*) Мелехов, узнав, что красные войска оттеснили (*голос дрогнул*), что Подтелков... что Подтелков с войсками... (*Голос дрогнул сильнее.*)

И л ь и н. Не надо, Анна! Я верю. (*Отвернулся к окну.*)

Входит Бочарников.

Б о ч а р н и к о в. Немая сцена! Медленный занавес!

А н н а (*вздрагнула*). Занавес очень быстрый! И все садятся пить чай! Пётр, Саша, вы тут поговорите о чём-нибудь пока, а я приготовлю всё к чаю.

Б о ч а р н и к о в. Нет, я проездом... (*Ильину.*) Требуются дополнительные ресурсы. Я взял у вас двадцать пять? Так вот, как говорится, для ровного счёта — ещё пятнадцать!

А н н а. Пётр! Пётр, иди спать!

Б о ч а р н и к о в. Невозможно! Прерван пир! Вокруг стола в забега-ловке стоят друзья — прошу учесть, не сидят, а стоят — и ждут меня... с дополнительными ресурсами.

А н н а. Никуда ты больше не пойдёшь!

Б о ч а р н и к о в. Пойду!

А н н а. Я сказала — ты никуда больше не пойдёшь! Ты знаешь, что если я сказала, то так и будет!

Б о ч а р н и к о в. А я говорю — пойду!

А н н а. Нет!

Б о ч а р н и к о в. Пойду!

А н н а. Вот я интересуюсь, как это произойдёт?!

Б о ч а р н и к о в. Произойдёт! И мало этого, ты сама меня попро- сишь об этом!

А н н а (*пытается улыбнуться*). Ну вот, на это уж не надейся!

Б о ч а р н и к о в. Я не надеюсь, я уверен в этом! Мне хочется туда, к друзьям...

А н н а. Слово-то это не позорь!

Б о ч а р н и к о в. Это можно сделать, но чего уже нельзя сделать — это не сказать наконец правду, не облегчить совесть. Вернее, остатки её. Я не люблю тебя, Анна!

И л ь и н. Пётр Кондратьевич!

Б о ч а р н и к о в. Прошу тишины и внимания, потому что впервые за пять лет в этом доме говорится правда! Не люблю!

И л ь и н. Пётр Кондратьевич, замолчите вы!

А н н а. Пусть скажет!

И л ь и н. Что он может сейчас сказать? И как это можно слушать?!

А н н а. Нет, он, кажется, правду говорит!

Б о ч а р н и к о в. Правду, Анна, чудная моя Анна, правду! Я страш- но виноват перед тобой! Но я в жизни любил и люблю одну женщину. Ту Анну. Всё остальное — казалось! И буду её любить до последнего моего дня! Я и Колю так люблю и постоянно дрожу от страха, что его кто-ни- будь может отнять у меня... у такого отца очень легко отнять сына, по- тому что любой человек лучше такого отца... Я безумно люблю Колю, по- тому что он похож на неё, на мать! Когда он входит в комнату, входит она! Когда он говорит, говорит она! Из-за Коли она каждый день здесь, со мной! Вот и всё! Теперь, очевидно, меня никто задерживать уже не станет?! Дайте мне пятнадцать рублей, и я уйду!

Подходит к Ильину. Тот машинально опускает руку в карман, достаёт деньги.

Бочарников берёт их. Ушёл.

Ильин. Послушай, Анна!

Анна (*не слушая его*). Вот почему он пьёт! Всё теперь ясно стало!

Ильин. Уходи отсюда.

Анна. Да, да, конечно.

Ильин. Сейчас же уходи!

Анна. Сейчас, да, да. Конечно, сейчас. Вот такая бывает любовь на свете. И он может...

Ильин. Анна!

Анна. Можно страдать, можно возненавидеть, можно, наконец, умереть от страдания, но не понять такую любовь никто не имеет права!

Ильин. Ты же слышала, он не любит тебя. Как же ты можешь после этого любить?!

Анна. Ах, Саша, Саша, если бы в жизни было так, что любили бы мы только тех, кто нас любит!

Ильин (*после паузы*). Если бы так было!..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина шестая

1940 год

ВЕСНА

Та же комната. День. Анна и Бочарников.

Анна. Ты бы хоть раз пошёл погулять с мальчиком!

Бочарников. Сейчас не могу.

Анна. Смотри,хватишься — поздно будет.

Бочарников. Разлюбит? Не рассчитывай!

Анна. Не рассчитываю. К сожалению, нет такой силы на свете, чтобы помогла этому совершиться! Необыкновенна его любовь к тебе.

Бочарников. А почему тогда: «Хватишься, поздно будет»?

Анна. Детство его пройдёт. Не заметишь ты его детства! Неужели даже этого не жалко будет?

Бочарников (*после паузы*). Послушай, Анна, я понимаю, тебе очень тяжело после того разговора... год назад... в присутствии Ильина...

Анна. А я ведь тебе не жалуюсь, кажется? Разве ты ещё не заметил, что я гордая? (*Выглянула в окно.*) Ко мне по делу. Иди в ту комнату!

Бочарников. Не хочу!

Анна. Перед этим человеком ты ни при каких обстоятельствах не можешь предстать... днём. Его брат — главный инженер завода Калинина... У меня есть надежда, что он поможет, а если он увидит, узнает... Иди, иди, пожалуйста! Ложись спать!

Бочарников уходит в другую комнату. Анна быстро стряхивает крошки со скатерти, поправляет занавеску.

Входит Чеботарёв.

Чеботарёв. Здравствуйте, Анна Ивановна!

Анна. Что же вы запаздываете, Павел Петрович? (*Кладёт на стол какие-то бумаги.*) Так вот, обследовала я семью Шестакова.

Чеботарёв. Дайте отдышаться... Ну, до чего же энергичная! (*Взгляд упал на стену, подошёл ближе.*) Какая картина хорошая! (*Отступает от картины.*) Замечательно просто! И вот эта лампочка без абажура... А абажур пылится в углу. Как тут чувствуется одиночество! Кто автор?

Анна. Не знаю. Подарили. Так вот... Я обследовала семью Васи Шестакова. Дело, по-моему, тут серьёзное. Мать очень невнимательная к детям женщина. И есть тому причины, лежащие за пределами семьи.

А дети фактически предоставлены самим себе. Мириться с таким положением мы больше не можем ни одного дня... категорически!

Чеботарёв. Кто это вроде стонет там? (*Указал на дверь в соседнюю комнату.*)

Анна. Это муж. Я утром гладила... угорел... не пошёл на работу. Чеботарёв. Не пошёл?

Анна. Да. И вообще он с этой работы собирается уходить... Она как-то его не захватывает. Я и сама считаю, что ему следует перейти на другую... если, конечно, его отпустят...

Чеботарёв. Анна Ивановна, вам не показалось странным, что по вопросу обследования семьи Шестакова я не просил вас зайти в школу, а почему-то настоял, что сам зайду к вам?

Анна (*растерянно*). Пожалуйста... я очень рада.

Чеботарёв. Я ежедневно общаюсь с моим учеником Колей Бочарниковым, могу ли я, посудите сами, не знать, что происходит в его семье? Милая Анна Ивановна, золотой вы, чудный человек... поймите меня правильно... надо что-то делать... чтобы не было днём стонов...

Анна. Устройте его на работу... ваш брат...

Чеботарёв. Я не сделаю этого, Анна Ивановна, это ничего не даст, кроме неприятностей брату в самом непродолжительном времени. У вашего мужа нет никаких оснований жить так, как он живёт. Зачем ему себя постоянно одурманивать? Что в нашей жизни он хочет видеть в искажённой перспективе, через... бутылку? Что его не устраивает? Значит, это зло! И вам одной не справиться. Зло должно быть наказано, иначе оно накажет других! И прежде всего моего ученика Колю Бочарникова. Я не первый год окружён ребятами, но мне, честное слово, ещё не приходилось наблюдать такой любви мальчика к отцу. Следовательно, ещё опаснее...

Анна (*закрывает лицо руками*). Вот, значит, и меня... мою семью обследуют...

Чеботарёв. Анна Ивановна, вы поймите меня правильно.

Анна. Я понимаю правильно. (*Пауза.*) Слушайте, если вы действительно хотите помочь этой обследуемой вами семье, сделайте только одно... Вот лежат чертежи, материалы его диссертации... Покажите вашему брату... Может, в них есть что-нибудь ценное... и, может, это его как-то вдохновит, повлияет, даст толчок... ведь только один, один толчок нужен...

Чеботарёв. Как вы его любите!

Анна. Ну... не очень. Он так иногда поступает, если бы вы только знали! Я просто хочу, чтобы он... чтобы вообще, чтобы... (*Зануталась.*)

Чеботарёв. Хорошо, Анна Ивановна! Давайте, я покажу эти материалы брату. Даю вам слово, что он отнесётся к ним серьёзно.

Анна. Как я вам благодарна! Может быть, это выход... (*Бросается к маленькому столику.*) Во что же завернуть?

Чеботарёв. В газету.

Анна. Что вы!.. А вдруг дождь... Тут же играет роль каждая чёрточка. Я сама многое тут чертила, я знаю. Я заверну в две газеты и вас очень прошу быть осторожнее...

Чеботарёв. Я буду очень осторожен.

Входит Глафира Антоновна.

Анна (*ей*). Тётя Глаша, материалы эти к специалисту пойдут...

Чеботарёв (*берёт связку бумаг*). Ну, кажется, связано хорошо. Брат не задержит. О Шестакове будем разговаривать завтра... Всего хорошего! (*Ушёл.*)

Анна (*после паузы*). Тётя Глаша, а мне придётся выйти из родительского актива.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Это ещё почему?

А н н а. Я, наверное, не имею права других родителей обследовать.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Да ты что?..

А н н а. Нет, нет, все уже, конечно, всё знают и, наверное, за моей спиной говорят: «Обследует, а у самой... в доме!»

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Что ты, что ты!

А н н а. Вот так! *(Достаёт из шкафа папку, усаживается с ней за маленький столик, оглядывается.)* Как тут сразу пусто стало. *(Вынимает из папки бумаги.)* Кому только сдавать придётся дела мои? *(Перебирает бумаги.)* Горячие завтраки. Это Марии Павловне. Нет, лучше Ольге Петровне. Она хозяйственнее. Связь с лесной школой. Ну, это, конечно, Доре Марковне! Врач. Так и напишем. *(Пишет на бумаге.)* Подготовка выпускного вечера. Тётя Глаша, а вы помните, как хорошо было на прошлогоднем вечере? Девочки такие нарядные... Если бы вы только видели, как наш Павлик Молчанов с одной беленькой мазурку танцевал! Да, выпускной вечер... Музыка, цветы, веселье, молодость... Хорошо! В прошлом году я была приглашена как член родительского актива, а то мой-то ведь ещё маленький, при чём тут я? А может, в этом году меня всё-таки позовут, потому что, не хвалясь, скажу, если бы не я, бутербродов в прошлом году наготовили бы на целую армию, а ситро бы не хватило. Нет! И стульев бы не хватило. Как вы считаете, тётя Глаша, должны они меня позвать в этом году? Ну, что же вы молчите, не отвечаете?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Вот сейчас открою окно и крикну: «Люди, советские люди, придите сюда! Смотрите на неё! Спасайте её!»

А н н а. Спасайте, скорей спасайте! Вот, дура, терпит-то! А дура знает, что делает! Я как Иванушка-дурачок, который всех умней оказался! Вот найдут сейчас в его чертежах ценность, вот поднимется он, вот тогда дура поговорит с умными!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. О ком это?! О нём?!

А н н а. Да, о нём! Если человек так способен любить, ох, у него тут *(показала на сердце)* много. Он много может! Ему только подняться, он тогда горы свернёт!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Так не тебя же любит.

А н н а. А я советская девчонка, и не боюсь я ничего! Не меня, так не меня! Но зато человек будет для жизни! Я не только себя люблю, тётя Глаша. Я жизнь нашу очень люблю. И я верну ей Петра Бочарникова!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Железный характер.

А н н а. Характер как характер.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Если б его на что другое пустить! Ну, что ж! Чем хуже, тем лучше! Может, опомнишься? Таила от тебя, не знала, как сказать. А теперь знаю. На! *(Достаёт из сумки что-то завернутое в газету, протягивает Анне.)*

А н н а *(разворачивает)*. Моя вышивка?! Как она к вам попала?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Всё, всё теперь принимай! Всё глотай! Котельникова мне принесла, чтобы я тебя предупредила... Жалеет она тебя, Котельникова, очень жалеет... не может тебе сама сказать... но вышивки больше им не носи.

А н н а. Почему?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Плохие они у тебя.

А н н а. Много они там понимают!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Понимают! Где талант твой, Анна? А? Да и как же ему не погибнуть без учёбы да при такой-то жизни? Что же будет, Анна?

А н н а. А что должно быть, то и будет!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Не кричи на меня! На руках у меня родилась!

Анна. Нет, я вам тихо говорю. Не ходите лучше ко мне!

Глафира Антоновна. Анна, что ты, Анна?!

Анна. Не ходите лучше, потому что всё равно не добьётесь, чтобы я от него ушла!

Глафира Антоновна. Кого ты любишь-то, кого?!

Анна. А вот, значит, мне такой хорош! И добьюсь... и выведу его на дорогу... и будете вы нам все завидовать... и будете вы все говорить... ах, как они живут, ах, как они... прекрасно... замечательно... *(Расплакалась, вытерла глаза.)* Что-то тут плохо стало на этом столике. Как-то ужасно пусто! А в ящике полно. Теперь можно из ящика сюда. *(Вынимает какие-то бумаги из ящика.)* Письмо?! Что это за письмо? *(Читает.)* «Я уехала к маме. Мне Ольга Владимировна рассказала, что она слышала, как ты уверял Лиду, что рад бы был вообще от меня избавиться. Мне жалко Лиду. Она хорошая девушка, верит тебе, не понимает, что ты в жизни любишь только самого себя! Я вернусь, потому что будет ребёнок... Анна». Значит, он её совсем даже не любил?! Значит, он всё врал мне?! Вот я дура! Как, как я могла такому поверить?! Как я могла поверить, что он способен... На что хорошее, большое, настоящее он вообще способен? Мелкий... маленький... ничтожный.

Входит Бочарников.

Бочарников. Какой плохой сон мне снился! Будто бы Колю увезли. Дай мне чаю, Аннушка. Ну, не гляди так строго. *(Хочет взять её за руку.)*

Анна *(отстраняясь.)* Не подходи ко мне!

Бочарников. Это почему?

Анна. Мне это неприятно. Я не люблю тебя.

Бочарников. Что за новость?

Анна. Да, это новость!

Бочарников. Анна, что ты говоришь?!

Анна. Ты слышал. Не люблю!

Бочарников. Что ж я буду делать?!

Анна. А мне какое дело?

Бочарников. Анна, умоляю тебя, прости меня, прости!

Глафира Антоновна. Не теряй, Пётр Кондратьевич, даром слов! Долго может терпеть женщина! Жизни не пожалеем для родного человека. Ничего ей не страшно. Всё перенесёт! Ну, а уж если конец её вере, тут уж никакая сила! Горы запляшут — внимания даже не обратит. Ругаться не будет. Ругалась, когда любила, когда верила... А тут станет равнодушна. Ничем ты её сердца не тронешь. Лучше, мой совет, отойди!

Бочарников. А вы радуетесь? Ненавидите меня, злая старуха!

Глафира Антоновна. Вот так слово! Ненавижу?! Лёгкое это, Пётр Кондратьевич, слово, ласковое, и не может оно к тебе моё отношение определить!

Бочарников. Что же мне... в воду?!

Анна. Это дело твоё.

Глафира Антоновна. Брось, Пётр Кондратьевич! На том свете вина нету. А ты любишь только себя и вино. Поживёшь!

Бочарников. Господи, господи!

Глафира Антоновна. Вот к нему и обращайся, с ним и договаривайся.

Бочарников уходит.

Анна *(стоит с минуту неподвижно, потом идёт в угол, достаёт чемодан, ставит на стул, подходит к шкафу, берёт какие-то вещи, складывает, опускает в чемодан)*. Помогите мне, тётя Глаша!

Глафира Антоновна. Хорошо. *(Достаёт из шкафа вещи.)*

Анна. С этим рыженьким чемоданом я сюда приехала. Как давно это было! Тётя Глаша, я сейчас поеду к вам, но давайте условимся — мы ни о чём этом не будем говорить! Этого всего не было! Снимите картину. Давайте сюда. Как вы думаете, она ляжет в чемодан? Нет, не надо! Ничего этого не надо! *(Рвёт картину.)*

Глафира Антоновна. Что ты?!

Анна. Не хочу глядеть на эту комнату, на эту лампочку без абажура. Не было всего этого в моей жизни... Не приезжала я сюда никогда.

Входит Коля.

Коля *(ему девять лет)*. Мама, Серёжка дерётся и не даёт мне ружья! Я говорю, мне мама завтра купит, дай, пожалуйста, только на сегодняшний день. Мама, ты мне завтра купишь ружьё? Пусть, говорит, твоя мать ещё раз скажет, что купит, тогда дам. А если отец твой скажет — не дам. Отец твой у нас в доме не считается. *(Обнимает Анну.)* А ты считаешься, мамочка! Купишь, мамочка моя? Да? *(Побежал к двери, остановился.)* Мама, а когда я был маленьким, папа мне тоже никогда, никогда ничего не покупал? *(Не дождавшись ответа, медленно ушёл.)*

Анна стоит с минуту неподвижно, смотрит ему вслед, потом подходит к чемодану, открывает крышку, выкидывает из чемодана вещи, кладёт на диван.

Глафира Антоновна. Анна!

Анна. Разве можно с таким отцом ребёнка оставить?!

Глафира Антоновна. Не оставим, добьёмся, докажем!

Анна. Не добьётесь.

Глафира Антоновна. Я добьюсь.

Анна. А любовь Коли к отцу? А душа ребёнка? Тут вы чего добьётесь? *(Снова вынимает из чемодана вещи, кладёт на диван.)* Нет!

Картина седьмая

1945 год

Та же комната. Анна и Глафира Антоновна.

Анна *(у зеркала)*. Не стану я, тётя Глаша, волосы так зачёсывать.

Глафира Антоновна. А я говорю — лучше.

Анна. Ничего не лучше. Глаза цвет меняют. Зелёными какими-то становятся.

Глафира Антоновна. А чем плохо?

Анна. Как у кошки. В общем, прежняя, прежняя причёска... Подумать только, что Саша собственными глазами видел, как затрепетало наше знамя над их рейхстагом! Господи, да за такой момент, кажется, жизнь не жалко отдать! Вы себе представляете, как это было?!

Глафира Антоновна. Вот приедет — расскажет.

Анна. Такой чудак, ну написал бы, каким поездом! Я бы встретила. А может быть, всё-таки причёсаться по-новому? *(Подходит к зеркалу.)* По-новому-то морщин совсем не видать. Что-то их много стало! Приедет Саша — бабушкой назовёт.

Глафира Антоновна. Ох, и ждёшь же ты его, ожидаешься!

Анна. Всё вы всегда лучше меня самой знаете!

Глафира Антоновна. Да уж сообразительна не по годам.

Анна *(у зеркала)*. Ей-богу, по-новому лучше! Тётя Глаша!

Глафира Антоновна. Что?

Анна. Сказать вам?

Глафира Антоновна. Не надо. Я и так всё вижу и всё знаю, Анна. *(Пауза.)* Старушка мне эта очень нравится. Хорошая старушка, вроде меня. И гладит так аккуратно.

Анна. Всё был в голове туман, туман, а как получила от него письмо из Кенигсберга... (*Достает из сумочки письмо, читает.*) «Пошли по Германии. Скоро будет наша окончательная победа. Вернутся люди к своим близким. А я вернусь к тебе, Анна, к единственному близкому моему человеку. Хоть на один час, а я к тебе после победы вернусь!»

В дверях уже с минуту стоит Ильин. Он в военном костюме.

Ильин (*старается шутить, что от волнения не очень получается*). И он сдержал своё слово — вот какой это человек!

Анна. Саша!

Ильин (*опять шутит*). Да, вроде я. (*Глядит на Глафиру Антоновну.*) А это что за девушка?

Глафира Антоновна. Поцелуй, поцелуй старуху! Эта старуха много о тебе думала за эти годы. Сперва поцелуй, а потом пошутишь. Успеешь нашутиться!

Ильин (*обнимает её*). Ах ты, тётя Глаша!

Глафира Антоновна. Представительный ты в военной форме. А теперь Анну поцелуй!

Анна. А вы не диктуйте! Вот у вас манера всем всё диктовать!

Ильин. Нет, это она правильно сказала. (*Обнял Анну, поцеловал.*) Здравствуй... Анна.

Анна. Здравствуй. (*Смущённо.*) Ну, Саша, рассказывай!

Ильин. Да уж и не знаю, с чего начать. Да, есть что порассказать, есть! Ты-то как все эти годы?

Глафира Антоновна. Она — хорошо, очень замечательно! Всё мы с ней собираемся какому-нибудь писателю рассказать. Пусть напишет роман под названием «Счастливые годы Анны».

Ильин. Значит, ничего не изменилось?

Глафира Антоновна. Нет, почему, изменилось. Последнее время из дому стал выносить! Если недоглядишь, то и недосчитаешься.

Анна. Ну ладно вам! Любите вы зря говорить. Я пойду чай поставлю. (*Ушла.*)

Глафира Антоновна. Как война началась, попритих. Видно, и до его сердца дошло. Работать стал. На войну просился. Оставили на заводе. Работал неплохо. Какое-то время держался — ничего. Так немного выпьет, для компании, ну, как полагается. А потом, как дело к победе пошло, он опять за своё. А ей-то уж в то время совсем трудно было, невыносимо! В лазарете работала, да ещё кровь свою давала. А ведь она, знаешь, как работает-то? Днём за ранеными ходила, вечером им лекции читает про Суворова, а ночью домой явилась — и пошла вольты. То кричит, то стонет, то пляшет. Такая карусель! А ведь сегодня — про Суворова, а завтра — про Кутузова. Так надо же ночью про него, про Кутузова, прочитать, чтобы завтра людям-то рассказать! Куда там! Всё урывками. И на всё ответ один: все наши горести сейчас — на задний план! Война!

Входит Анна.

Анна (*Ильину*). Почему ты редко писал? Так я волновалась за тебя. Ночи иногда не спала. Господи, думаю, жив ли?! Придёт письмо — жив! А читаешь, радуешься — и вдруг сомнение, думаешь: пока письмо-то дошло... вдруг..

Глафира Антоновна выходит из комнаты.

Ильин. Да, на войне умереть недолго!

Анна. Мучилась, мучилась я! Когда от тебя писем не было... (*Пауза.*) Глафира-то ведь не всё сказала, Саша. Кое-что ещё изменилось с тех пор, как не виделись мы с тобой.

Ильин. А что ещё?

А н н а. Ну, например, то, что Коле было тогда девять лет, а теперь ему пятнадцать.

И л ь и н. Это ясно:

А н н а. А что тут тебе, Сашенька, ясно?

И л ь и н (*улыбается*). То, что ему пятнадцать лет.

А н н а. А то тебе не ясно, что Коля уже почти взрослый, и что не так я ему уж нужна, и что я могу...

И л ь и н. Боюсь поверить своим ушам.

А н н а. А ты не бойся, поверь. Я хочу уехать отсюда, Саша! Туда, к нам, в Авдеево! Приду на нашу фабрику и скажу: «Вот я приехала. Возьмите меня!» Возьмут меня обратно, Саша?

И л ь и н. Ручаюсь тебе!

А н н а. Стану работать. У меня ещё силушек в жилушках... ого-го! Я ещё горы могу с места свернуть! (*Смеётся*.) Я ещё за молодого могу замуж выйти! Да не за какого-нибудь, только чтобы молодой, а за красивого, с усами! Саша, почему ты не носишь усов? Что это за мужчина без усов?!

И л ь и н (*смеётся*). Заведу! Обязательно заведу! Ах, Анна, какой ты была весёлой, так, несмотря ни на что, такой и осталась! (*Пауза*.) Не любишь больше?

А н н а. Нет. Привычка. Жалею. Но сейчас хочу наконец себя пожалеть. По-моему, пора. Как ты считаешь?

И л ь и н. Давно пора!

А н н а. Нет, только теперь эта пора наступила. Коля кончил ФЗУ, стал работать. Какой он чудный парень, если бы ты знал! В отпуск он будет приезжать ко мне, в Авдеево. Я всё, всё обдумала! Не так вот — сорвалась и уехала! Уж и старушка хорошая сговорена, которая будет им всё делать, и вообще всё я обеспечила. (*Идёт в угол, достаёт чемодан, ставит на стул*.) Вот и дождался наконец мой рыженький чемодан обратного рейса в Авдеево! (*Вынимает вещи из шкафа, кладёт в чемодан*.) В воскресенье пойдём с тобой, Саша, гулять, обойдём весь посёлок! На Железнодорожную улицу пойдём. Дом номер восемь. Наш двор. Интересно, растёт у сараев осина?

И л ь и н. А что ей делается?

А н н а. Это пальто лучше вниз положить. Вообще, Саша, ты мне не помогай, только мешаешь! Говоришь, растёт наша осина? Возьмёмся, Саша, мы с тобой за руки, станем перед ней: «Вот, дерево дорогое, опять твои ребятки перед тобой!»

Входят Бочарников и Николай.

Б о ч а р н и к о в. Привет, привет! Воину привет!

И л ь и н. Здравствуйте.

Б о ч а р н и к о в. Почему такое холодное отношение? Коля, сынок, объясни им, что к нам нельзя так относиться. (*Аине и Ильину про Колю*.) Он замечательно умеет объяснять. Объясни, Коля!

Н и к о л а й. А я не хочу... Я хочу петь!

Б о ч а р н и к о в. Вот это правильно! Спой! Он сейчас так пел! Дураки, позвали милиционера, так даже милиционер заслушался. Честное слово! Вам, говорит, не в пивной выступать, а в театре. Но, между прочим, выпроводил.

Н и к о л а й. Нет! Мы сами ушли! Вот до сих пор всё ноги куда-то идут, идут. Эй, вы, остановитесь! Кому говорю?! (*Пьяно смеётся*.) Вы что не слушаетесь? Мама, они не слушаются! (*Упал на диван*.) Вот черти! (*Ильину*.) Я вас помню. Вы Александр Васильевич. Я хочу вам вопрос задать, Александр Васильевич.

И л ь и н. Какой, Коля?

Н и к о л а й. Почему папа старый, а его в пивной зовут Петькой? Петькой Бочарниковым! Мне это так обидно, так обидно, если бы вы только знали! «Вот сейчас нам Петька выставит!» А он им ничего не выставил. Вы, говорит, должны сами выставить мне и сыну! Я сына привёл в нашу компанию! Теперь у нас молодёжь! Я теперь вообще в вас не нуждаюсь, у меня сын — компания! А один высокий как замахнётся, а папа его... а он взял (*голос слабеет; засыпает*)... взял да его из бутылки... (*Заснул.*)

А н н а (*подошла к Бочарникову*). Вот уже что делаешь! Не дам сына губить тебе, не дам!

Б о ч а р н и к о в. Тише, тише! Я сам знаю, как мне со своим сыном быть! (*Ушёл, хлопнул дверью.*)

Анна стоит мгновение неподвижно, потом подходит к чемодану, вынимает из него вещи, кладёт на стул. Ильин подходит к чемодану, отстраняет руку Анны, берёт вещи со стула, кладёт в чемодан, закрывает крышку.

А н н а (*открывает крышку чемодана*). Нет, Саша!

И л ь и н. Я люблю тебя, Анна!

А н н а. И я, наверное, тебя люблю. Но нельзя нам быть вместе! Нельзя! (*Показывает на спящего Николая.*) Разве ты не видишь, погибнет тут человек!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Картина восьмая

1949 год

Л Е Т О

Та же комната. За столом, на котором посуда — чайник, тарелки, — Анна и Николай.

Н и к о л а й. ...И тут подходит сам Иван Павлович. Обнимает он нас с Колей Решетниковым, честное слово! «Ах вы, — говорит, — мои дорогие два механика, два Николая!» И так уважительно!

А н н а. Скажи, пожалуйста, «уважительно!» Какие они уважаемые!.. Два Николая!

Н и к о л а й. Да, вот представь себе, очень уважаемые! Ты знаешь, что потом Иван Павлович сказал?

А н н а. Откуда же мне знать? В цеху я у вас не присутствовала, а по радио всё больше сегодня оперу передавали.

Н и к о л а й. Ты не смейся, не смейся!

А н н а. Вот так раз! В кои веки дождалась — сына похвалили, а я плакать начну! Ты ешь, ешь! Гости ещё не скоро.

Н и к о л а й. Не хочу.

А н н а. А я говорю — «хочу!» Худой стал — страшно смотреть! Ешь! (*Придвигает к нему тарелку.*) Не доводи меня! Силой накормлю!

Н и к о л а й (*смеётся*). Какая в тебе сила? Господи!

А н н а. Во мне какая сила? (*Придвигает тарелку.*) Ешь, говорю!

Н и к о л а й. Нет, уж тут принципиально!

А н н а. Я тебе покажу принципиально! Ешь!

Н и к о л а й. Зачем ты меня на муку родила?!

А н н а. Это тебя не касается. Ешь!

Н и к о л а й. Не буду!

Со смехом выскакивает из-за стола, устремляется к двери. Анна — за ним. На пороге чуть не сбили с ног Глафиру Антонову. Выбежали из комнаты.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а (*ей теперь около семидесяти лет*). Мама с сыном — маленькие!

Запахавшиеся, являются Николай и Анна. Анна ведёт Николая за руку.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Наигрались?

А н н а (*усаживает Николая за стол*). Ешь!

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Соседей бы постеснялись.

А н н а (*Николаю*). Ну, так что же Иван Павлович потом?

Н и к о л а й. Подожди, я отца разбуду, пусть и он послушает.

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Ведь гости сегодня придут!

Н и к о л а й. Ну и что же?

Г л а ф и р а А н т о н о в н а. Пусть спит до вечера. Выспится и будет ничего. (*Ушла.*)

Н и к о л а й. Да, это, пожалуй, верно. (*Пауза.*) Просто не знаю, что делать! Утром просит у меня десятку, дрожит весь, трясётся. Душа у меня за него болит. Не дать — жалко его, дать — опять плохо... Значит, у нас сегодня гости.

А н н а. Да уж изо всех гостей гости. (*Смеётся.*) Ох, и хитрый ты, Коля!

Н и к о л а й. Это ещё почему?

А н н а. К Лидии Романовне и так и этак! Думаешь, я не замечаю? И правильно! Хочешь если у дочки успех иметь, за мамой ухаживай, угождай маме! Тем более, если дочка-то единственная. Вот ты бы за мной-то так ухаживал! Единственный!

Н и к о л а й (*обнимает, целует её*). Уж, кажется, так за тобой ухаживаю! Любовь ты моя единственная!

А н н а. Растрепал всю! А Таня?

Н и к о л а й. И Таня единственная.

А н н а. Это что же — две единственные?

Н и к о л а й. Две! Две единственные!

А н н а. Глупо! Но слушать приятно.

Н и к о л а й. Нет, не глупо! Ты вдумайся.

А н н а. Некогда мне вдумываться — приготовить всё надо. В первый раз они у нас, Зыковы! Так чтобы мама с дочкой не очень вообразили, надо нам, как говорится, не ударить лицом в грязь. Такой винегрет приготовила... Что ты какой-то печальный вдруг стал?

Н и к о л а й. Да, понимаешь, пошли у Зыковых разговоры, намёки всякие... Девушке, мол, замуж выйти нетрудно, а как жизнь прожить? Лидия Романовна, конечно: «Отец, мол, пьёт, и я опасуюсь. Единственная дочь! Вся моя жизнь в ней!» (*Поглядел на часы.*) Что-то не идут! Может, что переменялось?

А н н а (*усмеяется*). Сходи, сходи, поразведай!

Н и к о л а й. Придётся. (*Взял кепку, вышел из комнаты.*)

Анна смотрит ему вслед. Из другой комнаты вышел Бочарников. Потягивается, зевает.

Б о ч а р н и к о в. А где Коля? Пришёл с работы?

А н н а. Пришёл и ушёл.

Б о ч а р н и к о в. Что так?

А н н а. К Зыковым пошёл, выяснять, придут ли в гости.

Б о ч а р н и к о в. Не нравится мне Таня эта самая.

А н н а. Зато ему нравится!

Б о ч а р н и к о в. Не в моём она характере, нет, не в моём! Ещё женится! Попадёт отец на второй план. Представляю я себе этот второй план, когда и на первом-то не сладко.

А н н а. Вот он только для тебя должен на свете жить! Он — для тебя, ты — для вина! Как хорошо!

Б о ч а р н и к о в. Это-то я знаю, что ты мечтаешь, чтобы он только для тебя одной жил, Коля! Вряд ли выйдет только! И женитьба эта — твоя работа! Всё мне ясно! Девчонку эту глупую — себе в союзницы, завладеете вы им обе целиком, а отец — пошёл к чёрту! Ну, смотри, не обижайся в случае чего! Это единственная моя радость в жизни — Коля!

А знаешь, как за единственную радость человек может бороться? Огб-го! Всеми средствами! (*Прошёлся по комнате, остановился в углу.*) Стоял тут столик. Вынесли. Почему? Кому он тут мешал?

Анна. Свой срок он отстоял вполне. Раньше срока не вынесли!

Бочарников. А в общем, правильно! (*Пауза.*) А помнишь, как я тебя как-то раз на руки поднял и по комнате носил?

Анна. Нет, забыла.

Бочарников. Плохая память. (*Ушёл.*)

Анна (*одна. С упорством*). Всё забыла!

Входит Глафира Антоновна.

Глафира Антоновна. Опять лёг. Вот жизнь-то, одно удовольствие!

Анна. Пусть спит! Придут Зыковы, разбуджу.

Глафира Антоновна. Стоит ли? Как бы он тут при Зыковых не натворил чего..

Анна. Я не разбуджу — Коля разбудит. Ничего — следить за ним будем... И вас, тётя Глаша, прошу!

Глафира Антоновна. Послежу, послежу. (*Пауза.*)

Анна. Подождите, тётя Глаша... (*Прислушивается.*) Идут они, кажется. Да, идут! Господи, а у меня ещё почти что ничего не готово! Тётя Глаша, миленькая, займитесь уж вы тут с ними.

Глафира Антоновна. Иди, иди!

Анна убегает. В другую дверь входят Николай, Лидия Романовна, Таня.

Николай. Вот мы и дома! Лидия Романовна, давайте ваше пальто, я повешу. Танюша, проходи сюда!

Лидия Романовна (*Глафире Антоновне*). А вы, наверное, Глафира Антоновна?

Глафира Антоновна. Она самая.

Поздоровались.

Глафира Антоновна. А как догадались?

Лидия Романовна (*улыбается*). По приметам.

Глафира Антоновна (*кивнула головой в сторону Николая*). И как обрисовал?

Лидия Романовна. Видите, сразу узнала.

Глафира Антоновна. Насчёт моего характера прошёлся?

Лидия Романовна. Немного.

Глафира Антоновна. Никому что-то мой характер не нравится! А мне самой так больше всех.

Все смеются. Глафира Антоновна выходит.

Лидия Романовна. А мне ваша тётка понравилась! Симпатичная. Я таких люблю.

Николай. А у нас все симпатичные. Такие уж подобрались!

Лидия Романовна. Ну, остальных я почти совсем не знаю.

Николай. А вы, Лидия Романовна, по мне можете судить. Как, по-вашему, я симпатичный?

Лидия Романовна (*улыбается*). Да ничего!

Николай. Так вот у нас все другие ещё симпатичнее.

Лидия Романовна. Весёлый вы человек, Коля!

Николай. Так это разве так уж плохо?

Входят Анна и Глафира Антоновна. В руках у них судки, блюда, тарелки.

Анна. Здравствуйте, здравствуйте! Тётя Глаша, ставьте сюда! Я сейчас, сейчас! (*Выбегает и тут же возвращается с новыми блюдами.*)

Лидия Романовна. Сколько хлопот вам, Анна Ивановна! Таня, ну разве ты не видишь? Помог!

Таня. С удовольствием.

Лидия Романовна. Да уж без удовольствия, конечно, но всё она у меня умеет.

Анна. Умеет — и пусть это при ней будет! Пригодится! А пока уж мы повозимся... с хозяйством... Успеет ещё, её от неё не уйдёт!

Таня (*хлопочет у стола*). А это блюдо я сюда, Анна Ивановна, поставила?

Анна. Сюда, сюда, Танечка! Какое платьице хорошенькое! Наверное, мама шила?

Лидия Романовна. А кто же ещё? Вам нравится, Глафира Антоновна?

Николай. У нас тётя Глаша по женской части мало что соображает. Она у нас в основном солдат революции!

Глафира Антоновна (*смеётся*). Ладно уж тебе, насмешник!

Николай. В Четырнадцатой армии была пулемётчицей. И, говорят, много настреляла!

Глафира Антоновна. Вот ты мне тогда не попался!

Все смеются.

Анна. Ну, кажется, всё хорошо у нас. Прошу за стол.

Все рассаживаются.

Анна. Тётя Глаша, миленькая, из кухни — большую солонку!

Глафира Антоновна. Принесу, сиди! (*Ушла.*)

Таня. Как это замечательно! Четырнадцатая армия, Южный фронт, ликвидация Деникина. Всё это мы проходили! А вот она тут рядом с нами сидит, эта тётя Глаша!

Глафира Антоновна (*входит, в руках у неё солонка*). Анна, на минуточку!

Анна (*подходит к ней*). Что такое?

Глафира Антоновна что-то шепчет.

Анна (*испуганно*). Куда?

Глафира Антоновна. У него путь один!

Анна. Ах ты, неприятность! Вдруг явится... в таком виде!

Глафира Антоновна. Да, уж тут тогда жди всего!

Николай. Мама, что там такое случилось?

Анна. Да ничего не случилось.

Николай. А где отец?

Анна. Он по делу пошёл. Лидия Романовна, Танечка, что же вы ничего не берёте? Лидия Романовна, этот с мясом! Таня, рыбки!

Лидия Романовна. Спасибо, спасибо! А этот, Анна Ивановна, с чем?

Анна. Возможно, возможно!

Николай. Да что с тобой, мама?!

Анна (*очнулась*). Ты что же это за Таней-то не ухаживаешь? Ничего нет у неё на тарелке! Я, Танечка, ему вас обижать не дам! Заклучим мы с вами женский союз. Лидию Романовну включим.

Глафира Антоновна. А меня?

Николай. Пулемётчицей! Вот союз-то будет! (*Показывает на Лидию Романовну.*) Закройщица есть! (*На Таню.*) Ученица фармацевтического техникума есть! А ты кто, мама?

Анна. Я... просто женщина.

Николай. И просто женщина есть! Могучий союз! Что-то моя мама заскучала... (*Подходит к Анне, обнимает её.*) Ну, просто женщина, споём?

Анна. Да что ты?

Николай. Твою любимую? А? Здорово она эти волжские поёт! А мы подхватим! (*Снимает со стены гитару, настраивает.*) Ну, мама!

Таня. Просим, просим!

Анна. А что ж, могу. Только подпевайте.

Николай. Начинай, Анна Ивановна!

Анна. Ну, смотрите, только чтобы дружно! (Поёт.)

Я советская девчонка,
Не боюсь я ничего!
Много парней меня любит.
Я люблю лишь одного!

Все подхватывают.

Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Пожалей ты меня!

Входит Бочарников.

Бочарников. Смотри, какое веселье тут! Всем общий привет! (Покачнулся.) А меня в компанию эту примут?

Николай. Садись, батя!

Бочарников. Коля, Коля, добрая душа! Солнце ты моё на небе, Коля! Среди туч сияешь... один!

Николай (пыгается шутить). Вот как я устроился-то здорово!

Таня. Лучше не придумашь!

Бочарников (Тане). Что вы сказали, барышня?

Таня (вспыхнула). Я не барышня!

Бочарников. Ты, Коля, не верь барышням! Ты никому не верь! Ты отцу своему только верь! Барышня — это явление, так сказать, переменное! В математике обозначено буквой... что-то я забыл, какой буквой... а отец — это величина постоянная! (Наливает себе вина.)

Анна. Не надо.

Бочарников. Я поднимаю это вино за... вино! За эту жидкость, которая даёт... радость жизни!

Таня. Вот уж гадость-то! «Радость жизни»!

Бочарников. Это что, мне кто-то возражает?! Сопливая девчонка возражает мне, Петру Кондратьевичу Бочарникову?!

Лидия Романовна. Идём, Таня!

Анна (растерянно). Лидия Романовна...

Лидия Романовна. И я вам, Николай, заявляю, что дочь моя не будет здесь жить! Я не допущу, умру, а не допущу! Идём, Татьяна!

Николай. Подождите, Лидия Романовна! Я хочу сказать... я должен сказать! Неужели же вы сами не видите, что это... это ведь несчастье! Моё... (Указал на Анну.) Её... (Указал на Глафиру Антонову.) Этой старухи несчастье! У меня и детства-то настоящего не было. Я был ребёнком, наверное, только до тех пор, пока, совсем маленький, ещё не знал, что вообще существует на свете пьянство, и мне казалось, что мой отец всё время играет в какие-то игры. Поёт — играет, кричит — играет, шатается, падает — играет. Но когда я понял, что это не игра, кончилось моё детство. Рано кончилось, потому что вышел я на этот двор (показал на окно) не просто Колей Бочарниковым, а сыном пьяницы, человека, который не считается... человеком. Мне всегда было стыдно... всегда, всегда: вчера отца моего нашли во дворе в луже, и он долго увеселял других, прежде чем под общий хохот его не доставили домой; позавчера мой отец выпрашивал у всех деньги на водку... Я чувствовал себя виноватым в школе, когда учитель рассказывал о тех, кто создаёт заводы и колхозы, снимает с льдин людей, потому что я знал — моего отца вы-

гнали с работы за то, что он в пьяном виде испортил машину. Если бы вы только могли понять, какое это всё горе! К нему нельзя привыкнуть! От него можно только бежать. И проще простого мне сейчас убежать, оставить маму и тётю Глашу одних. Но я не убегу, Лидия Романовна!

Таня (*бросается к нему, обнимает*). Коля!

Николай. И отца я не могу оставить. Я его люблю и ещё хочу побороться за него. Он ведь человек, а нельзя бросать человека, каким бы он ни был... Нельзя! Так меня Горький учил, так меня моя мать воспитала, так мне комсомол велит! Вы меня простите, Лидия Романовна, что я вас пригласил и доставил вам неприятности... но моё место здесь, в этом доме. А Таня... Таня пусть сама решит...

Лидия Романовна (*Тане*). Мы идём домой, слышишь? (*Взяла дочь за руку и силой уводит.*)

Николай (*отцу*). Иди спать!

Бочарников. Ещё одну рюмку! Можно?

Николай. Можно.

Бочарников. А две можно?

Николай. Можно. Сейчас тебе всё можно. (*Отошёл к окну, прислонился головой к раме, замер.*)

Анна. Обернись!

Николай. Зачем?

Анна. Обернись, говорю!

Николай. Ну, что? (*Он обернулся. В глазах слёзы.*)

Анна. Уходи к Тане! Нечего тебе здесь делать!

Николай. Нет! Не уйду!

Анна. Силой заставлю уйти! Догони их, сейчас же догони! Догони и скажи, что будешь жить у них, что Лидия Романовна была права, потому что никакая мать не отпустит дочь свою в такой дом. Догони!

Бочарников. Нет уж, нет уж! Никуда он не пойдёт! Уводят у Бочарникова сына! Нет, не выйдет у вас этого!

Николай. Не кричи на мать!

Бочарников (*в бешенстве*). Мать?! А где она?! (*Указал на Анну.*) Это, что ли?!

Глафира Антоновна. Пётр Кондратьевич! Пётр Кондратьевич!!!

Бочарников. Мать!

Николай. Да ты что?

Бочарников. Я что?! Ничего! Не мать тебе она! Умерла твоя мать, когда тебе год был! (*Сам испугался содеянного.*) Если у меня единственного сына отнимают... я должен, наконец, глаза ему открыть... чтобы он знал... кто ему тут родная кровь, а кто — со стороны... образовался!

Николай (*Анне*). Это правда?!

Анна (*тихо*). Правда.

Николай. Господи, что же это?! (*Закрывает лицо руками, сидит неподвижно. Отцу.*) Как ты мог?! Зачем ты нам это сказал? Зачем ты нам это сказал?!

Бочарников. Прости меня!

Николай. Не могу я...

Бочарников. Человека... пожалей человека!

Николай. Нет, ты уже не человек! Ах, вино проклятое! Проклятое вино!

Бочарников. Прости меня!

Николай. Нет!

Глафира Антоновна. Вот она и расплата, Пётр Кондратьевич!

Бочарников, пошатываясь, уходит.

Николай (*подходит к Анне*). Мама! Что я должен сделать для тебя, что я должен сделать?

Анна. Ничего для меня нельзя сделать. Тридцать семь лет! Тридцать семь лет мне!

Николай. Не так уж это много — тридцать семь лет.

Анна (*улыбается*). А тебе что, уже раз было тридцать семь, что так хорошо про этот возраст знаешь?

Глафира Антоновна. Он прав, прав! Какой ещё это возраст? Ещё всё можно начать в этом возрасте! И любить можно! И тебя любить будут. И любят тебя, Анна!

Николай. Кто?

Глафира Антоновна. Ильин. Всю жизнь он её любил. А какой человек!

Николай. А она?

Глафира Антоновна. И она любит!

Николай. Мама, поедем!

Анна. Куда? Что ты?

Николай. К нему поедем! Три дня праздников впереди, я успею вернуться... Поедем! Я хочу, чтобы ты была счастлива, мама! Ты должна быть счастлива! Поедем!

Анна. Да что ты, что ты! Сколько времени и знать о нём ничего не знаю! Жив ли ещё?

Николай. Жив, жив, я чувствую, я знаю, он жив! Поедем! Сейчас поедем!

Бросился в угол, схватил чемодан, тот самый рыженький чемодан, с которым когда-то приехала сюда Анна.

Глафира Антоновна. Поезжай, Анна!

Анна. Поехать? (*Подумала.*) Поеду! (*Складывает вещи в чемодан.*) Чемодан-то уж и то старичком стал, а я, глупая, куда-то еду?!

Николай. Складывай, складывай, ты, знай, складывай!

Анна. Да уж сложила.

Николай. Сколько лет этот рыженький чемодан стоял без движения! (*Поднял чемодан.*) Поехали! Тётя Глаша, я во вторник буду здесь.

Анна (*обнимает Глафиру Антоновну*). Я, наверное, тоже приеду. (*Уходит с Николаем.*)

Глафира Антоновна (*одна. Села на диван*). Как теперь Анна моя? (*Вынула платок, вытерла глаза.*) Ах ты... пулемётчица! (*Встала с дивана, подошла к двери, прислушалась.*) Пётр Кондратьевич!

Входит Бочарников.

Бочарников. Что вам?

Глафира Антоновна. Иди поешь чего-нибудь! Всё больше разговоры разговаривал, ни до чего и не дотронулся. На меня ты теперь оставлен. Мне за тебя отвечать. Бери пирога!

Бочарников. Может, с отравой?

Глафира Антоновна. Теперь зачем же... Теперь у меня к тебе зла нет. Садись, я чаю налью!

Бочарников. Не буду! А помните, когда вы к нам приехали, в первый вечер вот так же сидели за этим столом, чай пили, вы сказали Анне: «Нравится мне, Анна, твой муж!» Вы сказали! Сказали!

Глафира Антоновна. Значит, произвёл впечатление.

Бочарников. Зачем, зачем всё это было?!

Глафира Антоновна. А вот зачем? Зачем своей рукой отдал ни за грош... большое своё состояние? Вон ведь работал на Уралмаше, когда только строили, а почитай газету, что твой Уралмаш сейчас, в одна тысяча сорок девятом году, выпустил! Царь-машина! Шагает, роет,

сто вагонов и платформ в разобранном виде занимает! Может, и твоя какая одна платформа тут бы сейчас была.

Бочарников. Всё, всё зря! Зачем я жил?! Любовь моя никого не согрела. А ненависти моей никто не испугался. Анна, Анна! Ушла, и никогда уже её больше не будет со мной!

Глафира Антоновна. Ну, уж какая это была с ней жизнь?

Бочарников. Всё-таки... рядом. *(Пауза.)* Кончилась моя жизнь...

Глафира Антоновна. Жизнь кончается, Пётр Кондратьевич, когда умирает человек. Вот конец жизни! А до этого момента... всё жизнь!

Бочарников. Сгорело всё.

Глафира Антоновна. А на погорелом месте, что же, траве, бурьяну расти? Поплакать, попричитать... да и строиться!

Бочарников *(подошёл к ней, долго смотрит ей в глаза)*. Дайте мне вашу руку. *(Взял её руки в свои.)* Как я себя ненавижу!

Глафира Антоновна. Вот это хорошо! Это, может, за всю твою жизнь в первый раз! Лиха беда — начало.

Бочарников *(выпустил её руки, пошёл к двери, остановился, обернулся.)* Хороший вы человек!

Бочарников уходит в другую комнату. Тихо открывается дверь, ведущая в коридор.

На пороге — Лидия Романовна.

Лидия Романовна *(оглянувшись)*. Вы одни, Глафира Антоновна?

Глафира Антоновна. Одна.

Лидия Романовна. А где остальные?

Глафира Антоновна. Их нет сейчас, остальных.

Лидия Романовна *(после паузы)*. Я вот почему вернулась. Каждая мать хочет, чтобы муж у дочери был хороший, настоящий человек.

Глафира Антоновна. Конечно.

Лидия Романовна. Так какого же ещё человека нам с ней желать?

Картина девятая

Полустанок. Вечерет. Слышно, как подходит поезд. Остановился. Появляются Анна и Николай.

Николай *(оглядывается)*. Ох, как тут чудесно! Леса какие! А там что вдали блестит, мама, река?

Анна. Я ещё что-то ничего не понимаю. Дай осмотреться, в себя прийти! Сколько лет я тут не была... А скамейка так и стоит, как стояла! *(Садится на скамейку.)* А грядки там же, на том же месте! *(Встала со скамейки, пошла к грядкам.)* Только шире, чем у нас были. Редиска, огурцы! А вот этого тогда не было! *(Подходит к стенду, на котором газета.)*

Николай *(тоже подходит к стенду)*. «Красный текстильщик». А это, видишь, юбилейный номер.

Анна. Почему юбилейный?

Николай. Да вот же передовая: «Сегодня нашей газете пятнадцать лет!» И смотри, как интересно выпустили! Видишь, с этой стороны выдержки из первого номера. Вот смотри, статья Ильина: «Моральный облик советского человека». *(Читает.)* «Партия и комсомол воспитывают в советских людях благородные свойства души». Трудно с этим не согласиться. А что же из этого проистекает? А вот что проистекает! *(Читает.)* «Нет нигде и не может быть такой любви к человеку, такого беспокойства за судьбу человека, какие живут в сознании советских людей». Ну, до чего же пышно писал тогда Александр Васильевич!

Анна. Он тогда был просто Саша Ильин, чуть тебя старше!

Н и к о л а й. Хочешь пари, что сейчас будет цитата из Горького?

А н н а. Да ну тебѣ, насмешник!

Н и к о л а й. Да вот же она! (*Читает.*) Кавычки. «Человек! Это великолепно! Это звучит гордо!» Ну, до чего же я догадливый! А вот хроника: «Лучших на учёбу! В ближайшее время мы будем провожать Анну Балабину на учёбу в текстильный техникум». Ну, ещё тут есть: «Комсомол в борьбе за качество».

А н н а. Дочитай, дочитай про Анну Балабину! Что там про неё написано?

Н и к о л а й. Да тут как-то стекло отсвечивает.

А н н а. Молодые глаза, а уже плохо видят! Мои-то ещё ничего! (*Читает.*) «Мы скажем ей напутственное слово: «Желаем тебе хорошо учиться, Анна! Будем ждать тебя! Не сомневаемся, что ты вернёшься к нам, Анна, замечательным мастером...» (*Усмехнулась.*) Вот она и вернулась, Анна Балабина...

Н и к о л а й. Смотри, интересные цифры! Оказывается, в одном только ткацком цеху сейчас работает больше народу, чем тогда на всей фабрике! Ну, это прошлое. А вот про настоящее! Построен клуб по последнему слову техники. Там было восемнадцатого гулянье в честь открытия клуба. А вот опять Ильин! (*Читает.*) «Главный инженер Александр Васильевич Ильин рассказывает молодёжи интересные эпизоды из прошлого нашей фабрики, а в это время... а в это время...»

А н н а. Ну, что же ты? Опять стало отсвечивать? (*Читает.*) «А в это время... его жена, бухгалтер расчётного отдела Ольга Матвеевна, расстилает на траве белоснежную скатерть...»

Н и к о л а й (*после паузы*). Поедем домой, мама!

А н н а (*после паузы*). Нет, я останусь здесь. Пойду в посёлок. Там ещё немало людей, которые помнят меня, которые посылали меня на учёбу. Спросят они меня, что же я создала за это время, какие рисунки, какие ткани, какие вышивки или, может, прекрасную машину какую, — я должна им дать ответ!

Н и к о л а й. Человека ты создала, мама! Что было бы со мной, если бы не ты? И кто же тебе тут посмеет сказать, что не затем тебя посылали?!

А н н а. Да, это верно, человека я создала! Когда я увидела тебя в первый раз в окно, маленький ты был человечек... А теперь вон какой богатырь, человек ты мой! Мой человек! Но ведь меня посылали ещё и затем, чтобы я для всей нашей жизни что-то создала. А на это ответа у меня нет... Придётся промолчать. Но слово у меня есть, есть! Я скажу: «Девушки, женщины, если вы окажетесь в моём положении, бейте тревогу! Поднимайте народ! Как на пожар, поднимайте народ! Такой пожар только своей силой не затушить. Это страшный пожар! В его пламени не дерево, не вещи сгорают, а мечты, надежды, счастье... всё в пепел!» Уезжай, сын! Не беспокойся за меня. Твоя мать сумеет теперь постоять за себя в жизни! Она ещё не кончилась, моя жизнь! И кто знает, может быть, она только ещё начинается?!

Слышен гудок паровоза.

А н н а (*оглянулась*). Это на Москву! (*Обняла Николая, прижала к себе, поцеловала, быстро уходит.*)

Гул поезда нарастает.



Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

МИТРИЧ

Рассказ

На стене висит охотничье ружьё. Бывает так: помотришь на ружьё и что-то вспомнишь. И потекут мысли в прошлое. Всплывают в памяти мягкие вечера в августовском лесу, окружающем осоковое озеро, утренние зори весны, ласковая осень с золотисто-жёлтым ковром листьев или бодрый, как юность, беззаботно-весёлый солнечный зимний день первой пороши. Много вспоминается. И везде ты проходишь не один. Кто-то встаёт в памяти среди этого прекрасного, родного и любимого.

А отлетающие журавли! Они напоминают почему-то о прожитых днях. И так хочется лететь с ними! Но когда услышишь первую трель скворца или жаворонка, не хочется никуда улетать — ты стоишь и с замиранием сердца слушаешь. Слушаешь дыхание родных просторов, слушаешь и биение своего сердца и тот же крик журавлей, вернувшихся снова. Они вернулись! И журавлиная песнь уже не кажется такой печальной, как осенью. Нет, она радует и веселит в опьяняющем весеннем смещении перезвона трелей, далёкого урчания тракторов, запаха набухающих почек деревьев и ласковых «барашков» молодого тальника, примостившегося на островке половодья. Нежные эти барашки! Нежные, как мочка уха ребёнка.

И всё это жизнь.

И всё это вспоминается. И среди всего этого — люди. Много людей, разных. Много потому, что много лет прожито, много раз повторялись весёлые вёсны, и по-своему красивые печальные осени, и бодрые, а иногда суровые зимы. Но среди множества разных людей всегда кто-то неотступно живёт в памяти.

...Тот весенний вечер во время половодья помню хорошо.

Уже почти стемнело, когда, покинув лодку и подкормив кряковую утку, я раскладывал костёр на берегу половодья. Сумерки весной наступают, кажется, как-то сразу: то видишь далеко-далеко, а повозись чуть, забывшись, — через двадцать минут и соседний дубок еле рассмотришь. И вот уже остаются одни силуэты: опушка леса, кусты орешника, одинокий татарник на меже — всё черно, всё кажется крупнее, чем днём. В такие вечера природа в каком-то тихом, торжественном ожидании счастливого и большого — всё ждёт настоящей зелёной весны.

Совсем недавно в могучем раздолье половодья утонула зима, а уже вербы обозначились почками, пахнущими по-весеннему, и запах подснежников струился весело в воздухе, заставляя невольно улыбаться каждому, кто любит родное. Весенний тихий, безветренный вечер был наполнен звуками, но тоже тихими: пискнула где-то вблизи мышь; над опушкой прокричал запоздавший любовник-вальдшнеп своё скрипящее «хор-хор-хор»; кто-то невидимый шуркнул в кустах: ласка ли, хорь ли — неизве-

стно; просвистели утиные крылья, а издали, с острова, донёлся переговор гусей, обсуждающих весенние дела. Но все эти звуки до того были осторожны, до того мягки, что тишина не нарушалась и оставалась такой же ласковой.

Но вот разгорелся костёр, и окружающее совсем ушло в темноту, покрылось чёрной завесой. Лишь ближайšie кусты казались живыми — они шевелились и вздрагивали в играющих отсветах огня. Потрескивание костра уже не позволяло различать тонких звуков, зато как уютно на этом светлом пятчке среди всеобщей темени!

Вот тогда-то я и услышал, как кто-то медленно, не спеша подходит к костру: добрый ли челсвек, враг ли — неизвестно. Из темноты вырезалась фигура крупного человека.

— Огонёк, — как-то задумчиво произнёс он. И потом уж поздоровался: — Добрый вечер!

— Добрый вечер! — ответил и я.

Незнакомец снял с плеча ружьё, сумку с селезнями и присел перед огоньком на колени; потом по-хозяйски поправил костёр палкой. Всё это он делал молча, смотря в огонь и будто не обращая внимания на моё присутствие. Казалось, он хозяин, а я гость, но ничуть не наоборот.

— Значит, охотиться в наши места заехали? — спросил он ровным баритоном.

Теперь он смотрел на меня. Было понятно: он с первого взгляда определил, что дело имеет с человеком не из здешних мест.

— Заехал, — говорю. — Назначили агрономом в Лисоватое. После завтра приступаю к работе.

— А-а... — протянул незнакомец неопределённо. — К нам, значит. Я-то из Лисоватого.

Затем он расстегнул ватный пиджак, вынул из-за пазухи свёрток, развязал его, достал оттуда краюшку хлеба, посолил и стал есть. Во время еды спросил:

— А вы откуда прибыли?

— Из Шустовалова.

— У вас-то там как?

— Насчёт чего?

— Насчёт колхоза. Всех — того?

— Все вступили.

— А у нас не все: двое отказались — уехали из села, в город.

Он замолчал снова. Перестал есть. Задумался. Потом вздохнул и, как бы застенчившись своего вздоха, взглянул на меня. Что-то тяготило моего собеседника. И я решил продолжить прерванный разговор.

— А вы, — спрашиваю, — вступили?

— Вчера отвёл лошадь... — Он вздохнул уже без стеснения. — Отвёл... — А помолчав, добавил: — Жерёбая...

— Жалко, значит?

— А как же... Думки разные. — Он положил на колено хлеб, почесал за ухом, чуть сдвинув трех на висок, и продолжал: — Привычка. Жеребёночком купил её. Воспитал. Работал на ней... Отвёл теперь. Совсем отвёл. Нету лошади.

Он безнадёжно махнул рукой, взял краюшку и снова принялся жевать. На левой ладони он держал разостланную тряпицу, в правой руке — краюшку хлеба; откусывая хлеб, он чуть наклонялся к тряпице, собирая крошки. Делал он всё это так, как делают дети, когда едят халву. Ел и молчал.

Я тоже ел и посматривал на собеседника. С виду он был спокойным, неторопливым. В меру широкий нос, небольшая, но плотная борода как нельзя лучше подходили к могучим плечам. Глаз его не было видно под

густыми сдвинутыми бровями; он казался суровым. Ему можно было дать лет пятьдесят пять.

— А давно купил лошадь-то? — спросил я.

— В двадцать шестом году. Жеребёночком, говорю, купил. Четыре года ей теперь.

— А до этого были лошади?

— Не было. При советской власти нажил, при советской власти и... прожил.

Закусывать мы кончили одновременно. У меня остался кусочек хлеба, и я по привычке бросил его недалеко от себя. А мой собеседник стряхнул крошки с тряпицы на ладонь, проводил их в рот и недружелюбно заговорил:

— Я так думаю: не пройдёт коллективизация.

— Это почему же? — спрашиваю.

— Ты, вишь, кусок бросил, а надо... крошки беречь. Когда я подметаю ток, то, может, на такой кусок и намету всего-навсего. А ты выбросил.

По тому, как он неожиданно перешёл на «ты», я понял, что потерял его уважение.

— Ну, крошки-то не экономия, — пытался я оправдаться.

— Не постой за кроху, и всего ломтя не станет. Слыхал такую половицу?

Мне нечего было возразить, и я только сказал:

— Конечно. Да.

— То-то вот и оно. И в колхозе так может получиться: один будет по зёрнышку собирать, а другой кусками выбрасывать. — Он немного помолчал и продолжал: — Опять же эти самые трудовни... Как это так?

— Ну, будут записывать, а потом распределять — кто сколько заработал.

— Здрóрово! — ухмыльнулся он. — Здрóрово! Год работай, а там... Нет, ты мне дай квитанцию такую: проработал, дескать, день. И чтобы печать была.

Спорить я не стал, потому что и сам ещё не знал, что лучше — просто записывать или давать квитанции с печатью. А до трудовых книжек мы ещё не додумались.

— И лошади, скажем, тоже... На моей вчера же работал Илюха Козодой. Всю в мыле пригнал. Ну, как это так? — спрашивал он не то у себя самого, не то у кого-то отсутствующего, но только ко мне этот вопрос не относился: он просто не считал меня лицом компетентным, видел во мне юнца со школьной скамьи. Однако я спросил прямо:

— Не верите в колхоз?

Он пристально посмотрел на меня. Подумал. Потом уж ответил совсем мягким тоном, не похожим на недавний:

— Как тебе сказать? Не то чтобы не верю, а... сумлеваюсь. — Он наклонил голову в задумчивости. — Оно ведь на всю жизнь. А как всё получится — неизвестно. Сумлеваюсь.

Так с наклонённой головой он посидел ещё немного и неожиданно сказал:

— Пойду.

— Домой?

— Домой.

— А на утреннюю зорьку не хотите остаться?

— Хватит: четырёх убил.

Так же неторопливо он собрался, перемотав портянки, и сказал:

— Прощайте!

— Как же звать-то? А то просидели вечер, а...

— Митричем зовут, — ответил он уже на ходу.

— До свиданья!

Его чуть-чуть сутуловатая спина медленно потонула в темноте.

Где-то далеко прогоготал гусь. Костёр затухал. Звёзды стали ещё ярче, и Млечный путь перекинулся торжественным мостом через весь мир. В ушах прозвучало: «Сумлеваюсь... Не то чтобы не верю, а сумлеваюсь...» Именно тогда я и почувствовал остро, по-настоящему: началось новое, большое, началась борьба за нового человека. Почувствовал, несмотря на свою молодость.

Я разгрёб остатки костра, подмёл то место ветками сушняка, постелил сухой прошлогодней травы и улёгся спать. Но уснуть сразу не удалось. Что-то неудобное оставалось внутри от знакомства с Митричем, но что это такое — сразу не мог сообразить. И вдруг понял! Встал, отыскал со спичками тот, брошенный кусочек хлеба, подул на него со всех сторон и положил в сумку.

Было мне в то время двадцать пять лет.

Колхоз «Заря» в Лисоватом входил в мой агрономический участок. Там я и поселился.

Однажды при встрече спрашиваю у председателя Лисоватского сельсовета Сучкова:

— Виктор Филатьевич! Какое ваше мнение о Митриче?

— Коршунков?

— Да.

— Василь Митрич. Та-ак. А что? — спросил он ещё раз и, как показалось, посмотрел на меня подозрительно.

— Знакомый.

— Контра чистая ваш Митрич. — И с откровенной неприязнью осмотрел меня с головы до ног. Он сдвинул широкую кепку на затылок, засунил обе ладони за узкий кожаный пояс и пояснил: — Во всех мероприятиях контра.

— Кулак?

— Если бы кулак — раскулачили бы. Не придерёшься. А контра.

— Объясните поподробнее, — попросил я.

— Поживёшь, молодой человек, — может, и увидишь. Зря с ним связался. «Знакомый!» — ухмыльнулся он, сдвинув губы на одну сторону.

По официальному тону председателя и по иронической улыбке можно было легко почувствовать, что неприязнь к Митричу в какой-то степени перешла и на меня. Сучков ушёл, даже не попрощавшись.

А недели через две после этого случая мы с председателем колхоза, Махровским Иваном Степановичем, объезжали поля. И увидели такую картину. Пар десять лошадей, запряжённых в бороны, стояли на отшибе, неподалёку от трактора. Никого около них не было. А у трактора собралась группа колхозников, вчерашних одиночников. Среди них был и Митрич. Шёл какой-то большой спор. Мы услышали голос Митрича:

— Тогда слазь, к чёртовой матери!

— Это как так — слазь? — кричал тракторист с сиденья. — Ты меня не сажал!

Мы подъехали. Сошли с тарантаса. Спор сразу прекратился.

— В чём дело? — спросил Иван Степанович.

Никто не ответил.

— Почему не работаете? — повторил Иван Степанович.

Заговорил Митрич:

— Если так работать — лучше не работать. Это что? — указал он на сеялки. — Одна сеет, а другая портит. Вы ж нас так угробите.

Как раз в этот момент и подъехал председатель сельсовета Сучков. Он, не слезая с седла, крикнул:

— Опять против! Опять не так!

— Опять не так, — ответил угрюмо Митрич и, отвернувшись от нас, смотрел вдаль, в поле.

— Чего ты с ним валандаешься? — обратился Сучков к Ивану Степановичу. — Выгони ты его из колхоза!

Иван Степанович ничего не ответил. Он вместе со мной осматривал обе конные сеялки, спаренные для тракторного сева. Спокойный, как всегда, скупой на разговоры, он держался за короткий русский ус двумя пальцами и о чём-то думал. Потом посмотрел на меня, слегка прищурившись, будто спрашивая: «Ну, новый агроном, что скажешь?»

— Попробовать надо, — говорю ему, отвечая на взгляд.

— Ну, давай попробуем. Заводи, — сказал он трактористу.

Тот завёл трактор и потихоньку поехал. Мы пошли за сеялками. Высевающий механизм одной из сеялок то работал, то вдруг начинал стучать, сотрясая сеялку, и переставал выбрасывать семена. Получались невидимые огрехи, обнаружить которые можно только после всходов. Мы остановили агрегат и оглянулись. Все боронильщики стали расходиться по местам; один из них безнадежно махнул рукой и выразился непечатным словом. Митрич шёл к нам, а рядом с ним ехал верхом Сучков.

— А куда выгонишь? — спрашивал у него Митрич.

— Место найду. Раз ты против советской власти...

Митрич остановился около нас и перебил Сучкова, глядя ему прямо в лицо:

— Такая советская власть, как ты, мне не нужна.

— А! Та-ак! Без контрреволюции не можешь слова сказать! Будьте свидетелями, — обратился он к нам.

— Опять таскать будешь, — угрюмо и зло сказал Митрич. — Не поймёшь: мы ведь через твои дела перво-наперво и видим советскую власть.

— А какая же тебе нужна советская власть? — горячился Сучков.

— Вот такая, — указал Митрич на Ивана Степановича.

— Может, прекратите? — спросил у спорщиков Иван Степанович.

— Вот это поддержал! — воскликнул Сучков. — Развалишь ты колхоз.

— Нет. Не развалю.

— В сельсовете о тебе вопрос поставлю.

— Ставь.

— И поставлю! — Он отъехал от сеялок, но сразу же вернулся и спросил: — Сеять будете или так стоять?

— Ремонтировать сеялку будем, — ответил Иван Степанович.

— Исправную?! Ремонтировать?! — воскликнул Сучков.

— Исправную. Ремонтировать, — нехотя ответил Иван Степанович и обратился ко мне: — Что будем делать?

— Придётся разбирать. С полдня простои́м — ничего не поделаешь.

— Ведь сеет же, сеет! А вы — ремонтировать! — озлился совсем Сучков и помчался в галоп от сеялки.

Все помолчали.

— Прямо замучил, — заговорил первым Иван Степанович. — Шагу не даст ступить по-своему, а сам не смыслит. — И спросил, глядя в землю: — Ну, что ты с ним будешь делать?

— В газету написать, — сказал я. — Новые формы хозяйства — поновому и руководить надо. Раз написать, два написать — поймёт, исправится.

Митрич посмотрел на нас поочерёдно, почесал висок и заключил:

— Из свиной щетины кудрей не завьёшь. Не способен.

Сеялку отремонтировали.

А к концу посевной получили новенькую тракторную сеялку. Митрич стал сеять на этой сеялке, хоть и видел-то её первый раз в жизни. Он ровным счётом ничего не понимал в механизме, а только следил за тем, чтобы семена сыпались ровно и заделывались хорошо. В противном случае он останавливал трактор и категорически запрещал двигаться вперёд.

Даже секретарь райкома, а не то чтобы какой-либо уполномоченный, не смог бы заставить Митрича поступить иначе. В таких случаях он посылал кого-либо из ребятишек или шёл сам за мной, за Иваном Степановичем или за бригадиром тракторного отряда.

Все детали машины он называл необычно, по-своему: шестерёнки — «зубовые колёсики», сошники — «клевцы», высевающие катушки — «рубельки» (видимо, от слова «рубель»). Только колёса сохраняли своё настоящее название, известное ещё прадедам Митрича. К слову сказать, и тракторист, молодой малый, тоже ничего не понимал в тракторной сеялке. Вот так и сеяли в те, давно ушедшие в прошлое времена. Трудно тогда было агроному, а ещё труднее председателю колхоза.

И всё-таки по настоянию Сучкова на заседании сельсовета вынесли Ивану Степановичу выговор «за срыв сева исправной сеялкой» и предложили Митрича «снять с сеялки как сомнительного в политической плоскости вопроса». Сучков голосовал это предложение трижды, то есть до тех пор, пока не получилось большинства.

Вскоре в районной газете появилась моя статья «Самодур Сучков». Я решил заехать к Митричу домой и показать ему статью самолично. Но он встретился мне по дороге. В руках у него был посошок, за спиной — сумка.

— Далеко? — спрашиваю.

— В райком.

— Не ходи, Митрич. Вот смотри. — И я показал газету.

Он здесь же медленно прочитал, шевеля губами и время от времени почёсывая висок. Потом расправил бороду, надвинул картуз плотнее и сказал:

— Здорово. А всё-таки пойду. Это дело, — он указал на газету, — потянется далеко. А надо сразу.

Отговаривать его я не стал — знал, что бесполезно.

Секретарь райкома Некрасов принял Митрича хорошо. Усадил его в кресло.

— Как вас величать? — спросил он вначале.

— Василь Митрич Коршунков — кавалер георгиевского креста.

— Постой, постой! Что-то я вспоминаю... Где-то я слышал...

— «Контра», — напомнил Митрич.

— Гм... Да. Точно — «контра». — Теперь уже Некрасов смотрел на Митрича испытующе. — Что же вы хотели?

— Повидать вас хотел.

— Ну, вот я.

— Значит, такое дело. Не получится ничего из колхоза: без хлеба могём остаться.

— Не понимаю.

— Тут и понимать нечего.

— Вы что, против колхоза?

— Нет. Не против. Но сумлеваюсь.

— В чём?

— И в вас вот сумлеваюсь.

— Это дело ваше, — с оттенком недружелюбия сказал Некрасов.

— Ясно, моё. Только не обижайтесь. Я правду говорю. К примеру, вы главный райком. А почему Сучкова допустили к советской власти?

— Выбрали, — неопределённо ответил Некрасов.

— То-то вот и оно. Вам же и поверили. Вы же тут обсуждали, а мы вам верим. Вот я и сумлеваюсь теперь.

— Вот оно что! Да-а, — протянул Некрасов.

— Да. Были, значит, кулаки — Сучкову надо было их осаживать. Осаживал. Нас не касался. Теперича кулак притих, а он привык осаживать.

вать. Ну и... не туда прёт. Не может простого сумления отличить от контры.

— Так, так. Говорите, говорите!

— А я всё сказал: сумлеваюсь и в вас. Должны видеть всё до тонкости.

Некрасов развернул газету со статьёй о Сучкове. Митрич внимательно следил за собеседником и молчал. Потом секретарь райкома посмотрел в окно и, задумавшись, сказал:

— Да... Сучков часто говорит, что он «стоит на платформе советской власти»... А получается вот как.

— Не верьте вы ему. Не верьте. Он, может, и стоит на платформе, да поезд-то давно уж ушёл дальше, а он всё стоит.

Некрасов рассмеялся. Но Митрич не улыбнулся. Он сказал:

— Ничего тут смешного. Всё правильно. — И, кажется, даже обиделся: взял картуз, сумку и встал, приготовившись уходить.

Некрасов тоже встал из-за стола, усадил Митрича, отнял картуз и сумку и сказал:

— Всё рассказывайте подробно. Всё. С самого начала. Как жили до колхоза, как дела в колхозе, дома.

— Так, значит. Кобылу я отвёл в колхоз жерёбую. Теперича её маленьку стал забывать. Ну, трудно забыть такую лошадь: иной раз заскребёт в душе так нудно — не без того...

И Митрич рассказал обо всём, что случилось в его жизни за последний год.

...После того как Сучкова сняли с поста председателя сельсовета, он, выпивши, встретил меня по пути в правление колхоза, остановился, посмотрел в упор и произнёс презрительно:

— Писака... Хуже контры. — Потом взялся рукой за затылок, смяв фуражку, скривил тонкие губы и воскликнул: — Была советская власть — нет советской власти! Всё! — и пошёл дальше, покачиваясь.

Он, бедняга, и не подозревал, что, кроме меня, в его катастрофе виноваты и Митрич, и секретарь райкома, и Иван Степанович, с которым беседовал наедине Некрасов. Мне почему-то было жаль Сучкова, опоздавшего, по выражению Митрича, на поезд и не понявшего этого. Он не стал пьяницей. Нет. Он просто попил несколько дней с горя и бросил. Из колхоза никуда не ушёл и работал заведующим фермой, а несколько лет спустя — кладовщиком.

А Митрич так и жил — с виду спокойный, но внутренне напряжённый. Шли годы.

Колхоз «Заря» жил неровной жизнью: иной год на трудодень дадут подходяще, а при недороде — граммов триста—пятьсот хлебом и около полтинника деньгами. В такие годы Митрич становился угрюмым. На общих собраниях он говорил мало, коротко, но всегда ругался: и председателю Ивану Степановичу, и райкому, и агроному — всем доставалось. На одном из отчётных собраний, когда Иван Степанович сообщил о недороде яровой пшеницы как причине маловесного трудодня, Митрич попросил слова и спросил:

— Зачем сею яровую пшеницу, если она у нас покоя веков не родила?

— План, — коротко ответил Иван Степанович.

— Так и будем без хлеба, — заключил Митрич при общем одобрительном гуле собравшихся.

— Надо искать пути повышения урожая яровой пшеницы, — вступился я за Ивана Степановича, — а это не так просто.

— Вот и ищи эти самые пути. Найдёшь — тогда и давай, сей, — сразу возразил кто-то из задних рядов.

И вдруг Митрич неожиданно вышел к столу и сказал, обращаясь к президиуму, будто говоря от имени всех:

— Значит так: деды пробовали сеять — не родилась, мы пробовали — не родилась, а вы на моём пузе опыты с яровой пшеницей... Не будет дела из нашего колхоза.

Ну, что ему ответить? Мы переглянулись с Иваном Степановичем. Потом он посмотрел в окно и застучал пальцами о стол: дескать, нечего ему ответить, попробуй ты. Приходилось говорить о том, что мы не сделали всего, что надо сделать для урожая яровой пшеницы, что виноваты и мы и колхозники. Но Митрич ещё раз встал и сказал в заключение:

— Уж как апельсин хорош! Да нельзя же его у нас, в Воронежской, сажать. Нельзя? Конечно, нельзя. А скусно. Ой, скусно!

Сдержанный шёпот прокатился по собранию. Послышался лёгкий смешок.

А вечером, после собрания, мы сидели с Митричем на завалинке и разговаривали по душам.

— Кто виноват? — спрашивал Митрич прямо, без обиняков.

— Планы не те, — отвечал я.

— А ты пиши, стучи, говори там наши слова: «Не родит, мол, спокон веков». Пиши в газеты — ты умеешь. Ты напишешь, другой напишет — сразу поймут. Ведь хотят же там, сверху, хорошей жизни народу? — спрашивал он и поднимал палец вверх. — Хотят, — отвечал он, и я поддерживал его кивком головы. — Хотят, — подтверждал Митрич ещё раз с полной уверенностью. — Откуда же у вас такой рыбий закон: «Пльви — молчи, лежи — молчи»?

— Не в этом дело, Митрич. Учёные говорят, что яровая пшеница будет по плану родить, что «белое пятно», где она якобы не давала урожая, выдуманно, что она должна родить. Надо пласт создавать из многолетних трав.

— Не будет она родить, — категорически заявил он. — Народ лучше знает. Не будет. Её «швейка» заедает (так он называл вредителя яровой пшеницы — шведку). А «белое пятно-то» не у нас, а в мозгах того учёного, который народа не слышит. А мы от этого в сумленье входим.

Вот так Митрич всегда и сомневался, всегда искал разрешения своего сомнения. Иногда мучительные вопросы оставались неразрешёнными, и он надолго замолкал. Но работал ежедневно — от зари до зари. Даже если уходил на охоту в дни особо сильных сомнений, то только на зорьку, а к утру — в колхоз, на работу. Сомнения же свои он мог высказывать любому. Приедет, например, какой-нибудь уполномоченный из области, Митрич и с ним может сразиться.

Однажды после такого спора уполномоченный из области в присутствии Некрасова спросил у Ивана Степановича о Митриче:

— Что за колхозник?

— Работник хороший, — отвечал Иван Степанович коротко, как всегда, — но... с душком.

— Это как понять?

— Работает хорошо, но всегда недоволен чем-нибудь.

— Чем именно? Точнее.

Иван Степанович помялся. Ответил не сразу:

— Недостатками... неправильным руководством... планированием. Мало ли чем...

— Был раскулачен?

— Нет. До революции — бедняк. С двадцать шестого года — середняк.

— Странно! — удивлялся приезжий руководитель. — Колхоз уже десять лет существует, а у вас такие... митричи. Запустили массовую работу. Запустили. Массовую работу запустили.

— Ничего странного, — не особенно смело, но с достаточной уверенностью возразил Иван Степанович. — Ему почти никогда не возможно возразить — всегда в точку.

— Значит, и против планирования агитирует тоже «в точку»? — И уполномоченный в упор рассматривал Ивана Степановича.

И Иван Степанович решил:

— В точку, да. Не родит же яровая пшеница? Нет. А кукуруза родит, да её нам не дают. Колхозники-то в годы недородов живут усадьбой. А что на усадьбе? Картофель... кукуруза.

После этого и уполномоченный, и Некрасов, и Иван Степанович замолчали. Они смотрели в разные стороны, поочерёдно барабанили пальцами по бочке, около которой стояли на току, потом закурили и начали говорить о погоде, о сроках уборки, о заготовках — в общем, о самых важных делах. Интересно, что Некрасов совсем не вмешивался в этот разговор — он изредка улыбался, будто говоря: «А посмотрим, что извлечёт уполномоченный из таких прений». Потом-то они, может быть, между собой и говорили на ту же тему — не знаю. Наверно, говорили. Умный был человек!

А Митрич в тот день продолжал скирдовать снопы. Он стоял на скирде, пропуская через свои руки, может быть, шестую тысячу снопов за день, и, конечно, ругал своих помощников-скирдоправов:

— Ну, как кладёшь гузырь?! Куда затынул? Ямкой сложишь — мокрость пройдёт до дна... Я чего сказал?! Надо всё планоно делать. Планоно, — повторял он несколько раз, подразумевая под этим «хорошо», «толково».

Никто не видел Митрича уставшим. Никогда он не спешил, но и не сидел без дела. И всё-таки ему никто из приезжавших (уполномоченных или другого начальства) не доверял, видя в нём человека ненадёжного. Этому отчасти способствовал и Сучков, работавший с тысяча девятьсот тридцать восьмого года кладовщиком колхоза; он при всяком удобном случае произносил своё слово «контра» и добавлял:

— У нас народ — беда! Любому руководителю шею свернут. С таким народом выйдешь в передовые — держи карман шире!

Но, несмотря на утверждения Сучкова о народе, свёртывающем шею «любому руководителю», Иван Степанович бесшумно оставался председателем колхоза. Каждый год на отчётных собраниях его разбирали «по косточкам», ругали напрямик, обвиняли в смертных грехах — «сеет не то, что надо сеять», «денег мало даёт на трудодень», «свиньи убыточны». Послушает иной раз такое кто-либо из районного руководства да и поставит вопрос в райкоме о переизбрании председателя. Так действительно и случилось однажды, когда сам Некрасов чуть-чуть не ошибся, но колхозники его поправили.

Дело было так. Приехал он на отчётное собрание. Сначала, как и полагается, сделал доклад о работе Иван Степанович. Потом критиковали председателя по всем швам. Сильно ругали! Видит Некрасов — недоволен народ. Открылись ему и недостатки, которых он не замечал раньше. Вот он и поставил вопрос о замене председателя. Тут-то началось.

— Кто имеет слово по вопросу о замене? — спросил председательствующий на собрании старший конюх Егор Ефимыч Ермолов.

Никто не отвечал. Молчали. А потом из заднего угла при общем молчании послышались громкие возгласы, совсем не относящиеся к повестке дня:

— Мишка!

— А?

— Ты быка загнал?

— Загнал. А что?

— Как «что»? Бык же.

— Ясно, бык.

— Кто имеет слово? — повторяет вопрос Егор Ефимыч. Он стоит за столом президиума, чисто выбритый, высокий, жилистый, очень крепкий, несмотря на свои полсотни лет, и ждёт ответа. — Кто имеет слово?

В ответ — голоса:

— Покурить бы.

— Уши попухли от недокура!

— Перерыв! Надо перекур.

А от стены кто-то заговорил с этакой тонкой иронией:

— И что это у нас за председатель колхоза! На собрании — не покури, в клубе — не ругнись, в коровнике — фартуки белые на доярках. Тьфу!

— Конечно, перерыв надо, — перебил его другой голос без всякой, казалось, связи.

— Объявляю перерыв! — крикнул Егор Ефимыч густым басом, отлично идущим к нему.

Да и что оставалось делать председателствующему, если поднимается галдёж и никакого укороту сделать нельзя — хоть звонок разбей. Егор Ефимыч хорошо знал народ своего колхоза.

Почти все вышли из клуба, разбились на группы и разговаривали уже тихо. Потом от одной из таких групп отошёл Митрич и направился прямо к Некрасову. Он подошёл к нему и заговорил, отведя его чуть в сторону:

— Я прошу слова насчёт председателя.

— Пожалуйста! Вот начнём сейчас — первым и выступите.

— Нет, я вам хочу сказать. Одному. — И, не обращая внимания на удивление собеседника, начал так: — Иван Степаныч — человек партийный. Знаем мы его с самого малу, с пастушонка. В подпасках он у меня ходил. Понимаете: сирота! — И замолчал, ожидая того, какое действие произведут эти слова.

— Таких биографий много, — сказал Некрасов. — Но надо смотреть, как руководит. Свиноводство-то в плохом состоянии? В плохом. В поле...

Но Митрич перебил без стеснения:

— Конечно. Географией таких много. И толк не из каждого выходит. — И продолжал начатую ранее речь: — Сирота, значит. В комсомолах ходил — телят пас, до колхоза. В партию поступил, тоже до колхоза, — на «фордзоне» работал в СОЗе¹. А пото-ом уж, потом выбрали в председатели. Правильно: география его без образования. Но скажу: книжек у него полон дом. И такие толстючие есть — как саман. Прямо — саман!

— Да вы же сами уничтожили его своей критикой! — воскликнул Некрасов.

— Ну, что вам сказать! — воскликнул уже и Митрич, хлопнув руками по бёдрам.

Подходили к ним поодиночке и другие. Прислушивались. Курили, конечно, весьма сосредоточенно. А Митрич, оглядываясь на подходивших, продолжал убеждать собеседника:

— Разве ж мы его уничтожили? Нет. Саду у нас сорок гектар: при ком посажено? Коровы: где лучше? А? Мы всё это понимаем, видим. А раз видно, то чего об этом и говорить! Нечего об этом язык чесать.

— Вы же, вы сами ругали его десять минут назад, — обратился Некрасов к окружающим.

¹ СОЗ — артель совместной обработки земли.

Все почувствовали некоторую неловкость. По взглядам было видно, что каждый так и думал: «А ведь и правда — сами же разделили Ивана Степановича под орех». И вот уже большинство собрания окружало Митрича и Некрасова. Лишь Иван Степанович не выходил из клуба, догадываясь, что разговор идёт о нём, да счетовод из учтивости оставался с ним в помещении. От такого скопления свидетелей в разговоре «с глазу на глаз» Митрич постепенно терял дар речи, как и всегда: в этих случаях он мог сказать разве две-три фразы. И он сказал напоследок, незаметно перейдя на «ты»:

— Такое дело, понимаешь... Был у меня сын, Павел. Помер он — двое внучат при мне выросли. И мать ихняя померла... Помер. — Он прямо смотрел в глаза Некрасову и закончил: — А ведь я его раза два порол ремнём, Пашутку-то. Разве ж я его не любил... сына?

Общее молчание прорвалось сразу со всех сторон:

— Мы ругали, мы и уважаем!

— Не желаем менять Ивана Степановича!

— Только колхоз поднялся на ноги и — менять!

— Не на-адо!

Из зала клуба вышел счетовод и зазвонил колокольчиком, приглашая к продолжению собрания.

Входили, переговариваясь, балагурия, спеша докурить остатки цыгарок, чуть задержавшись для этого в дверях. В зале стоял шум. Казалось, собрание будет бурным.

Ещё раз прозвонил звонок. И снова тот же вопрос Егора Ефимыча, заданный уже со вздохом:

— Кто имеет слово?

В зале тишина.

— Кто имеет слово?

Слышно — жужжит муха на стекле окна. Вслед за вопросом Ермолова послышался полусёпот женщины:

— Господи! Вот уж ещё пристал!

Сказано это тихо-тихо, но все услышали и поняли, что относится это к председательствующему. Сразу — взрыв хохота! Некрасов смеялся со всеми вместе. Егор Ефимыч тоже смеялся, хотя и позванивал вяло звонком, и наконец спросил:

— Что же будем делать?

— Резолюцию писать, — ответил за всех Митрич.

— Сперва работу надо признать, — вставил Сучков, ожидавший бури и втайне мечтавший о председательском месте (работать кладовщиком он считал ниже своего достоинства, не подозревая того, что находился именно на своём месте).

— Как признаем работу? — спросил у собрания Егор Ефимыч.

— Хорошей! — крикнуло сразу несколько голосов, будто сговорившись.

— Голосую!

Признали работу хорошей, а дальше, в резолюции, шёл длинный перечень недостатков, такой длинный, что не укладывался на двух листах.

Вот так и получалось: Иван Степанович оставался бессменным председателем колхоза с начала его организации. Уже сад стал доходным, а там и на конопле, в низах, стали получать до двухсот тысяч дохода, бахча приносила не один десяток тысяч. Год от году доходы росли и уже перевалили через два миллиона, трудодень через восемь рублей перескочил, не считая хлеба, — колхоз стал самым лучшим в районе, а Митрич... всё ругался и всегда был чем-либо недоволен. Он даже и на Ивана Степановича ходил жаловаться в райком, этот беспощадный старик.

...Внуки Митрича, Николай и Пётр, выросли, казалось, незаметно: то были недавно мальчишки, а то уже оба на машинах — Николай на трак-

торе, Пётр на комбайне штурвальным. Оба плотные, коренастые — «в дедову породу пошли», как говорил Митрич не без удовольствия. Может быть, им иной раз и хочется поспать подольше, да дед теребит. У него правило: вставать до восхода солнца. Людей, которые встают после солнышка, он просто считал лентяями, недостойными земной жизни. Такая уж философия была у Митрича. Но как бы там ни было, а жизнь всё улучшалась и улучшалась. Ребята стали хорошо зарабатывать, Митрич не хотел от них отставать — в дом пришёл достаток. И Митрич стал подумывать, что пора оженить внуков. Он высказал мне эту мысль спокойно, как решённое, выкладывал расчёты по расходам на это важное дело и заключил:

— Иначе нельзя. Разве ж это работа? Ему вставать на смену, а он только-только от соловьёв прибыл... Да и старуха моя... того... слабеет: молодую хозяйку надо в дом.

И всё это говорилась просто, обыденно, без тени намёка на то, что и самому Митричу идёт шестьдесят восьмой год, что он воспитал двух внуков, что это было очень трудно, что были годы бескормья, когда выручала усадьба. Ничего этого Митрич не говорил и, видимо, об этом не думал. Он только частенько ругал ребят, которые, как ему казалось, работают вполсилы. Да всё так же высказывал своё недовольство непорядками в колхозе, в районе, в области и, прямо скажу, добирался иной раз до самого правительства. Так однажды он мне и сказал:

— Дали нам трактора и разные машины — спасибо! В ноги могу поклониться за то. Вот могу поехать в самый Кремль, стать на колени и поклониться. Но... — тут он разводил руками, поднимал мохнатые брови в удивлении, — но налог-то с колхозников неправильный: с земли надо брать, а не со скотины. И ещё скажу: да дайте же нам возможность сеять то, что нам хочется... Ну? Как? — спрашивал он в упор, не опуская бровей, глядя открыто и доверительно мне в лицо и отряхивая колени так, будто он только-только встал с земли.

Посмотрит, посмотрит Митрич так — и улыбнётся. А я высказывал ему своё искреннее убеждение в том, что в социалистическом государстве необходимо планировать сверху. Мы спорили, но Митрич оставался при своём мнении, настойчиво высказывая его из года в год.

А некоторые люди, из районного руководства, услышав такое, не спорили с ним, а утверждали, что «митричи» — люди опасные, подрывающие доверие к общественному плановому хозяйству. И Сучков со всей категоричностью произносил снова своё неизменное «контра». Не было доверия к Митричу со стороны начальства.

Но мы с Иваном Степановичем понимали, что Митрич очень хорошо знает землю колхоза, помнит тысячи разных местных примет, почти точно определяет сроки сева разных культур, поэтому и шли к нему сами за советом. И кроме того: куда ни поставь Митрича в колхозе — он всё сделает только отлично. Он в совершенстве владеет мастерством скирдоправа, знает толк в высадках, точно знает, в каком поле можно пахать глубоко, а в каком нельзя; никто лучше его не наладит упряжь или телегу. А к его «особым» мнениям и постоянным сомнениям волей-неволей прислушивались, обсуждали между собой, иной раз спорили. Иногда Митрич сам приходил в правление и спрашивал у нас с Иваном Степановичем:

— Никак завтра собираетесь просо сеять?

— Даём наряд, — отвечаем.

— Обождите: бобовник не зацвёл.

— Задержим же сев! — воскликнет Иван Степанович.

— И правильно задержите. Бобовник, он зацветает, когда земля нагреется. А просу в холодной земле — могила.

Митрич уходит, а мы решаем: часть посеять «по Митричу», а часть — по-своему. И получается: «по Митричу» лучше — урожай больше.

Но Митрич старел. Незаметно, но старел. помаленьку — белели всё сильнее волосы, баритон стал отдавать хрипотцой. И всё же это был ещё сильный старик: попрежнему он ежедневно являлся на работу и работал так, что дай бог молодому так сработать. А по праздникам надевал очки с ниточками вместо заушников и читал газету или слушал хороводные и протяжные песни. Сидел на завалинке, закрыв глаза и не снимая очков, слушал. Послушает, послушает, встряхнёт головой, скажет:

— Ух ты! Какой голосище-то у Мариши. Вот ведь какие девки бывают на белом свете! — и снова почитает газету.

Водки он не пил совсем, никогда. А Кольку, внука, явившегося раз пьяным в хату, выпорол ремнём без каких-либо раздумий, несмотря на то, что парню шёл двадцать первый год. Мало того, что Николай два дня подряд украдкой почёсывал зад, Митрич ещё и припугнул его:

— Вот пойду в этот самый твой комсомол да скажу: «Напился, мол, сукин кот» — они тебе там на собрании гуртом ещё добавят ремня.

— Ну уж... Ладно,— ворчал Николай.

— То-то вот и ладно. Иван Степанович поумней тебя, а видал ты его пьяным?

Николай молчал.

— Не видал,— отвечал за него дед и задавал вопрос: — Понятно?

— Понятно,— сдавался внук.

— Её, дуру чёртову, водку, пить-то надо с умом. Без настоящего ума к ней и прикасаться нельзя... Молсд ещё.

После этого случая у них в семействе ремень получил особое название — «вытрезвитель».

Так вот и жил Митрич со своими правилами, простыми и чёткими: любя внуков, он их не баловал; работая не покладая рук в колхозе, возмущался недостатками; любя советскую власть, иногда поругивал и её, если считал что-то неправильным согласно своему убеждению и хозяйственным соображениям. При этом ему совершенно было неважно, что о нём подумают (по крайней мере так казалось со стороны).

В те памятные дни Митрич был оживлённым — он ещё и ещё раз обсуждал с ребятами вопрос о свадьбе. Купил дополнительно кабана, откармливал бычка, ездил за покупками. Для меня всё же оказалось неожиданностью, когда он, войдя к Ивану Степановичу, сказал:

— Ну что ж... К тебе, Степаныч. Ребята просят в сваты. Николая сватать, за Маришу.

Это был особый знак уважения и почтения. И Иван Степанович, несмотря на занятость, не отказал. Свадьба была назначена на последнее воскресенье июня — самое удобное время, когда и прополка закончена и пары готовы, но уборка ещё не начиналась, а сено в копнах. Всё было предусмотрено, чтобы не нанести ущерба в тракторном отряде и в колхозе. Да и время хорошее — зелень, цветы, тепло: гуляй хоть сутки напрслёт.

О водке тоже договорились: гостям — до отвала, хозяевам — в меру, «по мере возможности», как выразился Митрич.

До свадьбы оставалась одна неделя. Всё было готово.

И вот...

Среди дня, во время обеда, кто-то неожиданно застучал в окно, застучал кулаком в переплёт рамы так сильно, что казалось, сейчас посыплется стёкла.

— Кто? — спросил я, вскочив из-за стола и подбегая к окну.

— Открывай! Беда! — крикнул Иван Степанович.

Я выскочил на улицу. Он положил мне на плечо руку и чуть сжал: рука его слегка дрожала.

— Одевайся! Война!

Чёрная туча наплыла на солнце и мрачной тенью поползла над селом.

Кто-то проскакал по улице верхом. Где-то заголосила женщина. Беспокойный, тревожный, как при напасти, говор пошёл по селу. Завыла собака, днём завыла. Очень редко воют собаки днём. Люди спешили с поля: тарахтели брички, звенело привязанное позади телеги ведро.

К правлению колхоза собирался народ. Люди шли туда, где определялась их судьба, шли так, будто там, в правлении, ещё могли что-то сделать, чтобы предотвратить лихо. «А может быть, это ещё и неправда», — думал каждый.

В правлении — уже битком. Репродуктор, потрескивая, молчал. Кто-то сказал, нарушив тяжёлое молчание:

— Как же это так: мы с ним договор заключили, а он — вон что?

— Значит, подлый, собака, — ответил угрюмый голос.

И снова тишина. Курили. Изредка перебрасывались односложными фразами. Все ждали голоса из репродуктора. А репродуктор потрескивал и молчал.

Но вот все услышали позывные Москвы, потом голос Вячеслава Михайловича Молотова. Молотов обращался к народу.

Война...

Враг напал на Родину,

Митрич стоял рядом со мной. Картуз он держал перед собой, опустив руки. Белая прядь волос перекинулась на щёку. Он стоял молча, не шевелясь, склонив голову, будто сосредоточенно смотрел в землю. Так он стоял всё время, пока говорил Вячеслав Михайлович, не пошевелился и тогда, когда говорил Иван Степанович и другие. А когда закончился стихийный митинг, Митрич посмотрел на меня, откинул прядь волос, надвинул картуз. Он что-то хотел сказать, но, видимо, трудно это было ему сделать. Я тоже смотрел ему в лицо. Оно было сурово и... спокойно. И вот он сказал то, что хотел:

— Ребят собирать надо. Пойду. — И пошёл размеренным шагом, совсем не по-стариковски.

А через день провожали новобранцев. Провожали всем колхозом — от мала до велика. Женщины плакали. Новобранцы пели песни. Играла гармонь. Старики шли молча, угрюмые, знающие, что такое война. Вдруг неожиданно всё затихало, все шли молча, семейными группами, растянувшись по дороге. Но вот... ударила снова гармонь. Ударила... плясовую. Русскую!

Ах, гармонь, гармонь! Простая гармонь! Великую службу несёшь ты на нашей земле. Это твоя тёплая радость струится в цветущем вишнике, когда первые цветы любви зацветают в душах молодых парней и девушек; это ты отщёлкиваешь частушки, от которых парень краснеет, пьяница бригадир прячется на задворках, а лодырь волей-неволей идёт на работу; это под твои залихватские переборы выскакивают обличительные четверостишия, такие, что самому господу богу становятся тошно; это ты врезаешься «Барыней» внутрь человека, так что трясутся поджилки и всё равно не выдержать никому, кто родился в России, — всё равно пыль из-под каблучков полетит!.. Это твои печальные звуки раздаются по осеннему заморозку, придавившему последнюю траву, и тогда кажется: идёт где-то парень и тоскует о том, что не женился, а жениться, край, надо; идёт этот парень и жалуется белому свету: ой, как надо жениться! Это ты, гармонь русская с заёмными басами, бодрить народ на току в самые тяжёлые страдные дни; это на твоих белых ладах, перекрывая дальний ржот тракторов, подыгрывает жаворонкам тракторист, свободный от смены. Да что там говорить! Тебя и соловей не боится: ты играешь любовную, а он рядом, тут же в кустах шиповника, поёт своё, но очень похожее по настроению и смыслу. Вот какая у нас гармонь!

Только ведь это я сейчас так говорю, а тогда я просто услышал плясую и повернул лицо к Митричу. Рядом с ним, с котомками за плечами, шли оба внука. Митрич посмотрел на меня, потом на Петра и вдруг, как мне показалось, улыбнулся. Да, он улыбнулся, толкнул Петю в бок и сказал:

— А ну, Петруха, покажи нашу породу! — и неожиданно ударил картузом о дорогу.

Петя снял котомку, обеими руками поплотнее закрепил на голове кепку и пошёл в пляс. Нет! Никто в Лисоватом так задорно не плясал до рождения Петьки! А с виду — скромный белокурый паренёк с удивляющимися всему на свете глазами. Он не знает, что такое война. И дед это чувствует, дед хочет, чтобы он подольше не знал этого, и кричит:

— Наддай, Петруха! Дроби! Дроби больше! Не плачь, бабы-девки — Расаю никто не поборет!

...Потом снова шли, то переговариваясь, то молча. Так и дошли до станции: плакали, плясали, молчали и думали, думали об одном: «Что-то будет?»

...Первый звонок. Тишина. Провожающие стоят у вагонов.

— А телушку продай,— говорит колхозник лет сорока своей тихонько плачущей жене.— Хлеб расходуй с умом... Война войной, а ребятишкам жрать надо. А обо мне что печалиться? Обуют, оденут, накормят. Не один иду — не плачь...

— Ничего, Коля! — говорит Митрич.— Приедешь — оженим. — Он смотрит на невесту Николая, стоящую рядом, и спрашивает:— Ждать будешь, Мариша?

— Буду,— отвечает та и плачет.

У Николая навёртываются слёзы, и он, обнимая, целует невесту.

— Вот видишь: будет ждать. Не горюй — всё будет, как и должно быть... планово,— произносит Митрич.

Второй звонок. Мёртвая тишина. Гудок паровоза. Несколько женщин бросились с воплями к подножкам вагонов, а одна из них обняла поручни и запричитала старинное причитание:

— Улетает сизый голубь, улетает в бурю. На кого-то спокидает он свою голубку! На кого ж ты спокидаетшь деток-голубяток да под той ли чёрной тучей — горьксю судьбою? Ой вы, тучи, чёрны тучи, облаки небесны, скороните моего мила, спрячьте от напасти...

— Гражданик! Поезд отправляется,— строго и официально заявил кондуктор и решительно, силой, оттащил женщину от вагона.

Голос кондуктора был сухим, строгим, и многим было не по себе от этой строгости, пока не увидели, что по лицу кондуктора текли слёзы. Все плакали. Только Митрич стоял, смотрел на ребят и советовал мягко, ласково и, казалось, спокойно:

— Главное дело — портянка должна быть сухой завсегда, постиранной. Нога в холе — телу вольно. Это — само главно для солдата. И окромя того: случаем придётся с пищей туго, то в тот день затягивай «вытрезвитель» сразу на две дырки — способней в походе будет. Солдатская жизнь, она, брат, наука. — Последние слова он сказал уже тогда, когда поезд тронулся, и он немного прошёл за ним по перрону.

И вот поезд отошёл. А люди всё стояли и стояли и смотрели вслед. И вдруг у Митрича тоже покатались слёзы. Он не рыдал. даже не всхлипывал: просто катились слёзы по внешне спокойному, суровому трудовому лицу, которое каждый день видит восход солнца. Ребята уехали, не для кого казаться бодрым — вот и покатались слёзы.

...Через две недели провожали на войну и Ивана Степановича. Всем колхозом проводили. Говорили речи, обещали, что колхоз останется передовым. А Ивану Степановичу надо было говорить ответное слово. Он встал на табуретку, сказал:

— Дорогие мои товарищи! Дорогие старики! Мы... — Он не смог дальше говорить и неожиданно, будто торопясь, у всех на глазах, приложил платок к глазам. — Мы... будем воевать хорошо... Прошу вас... Больше хлеба!

Колхоз плакал...

Если вы, дорогой читатель, видели, как плачет колхоз, провожая на войну любимого председателя, то поверите и мне, что очень трудно это описать: слишком дрожит всё внутри человека, когда он вспоминает такое. Слезы народные жгут сердце. Это не были слёзы неверия и слабости. Нет! Это были те самые, знакомые всем нам слёзы, которые потом перешли в ожесточённую ненависть к врагу. В начале войны наш народ не умеет ненавидеть, так же как умеет прощать после войны.

— ...Больше хлеба! — повторил ещё раз Иван Степанович уже твёрдым, окрепшим голосом, повторил громко, во всю свою силу, так, будто хотел, чтобы его слышали все колхозы.

— Будет хлеб! — крикнул Митрич. — Не сумлевайся! Будет.

— Будет! — повторили эхом старики и женщины.

Молодёжи призывного возраста среди провожающих уже почти не было.

Шла война. Председателем колхоза избрали Егора Ефимыча Ермолова — бывшего старшего конюха. Руководил он, исходя из одного плана — хлеб фронту. И это было всем понятно. Бывало, идёт он раненько, перед рассветом, вместе с бригадиром вдоль улицы, увидит — из трубы дым не идёт, заходит в хату и говорит, почёсывая морщинистую бритую щёку:

— Слышь, Марья! Может, пораньше бы истопила печку? Опоздать можешь.

И Марья, работавшая восемнадцать часов в сутки, стыдливо опускала глаза и отвечала:

— Проспала, Ефимыч, уж ты не серчай...

— Ну, к чему! — И уходил.

Ложился Ефимыч позже всех, вставал раньше всех, а если надо было, то сам и косил и пахал. Очень крепкий человек!

А война шла. С фронтов приходили печальные вести: враг продвигался с поразительной быстротой. Наши войска отступали. Осенью, в слякоть и изморозь, застревали автомашины отступающих войск, проходила пехота, измученная, угрюмая. А в колхозе рыли картошку, спеша убрать до морозов. Женщины, старики и дети копались в грязной и мокрой земле посиневшими руками, сносили картофель в бурты, а вечером отправляли собранное в ближайшую воинскую часть, с последующим переоформлением в отделе заготовок.

Бывало, напекут в обед картошки, сядут есть тут же, в борозде, и молчат. Потом кто-то из женщин скажет, вздохнув:

— Отступают.

— Отступают, — подтвердит другая.

Алёна Вишнякова, хрупкая с виду женщина, проводившая мужа и сына, потихоньку заплачет. Но подходит Митрич, одетый в зимний кожаный плащ, и говорит душевно, но строго:

— Нельзя. Ему от этого будет хуже. Право слово, такая примета есть. Прекрати, Алёна, прекрати. Что ты, аль добра ему не желаешь?

И Алёна переставала плакать, потому что плакать о живом — плохая примета: Митрич знает лучше.

Иногда Митрич выходил на дорогу, когда женщины, отдыхая, засыпали за смертью, смотрел на проходящие войска, думал, взвешивал. Низко нависали над землёй осенние косматые облака, мжил, как через мелкое сито, дождик-моросей, хлюпала слякоть под разбитыми солдатскими са-

погами, измешившими эту грязь от Польши до колхоза «Заря». Солдаты шли, кого-то проклинали, кто-то кого-то ругал матом. Митрич подходил ближе и обращался к ближайшему солдату:

— Ну, как там дела-то, ребята?

— Прёт, собака...

— Как же теперь, ребята? А?

— Вот... говорят, закрепляются наши, — неуверенно ответит солдат.

— А зачем же вы того... уходите? Как же так, ребята? — И горечь слышалась в словах Митрича, и упрёк, и тяжкое сомнение, какого не было у него ещё никогда, никогда за всю долгую жизнь.

Солдаты уходили от этого упрёка, понурые и молчаливые. А Митрич всё стоял и стоял у дороги, провожая их взглядом. А потом шёл снова рыть картошку, рыл до сумерек скрюченными пальцами и рассказывал женщинам:

— С командиром роты говорил. Сказал: «Закрепляются»... Закрепляются и — хоп! — крышка. Уж командир роты знает!

Конечно, выдумывал он всё это сам и усердно распространял среди женщин. Но чаще он оставался угрюмым, молчаливым. Старел он буквально неделями. А к весне тысяча девятьсот сорок второго года уже ходил с палочкой, тяжело на неё опираясь. Печальные вести всё ниже и ниже гнули Митрича, но он неизменно вставал рано, даже раньше Ефимыча, выходил в поле, «разламывался» помаленьку и работал, работал. В ту весну он был ответственным за качество сева тракторными сеялками, поэтому находился при них неотступно.

Однажды, во время сева, к сеялке подъехали на военной тачанке два солдата.

— Здорово, дед! — поздоровался невесело один из них.

— Здорово, солдат! — ответил Митрич.

— Давай нам проса пару мешков. Шамать нечего — от снабжения отстали. Обрушаем — пшено будет.

— Поди в правление и спроси, — резонно заметил Митрич. — Это не моё, а колхозное.

— Может, и сеять-то не стоит, — заговорил второй.

— Как так? — спросил дрогнувшим голосом Митрич.

— Так — через месяц-другой, может, и сюда докатится, — ответил первый солдат.

Митрич преобразился: он вытянулся, выпрямился, посмотрел вдаль, в поле, потом на сеялки, на бурт мешков с просом, на солдат этих двух, воткнул свою палку с чистиком на конце в землю, расправил плечи и сказал:

— Подойди ко мне, солдат.

Подожёл тот, что заговорил первым, и спросил:

— Ну? Насыпать, дедушка?

И вдруг, неожиданно, Митрич ударил его в лицо кулаком. Ударил со всей былой силой. Ударил так, что солдат упал навзничь.

— Какой части?! — заревел Митрич на второго. — Какой ты солдат, если не веришь... твою мать!!!

И второй солдат опустил голову. Потом очухался и первый; он посидел на земле, вытер рукавом кровь с лица и стал искать глазами ушанку, но встретился взглядом с Митричем, наклонившимся над ним. Тот помог ему встать и сурово спросил:

— Ну, как?

— Эх, дед, дед! — с горечью ответит тот. — Самим тошно и... стыдно. — И ударил ногой по земле с озлоблением. Потом цапнул, взял горсть земли, сжал зубы так, что выступили на челюстях желваки, и сказал: — Наша земля-то... Тошно, дедушка!

— Тошно? А нам-то, а твоему отцу, твоей матери не тошно? Не долгон ты сумлеваться, сукин ты сын! Закрепляются. Понимаешь: закрепляются... Мне генерал говорил, сам генерал. А сюда не придёт он. За Дон не придёт!

Трактористке-девушке Митрич строго-настрога приказал молчать об этом случае. А в бригадном стане рассказывал так:

— Подъезжают двое солдат. Спрашиваю у них: «Как там дела?» Отвечают: «О! На Дону такую силищу скопили, что не только немец, а даже все государства пойдут, и то — ни можно». «Ну, говорю, нате вам за такие добрые слова ведро проса. В ступе протолкёте — каши наварите». Хорошие ребята! — Но всё же добавлял: — Только кое-кто из слабых нутром распустились маленько, отступаючи. Ну, теперь-то всё пойдёт плавно. Главню дело — хлеб им надо.

То ли Митрич в раздумьях сам дошёл до той мысли, что Дон будет гибельным рубежом для врага в этой местности, то ли краем уха услышал в частых разговорах с военными, но случилось всё именно так — немца здесь через Дон не пустили и начали бить его беспощадно. И до Лисоватого враг действительно не дошёл, хотя был в Воронеже. Митрич, казалось, ободрился, повеселел, но без палки уже не мог ходить. Однако палка палкой, а на душе нет того камня, что лежал и давил. К тому же от Николая получил письмо, утешающее, бодрое. А Пётр писал: «По лёгкому ранению определили в госпиталь. Пролежу месяца три, а там отпустят, наверное, домой». Какое уж там у него ранение — молчал, но главное — жив.

Пошли добрые вести одна за другой. Немца погнали обратно. А хлеба требовалось всё больше и больше. Все понимали это без слов. Не хватало лошадей — стали запрягать коров колхозников; не хватало семян в колхозе — свозили свои собственные семена, сберегаемые и хранимые про чёрный день; не хватало людей — каждый трудился за троих. Митрич, несмотря на преклонный возраст, работал ежедневно. И никаких сомнений у него не возникало. Никаких!

Но вот отгремели орудия. Прозвучала по стране радость победы. Начали приходить домой оставшиеся в живых. Вернулся Иван Степанович, без левой руки, и через неделю принял снова колхоз. Пришёл Николай, в чине лейтенанта, с пятью орденами, и сел за руль трактора. Вернулся и Пётр, без ступни — на протезе, но тоже занял своё место штурвального на комбайне.

Всё налаживалось. А Митрич вдруг, для всех неожиданно, заговорил своим давнишним, довоенным языком. На общем собрании в присутствии нового председателя райисполкома Тачкова он сказал:

— Неправильно! Мы в войну и половины пшеницы яровой не сеяли, а хлеба давали больше. А люцерна! На кой ляд её? У нас покои веков проса рожаются да кукуруза, а нам люцерну да яровую пшеницу суют.

— Да вы, дедушка, что: против основы нашей жизни, против планирования идёте? Вы уже старый — не понимаете. А если понимаете, о чём говорите, это ещё хуже, — убеждал Тачков.

— Я ещё не стар: семьдесят седьмой только. Люди до ста живут. Только я говорю: или там вверху не видят, что нельзя сеять то, что не надо? Сколько лет об этом я говорю!

— Мало ли что вы захотите, дедушка. Может быть, вы советской власти не захотите.

И Митрич уже кричал в сердцах:

— А какая же это советская власть — проса рожаются, а их нам дают сеять столько, что и гулькин нос кашей не намажешь. Сумлеваюсь! Не пойдёт так дело. Контроль нужен, слов нет, но чтобы сеять то, что родится.

Старые, старые, давно знакомые речи Митрича!

А новый председатель исполкома уже спрашивал шёпотом Ивана Степановича:

— Что это за дед? Что он делал во время войны?

— Обыкновенный колхозник, — отвечал Иван Степанович тоже шепотком. — Делал то же самое — работал.

— Хвостизмом от тебя пахнет, товарищ председатель колхоза.

— «Сумлеваюсь», — возражал, улыбаясь, Иван Степанович, подражая Митричу.

А после собрания мы втроём засиделись в правлении до рассвета. Иван Степанович говорил председателю райисполкома:

— А подумать хорошенько — Митрич-то и прав. Что важно? Больше получить хлеба и кормов. А это значит — не сеять таких культур, которые дают плохой урожай.

Нечего было возразить против этих слов. И все втроём решали: посеять сорок гектаров проса «сверх плана» за счёт «погибшей» люцерны, а озимые увеличить (опять же «сверх плана»), используя картофелище и площадь после уборки чечевицы.

Только Митричу этого было мало. Он главному (главному!) агроному райзо сказал однажды, после лекции о травополье:

— Мы твою структуру не понимаем пока. Сперва хлеб требуется всем и мясу, а потом эта самая, как её, структура.

— Ты, дед, ставишь вопрос вверх ногами, — горячился агроном.

— Так и надо. Попа если поставишь вверх пятками, тогда только и узнаешь, что он в портках ходит.

А агроном уже ворчал вполголоса:

— Эх-хе-хе! Корявая старина... — и начинал всё снова, искренне предполагая, что его не понимают.

И удивительнее всего то, что Митрич продолжал терпеливо слушать. Слушал каждый год по несколько раз, сомневался и возражал. Возражал всегда.

...Но вот уже и подошло время, когда Митрич не смог нести обычной для него физической работы, — пришла старость. А не работать он не мог — шёл в поле и всё-таки работал. Иван Степанович всё это замечал и думал о том, как облегчить труд Митрича. Наконец он вызвал его к себе и говорит:

— Василий Димитриевич! Бахчу некому охранять. Нужен надёжный человек. Может быть, станете... сторожить?

Митрич, в пропотевшей пятнами рубаше, оперся подбородком на палку, посмотрел в пол, подумал. Потом поднял глаза на Ивана Степановича, увидел, что председатель-то тоже совсем седой, прикинул, что Ивану Степановичу уже за пятьдесят пять, и сказал:

— Что ж поделаешь... Бахчу надо воспитывать. Надо. Дело твоё — кого поставить.

И стал жить в поле, в шалаше.

Ночами Митрич не спал — ходил по бахче, а если послышится шорох, стрелял из ружья вверх и кричал: «Держи, держи его! Егор! Забегай справа!» Никакого Егора с ним не было: это он так — для остротки.

Ребятишки, конечно, шалили, подползая на животах и откатывая арбуз в овёс, и ночные крики Митрича регулярно повторялись. Охранял он добросовестно. Утро он встречал так: дожждётся восхода солнца, трижды, по привычке, перекрестится на него, умоется родниковой водой и пойдёт осматривать бахчу. Крал ли кто, заяц ли обгрыз зелёную дыню, волк ли полакомился — всё заметит Митрич. То сорняк вырвет при обходе, то плети поправит, то арбуз перевернёт для дозревания. Потом, к вечеру, доложит обо всём Ивану Степановичу: какой урон за ночь и что сделано

днём. После утреннего обхода сноха, Мариша, жена Николая, занесёт завтрак. Митрич позавтракает и ложится спать на часок-другой.

И вот однажды случилось так. При утреннем обходе бахчи Митрич почувствовал, что ноги как-то отстают от него — сделались тяжёлыми, непослушными. За всю свою жизнь Митрич ни разу не болел никакими болезнями, а тут вдруг, ни с того ни с сего, ноги отяжелели. Мариша принесла завтрак, стала у шалаша и смотрит на деда. Он увидел осот в междурядьях и захотел уничтожить, как это делал обычно. Попробовал выдернуть — никак. Ещё раз попробовал — не выдернул. Постоял-постоял около сорняка, покачал головой, глянул на восход и вслух спросил сам себя:

— Что же это ты, Василь Митрич Коршунков? А?

Потом обернулся к шалашу, увидел Маришу и пошёл к ней. Шёл медленно, волоча ноги, зачёркивая носками свой последний путь по полю. Подошёл. Сел. Сказал:

— Вышел конь из упряжки — и пустую бочку не везёт...

— Что с вами, дедушка?

Он посмотрел Марише в глаза, светло улыбнулся и без какой-либо горечи сказал:

— На днях помру, Мариша. Подводу мне — домой надо.

Дома приказал себя искупать, постелить на кровать чистое бельё, надеть смертную рубашу, припасённую покойницей женой, зажечь лампадку. И лёг сам, без чужой помощи. Зашли соседки-сверстницы, засветили две свечи и предложили Митричу позвать батюшку.

— Не грешил я — не в чем каяться, — ответил им Митрич. — Бог, он на меня в обиде не будет... И не особо дружно мы с ним жили... а обижаюсь... ему... не на что.

Он говорил всё реже и реже. Лежал, смотрел в потолок и — странно! — изредка улыбался, расправляя брови и чуть поднимая их вверх. Умирал человек и улыбался. Улыбался суровый всю жизнь, обыкновенный человек, не свершивший ни одного героического поступка.

Неожиданно он поманил к себе Николая. Тот подошёл.

Медленно заговорил Митрич:

— Коля!.. Хотя ты и партийный, а... может, попа-то ко мне позвать... Грех вспомнил: солдата... ударил... — И Митрич замолк.

Даже если и позвали бы священника, Митрич уже не смог бы ничего ему сказать о своём грехе. Он умер.

В осенний ясный и тихий день мы проводили Митрича на погост. В числе других шли мы с Иваном Степановичем. Лёгкая паутина плыла в воздухе. В чистом светлоголубом небе курлыкали невидимые журавли, парящие в высоте. Ласточки, собираясь к отлёту, уселись на телефонные провода, будто и задержались они для того, чтобы проводить Митрича: сидели рядами, чёрно-беленькие живые бусинки, и тысячеголосым щебетанием заполняли село.

И не было ни у кого слёз: так провожают из жизни человека, который сделал всё, что мог сделать, для которого поэтому и смерть — логический конец, поражающий своей простотой и ясностью. И если бы кто-либо стал горевать, то самому Митричу, будь он снова жив, было бы обидно. Но, верьте, было у меня необычное для этого случая чувство, которое я и сам, пожалуй, ещё не определил тогда точно: это было чувство благодарности за то, что он жил рядом со мной.

А в поле в это время тяжёлым и сочным земным грузом лежали, будто нарочито разбросанные богатой осенью по бахче, громадные арбузы и дыни. Воткнёшь нож в такой арбузище, а он лопнет вдоль, не дожидаясь движения ножа, лопнет в нетерпении, брызнув сахарным соком. Дескать, берите, поминайте Митрича! И вот лежат розово-красные куски арбуза,

они тоже свидетельствуют о мощи земли и людей, работающих на этой земле. Осенью всякие плоды земли очень хороши! Они — для жизни.

Здравствуй, жизнь!

Прошла зима. Наступила весна.

За несколько дней до весеннего сева мы с Николаем ушли на охоту по селзням. И снова был вечер. Был и костёр.

Настрелявшись вдоволь, мы улеглись спать рядом. Николаю — около тридцати, мне — скоро полсотни, а мы с ним большие друзья. Он теперь бригадир тракторного отряда в том же Лисоватом, в колхозе «Заря».

И я рассказал Николаю, как четверть века назад вот на этом самом месте впервые встретил Митрича. Лежал со мной рядом богатырь-тракторист, лейтенант запаса Коршунков, и слушал. А потом сказал:

— Вот ведь как трудно было расстаться с лошадью... Ну, дай мне сейчас эту самую лошадь! Что делать с такой обузой? Куда её девать? — Он помсчал и добавил: — А насчёт хлеба — правильно. «Не постой за кроху — всего ломтя не станет».

Была та самая ласковая тишина, когда всё живое ожидало настоящей зелёной весны. Так же вдали прогоготали гуси, так же свистели крылья невидимых в темноте уток, так же струился запах подснежников, как и каждую весну. Весна повторяется. Но каждую весну появляется новое в человеке. И в этом — большая доля счастья людей, живущих на земле.



ЮРИЙ ПИЛЯР
★
ВСЕ ЭТО БЫЛО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поезд останавливается. После Вены это первая наша остановка. Столицу Австрии, Остмарка, как именуют эту страну наши конвоиры, мы покинули в полночь, а сейчас раннее утро, часов пять или шесть.

Я смотрел на Вену сквозь железный переплёт окна. Может быть, поэтому город не произвёл на меня должного впечатления: старые серые дома с массивными островерхими крышами, церкви, поблёкшая уже листва бульваров. Я ожидал от Вены большего, и, как это ни странно было в нашем положении, сознание, что нас везут на смерть, не только не уменьшало разочарования, а скорее, наоборот, усиливало его. Всё же Вену мы оставили с грустным чувством: за несколько часов до отхода поезда какие-то немолодые женщины с красным крестом на нарукавных повязках горячо, но, к сожалению, безуспешно просили начальника конвоя передать нам термос с кофе и немного хлеба. Они повторяли: «Всё-таки это люди...» Им ответили: «Нет».

Ночью было, как обычно: грохот кованых сапог на крыше, дрожащий свет ракет, короткие автоматные очереди по насыпи — на всякий случай. И вот мы остановились. Наш вагон отцепили, и паровоз, дав гудок, потащил состав дальше.

— Приехали, — объявляет Виктор.

Все молчат. «Приехали» звучит невесело.

— Нет, сейчас опять повезут, — говорит Олег.

И верно — мы слышим пыхтение приближающегося паровоза, шеи у всех вытягиваются, но, увы, паровоз, шипя, проползает мимо.

— Да, — говорит Решин.

Всем ясно, что означает это «да»: надеяться, что повезут дальше, нечего — приехали.

Хорошо бы посмотреть сейчас в оконце. Но после Вены нам строжайше запретили подходить к оконной решётке. За ослушание — пуля в лоб прямо через эту решётку. Остаётся прислушиваться. Но в тишине слышны только мерные шаги часового.

Мы продолжаем лежать. Нас сорок пять человек. Для товарного вагона, не приспособленного для перевозки людей, это многовато. Лежим «валетом» — голова каждого покоится между двумя парами ног — и благодаря этому умещаемся на полу все. Стены вагона чёрные: на них угольная пыль. Чёрная пыль и на наших лицах и на одежде. В одном месте узкая полоса стены кажется серебристой — на неё падают сквозь дверную щель лучи дневного света. В этих лучах тоже мечется пыль.

— Да, — повторяет Решин, — приехали!

Я осторожно подтягиваю ноги и встаю на корточки.

— Куда?

— Посмотрю.

— Не спеши.

Спешить, может быть, действительно не следует, но нет ничего хуже неизвестности. Пока я раздумываю, на что взобраться, чтобы заглянуть в окно, не подходя к нему близко, до нас доносится тарахтенье мотора, густой автомобильный гудок, потом — громкие голоса наших конвоиров. Теперь уже ни у кого нет сомнений, что мы приехали.

Встаём. Пустые алюминиевые котелки — всё наше имущество — цепляем к поясам. Гремят засовы. С громыханьем отодвигается дверь. Слепительная масса света и чистого воздуха врывается в вагон.

— Выходи!

Команда на немецком языке, но все её понимают — не первый день в неволе; кроме того, команды наших конвоиров однообразны и очень несложны.

Спускаемся один за другим на железнодорожное полотно.

— Стройтесь!

Выстраиваемся. В стороне начальник нашего конвоя, моложавый гестаповец с чёрными усиками, разговаривает с рослым угрюмым офицером-эсэсовцем и, улыбаясь, поглядывает на нас. В руках у начальника чёрный портфель. Там, вероятно, дела — перечень наших «преступлений».

Нам приказывают подвинуться вперёд. Мы подвигаемся недостаточно быстро, и за это двое эсэсовцев — справа и слева — бьют передних прикладами по спине. Новая команда — выравняться. Пока выравниваемся, я пробую оглядеться — где мы? Впереди — блестящие нити рельсов и далёкие дымчатые горы. Слева — чистенькие краснокрышие домики, ряды лип и над ними сверкающие, словно повисшие в небе, горные вершины. Справа — маленький аккуратный вокзал с вывеской «Брукхаузен», брусчатая, без единой соринки площадь, голубой автобус; за площадью — ровная стена леса, и над ней снова горы, круглые и синие. Это всё, что я успеваю заметить.

К нам приближаются начальник конвоя и тот же офицер. Начальник всё ещё улыбается — он, видимо, рад, что доставил нас до места, — офицер попрежнему угрюм. У обоих в руках списки. Нас окружают эсэсовцы — и те, что нас везли, и те, что приехали за нами на автобусе. У последних на поводках крупные овчарки. Псы повизгивают, свирепо глядя на нас.

Команда: «Ахтунг!» Затем: «Мютцен аб!» Это что-то новое. Догадываюсь, что надо снять пилотку, и говорю об этом стоящим рядом Виктору и Олегу, но многие не понимают последней команды. Угрюмый офицер движением фокусника извлекает откуда-то хлыст и, щёлкнув им в воздухе, бьёт кого-то по голове, а потом, оскалив длинные редкие зубы, показывает на хлыст и говорит:

— Мой переводчик.

Когда все обнажают головы, начальник называет первую по списку фамилию:

— Бросков!

Названный делает шаг вперёд. Офицер-эсэсовец, не глядя на него, отмечает что-то в своём списке. Вызывают второго, третьего. Они быстро пристраиваются к Броскову. После Виктора слышу свою фамилию, затем, через несколько человек, фамилию Олега. Последним выкликают Решина. Офицер, пристально посмотрев на него, цедит сквозь зубы: «Юдэ?» Начальник конвоя что-то говорит офицеру. Тот недовольно дёргает подбородком.

Около вагона сстаётся небольшая группа инвалидов во главе с Алексеем Ивановичем, плотным бородатым человеком на костыле, бывшим старшим нашего вагона. О них словно забыли. Повидимому, нас разлучат,

Мне хотелось поближе познакомиться с Алексеем Ивановичем. Он привлёк моё внимание своей смелостью в обращении с нашими стражами. Так, в Вене, когда начальник конвоя не разрешил представительницам Красного Креста передать нам кофе, Алексей Иванович крикнул ему через окно: «Вы прогадали гораздо больше нашего, господин гестаповец: мы без глотка кофе не умрём, вы же погибли в глазах этих добрых женщин, и, таким образом, да здравствует человеческая глупость!» Говорили, что Алексей Иванович был до войны крупным юристом. Больше я ничего не знаю о нём — расспрашивать здесь не принято.

Меня тоже никто не спрашивал, как и за что я попал в этот вагон. Доставлен я сюда из гестаповской тюрьмы, где отсидел без всяких допросов ровно месяц. В тюрьму меня упрятали за то, что я дважды пытался бежать из лагеря военнопленных, куда меня посадили ещё весной 1942 года на Псковщине в числе многих гражданских лиц, взятых по подозрению. Все мои заявления, что мне семнадцать лет и что по своему возрасту я ещё не мог служить в армии, были бесполезны.

С Олегом и Виктором я встретился уже в этом вагоне. Мы быстро сошлись. Они мои сверстники. Виктор — харьковчанин, Олег — одессит. Оба, как и я, закончили десятилетку в канун войны, оба мечтали учиться в институте. Они сразу познакомили меня с Решиним, сухоньким длиннноносым старичком, профессором-врачом из Днепропетровска, а немного погодя и с Бросковым, худым и очень нервным человеком лет тридцати. Бросков не скрывал, что он офицер-десантник и что, если бы не контузия, он никогда не дал бы посадить себя за колючую проволоку...

Инвалидов, оставшихся у вагона, не вызывают. Их только пересчитывают, после чего, к нашему удивлению, им приказывают следовать к автобусу. Их десять человек. Постукивают о камни костыли, болтаются пустые рукава. Последним влезает в автобус Алексей Иванович. Охранники подталкивают его прикладами. Угрюмый офицер устраивается рядом с шофёром. Автобус трогается и, блеснув на повороте ветровым стеклом, скрывается из виду.

Через минуту трогаемся и мы. Я дышу и не надышусь ослепительно чистым, прохладным ещё утренним воздухом. Пахнет землёй, лесом и едва уловимо — мазутом от железнодорожных шпал. Пересекаем привокзальную площадь и идём по асфальтированной дороге к лесу. Нас конвоируют человек двадцать эсэсовцев; часть из них с автоматами, остальные ведут овчарок.

Вступаем в лес. Дорогу застилает синеватая тень от елей. Псы опять принимают повизгивать и скулить. Опьяняюще пахнет хвоей. Между стрельчатыми вершинами — голубое, как стекло, небо.

— Живее!

Эта команда раздаётся в голове колонны. Голос тоже повизгивающий, не предвещающий ничего хорошего. Ускоряем шаг.

— Живее!

Ускоряем ещё, но идём попрежнему в ногу. Сейчас это почему-то не устраивает охранников, хотя обычно они требуют слаженного шага.

— Быстрее!

Мы переходим почти на бег. Сбиваемся, конечно, с ноги. Псы начинают рычать и рваться с поводков.

— Марш! Марш!

Это команда бежать. Бежим не слишком быстро, экономя силы. По бокам — дула автоматов и скошенные в нашу сторону глаза эсэсовцев. Овчарки прыгают и рвутся к нам с силным, яростным лаем. Бежим, вероятно, минут пять, но кажется — целую вечность. Кто-то позади начинает отставать. Крики «живее» и удары. Звякает котелок об асфальт. Окрик: «Встать!», и снова: «Живее!»

Наконец повизгивающий голос приказывает перейти на шаг. Устали, наверно, и конвоиры. Тяжело дыша, выравниваем ряды и берём ногу. Я стараюсь дышать глубоко: шесть шагов — выдох, пять-шесть — вдох. Но это плохо удаётся: слишком сильно колотится сердце. Олег, поменявшийся с кем-то местами, косит на меня насмешливым взглядом. Он любит подтрунивать. Вообще такие люди мне нравятся, но сейчас он меня злит.

Шагаем минут десять. Потом снова бежим. Опять шагаем, опять бежим, и так пока перед нами не вырастает полосатый шлагбаум, перегораживающий дорогу.

Останавливаемся. Вытираем потные лица. Нас снова пересчитывают — на этот раз гэщий эсэсовский унтер, обладатель повизгивающего голоса, и эсэсовец-ефрейтор, стоящий у полосатой будки.

Шлагбаум поднимается. Проходим шагов сто, поворот, и сразу за оборвавшейся грядой леса видим высокие стены, сложенные из больших неотёсанных камней. Над стенами — паутина колючей проволоки. По углам — застеклённые башни. Они тоже колючие: в открытые окна смотрят пулемётные стволы.

Приближаемся к крепости. Заметно уже, что проволока над стенами пристёгнута к белым пуговкам изоляционных катушек. Различаем насто-рождённые лица часовых на башнях. У ворот — тоже часовые. Ворота железные, двустворчатые. Над ними, на арке, распластался каменный орёл со свастикой в когтях.

Интересно всё-таки, зачем нас сюда привели. Кажется, можно было бы покончить с нами в лесу. Я украдкой оглядываюсь на товарищей. Лица у всех строгие и, пожалуй, скорбные. Даже у Олега.

2

У ворот нам приказывают остановиться. Опять пересчитывают. Медленно раскрываются тяжёлые створы ворот, раздаётся: «Мютцен аб!» («Шапки долой!»), и мы входим в крепость.

Нас ведут направо, за большое зелёное здание. Успеваю бросить взгляд в сторону: широкая асфальтированная площадь, светлые бараки, чистота и безлюдье. Странная крепость!

Останавливаемся между зданием и стеной. Из здания доносится шум каких-то машин. Нам приказывают повернуться спиной к стене. Из-за угла выходят высокий горбоносый эсэсовец в лайковых перчатках и какой-то странный субъект — толстый, лысый, в просторном костюме с красными полосами. У эсэсовца в руке изящный хлыстик, у лысого толстяка — чёрная папка. Последний рассматривает нас с любопытством. У него маленький, детский подбородок, упругие розовые щёчки и прозрачные голубые глазки.

Мы подравниваемся.

— Руссеки? — спрашивает лысый.

— Русские, — гудим мы.

Горбоносый эсэсовец бьёт хлыстиком по голенищу своего сверкающего сапога. Лысый поспешно раскрывает папку.

— Увага¹, — говорит он. — Кто мает часы альбо пинензы, мусит сюда давать. Слышите?

Я выучился немного по-польски, сидя в тюрьме, и понимаю, что он коверкает польский язык.

Ни часов, ни денег ни у кого, конечно, нет. Все молчат.

Горбоносый опять касается хлыстиком голенища. Лысый говорит:

— Быстро, скорей! — Затем предупреждает: — Кто не даёт часы,

¹ Внимание (польск.).

пинензы, достанет двадесят пять тут.— И шлёпает себя ладошкой по плоскому заду.

Кто-то из наших тянет:

— Нет у нас ничего.

Горбоносый рявкает:

— Раздеться!

Лысый добавляет:

— Живее!

Мы раздеваемся. Одежду складываем у ног. Появляется ещё один человек, маленький, юркий, с лицом, напоминающим крысину мордочку. Он в синей спецовке, на голове — суконная фуражка. Эсэсовец что-то говорит ему вполголоса. Человечек командует: «Налево!», поворачивается и идёт к зданию, сделав знак следовать за ним.

Мы, галые, спускаемся по каменной лестнице в какой-то подвал. Внезапно слышу знакомый голос: «Степан Иванович!» Степан Иванович — это профессор Решин.

— Алексей Иванович! — отзывается Решин.

Глаза постепенно свыкаются с темнотой. Вижу Алексея Ивановича и остальных инвалидов, сидящих на полу. Они в одном нижнем белье, острижены под машинку и побриты.

Человек в спецовке не даёт нам приблизиться к товарищам.

— Дальше! — кричит он.

Проходим дальше и попадаем в большой, залитый резким электрическим светом зал. Стены зала кафельные, под потолком — душевые рожки. Из них бежит тёплый дождь. Слева стоят табуреты и возле них — люди с бритвами и машинками для стрижки.

Виктор проводит ладонью по подбородку. Подбородок у него чёрный: пробивается щетина. И вообще он весь чёрный: волосы, брови, глаза; кожа смуглая, и только зубы белые. Он больше похож на грузина, чем на украинца.

— Чёрт те что, — бормочет он, глядя на меня.

Я тоже ничего не понимаю: зачем нас привели в душ?

— А может быть, обойдётся? — говорю я.

Он отрицательно трясёт головой. Пожалуй, Виктор прав: нечего себя тешить надеждой.

Моя очередь. Сажусь на табурет. У парикмахера на брюках белая тряпица с чёрными цифрами и синим треугольником, в центре которого выведена буква «S». Он перехватывает мой взгляд и спрашивает тихо: «Дойч ферштеен?» Я киваю утвердительно. Парикмахер прикладывает к моему лбу холодную машинку. Слышу на ломаном немецком языке: «Знаете, что вас ждёт?» Пожимаю плечами. «Вас убьют», — шепчет он.

Не ново, но сердце ёкает. В глубине души я всё-таки начал надеяться, что обойдётся. Шепчу:

— Вы кто?

— Испанец. Республика.

— А что здесь такое?

— Концлагерь.

Молчу: мимо проходит юркий человек. Проводив его глазами, спрашиваю опять:

— Зачем нас моют?

Испанец, наклонившись, продувает машинку и говорит:

— Германский порядок, камрада.

Мне хочется пожать ему руку, но я боюсь его подвести.

Иду под тёплый дождик. Олег усердно трёт чью-то полусогнутую спину. Спина раскачивается, как маятник. Олег отдувается и поворачивает ко мне свою широкую мальчишескую физиономию.

— Разговаривал?

— Да.

— Ну и что?

— Говорит, что убьют.

Синие глаза Олега становятся какими-то старчески серьёзными, и я уже раскаиваюсь, что сказал ему правду.

После купания нас бреют. Потом друг за другом мы выходим в раздевалку, в полнейшем безмолвии натягиваем на себя полосатые рубахи и кальсоны. На ноги нам предлагают надеть некое подобие ночных туфель — брезентовый верх, прикрывающий одни пальцы, и деревянные подошвы. Здесь это называется «пантофель».

Осторожно постукивая колодками, снова выбираемся на солнце. Алексей Иванович с инвалидами уже наверху. По выражению их лиц вижу, что дела плохи.

Опять появляются горбоносый эсэсовец и лысый толстяк в полосатом костюме. Нам приказывают построиться в пять шеренг. Инвалиды выстраиваются отдельно. Лысый достаёт из папки бумагу.

Я осматриваюсь. Поразительный концлагерь: бараки лёгкие, чистые, покрашенные светлозелёной масляной краской; окна раскрыты; под окнами — бахрома цветов; и — совершенное безлюдье.

— Бросков!

Бросков произносит: «Я» — и выходит вперёд. Ему приказывают вернуться в строй. Так по очереди вызывают всех. Затем опять пересчитывают. Пересчитывают и инвалидов. Наконец лысый кладёт списки в папку.

— Направо!

Поворачиваемся направо и идём на площадь. Инвалиды остаются.

Я гляжу на цветы под окнами светлозелёных бараков и не перестаю думать: зачем цветы, если нас привезли сюда убивать?

Делаем ещё поворот и поднимаемся по ступенькам на узкий, залитый солнцем дворик между двумя бараками. Дворик вымощен крупным булыжником и отделён от остального лагеря ключей железной сеткой. В дальнем конце его сквозь такую же сетку видны каменные столбы с белыми изоляционными катушками, на которых держится туго натянутая проволока; кажется, что проволока эта чуть-чуть дрожит.

Останавливаемся посреди двора. Лысый вытирает голову платком и исчезает в открытых дверях барака. Через минуту он появляется вновь в сопровождении троих: один — пожилой, статный, с крупными жёсткими чертами лица, второй — толстый, с бритой круглой головой, третий — красивый кареглазый юноша, почти мальчик.

Статный некоторое время приглядывается к нам, потом резким, хриловатым голосом произносит:

— Налево!

И, откинув голову назад, направляется вдоль строя. За ним — бритоголовый. За бритоголовым — красивый мальчик. Все трое пересчитывают нас.

Лысый улыбается. Статный, что-то сказав ему, уходит в барак. Бритоголовый с красивым мальчиком поднимаются на крыльцо.

— Ахтунг! — выкрикивает бритоголовый. — Кто вы ест — русские? — спрашивает он, растягивая гласные, и, выслушав наш ответ, добавляет: — Так я буду говорить с вами по-русску.

Язык, на котором продолжает свою речь бритоголовый, — смесь русского с польским и немецким.

— Ахтунг! Ахтунг! Здесь ест германский концентрационлагер. Вшиscopy мусят делать то, цо будет приказано. Кто не хце делать, тот сгорит крематория.

Значит, не все мы будем сразу уничтожены — снова пробуждается надежда. Вероятно, Решину просто показалось, что конвоиры называли

наш вагон вагоном смертников. Ошибся, наверно, и парикмахер-испанец. Нелепо было бы везти людей на расстрел за полтысячи километров. Кроме того, баня, стрижка, смена белья и, наконец, эти предупреждения...

Толкаю Олега локтем. Он меня понял. В его глазах усмешка.

— Посмотрим.

Виктор попрежнему мрачен.

— А теперь, — продолжает бритоголовый, — каждый достанет куртку, брюки, ботинки. Каждый мусит пришить себе номер. Але быстро, быстро!

Отсутствие эсэсовцев и вновь появившаяся надежда делают нас смелее. Кто-то из задних рядов спрашивает:

— А вы кто такой?

Бритоголовый засовывает руки в карманы. У него порядочное-таки брюшко.

— Я ест блокфризер, блокцирюльник, — произносит он с видимым удовольствием. — Вы будете называть меня «герр комендант».

Он тоже в полосатом костюме, и на брюках у него тряпочка с личным номером. Значит, он заключённый.

— А обедать нам дадут? — раздаётся из середины строя.

— Так, — отвечает «герр комендант» и, показав нам круглую спину, уходит в барак. За ним исчезает и красивый мальчик.

Мы продолжаем стоять. Лица у всех заметно повеселели.

— Интересно, куда увели инвалидов, — говорит Виктор.

— Может быть, в госпиталь? — гадаю я.

— А что здесь вообще делают? — спрашивает Олег.

Всё неизвестно. Не знаем даже, можно ли разойтись или хотя бы сесть, не сходя с места: наши ноги порядком затекли.

В дверях опять показывается кареглазый мальчик. За ним другой — голубоглазый и тоже красивый. Что это за мальчики? Они выносят носилки с одеждой, ставят их и приносят вторые — с башмаками на толстой деревянной подошве. Потом появляется «герр комендант» со связкой железных номеров, белыми тряпицами, нитками и иголками. За ним — лысый толстяк со знакомой папкой.

Вызывают Броскова и дают ему одежду, башмаки и номера. «Герр комендант» объясняет: железный номер крепится с помощью проволочки на левой руке вместо часов; белые тряпицы с красным треугольником и чёрными цифрами пришиваются: одна — на куртку, напротив сердца, вторая — на брюки, на вершок ниже кармана; утерявший номер будет сожжён в крематории.

Получив по очереди номера и обмундирование, принимаемся за работу.

Брюки военного образца неизвестно какой армии мне велики, я меняюсь с Олегом; куртка французская — как раз впору. Я беру иголку, отрываю нитку.

— Костя, — хватает меня за руку Виктор. Лица всех, как по команде, поворачиваются направо, в сторону каменных столбов. Вижу — за проволокой понуро идут наши инвалиды под охраной большой группы эсэсовцев с винтовками. Впереди ковыляет Алексей Иванович. Он заметил нас. Поднял голову. Не успеваем мы прийти в себя от неожиданности, как инвалиды исчезают за углом барака. Куда их?

— Быстро, быстро! — кричит с крыльца «герр комендант».

Конец нитки никак не попадает в игольное ушко... Неужели?!

В мертвенной тишине раздаётся десять последовательных винтовочных залпов... Всё — их уже нет. Везли полтысячи километров, привезли и — убили.

Гробовое молчание. Живые, мы продолжаем делать то, что принуждены делать. Пальцы шебелятся, глаза смотрят на красные треугольники

и чёрные номера, но душа... Нет, в душе то же, что и раньше: ненависть, ненависть, несмотря на страх, ненависть страшная, святая, нечеловеческая.

Через час мы заканчиваем переодевание. Получаем по полмиски жидкой брюквенной бурды. Это обед. Потом, сбившись в кучки, сидим на камнях под палящим солнцем. Разговаривать не хочется. В воздухе висит тишина.

Интересно, понимают ли враги, что наша покорность — это только притворство, расчёт, выжидание, что при любом удобном случае мы готовы перегрызть им горло?.. Наверно, понимают. Иначе не зарядили бы электрическим током колючую проволоку, которая окружает лагерь.

Вечером, после поверки, появляются наконец вернувшиеся с работы заключённые. Их очень много — старые и молодые, совсем юноши, французы, чехи, сербы, поляки, русские. Я знакомлюсь с Шуркой Каменщиком, как себя называет один наш соотечественник из интернированных моряков. Он сказал нам: «Выхода отсюда нет». В лагере он давно, а сейчас вот попал в штрафную команду.

Спать ложимся на бумажные матрацы, расстеленные по всему полу в спальной комнате барака — в «шлафзале блока», как выражаются старожилы. Перед отбоем лысый толстяк — он, оказывается, блоковой писарь, блокшрайбер, — объявляет, что все новоприбывшие утром идут на работу. Укладываемся «валетом» и только на один бок — так здесь тесно.

Ночью просыпаюсь; нечем дышать, невыносимо давит со всех сторон. На потолке играют какие-то зловещие багровые отсветы. Кое-кто спит сидя, уткнувшись лицом в колени. Воздух спёртый, несмотря на открытые окна... Засыпаю и через минуту снова просыпаюсь: «Выхода отсюда нет».

3

Мне снилось, что я дома. Отец только что вернулся с пришкольного участка, где под скупым вологодским солнышком созревают жёлтые помидоры и земляная груша, вернулся и, склонив набок большую лысую голову, прохаживается по комнате, ожидая, когда мама даст обедать. У него седая, клинышком, борода, простые, в железной оправе очки. На ногах — рабочие сапоги. Гимнастёрка, сшитая мамой и подпоясанная широким ремнём, поружела на спине. Вот он что-то говорит маме и вдруг начинает смеяться как-то по-детски — закатывается, захлёбывается и, кажется, плачет, а потом действительно смахивает с переносицы слезы.

Отец мой — агроном и учитель ботаники. К нему часто приезжают за советом колхозники. Они все любят папу и называют его ласково-уважительно по отчеству: «Карпович».

Мне надо сказать отцу что-то важное, и я с замирающим сердцем жду, когда он подойдёт, положит тёплую ладонь мне на голову и, повернув к себе моё лицо, спросит:

— Ну, чижик?

— Ауф!¹

Вскакиваю ещё с закрытыми глазами. Что это? Да, выхода отсюда нет. Я в концлагере, шлафзал...

— Раздеться!

— Сбрасывай, Костя, рубашку, — говорит Виктор, проснувшийся раньше меня.

Сбрасываю рубашку и, глядя на других, надеваю на ходу брюки, башмаки; куртку рукавами повязываю вокруг пояса. Плотная цепочка полубнажённых людей медленно движется через спальную, через вторую, с натёртыми полами, комнату, где помещаются «герр комендант» и ещё

¹ Встаты (нем.).

какой-то чёрный немец, поворачивает направо, к умывальной, и оттуда на улицу.

Из умывальной, «вашраума», доносится хриплая немецкая ругань. Уже в дверях вижу, как пожилой статный человек — он старшина блока — короткими резкими взмахами бьёт резиновой палкой по чьей-то костлявой спине. За мной идёт наш вчерашний знакомый Шурка Каменщик. Он учит:

— Голову под струю, руками ополаскивай грудь и бегом во двор.

Проделываю эти операции. Вытираюсь, как и все, рубашкой. Затем строимся, получаем по маленькому черпаку тёплого горьковатого кофе, пьём и снова выстраиваемся. Писарь пересчитывает нас, «герр комендант» проверяет, в порядке ли наши номера. Старшина блока, дождав-шись удара колокола, выводит нас за проволочные ворота.

Выходим на плац. Площадь запружена людьми: полосатые шапки, жёлтые, синие, чёрные куртки — все с номерами, сдержанный разноязычный гул. Пристраиваемся к какой-то колонне. Старшина здоровается с высоким рыжеватым заключённым в сапогах и что-то говорит ему, ука-зывая глазами на нас. Тот, слушая, покусывает влажные губы.

— Это надсмотрщик штрафной команды, капо, по-ихнему, — объяс-няет вполголоса Шурка. — Его зовут Пауль Лизнер. Он бывший реци-дивист. Уголовник. Зверь.

Мы стоим в одном ряду с Шуркой. Он работает в штрафной команде, значит и мы попадаем в эту команду, хотя ещё ничем не проштрафились.

— Такие-то дела, — помолчав, произносит Шурка.

Я смотрю на него. Он небольшого роста, но необычайно широк в плечах. Кожа на лице у него бурая от солнца и шелушится, глаза быстрые, зоркие.

— Такие, — повторяет он и вдруг подмигивает кому-то: — Ничего. Какая бы ни была работа, сегодня суббота. Сегодня как-нибудь, а завтра выходной. Вечером получим сыр, мармелад или кружок, с пятачок, кол-басы — выменяем на брюкву. Так я говорю?

Вопрос относится ко мне. Я не успеваю ответить. Над плацем раскати-сто звучит: «Ахтунг!»

— Вошёл комендант, — объявляет Шурка.

— Хайль Гитлер! — доносится от ворот.

— Это эсэсовцы, — поясняет Шурка.

Пауль Лизнер — руки за спину — прогуливается вдоль колонны. Его голубые со слезинкой глаза поглядывают на нас без всякого интереса. Ничего зверского в его наружности пока не нахожу.

Снова: «Ахтунг!» На площади воцаряется напряжённая тишина. Её разрывает раскатистый бас: «Шапки снять!.. Шагом марш!»

Раскрываются железные ворота. Захлопали по асфальту деревянные колодки. Когда голова колонны достигает стены, снова рокочет тот же бас: «Штайнбрух. Две тысячи двести хефтлингов!»¹ Колонна пёстрой колышущейся массой ползёт в ворота. Слышатся выкрики надсмотрщи-ков, ведущих счёт.

Наступает наша очередь. Лизнер выпрямляется.

— Марш!

Шагаем через всю площадь к воротам, у которых стоит рослый, сви-репого вида эсэсовский офицер с витыми погонями; наконец лагерь позади.

Сворачиваем направо. За последним каменным зданием — вероятно, казармой охранников — открывается чудесный вид: широкая, подёрнутая серебристым туманом равнина, река, за ней поля, какие-то руины на холмах и сверкающая снежными вершинами гряда гор.

¹ Заключённых (нем.).

— Альпы, — говорит Шурка.

— А река?

— Река — Дунай.

Поворачиваем ещё раз направо. Лагерь остаётся где-то сбоку и позади. Идём по узкой, мощёной крупным булыжником дороге. Лизнер обгоняет колонну и, пятясь, продолжает вести счёт. Рядом с ним появляется другой надсмотрщик — маленький, чёрный, похожий на цыгана.

— Помощник, — шепчет Шурка. — Из бывших фальшивомонетчиков. Тоже зверь.

Голубые глаза Лизнера весело поблёскивают. Его помощник, видно, не из тех, кто улыбается: он предельно мрачен.

Мы проходим шагов пятьдесят, и вдруг — стоп. Лизнер поднимает руку. Она у него розовая, с золотистыми волосиками. Рука опускается — полусогнутый указательный палец приходит в движение: вызывает кого-то из строя. Голос Решина: «Меня?»

— Да, да, — произносит Лизнер и выманивает пальцем ещё кого-то.

Решин и незнакомый мне пожилой морщинистый человек приближаются к капо. Лизнер, осклабясь, говорит:

— Старичкам перед началом работы полезно размять косточки. Не так ли?

Решин хмуро молчит. Морщинистый вопросительно смотрит на профессора. Тот быстро переводит фразу на русский язык.

— Ну и?.. — спрашивает капо.

Его похожий на цыгана помощник пронзительно кричит:

— Ложись!

Старики ничком падают на землю.

— Встать!

Они вскакивают. Лизнер бьёт морщинистого резиной по темени.

— Марш! Марш!

Решин и его товарищ, согнувшись, тяжело бегут. Последнему опять достаётся: помощник капо протягивает его палкой по спине — товарищ, видимо, очень слаб — и снова кричит:

— Ложись!

Это истязание продолжается до тех пор, пока шатающиеся, запыхлённые, мокрые от пота старики не добираются до ровной тенистой площадки, обрамлённой рядами развесистых каштанов. Мы понуро следуем строем.

На площадке, заложив руки за спину, Лизнер произносит речь:

— Тот, кто думает, что здесь дом отдыха, глубоко ошибается. Я не различаю тех, кто не может и кто не хочет работать. Это для меня всё равно — одна колбаса. Кто не будет работать, получит пулю. Понятно?

Его помощник, приказав нам снять куртки и указывая на грудь лопат, кричит: «Начинай!»

Хватаем по лопате и несёмся под откос, к буграм свежевзрыхлённой земли. Шурка объясняет, что землю надо перекидывать к самому большому бугру, откуда она грузится в железные вагонетки-лёры. Сам он направляется к одной из таких вагонеток, поставленных на узкоколейные рельсы. Мы всаживаем лопаты в грунт. Через минуту работа идёт полным ходом.

Но вот надсмотрщики куда-то исчезают. Мы сразу сбавляем темп и начинаем оглядываться. Наверху — ряды каштанов, внизу, под нами, — колючая проволока, за ней — лес. Возле проволоки прохаживается молодой часовой-автоматчик.

— Зацепить бы его лопатой по черепу. Как ты думаешь? — спрашивает Олег. Он здоровяк: широкая грудь, крепкая шея; видно, что был хорошим физкультурником. Такой зацепит.

— Мысль интересная, — отвечаю я.

— А что дальше? — говорит Виктор.

— В лес.

— А если и в лесу автоматчики?

Виктор самый благоразумный из нас. Меня его рассудительность немного смущает, так как не вяжется с моим представлением о южанах: южане, на мой взгляд, должны быть порывисты и горячи.

— Был бы фронт поближе... — говорит Виктор и умолкает.

Под каштанами появляются Лизнер, его помощник и высокий белокурый эсэсовец. Мы сейчас же набираем темп. Они все трое наблюдают за нами. Мы чувствуем это, мы почти физически ощущаем их приближение к нам.

— Эй, — раздаётся шагах в двадцати зычный голос капо. — Эй ты, ленивая тварь, может быть, ты начнёшь всё-таки пошевеливаться?

Кому это он? Мельком оглядываюсь по сторонам. Налево работает Решин с худеньким юным французом, направо Шурка толкает нагружённую лёру.

— Живее!

Голос доносится слева. Видимо, опять придираются к Решину. Едва успеваю отдать себе в этом отчёт, как справа раздаётся грохот — на соседней колее порожняя вагонетка, развернувшись, сошла с рельсов. Шурка подкладывает под колесо своей вагонетки камень и бежит на помощь. Наперез ему бросается помощник капо. Шурка отлетает в сторону и вновь толкает свою вагонетку. Возле той, что потерпела аварию, стоит сутулый, с запавшими щеками француз и показывает помощнику капо свою руку. Она в крови.

Подбегают Лизнер и белокурый эсэсовец. Лизнер спрашивает:

— Что случилось?

Сутулый француз прижимает пораненную руку к бедру. Помощник капо звонко бьёт его по лицу.

— Покажи руку, — говорит Лизнер и жестом приказывает положить руку на рельс.

Француз недвижим.

— Ну!

Француз протягивает вздрагивающую руку, оглядывается и медленно приседает. Лизнер, схватив валявшийся рядом молот, делает сильный взмах.

— Живее!

Француз, отдёргнув руку, падает на колени.

— Живее!

Удар, хруст и дикий крик сливаются воедино. Белокурый эсэсовец достаёт парабеллум и стреляет в изуродованного человека. Помощник капо оттаскивает его за ноги к колючей проволоке. Наш товарищ убит. Эсэсовец фотографирует труп.

Мне не надо поворачивать голову, чтобы увидеть надсмотрщиков: землю мы откидываем как раз в их сторону. У Лизнера сумасшедший взгляд. Его помощник чёрен и непроницаем. У эсэсовца раздуваются ноздри.

Свисток, затем команда:

— Все вверх!

Лизнер показывает рукой на утрамбованную площадку, что повыше нас.

— Строиться!

Поднимаемся на эту площадку. Строимся в две шеренги. Помощник капо проверяет равнение. Капо хрипит:

— Я предупреждал, что у меня не дом отдыха. Некоторые не поверили мне и за это отправились к праотцам. Тот, кто не желает последовать за ними, должен точно исполнять все мои распоряжения. Понятно?

Он косится на белокурого эсэсовца. Тот молча пускает сверху вниз струю сигаретного дыма.

— А теперь, — снова поворачивается к нам Лизнер, — вы перенесёте мне вот это, — он касается носком сапога рельсов, скреплённых штампованными железными шпалами, — на самую верхнюю площадку.

Помощник капо замечает:

— Их слишком много.

Лизнер, посмотрев на рельсы и на нас, бормочет: «Пожалуй». Потом командует:

— Первая шеренга — на месте, вторая — вниз. Быстро!

Я, Виктор, Олег и ещё человек тридцать бежим к своим лопатам. Хватаю лопату и вижу, что оставшиеся наверху вытянулись цепочкой и уже поднимают рельсы. В конце идёт молодой парень из нашей группы. Я узнаю его по фиолетовому шраму через всё лицо. Лизнер вдруг подбегает к нему и выхватывает из цепочки человека, идущего впереди. Теперь нашему товарищу приходится нести двойную тяжесть. Он идёт, широко расставляя ноги и напряжённо согнувшись. Передние начинают взбираться на бугор — конец рельсов опускается. Лизнер взмахивает резиновой дубинкой: «Живее!» Передние ускоряют шаг. Наш товарищ бежит на полусогнутых ногах, сгибаясь под непосильной тяжестью. Конец рельсов поднимается — передние уже на верхней площадке. А наш ещё у подножия бугра, он плотно жжат железными шпалами на уровне пояса. Снова: «Живее!» Передние опять рванули. «Живее!» И вдруг — нечеловеческий, раздирающий душу вопль и хруст, словно ломается сухая доска. Я закрываю глаза и тотчас открываю — на последней шпале безжизненно волочится переломленное, как ветка, человеческое тело... У меня на губах откуда-то кровь.

Через минуту к нам спускаются товарищи, переносившие рельсы. У Шурки на трясущемся лице розовые пятнышки. Я отвожу глаза в сторону. За моей спиной раздаётся тихий смех. Это действует на меня так же, как только что услышанный хруст. Оборачиваюсь: низенький француз в больших роговых очках целует черенок лопаты. У меня по спине пробегают мурашки. Смех становится громче. Внезапно совсем рядом раздаётся голос Лизнера: «Уже с ума сошёл?» — и взрыв безумного хохота. Коротко трещит автомат — хохот обрывается. Сверху, издалека, доносится мерный звон лагерного колокола.

Это сигнал на обед. Мы едва способны понять это. Молча поднимаемся в гору. На площадке под каштанами стоят три бачка с завинченными крышками. Нам дают по полкотелка горячей брюквенной похлёбки, и мы усаживаемся под деревьями. Минута — и мой котелок пуст.

Я закрываю глаза. В голове ни единой мысли, на сердце тяжесть. И всё-таки какое-то второе существо внутри меня требует ещё еды, ещё брюквы; я борюсь с ним, на это уходит много сил. Зато руки, спина и ноги мои блаженствуют. Постепенно успокаивается и моё второе внутреннее существо. Я не то дремлю, не то бодрствую — сам не пойму. Наконец, как будто засыпаю.

Верещит свисток. Я опять на ногах. Пустой котелок кладу поверх своей куртки с номером «31913». Попутно сбиваю щелчком длиннолапого паука, спустившегося на цифру «9».

— Пошли, пошли, — торопит Олег.

— Что ж, пошли, — говорю я.

Снова начинается бешеная гонка. Солнце немилосердно жжёт. Лопаты позвякивают о камень. В воздухе висит тонкая горячая пыль. То и дело раздаются окрики Лизнера: «Темп! Живее!»

На ладонях образуются водянистые волдыри и тут же прорываются. Ноет поясница, ноют руки, плечи. В голове гудит. Слюна делается густой и липкой. Пыль забивается в нос, в горло, хрустит на зубах...

Сколько же всё это может продолжаться? И кончится ли когда-нибудь?

А Лизнер прохаживается взад и вперёд по верхней площадке, крутит в руке над нашими головами резиновую дубинку.

Наконец, видимо, и он устаёт. Стукнув кого-то резиной и пообещав расправиться с каждым, кто посмеет остановиться, капо уходит к каштанам. Темп бросков лопат тотчас замедляется.

На смену Лизнеру является его помощник и нещадно хлещет всех, кто, на его взгляд, недостаточно старается.

Так проходит ещё два или три часа.

И в тот момент, когда для измученных людей всё становится безразличным, когда, ещё минута, и они свалятся обессиленные на землю или с голой грудью пойдут на автомат часового,— в этот момент долетает до нас звон колокола.

Свисток Лизнера подтверждает, что рабочий день закончен.

Взваливаем на плечи лопаты — они кажутся десятипудовыми — и плетёмся наверх.

Строимся. Идём.

Я гляжу на широкую Дунайскую долину, на старинные замки, на воздушную черту Альп и не понимаю, что это было: бредовой сон, кошмар?

4

Трудно поверить, что всё происходит наяву, но, повидимому, это так. Во сне никогда не повторяются в точности одни и те же картины. Мы идём по узкой, мощённой крупным булыжником дороге, минуем казарму охранников, над воротами вижу того же каменного орла со свастикой в когтях — всё, что видел утром.

Знакомый зычный голос командует: «Шапки долой!»

Соблюдая строгое равнение по рядам, вступаем в лагерь — в воротах нас пересчитывают — и строим следуем до своего, восемнадцатого блока. На повороте от нашей колонны отделяются шестеро. Они несут тела убитых к каменному зданию с зарешеченными окнами. Над его плоской трубой чуть приметно плещется бледный язычок огня. Нас встречают старшина блока и «герр комендант». Сейчас особенно бросаются в глаза их гладкие, упитанные физиономии и чистая одежда. Старшина предупреждает, чтобы мы не расходились. На крыльце появляются те же загадочные красивые мальчики с розовыми треугольниками на куртках и брюках. Они несут бачки, ставят их в центре двора. «Герр комендант» уходит в барак и минуту спустя просовывает свою тыквообразную голову в окно:

— Хватайте!

Получаю, подходя к окну, а затем к бачку, кусочек хлеба, ложку сушого, как казеин, творога, каплю повидла и полмиски так называемого кофе. Всего этого достаточно только для того, чтобы раздразнить наши голодные желудки.

И всё-таки многие уже повеселели, кое-кто заулыбался. Улыбается и Шурка Каменщик, бывший матрос.

— О чём задумался? — спрашивает он меня, подмигивая и показывая крепкие жёлтые зубы. У него, как видно, совсем не плохое настроение.

— А ты не задумывался вначале, когда сюда попал? — говорю я.

Шурка отрицательно мотает головой.

— Хочешь жить — не задумывайся. Тут кто задумывается — или сходит с ума или сам лезет в петлю. Понял?

Пожалуй, он прав; задумаешься — и не уйдёшь от мысли, что лучше самому с собой покончить, чем ждать, когда тебя сломают рельсами.

Но меня и моих товарищей абсолютно не устраивает ни тот, ни другой вариант конца. Я говорю Шурке, что думаю не о смерти, а наоборот — о жизни, о том, как интересно устроен человек. Шурка смеётся.

— Тут, думай не думай, конец один. Вшицко едно крематориум, как скажет наш герр комендант.

— А ты сам-то этому веришь?

Улыбка застывает на губах Шурки.

— Чудной ты какой-то.

— Ну, всё-таки?

— Всё-таки? — Он скребёт затылок. — Да вроде и должны попасть в крематорий, вроде и нет. — И вдруг его лицо страдальчески морщится, и он шепчет: — Иной раз кажется—подойдут наши и освободят, а до той поры лишь бы продержаться... А вообще-то нам ханá, крематориум. Так-то.

И он опять улыбается и подмигивает мне.

Я с нетерпением жду, когда получат свои порции Виктор и Олег. Без них я никогда не ем, и они без меня тоже. Наконец они подходят, мы садимся со своими мисками в кружок. Челюсти наши работают куда энергичнее, чем это нужно для того, чтобы покончить с нашими мизерными порциями. Только Шурка, выпив кофе, не торопится приступить к остальному. Мы уже всё проглотили, а он всё ещё перекладывает в пустую миску творог, повидло и, к нашему удивлению, всё это куда-то уносит.

Через полчаса, умывшись, мы проходим в шлафзал и засыпаем как мёртвые.

Пробуждение было неожиданным. Слышу «Ауф!» и не пойму, в чём дело, — мы ведь только что легли. Пытаюсь встать и не могу.

— Костя, — наклоняется ко мне Олег, — подъём!

Пробую снова подняться, но руки и ноги не повинуются.

— Ауф! — доносится опять от дверей.

— Витька, — встревоженно произносит Олег, — с Костей что-то.

Виктор опускается передо мной на колени. В его глазах испуг.

В третий раз раздаётся команда «поднимайся». Я делаю третью, отчаянную попытку, но мне удаётся только чуть-чуть приподняться. Друзья подхватывают меня и ставят на ноги. Это очень кстати, потому что рядом появляется старшина с хлыстом. Впереди него — кареглазый мальчик, один из красивых прислужников наших надзирателей.

— Янек, — говорит старшина мальчику, — объяви новичкам, что режим в лагере не меняется и по воскресеньям.

Убедившись, что все встали, старшина уходит. Мы занимаем очередь в умывальную. Проходя мимо окна, вижу на дворе Шурку и «герр коменданта». Шурка юлой вьётся около уже принесённых с кухни бачков, выравнивает их, сдувает с крышек невидимую пыль. «Герр комендант» что-то говорит ему, снисходительно улыбаясь.

После умывания чувствую себя сразу лучше. На завтрак получаем по маленькому черпаку мутнобелой водицы, которую здесь называют почему-то супом. Едва успеваем ополоснуть котелки, как раздаётся команда строиться. Почти одновременно бьёт колокол — сигнал на поверку.

Строимся во всю длину двора. Нас пересчитывают вначале мальчики-прислужники, потом «герр комендант». Является старшина блока. На нём чёрный, хорошо отутюженный френч и синяя фуражка. Из-под френча виднеется тонкое бельё.

Пройдясь вдоль строя, старшина рывкает:

— Шапки долой!

Когда мы снимаем наши блинообразные шапки, он рывкает снова:

— Шапки на голову!

Потом опять «Долой!» и опять «На голову!». Так повторяется в быстром темпе раз двадцать. Задача становится ясной: надо, чтобы при опускании шапки к бедру раздавался один хлопок.

Не успеваем покончить с этим, как во двор из общего лагеря (наш блок считается карантинным) вбегают запыхавшийся писарь. Мальчишки, «герр комендант» и писарь пристраиваются к нам. По ступенькам неторопливо поднимается наш вчерашний палач, высокий белокурый эсэсовец.

Старшина кричит: «Ахтунг!», поворачивается и, не доходя трёх шагов до эсэсовца, рапортует:

— На блоке номер восемнадцать триста двадцать пять человек. Триста девятнадцать в строю, в том числе блокперсонал и я, и шесть умерших в ночь. Итого...

Эсэсовец не даёт ему закончить:

— Кого это триста двадцать пять? — медленно выговаривает он, щуря глаза.

Видим, как трепещут пальцы вытянутых по швам рук старшины.

— Простите, блокфюрер, не человек, а заключённых, — тихо произносит он.

После поверки из строя выходят писарь, «герр комендант» и мальчишки. Последние идут в барак — Янек на левую половину, Мишель на правую — и принимаются за уборку: натирают полы, смахивают пыль, протирают до блеска стёкла. Всё это нам хорошо видно через открытые окна.

Мы ждём команды «разойдись», но старшина даёт другую команду:

— Новичкам стоять, остальные могут сесть.

Чёрт бы его побрал! Что ему от нас ещё надо?

— Повторяйте за мной, — приказывает он. — Блокэльтестер — Адольф Штрик... Ну?

Мы повторяем. Старшине не нравится. Мы повторяем ещё раз.

— Хорошо. Штрик — это я. Дальше... Блокшрайбер — Макс Тульчинский.

Очень приятно. Повторяем. Кто ещё?

— Блокфризер — Ярослав Виктава.

Повторяем.

— Ещё раз, сначала, — требует Штрик.

Имя блокшрайбера мы путаем с именем блокфризера и за это приседаем десять раз с вытянутыми вперёд руками. Потом Штрик начинает вызывать из строя и экзаменовать по одному. Раздаются звонкие удары резиной. Двое падают.

— Сволочь, — шипит Олег.

Виктор на него цыкает.

Штрик вызывает меня. Отвечаю без запинки. Старшина спрашивает:

— Ты владеешь немецким?

— Немного.

В глазах Штрика мелькает интерес. Он бросает строю: «Разойдись!» — и поворачивается ко мне.

— Откуда знаешь язык?

— Учился.

Штрик откидывает назад голову. Пальцы его рук сцепились на животе.

— Кто твой отец?

— Учитель.

Штрик выставляет одну ногу вперёд.

— За что ты попал в лагерь?

Я молчу. Штрик усмехается, потом кричит:

— Прочь! — и уходит в барак.

Я возвращаюсь к товарищам. Виктор и Олег, сидя на камнях в тени, смотрят на меня с любопытством. Я устраиваюсь рядом и воспроизвожу разговор со старшиной. Шурка — он тут же — замечает:

— Тебе надо было сказать ему, соврал бы что-нибудь поскладнее. Глядишь — и перепало бы чего-нибудь.

— Например?

— Например, назначил бы тебя уборщиком.

Бухает колокол. Льётся стрекочущий свисток. Олег, я и Виктор перелглядываемся. Неужели уже полдень?

Снова строимся, снова практикуемся в дружном снятии шапок, наконец проверка заканчивается и начинается раздача обеда.

В центре двора появляется «герр комендант», он же цирюльник, бритоголовый Ярослав Виктава, облачённый в белый передник. В руках — круглый блестящий черпак. По правую сторону от него с перекинутым через плечо полотенцем становится Янек, по левую — Мишель.

Виктава поднимает руку — «внимание!». Мишель отвинчивает крышку бачка — вместе с паром по двору распространяется дразнящий запах горячей брюквы. Янек подаёт нам знак подходить. Виктава суёт блестящий черпак в похлёбку и, заглядывая каждому в лицо, начинает отмерять порции.

Даже со стороны заметно, что он опускает черпак то глубже, чтобы захватить погуще, то водит им по поверхности и выливает в котелок одну жижу. Ему, очевидно, доставляет наслаждение сознавать, что одних он может делать счастливыми, других несчастными, вызывать благодарные улыбки и мученические гримасы: ведь сейчас в этом черпаке похлёбки вся наша жизнь. Одному старичку французу, присевшему, чтобы лучше видеть, весь ли суп переливается из черпака в котелок, Виктава выплёскивает половину порции на руки. Старичок, чуть не плача, пробует спорить. «Герр комендант» бьёт его черпаком по лицу.

— Тоже гад, — бормочёт Олег.

Виктор смотрит на бритоголового глазами ястреба.

Моя очередь. Ставлю котелок, как положено, на край бачка. Виктава, благосклонно взглянув на меня, спрашивает:

— Сколько лет маешь?

Я молчу. Виктава кричит: «Не понимаешь по-русску?» — и наливает мне полчерпака. Протестовать, конечно, бессмысленно. Отхожу. Друзья меня укоряют; я нахожу в себе силы улыбаться и не поддаюсь уговорам принять от них по четыре ложки супа в возмещение недолитого в мой котелок.

Усевшись в дальнем углу двора, видим, как Шурка хватает опорожнённый бачок, тащит его в сторону и выскрёбывает из него остатки в свой котелок. Виктава ему не препятствует, и Шурке удаётся захватить ещё один бачок.

Мы отправляемся в умывальную и, вымыв котелки, уговариваемся вздремнуть часок-другой во дворе. Появившийся в умывальной Шурка ухмыляется, скаля крепкие зубы, и говорит, что вздремнуть не удастся, так как мы не у тёщи в гостях, и что он имеет до нас дело.

— Какое дело? — спрашивает Олег.

— Предлагаю порцию супа под вечерний маргарин.

— Нам дадут маргарин?

— Обязательно, двенадцать с половиной граммов из чистого каменного угля, как из пушки... Идёт?

— Сколько же тебе надо маргарина за брюкву? — интересуется Олег.

— Две порции.

— Ого!

Шурка обижается:

— Цену не я устанавливаю. Я, наоборот, хотел вам по-приятельски...

Он бормочет что-то и отходит в угол умывальной. Что он там делает, не видно: в умывальной полумрак — одно маленькое окошечко под самым потолком. На двор Шурка выходит без котелка. Я догадываюсь — вот где прячет свои запасы этот ловкач!

Вздremнуть нам действительно не удаётся. Только мы растягиваемся в холодке у соседнего барака, как от наших дверей доносится сипловатое: «Строиться!»

Встаём, чертыхаемся, смотрим друг на друга. Виктава сбегает с крыльца и начинает размахивать резиновой палкой. Когда мы выстраиваемся, «герр комендант» объявляет:

— Лаусконтроль!

— Осмотр на швивость, — переводит вынырнувший откуда-то Шурка.

Стоим час, другой, приближаясь постепенно к дверям барака, возле которых расположился «герр комендант». Рядом с ним табурет. Раздеваемся, выворачиваем наизнанку бельё, становимся на табурет — все костлявые, угловатые, с бурыми пятнышками пролежней на бёдрах. Янек и Мишель следят, чтобы никто не покинул строя и не пропустил процедуры. В шлафзале одеваемся и ждём, когда осматрят последних. Потом опять выходим во двор, опять нам приказывают построиться и опять стоим битый час, пока лысый толстяк писарь проверяет наши номера. Незаметно подходит время вечерней поверки. Мы снова в строю — снимаем и надеваем шапки, практикуемся в исполнении различных команд, маршируем по двору и, наконец, получаем у Виктавы вечерний «порцион» — хлеб и в четверть спичечного коробка ломтик вязкого, как мыло, маргарина. Выходной день по существу закончен.

— Отдохнули, — с бешенством шепчет Олег и ложится на камни.

— Это продуманная система, как ты не понимаешь, — спокойно замечает Виктор, опускаясь рядом.

До отбоя остаётся часа полтора.

Я лежу на прогретом за день булыжнике и смотрю в бездонную ширь неба. Завтра — 23 июля 1943 года — опять начнётся кошмар, а пока можно подвести некоторые итоги. Нас не расстреляли, но мы по-прежнему остаёмся смертниками, это несомненно; мы все должны сгореть в крематории, но это может произойти и не очень скоро — держится же Шурка! И главное — сейчас, сию минуту, мы живём: я смотрю на небо, дышу и даже наслаждаюсь минутой покоя. А это уже немало!

5

Придя к такому заключению, я дремотно смыкаю веки и вдруг слышу оживлённый возглас Шурки:

— Эй, новички. псковичей среди вас нет?

Я прожил на Псковщине три последних предвоенных года (после смерти отца меня взяла к себе под Псков сестра, учительница) и поэтому могу считать себя псковичом.

Приподнимаюсь и спрашиваю:

— Кто интересуется псковичами?

— Я, — издала басом отвечает незнакомый мне человек в рубашке с открытым воротом и с закатанными рукавами. Он осторожно ступает между сидящими и лежащими на камнях людьми; за ним пробирается улыбающийся Шурка.

Шурка знакомит меня с человеком, который интересуется псковичами, называет его Антоном. Потом тот знакомится с Виктором и Олегом.

Антон садится к нам в кружок, отирая потное лицо большой чистой тряпкой.

— Так откуда же ты, землячок, из какого угла? — спрашивает Антон, рассматривая меня белёсыми навывкате глазами. Я называю местечко в двадцати километрах от города.

— Это монастырь, что ли, бывший? — уточняет он, и его лицо расплывается в блаженную улыбку. — А я из Серёдок, знаешь? От вас в десяти километрах по большаку.

Мы оказываемся довольно близкими соседями. Антон ещё раз пожимает мне руку и говорит, что за два года он встречает здесь лишь второго земляка. Я спрашиваю, как его зовут по отчеству.

— Григорьевич был.

— Значит, Григорьев фамилия?

— Верно, — радуется он, — была такая на Псковщине особенность: фамилию брали по имени отца. Дед у меня был Иванов, отец Васильев, а я Григорьев. Верно, верно.

И смотрит на меня так, будто я одарил его чем-то. Продолжаем вспоминать вслух названия обоим нам известных мест, и, когда находим первого общего знакомого, Антон снова вскипает бурной радостью.

— Шурка, — поворачивает он голову, — скажи Гансу, что я просил тебя пропустить, слетай на кухню до Васькá, передай, Антон земляка нашёл... Тип-топ только, давай.

Шурка скрывается, а Антон, глядя на меня заблестевшими глазами, говорит:

— Да, было времечко, было... А ты давно оттуда?

— Год и два месяца.

— Из-под оккупации сюда?

Рассказываю, что после выпускных экзаменов я отправился погостить к товарищу, сыну известного ему учителя Твердова. С ним мы собирались вместе в Ленинград: я с заявлением о приёме в институт журналистики, он — в педагогический имени Герцена. Сестра моя с племянницей уехали на лето к матери, на север.

— Ну, а через несколько дней началась война, мы пошли на окопы, тут нас и накрыли немцы; они выбросили сильный десант.

— Ясно, — говорит Антон. — Свиристствовали в нашей местности?

— Когда ловили сбежавших пленных весной сорок второго, много жгли, двух девушек повесили, одного нашего комсомольца расстреляли, а меня и ещё...

Я прикусываю язык. Антон, скользнув по моему лицу тяжёлым взглядом, опускает глаза. Тогда я начинаю расспрашивать его. Он оказывается, был шеф-поваром на большом торговом судне, ходившем за границу. Война застала его в Гамбурге. Команду интернировали и позднее разбросали по концлагерям. Ему повезло: здесь его взяли поваром на лагерную кухню...

— А ты, значит, здесь третий день, — произносит Антон, — и работаешь у Лизнера.

Он качает головой — «серьёзная штука» — и задумывается. Молчание прерывает вернувшийся Шурка. Он вытаскивает из-под полы куртки котелок, пайку хлеба и, улыбаясь, передаёт мне.

— Ешь, — говорит Антон, — а я пойду, сейчас будет отбой.

Попрощавшись со всеми за руку и пообещав навестить меня завтра, он уходит.

— Ну, Костенька, — обращается ко мне Шурка, проводив Антона до ворот, — теперь всё, теперь ты кандидат на жизнь, с чем чувствительно и поздравляю. Уж Антон об этом побеспокоится, будь спокоен.

За год скитаний по лагерям я убедился, что повара — самые влиятельные люди среди заключённых. Я не скрываю своей радости, благодарю Шурку, и мы вчетвером живо уписываем содержимое полученного с кухни котелка — густую, жирную и сладкую бryкву.

Утром я не чувствую привычного посасывания под ложечкой и, очевидно, поэтому думаю о предстоящем дне без особенного страха. Пока мы стоим на плацу, Шурка, который теперь не отходит от меня и от моих

друзей ни на шаг, подробно инструктирует нас, как вести себя на работе, чтобы подвергаться меньшей опасности. Мы внимательно слушаем—многое надо запомнить.

Выходим за лагерь — я опять невольно люблю Дунайской долиной и Альпами. Лизнер сегодня не устраивает в дороге «разминки», и мы благополучно добираемся до площадки с каштанами.

Первая половина дня протекает спокойно. Капо, у которого, по словам Шурки, по понедельникам здорово болит голова, почти не показывается из своей будки. Эсэсовцев до обеда тоже не видно. Только помощник капо, скинув рубашку, вразвалку прохаживается по участку и изредка, скуки ради, то одного, то другого шлёпнет резиной по согнутой спине.

После обеда появляется Лизнер с багровым лицом и нездорово поблёскивающими глазами. Он оглушительно свистит. Мы выстраиваемся. Помощник Лизнера становится во главе колонны.

— Марш!

Сходим с площадки и начинаем спускаться по узкой дороге к какому-то обрыву. Справа от нас — колючая проволока зоны оцепления, охраняемая автоматчиками, за ней — ёлки; слева — кустарник, за ним — пропасть. Идём параллельно заграждению, инстинктивно держась подальше от обрыва. Лизнер хриплым, грубым голосом ведёт счёт.

— Куда мы? — спрашиваю Шурку, шагающего крайним правым через одного от меня человека.

— Камни носить, — отвечает он вполголоса, не поворачивая головы.

Через минуту, очутившись перед крутой лестницей, вижу огромный котлован и человеческий муравейник, который копошится на его дне среди массивных каменных глыб; снизу доносится треск отбойных молотков, свистки надсмотрщиков, короткие, отрывистые гудки паровозов, таскающих платформы.

— Штайнбрух, по-нашему — каменоломня, — сообщает Шурка, спускаясь рядом со мной по ступенькам. — Тут работает большинство заключённых. Я тут тоже работал каменотёсом. — Помолчав, он говорит: — Держись середины, камень выбирай тоже средний, маленького не бери — придерутся.

Я передаю это Виктору и Олегу. Мыходим на мягкое, усыпанное светлым гравием дно.

Помощник капо подводит нас к большой гряде камней и тотчас кричит:

— Берите!

Есть камни пуда на два и больше, многие с острыми краями, такие, что не знаешь, как за них взяться. Товарищи налетают на каменную кучу со всех сторон, торопятся схватить камень полегче и поудобнее для носки. Мне достаётся кругляк пуда на два. Взваливаю его на плечо и направляюсь к крутой, высеченной в скале лестнице. За мной — Шурка, за ним — Виктор и Олег. Впереди нас человек десять.

— По краю, по краю иди, — наставляет Шурка. — К наружной стенке жмись... Не так. Пусти, я поведу.

Я пропускаю его вперёд. Камень у него лежит ловко, на шее и затылке, он придерживает его одной рукой. Я передвигаю свой тоже поближе к затылку — так вроде удобнее. Поднимаемся вначале как будто без напряжения, но постепенно, с каждым шагом ноша становится всё тяжелее, кажется уже, что несёшь не двухпудовый, как сперва, а трёх- или четырёхпудовый камень.

Мы достигаем, вероятно, середины лестницы, когда вдруг ниже нас раздаётся хриплый крик и ругань Лизнера:

— Вперёд, вперёд, вы, ленивые скоты! Ну?

Слышится звук, похожий на мычание, затем — грохот упавшего камня, слившийся крик многих людей, снова грохот, разъярённая хриплая ругань, удары, опять крики и опять грохот.

— Давай, давай, — сдавленно, не оборачиваясь, твердит Шурка.

Я безмолвно слеую за ним. За моей спиной, внизу, раздаётся четыре револьверных хлопка.

В конце лестницы нас обгоняет помощник капо. Он вышибает у передних камни из рук и кричит им: «Живо, вниз!»

Камни летят мимо нас, отстукивая по лестнице. Нечеловеческие выкрики заглушают этот стук. Передние сбегают вниз, а мы продолжаем подниматься, отсчитывая последние из ста восьмидесяти шести ступеней. За нами снова гроыхает три выстрела.

Руки мои немеют, ноги дрожат — едва добираюсь до каштанов. Сваливаем камни и ждём, пока подойдут остальные товарищи, в беспорядке растянувшиеся по дороге.

— Всё, — говорит Шурка. — Больше не пойдём.

— Откуда ты знаешь? — спрашивает Олег.

— Убили семерых — норма.

Тут только я начинаю понимать, что произошло и почему Шурка велел нам держаться середины: убивают передних, тех, кто изловчился выхватить камень полегче, убивают и задних, изнемогших под тяжестью доставшейся им ноши.

Подходит Лизнер. Он приказывает братья за лопаты, а сам вместе с эсэсовцем и своим похожим на цыгана помощником скрывается в будке и больше не показывается до конца работы.

Вечером мы ждём у ворот блока Антона, обещавшего навестить нас.

Вместо Антона к проволочной загородке вскоре подходит невысокий сероглазый паренёк. Шурка окликает его. Это Васёк, работающий вместе с Антоном на кухне. Положив что-то в руку стоящему у ворот постовому — торвертеру, он быстро просовывает котелок сквозь проволоку.

— Антона сегодня не будет, — говорит он мне. — Сказал, на днях заглянет.

Олег и Виктор ждут нас с Шуркой в дальнем углу двора. Уничтожаем в четыре ложки брюквенную кашу, потом Шурка забирает выданную нам на ужин колбасу — три лиловых, величиной с пятак, кружочка — и исчезает вместе с опорожненным котелком.

Мы принимаемся за хлеб. Съедаем только половину, а вторую половину оставляем на утро. Олег это делает неохотно.

— А друг ночью загнёшься или украдут.

— А ты давай мне на сохранение, — предлагает Виктор. — Или, ещё лучше, отдай Виктаве, он сбережёт.

— Может быть, ты покажешь, как это сделать?

— Пожалуйста, только ты с ним предварительно условься.

— Я бы условился, да он по-русски не понимает... как, Костя?

Мы единым духом допиваем кофе и смеёмся, довольные, что Шурка, уже сумевший проскользнуть через ворота в общий лагерь, выменяет там на колбасу ещё две пайки хлеба и, таким образом, на завтрак у нас будет по целой порции.

Внезапно на крыльце появляется писарь — лысый толстяк Макс.

— Увага! — произносит он. — Внимание!

Шум во дворе стихает.

— Айнунддрайсихьтаузенднойнхундертзексундцванцихь!

Мы уже не люди с именами и фамилиями, мы просто номера.

— Здесь, — отзывается Решин.

— Завтра zostaёшься на блоке.

Макс оглядывает двор круглыми глазками и снова выкрикивает:

— Айнунддрайсихьтаузенднойнхундертдрайцен!

Это мой номер. Кричу: «Я» — и поднимаюсь.

— Хочь ту!

Это значит — иди сюда! Иду, не оборачиваясь, к крыльцу, ощущая на себе тревожные взгляды товарищей.

— Ичь до старшины блока,— приказывает писарь.

Вхожу на половину Штрика. Полы натёрты до блеска, пахнет сосной, поджаренным луком и мясом. Вижу Янека.

— 31913? — спрашивает он меня по-немецки и, улыбнувшись, кивает в сторону широкого шкафа, на котором вверх дном стоят начищенные вёдра.

Прохожу. За шкафом — Штрик, в очках, с газетой, разложенной на маленьком столе. На одном из углов стола — вазочка с гвоздикой. Над цветами на стене — хлыст с плетёной ручкой.

— Покатиллов?

— Да.

— Будешь с завтрашнего дня стоять у ворот. Понял?

— Да.

— Надо отвечать: «Слушаюсь».

— Слушаюсь.

Штрик снимает очки и, положив их в футляр, начинает скрипучим голосом объяснять обязанности торвертера.

— Понял?

— Понял. Можно вопрос?

— Можно.

— Могу я посоветоваться с товарищами?

Штрик недоуменно морщит лоб.

— О чём?.. Впрочем, понимаю, можешь. Иди.

У крыльца меня ожидают Виктор, Олег и Шурка — он уже вернулся, выменяв колбасу на хлеб. У Виктора и Олега лица встревоженные, у Шурки — довольное.

— Уборщиком? — спрашивает он.

Я молчу: на крыльцо выплывает Виктава. Слышится мелодичный звон колокола, и мы первые заходим в шлафзал.

— Штрик предлагает мне место торвертера,— говорю я, садясь на матрац.

— И прекрасно,— светлеет Олег,— а мы уже чёрт знает что подумали.

— Слава богу,— улыбается Виктор.— Что же ты сразу не сказал?

Я делюсь с товарищами своими опасениями. Они успокаивают, а Шурка называет меня младенцем.

— Тебе зверски повезло,— уверяет он.— Так уж всегда. Если повезёт, так во всём, и наоборот... Ты счастливцев, я это сразу заметил.

6

Утром, когда все уходят на работу, мы с Решинным остаёмся во дворе. Профессора вскоре уводят в общий лагерь — его назначили на работу в лазарет, — а я сменяю у ворот торвертера Ганса.

Передо мной опустевший лагерь. Сквозь колючую сетку вижу симметричные ряды крыш, ступенями спадающие к крепостной стене, массивную трубу крематория, зелёный угол лагерной кухни. Надо мной очень мирное голубое небо, воздух прозрачен, и кажется, что где-то рядом поля: пахнет ромашками.

Обманчивый покой! Я знаю ему цену. Мне повезло, и я, конечно, постараюсь использовать своё новое положение, чтобы помочь друзьям. Но надолго ли это всё?

Хожу вдоль проволоки, как часовой. Смотрю то на окна своего барака, то на проулки внизу. Обязанности мои несложны: я должен прислушиваться к командам, раздающимся в общем лагере, и передавать их на

блок; должен распахивать ворота, если поблизости покажется эсэсовец, уведомив предварительно о его появлении старшину. По вечерам я обязан никого не выпускать из блока, не разрешать разговоров через проволоку и обмен колбасы на суп или на хлеб. По опыту Ганса знаю, что последняя обязанность выполняется далеко не всегда, и это мирит меня с моей новой ролью.

Солнце припекает всё сильнее. Расстёгиваю ворот куртки, и в этот момент в противоположном конце лагеря раздаётся: «Блокшрайбер!»

— Блокшрайбер! Блокшрайбер! — тотчас откликаются повсюду голоса.

— Блокшрайбер! — кричу я, повернувшись к своему бараку.

В окно высовывается лысина Макса. Через минуту он показывается на крыльце со своей неизменной чёрной папкой; вытирая лоб платком, быстро семенит толстыми ножками мне навстречу; его розовые щёчки уруго трясутся, в глазах — чрезвычайная обеспокоенность.

Я открываю ему ворота пошире. Он, кивнув, пронесится мимо, всё набирая скорость. Его обгоняет гигантскими скачками молодой долговязый писарь девятнадцатого блока. В лагере вновь воцаряется тишина.

Я продолжаю ходить. Примерно через полчаса снова передаю команду:

— Блокфризер!

Мимо меня кубарем пролетает Виктава с белым свёртком подмышкой. Опять хожу и опять время от времени кричу:

— Хлеб получать!

— Старшину лагеря!

— Разносчиков еды!

В обед за эти труды мне дают две порции супа. Одну я съедаю, вторую оставляю в котелке и прячу его в умывальной. Янек спрашивает:

— Цо, нимашь аппетита?

Я говорю, что это для товарищей. Янек улыбается лисьей улыбочкой. У него в углу припрятано три полных полторалитровых котелка. Потом он хвастает, что меняет суп на колбасу, по два кружка за миску; колбасу же жарит на маргарине с луком — нежареная ему «не смакуе».

— Дорого берёшь, — говорю я, — за миску полагается одна порция колбасы.

— То в вольном лагере, а не на карантине... А ты почему знаешь?

Отвечаю, что мне как торвертеру сообщил об этом Штрик, и отправляюсь на своё место.

Под вечер приходит Антон. Кажется, он не очень удивляется, увидев меня у ворот.

— Повезло, говоришь? — басит он, усаживаясь на ступеньку по другую от меня сторону проволоки. — Ну и добро.

— Послушай, Константин, — после небольшой паузы произносит он, поглядывая на угол кухни, — у вас тут один офицер-десантник есть, мне давеча Шурка передавал... Как он, парень ничего?

— Это Бросков, что ли?

— Вот, вот.

— Хороший как будто... А что?

— Да так, хотелось бы побеседовать с военным человеком о положении на фронтах. Ты его кликни вечерком, я подойду ещё раз.

Я обещаю. Минуты две мы молчим. Потом я спрашиваю Антона, что мне будет, если я проштрафлюсь.

— Как проштрафишься?

— Ну, например, если Штрик заметит, что я разрешаю передачи через проволоку?

Глядя на угол кухни, Антон отвечает:

— Посоветуйся с Каменщиком, он тебе подскажет, как действовать. А вообще со спекулянтами не церемонься, гони их. Конечно, кто по совести, мешать не стоит... Тут, наверно, ребятам будут подбрасывать суп камрады. За одну колбасу миску супа тоже можно, брюква сытнее. По моему, так.

— А какие это камрады? Они что, не едят сами брюквы?

— Тут, видишь ли, некоторые получают посылки, французы там, чехи, поляки. Есть среди них неплохие хлопцы, они и подбрасывают.

Я вижу, что Антон чем-то озабочен, и опять умолкаю. Он продолжает смотреть на угол кухни, затем, неожиданно для своего грузного тела быстро встав, вытаскивает из кармана чистую тряпку и прикладывает её к подбородку. Догадываюсь, что это какой-то условный знак. В дверях кухни — двое. Несколько минут спустя они скорым шагом проходят мимо нас, придерживая что-то выпирающее из-под курток. Антон вытирает вспотевший лоб и, кивнув мне, уходит.

Загадочно. Мой земляк занят какими-то, видимо, недозволенными тут операциями. Похоже, что между этими таинственными делами Антона и моим назначением на пост торвертера существует связь. Но что это за операции? И какое мог иметь отношение Антон к моему назначению?

Незадолго до вечерней поверки передо мной как из-под земли вырастает чёрный худощавый немец, тот самый, что помещается в лучшей половине комнаты Виктавы. На рукаве его чёрного щегольского френча повязка: «Старшина лагеря». В зубах — тлеющая сигара.

— Ключник? — спрашивает он меня высоким придушенным голосом.

Я гляжу на зелёный треугольник его номера, на его трёхзначное число и отвечаю:

— Да.

Немец приподнимает очень густые чёрные брови и тем же придушенным голосом спрашивает:

— Русский?

— Русский.

Несколько секунд его маленькие жёлтые глаза глядят на меня в упор, затем, вынув изо рта сигару, он вкрадчиво произносит:

— Смотри же!

И, быстро перебирая ногами в сверкающих ботинках, сбегает по ступенькам на улицу. Он похож на крупную чёрную кошку.

Мне ясен смысл его предупреждения, и я опять невольно задумываюсь над тем, какая кара меня постигнет, если я нарушу предписания Штрика и буду в этом уличён.

Раздаётся удар колокола, потом — пронзительный свисток. Идут уборщики, я распахиваю ворота и пристраиваюсь к ним. Нас пересчитывает маленький узкоплечий эсэсовец с болезненным лицом — блокфюрер. У него тяжёлый, подозрительный взгляд, и мне кажется, он очень недобро покосился на мой красивый треугольник с буквой «R». Надо полагать, что за русским торвертером будет установлена слежка.

После ухода блокфюрера занимаю своё место у ворот. В лагерь начинают возвращаться рабочие команды. Проулки заполняются усталыми людьми в запялённой одежде. Наконец, появляется наша штрафная команда. Ещё издали замечаю сдвинутую на затылок «панаму» Олега и машу ему рукой. Виктор и Шурка потрясают в воздухе пустыми котелками. Открываю ворота, жму руки, спрашиваю.

— Ничего, — с усмешкой отвечает Олег, — кому досталось, а нам так себе.

Останавливаю Броскова. Прошу его подойти после ужина ко мне. Он говорит:

— Ладно.

— Антон был? — спрашивает Шурка.

— Был. Ты тоже приходи сюда.

— Я-то обязательно,— ухмыляется Шурка.

Пропустив всех во двор, я закрываю ворота. Настроение тревожно-приподнятое. Наши уже построились. Передние начинают получать «порцион». Постепенно все оказываются в дальней половине двора, а когда получает последний, все устремляются к моей загородке.

Я замыкаю ворота на крючок. Из переулков общего лагеря подходят хорошо одетые заключённые. На номерах у них зелёные треугольники, «винкелы»,— знаки отличия уголовных преступников.

— Алло, французы,— гаркает один из них по-немецки,— кто желает порцию супа за три порции колбасы?

— Две порции,— показывая два оттопыренных пальца, заявляет один из наших, худой седоватый француз.

— Одну. давайте,— подсказываю я.

— Три, три порции колбасы... Кому прекрасный суп? — наседают хорошо одетые.

Мне, видимо, пора действовать. Выхожу за ворота и кричу:

— Прочь!

Уголовники отступают на шаг, пристально рассматривая меня. Один украдкой показывает мне сигарету.

Наши кричат:

— Две порции.

Я оборачиваюсь, меня охватывает злость.

— Только одну!

Мне показывают две сигареты.

— Прочь! — ору я снова по-немецки.

В эту минуту у ворот появляется Штрик с резиновой дубинкой в руке. Наши отходят вглубь двора. Уголовники, посылая мне проклятия, ретируются к девятнадцатому блоку.

— Ну,— произносит удовлетворённо старшина,— как?

— Порядок,— отвечаю я.

— Смотри же,— предупреждает он.

Некоторое время Штрик прохаживается по проулку возле нашего блока, затем, повторив: «Смотри же», отправляется к себе. Мимо проходят уголовники, размахивая пустыми котелками. На девятнадцатом им, очевидно, повезло. На меня они больше не обращают внимания.

Является Шурка. Оглядевшись, он достаёт из кармана мелок и проводит шагах в десять от заграждения черту поперёк двора. Посоветовав подпускать к проволоке только по одному человеку, он быстро проскальзывает в ворота. Я прошу товарищей не переступать без моего разрешения белую линию.

К воротам из общего лагеря подходит пожилой заключённый с буквой «F» на красном винкеле. В руках у него миска с кофе.

— Анри Гардебуа,— говорит он мне, картавя и вежливо улыбаясь.— Кафе.

Я кричу:

— Гардебуа!

Из толпы выбирается огромный, с расплюснутым носом француз. Пожилой переливает в его котелок кофе и пожимает просунутую сквозь колючку руку. Они быстро о чём-то говорят — до моего слуха доносится только «уй-уй» и «мерси». Возвращаясь за черту, Гардебуа благодарит меня.

Потом приходит Антон. Я кивком головы подзываю Броскова, но Антон сам поднимается во двор.

У проволоки снова собираются заключённые из общего лагеря. Я предлагаю им подходить по одному. Двое поляков передают своим товарищам луковицу и три пайки хлеба. Немцы обменивают брюкву на колбасу, дают

порцию за порцию, а несколько чехов приносят свой суп, ничего не требуя в обмен.

Шурка, Олег и Виктор помогают мне: они следят за крыльцом и окнами блокперсонала. Антон, уходя, шепчет: «Вот так и дальше действуй!»

И тут я вспоминаю про свой спрятанный суп. Оставив за себя Олега, бегу в умывальную, нахожу котелок, но он пуст. Возвращаясь, встречаю Янека. Он хихикает. Я взбешён.

— Ты естдесь глупий,— говорит он.

Перед самым отбоем к воротам вновь подходит Штрик. Он смотрит на белую черту, на опустевший проулок и опять спрашивает:

— Как?

— Порядок,— говорю я.

7

Идут дни. Я продолжаю стоять у ворот. Постепенно многое, что до этого мне было непонятно, обнажает свой смысл, тайное становится явным.

Каждую неделю, как по расписанию, в Брукхаузен прибывают эшелоны с заключёнными. Если из лагерной канцелярии следует команда, вызывающая парикмахеров всех блоков, значит транспорт крупный; через час-полтора из-за кухни в крематорий поползёт вереница бледных, остриженных под машинку людей (их волосы упаковываются в мешки и отправляются на склад), и потом над трубой крематория целые сутки, не переставая, будет полыхать огонь. На наши блоки из числа этих заключённых — по слухам, это евреи из разных стран Европы — попадает обычно не более ста человек, главным образом молодёжь. Если вызывают парикмахеров одних только карантинных блоков, я уже знаю, что транспорт небольшой и что все прибывшие с ним, за исключением инвалидов — они будут расстреляны,— поступят к нам на семнадцатый, восемнадцатый или девятнадцатый блок.

Все, кого не убивают сразу, распределяются по рабочим командам лагеря. Команда Лизнера, именуемая официально «Стройкоманда-два», а фактически штрафная, предназначается для наиболее опасных, с точки зрения эсэсовцев, людей. Их умерщвляют не сразу, а после того, как они испытают все муки штрафного труда. Остальные заключённые, населяющие так называемый общий лагерь, в котором можно свободно ходить из барака в барак, работают в каменоломне; их даровая рабочая сила приносит, видимо, немало доходов эсэсовцам — хозяевам «Штайнбруха». Небольшая часть заключённых используется на подсобных лагерных предприятиях: в бане, прачечной, котельной, ремонтных и пошивочных мастерских. Должности блоковых старшин, писарей, капо—надсмотрщиков занимают главным образом уголовники, набранные из тюрем. Они подчиняются только эсэсовцам: блокфюрерам, которые следят за поведением заключённых в бараках, и командофюрерам, которые надзирают за ними на работе.

Проходит месяц, и уже очевидно, что «кандидат на жизнь», как назвал меня Шурка,— такой же смертник, как и все. Это становится мне совершенно ясным после того, как однажды, прогуливаясь по лагерю, белокурый эсэсовец ни за что ни про что выстрелом в рот убивает моего соседа, торвертера девятнадцатого блока.

Вывод является сам собой: раз гибель здесь неминуема для всех, значит лучше сознательно поставить свою жизнь на карту — или умереть сразу, или добыть свободу своими руками.

Так я и решаю действовать.

В последнюю субботу августа, вернувшись после отбоя в шлафзал, я застаю Виктора и Олега бодрствующими. Быстро раздевшись, залезаю под одеяло и спрашиваю, о чём они шепчутся.

— Ты понимаешь,— поворачивается Олег,— сегодня на работе один испанец, каменщик, говорил, что наши подходят к Днепру. Он думает, что эта зима будет последней для Гитлера.

— А сколько ещё ждать до конца зимы?

— В том-то и дело,— бормочет Виктор.

За этот месяц мои друзья, несмотря на нашу с Антоном помощь, сильно сдали. У Виктора на чёрном от солнца лице проступили острые бугорки скул, у Олега запали глаза и удлинилась шея. А другие выглядят ещё хуже. Всего в живых из нашей группы осталось пятнадцать человек.

— Ну, ещё месяц, полтора, а потом? — тихо произносит Виктор.— Что будет потом, если Лизнер теперь уже открыто заявляет, что мы зажились?

— Это да,— соглашается Олег.

— Хлопцы,— говорю я,— нам надо попытаться счастья.

Товарищи приподнимают головы.

— Надо бежать, пока не поздно.

Я лежу на спине. Виктор — на боку слева от меня, Олег — справа. Мы в углу шлафзала, у стены; никто слышать нас не может.

— Как? — спрашивает Олег.

— Во время воздушной тревоги, когда в лагере погаснет свет.

— Но ведь надо резать проволоку... Чем?

— Резать не будем, я уже всё обдумал... Мы приподнимем нижний ряд деревяшками, а потом их за собой уберём, будет незаметно. До утра мы уйдём далеко.

— Куда?

— Пойдём на север лесами, к чешской границе.

Виктор опускает голову и закрывает глаза.

— Не так всё это делается... Во-первых, мы слишком мало знаем о системе их охраны и розыска. Тут надо всё в точности разузнать, всё предусмотреть.

— Но в принципе вы согласны?

— В принципе — да,— шепчет Виктор.

Весь следующий день мы ведём наблюдение за тем, что нам необходимо изучить в лагере, и рассчитываем. Самым трудным нам кажется то, как оторваться от погони, запутать свои следы и не обессилеть при этом. Ясно, что надо запастись едой хотя бы на два дня, что нужны ножи на случай, если нас настигнут овчарки; хорошо бы иметь карту, чтобы не передвигаться вслепую. Очень жалею, что больше нет среди нас Игната Броскова, опытного десантника и, вероятно, специалиста по такого рода делам: ему вскоре после его беседы с Антоном удалось каким-то образом попасть в лазарет.

Вечером осторожно расспрашиваю Васькá, пробывшего в Брукхаузене свыше года, обо всех известных ему случаях побега из лагеря.

— Это—дохлое дело,— говорит он.— Прошлым летом пробовали двое уйти с транспорта, так их сразу поймали да и приковали цепями к стене всем на обозрение. Не давали ребятам ни пить, ни кушать. Так и пропали удалыцы зазря.

У нас всё же складывается определённый план действий. Антон обеспечивает хлебом; я должен утащить у Виктавы ночью два ножа; куртки и брюки мы вывернем наизнанку — красные полосы не будут нас выдавать; к проволоке мы подберёмся незаметно, выскользнув в открытое окно; товарищи в ближайшие дни должны будут изучить окружающую местность: их в последнее время заставляли носить камни почти к самым карантинным баракам.

Проснувшись ночью, долго прислушиваюсь, глядя, как на потолке переливаются мутные огненные блики. От ярко освещённой электрической проволоки доносится какой-то шелест, какое-то едва различимое шурша-

ние. Затем слышу переключку: «Пост фир—нихтс нойес!», голос начальника караула, поверяющего посты: «Данке», потом опять, дальше, отклик часового: «Пост фюнф—онэ нойхкайт!» Слышу скуление пса, когда поверяющий равняется с нашим баракком, и снова: «Данке». Решаю засечь время, чтобы определить, когда будет следующий обход. Начинаю отсчитывать секунды и на седьмой тысяче, не выдержав, погружаюсь в дремоту. Уже сквозь сон схватываю монотонное «нихтс нойес» — значит, очевидно, прошло два часа.

Вечером другого дня, передав Антону через Васькá, что мне надо обязательно с ним повидаться, энергично принимаюсь за свою работу у ворот. Теперь у всех уцелевших из нашей группы есть «камрады», которые приносят им суп, и мне приходится глядеть в оба.

Подаю знак последнему из наших; он, нагнувшись, бежит к проволоке, немолодой поляк переливает в его котелок похлёбку, я отворачиваюсь — из окна шлафзала кошкой выбрасывается старшина лагеря Шнайдер.

— Так, — произносит он своим придушенным голосом.

За его спиной в глубине шлафзала виден улыбающийся Янек — это он, конечно, продал меня.

Я сжимаю зубы и в следующее мгновение падаю от удара в подбородок. Немедленно вскакиваю и снова валюсь от удара в скулу. Так повторяется четыре раза. Наконец Шнайдер командует:

— Заходи!

Иду в барак. На крыльце Виктава бьёт меня резиной. Переступив порог, получаю крепкую оплеуху от Макса. Впереди ждёт Штрик — он широко расставил ноги, руки держит за спиной. Шнайдер опускается на табурет, достаёт портсигар.

Штрик, сделав шаг навстречу, спрашивает:

— Как?

Я молчу.

— Не понимаешь?

Мелькает начищенный ботинок, я хватаюсь за живот, отлетая к шкафам. Через мою голову с грохотом падают на пол блестящие вёдра.

— Встать!

Встаю. Шнайдер говорит что-то Янеку. Штрик засучивает рукава.

Янек ставит в ряд три табурета.

— Ложись!

Неторопливо снимаю куртку и ложусь лицом вниз на табуреты. Закусываю угол ворота рубашки и закрываю глаза. Раздаётся взмах хлыста — я невольно сжимаюсь. Слышу свист и в тот же момент ощущаю сильный ожог. Свист и снова ожог. Начинаю считать.

На пятнадцатом ударе чувствую, что у меня мутится в голове. После семнадцатого становится трудно дышать. Кажется, что к спине прижимают огромный горчичник, ударов уже не ощущаю. Потом исчезает и боль, слышу лишь мычание. Я куда-то проваливаюсь, затем чувствую толчок и тотчас пытаюсь встать. Пол пахнет скипидаром — я приподнимаюсь. Балансируя, вытягиваюсь во весь рост. Стены комнаты качаются.

— Прочь! — кричит хрипловатый голос, а придушенный добавляет: — Проклятый большевистский выкормыш!

У выхода меня задерживает Макс.

— Завтра идёшь до Лизнера, — говорит он.

На дворе уже пусто. Наверно, был отбой. Над электрической проволокой мерцают лампочки; они ещё бледны, их забивает свет ещё не совсем угасшего дня.

В сопровождении Виктавы прохожу через его комнату. Он безмолвно отдаёт мне мою порцию хлеба. Перед дверями в спальную он участливо спрашивает:

— Больно было?

— Щекотно,— отвечаю я.

В шлафзале никто не спит. Гардебуа молча протягивает мне свою большую руку, яжимаю её. Шурка прикладывает к моей спине котелок с холодной водой. Виктор и Олег заставляют меня съесть три порции колбасы. Наконец, я укладываюсь и закрываю глаза.

Так заканчивается понедельник — тяжёлый день.

8

Во вторник я вместе со всеми иду на работу. Попрежнему стоит солнечная погода. Воздух так прозрачен и чист, что кажется — нет пределов человеческому взору.

Я с особенной жадностью всматриваюсь сегодня в чёткие извивы гор, гляжу на лес, на его серебристо-зелёное море хвоя. Как не позавидуешь тут воробьям, свободно перескакивающим зону оцепления! Рядом со мной шагают мои друзья. Они теперь стали мне ещё ближе, и я верю сейчас более, чем когда-либо, — мы ещё повоюем!

Останавливаемся на площадке под каштанами. Лизнер, покусав губы, произносит свою обычную вступительную речь. Нам слишком хорошо уже известно, что у него не дом отдыха, об этом можно было бы и не говорить, но капо требует ответа во всеуслышание, и мы кричим:

— Понятно!

Он достаёт резиновую палку. Его голубые, со слезинкой глаза смеются.

— Первая шеренга — на месте, вторая — вниз... Марш!

Шурка — ловкий парень! — незаметно перекидывается во вторую. Олег, Виктор и я остаёмся в первой. Лизнер приказывает повернуться направо и ведёт нас к длинному каменному жёлобу, наполненному цементным раствором.

Около жёлоба большие деревянные ящики. В них тоже цемент. Невероятно, чтобы нас заставили их куда-то нести: ящики без ручек, и в каждом по меньшей мере двенадцать пудов веса! Лизнер, однако, невозмутимо даёт команду разбиться попарно и приготовиться. Отправив своего помощника со второй группой на земляные работы, он поворачивается к нам.

— Подымай!

Берусь за скользкие углы ящика, приподнимаю его и думаю — это даже не жестокость, это безумие! Виктору ещё хуже моего: он стоит к ящику спиной. Всё-таки мы как-то трогаемся, следуя за Лизнером, выводящим нас на узкую тропинку.

Идём, как пьяные, трясущимися шагами, гуськом. Справа от нас — грядки с цветной капустой, слева — свалка: бумага, пустые консервные банки, тряпьё; ниже — кустарник и колючая проволока. Поворачиваем налево. Перед нами вырастает деревянная, проложенная на откосе лестница. Спрашиваю Виктора:

— Неужели наверх?

Он, не оборачиваясь, отвечает:

— Наверх.

Передние очень медленно начинают подниматься. В середине происходит какая-то заминка. Предлагаю Виктору:

— Поставим на секундочку?

Он говорит:

— Что ты!

Лизнер пока безмолвствует. Я вижу его кирпичного цвета физиономию, голубые слезящиеся глаза — он зорко следит за нами.

Вступаем на лестницу. Виктор взбирается на полусогнутых ногах, чтобы на меня не переваливалась вся тяжесть; я должен подтягивать

ящик почти до подбородка, чтобы сохранить его в горизонтальном положении, иначе липкая серая масса выползет за край. У меня резь в плечах, жилы вытягиваются, и я боюсь, как бы пальцы не разжались сами.

Проходит с полминуты. Я не выдерживаю:

— Виктор...

— Костя, терпи.

Ещё ступенька, ещё. Наконец. руки опускаются, ноги нащупывают землю.

— Далеко... ещё?

— Терпи.— У Виктора в горле что-то клокочет.

Лизнер, топая сапожищами, обгоняет нас. В ту же минуту впереди раздаётся жалобный возглас, почти мольба:

— Капо, дай передохнуть!

Просит какой-то немец. Но Лизнер неумолим:

— Дальше!

Продолжаем продвигаться. Я начинаю серьёзно беспокоиться за Виктора: движения его становятся шаткими. Вновь мольба:

— Капо, разреши...

— Дальше, дальше!

Будь ты проклят, зверь!.. Откуда ж у человека берутся силы?

— Капо!

У меня при каждом шаге подламываются колени.

— Дальше!

Виктор медленно кренится вперёд, сейчас он рухнет. Кричу:

— Ставим!

Виктор оседает... Ящик касается земли. С радостью вижу, что все передние уже стоят.

Лизнер подлетает к первой паре. Треск ударов, стон и зычный выкрик:

— Подымай!

Люди стоят, стоят, как загнанная лошадь, на которую уже не действуют никакие понуканья и никакое битьё.

— Подымай! — вопит Лизнер, размахивая палкой.

Я замечаю у обочины дороги верёвку. Быстро подбираю, связываю концы, подсовываю под ящик. Удар по затылку — я кланяюсь почти до земли.

— Подымай!

Хватаюсь за углы ящика, кричу Виктору:

— Надевай верёвку!

Он просовывает голову в верёвочный хомут, и мы снова шагаем, обливаясь потом и проклиная в душе капо, ящики и весь белый свет.

Мы идём теперь вдоль лагерной стены. Слева от нас сбегает порогам густой еловый лес; он тянется до самого горизонта, заставленного невысокими бурыми горами. Я вспоминаю о нашем тайном решении — туда, к этим горам, через этот лес мы должны держать свой путь,— и мне становится как будто легче. Правда, очень помогает и верёвочный хомут: он всё-таки убавляет тяжесть.

Поворачиваем направо. Проходим шагов тридцать. Наконец, долгожданное «Стой!»

Опускаем ящики. Вытирая мокрое лицо, я осматриваюсь: сооружается продолжение крепостной стены; кругом груды камней, тёс; люди в спецовках перебирают камни.

Лизнер исчезает в кирпичной будке. Товарищи бросаются врассыпную, хватая обрывки верёвок и проволоку. Люди в спецовках — это испанцы из общего лагеря,— переглянувшись, быстро берут доски, раскалывают их на планки и подходят к нам. Ещё пять минут, и у наших ящиков появляются ручки.

Возвращается Лизнер. Подзывает к себе передних. Они выносят из будки совковые лопаты. Начинаем перекидывать цемент в чан, и в этот момент капо замечает на ящиках ручки.

— Откуда? — ревет он, выхватывая резину.

Мы ниже наклоняем головы. Испанцы усмеваются.

Я поглядываю украдкой на ровный ряд барачков, стоящих за электрической проволокой. Третий от края наш, восемнадцатый блок. Это же просто счастье, что Лизнер привёл нас сюда; надо немедленно всё рассмотреть: тут мы будем пробираться!

— Живее!

У меня звенит в голове от удара резиной, но я продолжаю оглядывать путь нашего предстоящего бегства. К сожалению, цемента больше не остаётся — все ящики разгружены.

Мы снова идём вдоль лагерной стены. Лес и горы теперь справа. Там за горами — я знаю это — чехословацкая граница, там чехи, партизаны и свобода, свобода...

— Виктор, ты видишь?

— Вижу.

— И ты чувствуешь?

— Да, Костя.

Лизнер, мстя за приделанные к ящикам ручки, гонит нас галопом. Спускаемся, спотыкаясь, по лестнице, бежим между свалкой и цветной капустой, и вот мы опять у длинного жёлоба.

Меня почти не страшит повторный рейс, так велико желание посмотреть ещё раз на трассу нашего предстоящего пути. Возле Лизнера появляется маленький узкоплечий эсэсовец с болезненным лицом — он, очевидно, собирается нас сопровождать. Дьявол с ним, мы и на этот раз выдержим, нам необходимо выдержать!

— Готовы? — спрашивает капо.

Поднимаем ящики. И вдруг — что это? В воздух вливается сначала негромкий, потом всё растущий, захлёбывающийся звук.

— Воздушная тревога! — вскрикивает эсэсовец. — Все вниз!

— Ложись! — орёт Лизнер.

Мы с удовольствием ставим ящики и, сбиваясь, как приказывает капо, в одну кучу, ложимся. Командофюрер предупреждает: никому не поднимать головы, иначе пуля в затылок. Сирена продолжает выть, ей откликается вторая, третья, но проходит, вероятно, с четверть часа, прежде чем до нашего слуха доносится гудение моторов и хлопки зениток.

— Наши? — шепчу я Виктору.

— Наверно, — отвечает он.

Раздаётся отдалённый, но мощный и продолжительный грохот, ничего радостнее которого сейчас не может быть для нас. Бомбите же их крепче, бейте нещадно, отомстите за наши муки, за наш страх, за нашу кровь! Ну?

Снова мощный грохот, от которого, кажется, дрожит земля, снова частое, озлобленное тьякнанье зениток.

— Хальт!

Вздрагиваю от выстрела над самой головой, приникаю ещё плотнее лицом к земле. Неужели кто-то пытался встать?

Опять глухой, сотрясающий воздух взрыв и опять «Хальт!» и выстрел. Что-то тёплое брызжет мне на щёку. Нельзя пошевелить рукой. Должно быть, это кровь. Нас расстреливают.

Я затаиваю дыхание. Кошусь вправо и вижу чёрный, устремлённый на меня глаз Виктора. Думаю: кто следующий?

Вместе с очередным грохотом звучит револьверный выстрел, уже без предупреждения. Ясно — эсэсовец мстит за бомбёжку. Виктор продолжает смотреть на меня, и я вдруг чётко вижу в его зрачке своё отражение.

Новый выстрел. Глаз закрывается и через секунду опять глядит, влажный и жгучий. Снизу доносится автоматная очередь — там расправляются с землекопами. Чувствую на лице холод — проступает испарина.

Лежу, как труп. Зенитки продолжают тявкать, но бомбовых разрывов больше не слышно. Потом умолкают и зенитки. Минут через двадцать снова взывают сирены, возвещая отбой.

Лизнер приказывает нам выстроиться. Шесть человек остаются на земле. Приходит помощник капо и докладывает, что у него трое заключённых убиты при попытке к бегству. Командофюрер, откашливаясь, произносит: «Гут». Помощник растаскивает трупы. Маленький эсэсовец фотографирует их каждый в отдельности и отправляется вниз. Лизнер даёт команду брать ящики.

Совершаем снова трудный рейс. У стены навстречу попадает группа охранников в стальных касках и с автоматами — они, очевидно, усиливали посты во время воздушной тревоги... Значит, при бегстве мы должны перебраться через заграждение прежде, чем посты будут усилены, — сразу как только прозвучит сигнал воздушной тревоги.

Испанцы встречают нас дружескими улыбками. Несмотря на протесты Лизнера, они сами принимают опорожнять наши ящики. Я, Олег и Виктор в двадцатый раз мысленно прокладываем свой маршрут от окна восемнадцатого блока до опушки леса. Олег украдкой подбирает небольшой обрезок доски.

На обратном пути нас застаёт сигнал на обед. Мы ускоряем шаг. На площадке нас ждут построенные в два ряда землекопы. Я вижу осунувшееся лицо Шурки и киваю ему головой. Он мрачно подмигивает мне правым глазом. Под левым у него свежий кровоподтёк.

После обеда командофюрер уходит в лагерь. Лизнер и помощник исчезают в будке. Мы срываем бугры, возим землю, утрамбовываем площадки, ни на минуту не переставая следить за дверью будки. За месяц с лишним пребывания в штрафной мы хорошо усвоили основное правило лагерной работы и теперь не отступаем от него: нет надсмотрщиков — работай только для вида, показались — не жалея сил.

Лизнер и его помощник спускаются к нам только перед концом работы.

— Темп! Живее! — раздаётся их крик, трещат удары, но это никого особенно не волнует: все знают, что норма убийств на сегодня выполнена.

В лагерь идём, разговаривая о минувшей бомбёжке. Олег сожалеет, что не сбросили парочку фугасок на комендатуру. Виктор вспоминает, как мы смотрели друг другу в глаза, и признаётся, что чувствовал себя неважно. Я снова тру щеку, на которой была кровь.

— Словом, мы решили правильно, — заключает Олег.

Нам с Виктором ясно, что он имеет в виду, и мы, конечно, согласны с ним.

После раздачи ужина я долго наблюдаю за воротами. На моём месте стоит белообрый верзила с зелёным винкелем. Он избивает всех, кто пытается приблизиться к проволоке.

Антон нет. Я начинаю терять надежду на его появление. Неожиданно меня берёт за руку Шурка и увлекает за собой. В открытом окне шлаф-зала семнадцатого блока вижу озабоченное лицо Васькá и встаю к нему в полуоборот. Шурка следит за крыльцом, Олег и Виктор — за нашими окнами.

— Костя, — долетает до меня тихий голос Васькá. — Суп и две пайки хлеба возьмёшь у Шурки, а Антон просил передать, что придёт только в субботу или в воскресенье; сейчас из-за того зелёного гада нельзя, его ещё не приручили. Вот всё. Бывай здоров.

Следующие три дня он сообщается со мной таким же образом. . .

Наступает суббота. С утра сеет мелкий дождь. Мы промокаем до последней нитки, ещё не добравшись до места работы.

На время дождь оказывается нашим союзником: командофюрер, капо и его помощник прячутся в будке. Мы медленно ворочаем лопатами, выжимаем из набухших шапок воду и даже пытаемся рассказывать друг другу анекдоты.

После обеденного перерыва Лизнер отбирает шестерых самых пожилых и слабых и приказывает им вырыть от проволоки к площадке канаву для стока дождевой воды. Когда люди подходят к заграждению, по ним строчит автомат. Командофюрер долго возится с фотоаппаратом, подбывая нужную диафрагму.

До конца работы тела убитых лежат у проволоки.

Вечером мы несём трупы наших товарищей в крематорий. В холодном, затхлом полуподвале, где устроен склад, долго стоим в очереди. Трупы укладываются только «валетом», для экономии места. Их обнажают и тут же посыпают солью; вероятно, крематорий не успевает сразу сжигать всех мертвецов.

Когда мы возвращаемся к себе на блок, двор уже пуст. Виктава встречает нас у входа в барак и, вручив «порцион», приказывает немедленно убраться в шлафзал.

Ужинаем молча, сидя на матрацах. Я поглядываю в окно, не покажется ли Антон.

Мне из моего угла хорошо видны окна семнадцатого блока и весь наш двор. У ворот, постукивая ногой об ногу, прохаживается торвертер в брезентовом плаще, в окнах напротив пусто; камни двора лоснятся от непрекращающегося мелкого дождя.

— Ждать сейчас уже бесполезно. Давай ложиться,— предлагает мне Виктор.

Он вытягивается на матраце. Я хочу последовать его примеру и вдруг вижу: верзила в плаще отмыкает крючок, и в воротах показывается Лизнер. Он идёт к крыльцу, разбрызгивая сапогами лужи. Минуту спустя слышу через дощатую стенку его грубый голос, воркование Виктавы и смех. Потом через двор шагает маленький, очень прямой человек с узко поставленными глазами. Это Фаремба, в прошлом знаменитый силезский бандит, а теперь оберкапо «Штайнбруха», обладатель громоподобного баса. В бытность мою торвертером он часто навещался к Шнайдеру. Вслед за Фарембой в ворота проходят старшина лагеря и Макс. Скоро и их оживлённые голоса доносятся из-за стенки.

Сидеть больше у окна, конечно, бессмысленно: Антона не будет. Я ложусь, продолжая прислушиваться. Мои товарищи уже спят.

Снова в соседней комнате раздаётся смех. Слышу восклицание Виктавы по-немецки: «Господа, прошу за стол» — и ворчливое Штрика: «Время, время». Потом всё стихает.

Безмолвие нарушается дискантом Макса.

— Друзья мои,— произносит он,— это маленькое торжество по случаю пятидесятилетия нашего дорогого Ярослава уносит меня в те далёкие времена, когда мы верили в светлые идеалы, в разум, в человеческий гений, когда мы все были наивны и простодушны, как дети.

— Не все, не все,— ворчит Штрик.

— ...Я хочу сказать,— поперхнувшись, продолжает Макс,— что ныне судьба преподнесла нам суровое испытание, да, но не будем роптать на судьбу. Выпьемте за силу духа, твёрдость и трезвое понимание сущего, за те качества, коими столь счастливо обладает наш Ярослав!

— Прозит!

— Прозит!

Шум смолкает — очевидно, пьют. Потом — что за дьявольщина? — раздаются осторожные переборы аккордеона, и вдруг всё сразу заполняется светлыми, ликующими звуками знаменитого штраусовского вальса «Над прекрасным голубым Дунаем».

Я хочу подняться и бессильно закрываю глаза. Запах сирени, чей-то глубокий, зовущий к себе взор, ощущение упругой силы молодых мускулов и тихий радостный плеск воды... Что это?

Я трясую головой и, приподнимаясь, гляжу на товарищей. Изнурённые до предела, они спят тяжёлым, беспокойным сном: Олег, уткнувшись носом в подкладку куртки, Виктор, подложив руки под щеку, Шурка, запрокинув голову и полуткрыв рот. Мне хочется зареветь в голос. Является нелепая мысль: за что нас мучат? Чувствую, что музыка действует на меня предательски, и зажимаю уши.

Когда я разжимаю их, слышен хриловатый баритон Штрика:

— ...Так выпьем за счастливое возвращение к родным очагам!

Аккордеон играет какое-то танго. Шум за стеной усиливается. Меня охватывает злоба. Я ругаюсь вполголоса самыми скверными словами и снова зажимаю уши. Думаю: на что же они рассчитывают, надеясь вернуться домой? На победу Гитлера? На слепоту народов? Смешно. И вдруг мне делается ясен их расчёт: они верят, что нас всех, рядовых заключённых, свидетелей их преступлений, уничтожат, что они выживут на наших костях...

Руки мои устают зажимать уши. Я ещё раз приподнимаюсь, вижу дрожащие багровые отсветы на потемневшей стене, затем, спасаясь от захлёбывающейся фокстротной музыки, заворачиваю голову в куртку и засыпаю.

Утром, выйдя из умывальной во двор, спрашиваю товарищей, что им снилось. Олег усмехается.

— Как всегда... ничего.

Шурка сообщает, что он целую ночь кухарничал — готовил пельмени. Виктор хмурится и молчит. Спрашиваю:

— А тебе?

— А мне и ночью нет покоя от Лизнера, чёрт те что... Снилось, будто он заставлял нас танцевать.

Я рассказываю о вечерней пирушке. Олег и Виктор удивляются. Шурка, человек осведомлённый, замечает:

— Они не только шнапс пьют. Они и до баб ходят.

— Как до баб?

— А очень просто. На первом блоке, где канцелярия, знаете? Так вот там есть специальное помещение, «пуф» по-ихнему, там сидят под замком пять женщин специально для них, то есть для старшин, капо, писарей, парикмахеров.

Он озорно подмигивает и добавляет:

— Цивилизация.

Олег говорит:

— Пошёл трепаться.

Шурка обижается:

— Вы ещё много чего не знаете. Вы думаете, кто такие эти красивые мальчики — Янек или этот Мишель с розовыми винкелями?

Ну, это-то, положим, нам уже ясно.

Получаем кофе, потом строимся, снимаем и надеваем шапки, маршируем — всё, как обычно. Наконец, часа за полтора до обеда, получаем возможность уединиться. Я прошу Шурку пойти к воротам: Васёк, возможно, притащит вчерашний суп. Шурка послушно уходит. Я, Виктор и Олег садимся в кружок. Нам надо обсудить все мелочи, от которых может зависеть успех нашего дела.

Олег нетерпеливо говорит:

— Давай, Костя, слушаем.

Предлагаю друзьям следующий порядок действий. Как только завоет сирена и потухнет свет, мы быстро выскальзываем в окно и ползём друг за другом вдоль барака: я первый, потом Олег, за Олегом—Виктор. Минував первое заграждение, я и Олег ставим деревянные подпорки под нижний ряд электрической проволоки. Пролезает Виктор, затем Олег и я; последние убирают деревянные. Ползём по-пластунски за груды камней. Метров через сто пятьдесят сворачиваем под прямым углом налево и спускаемся вниз к загородке зоны оцепления — ночью она не охраняется. Бесшумно минуем её и углубляемся в лес. Держа курс строго на север по Полярной звезде, стараемся уйти как можно дальше от лагеря. До рассвета, если в нашем распоряжении будет часов шесть-семь, мы должны удалиться от Брукхаузена километров на сорок. День надо нам пересидеть в лесу, тщательно замаскировавшись, хорошо бы где-нибудь около небольшого озерца или речки. А с наступлением сумерек опять начнём продвигаться с таким расчётом, чтобы под утро быть в чехословацких лесах. Придётся пересидеть ещё день, а в течение второй ночи двигаться только на восток, держась, конечно, подальше от дорог. Если мы там не наткнёмся на своих людей, будем питаться грибами и ягодами и продолжать движение на северо-восток, соблюдая все меры предосторожности, пока не встретим партизан.

— А мы их обязательно встретим... Помните, когда нас везли сюда через Чехословакию, как палили всю ночь эсэсовцы и как они на каждой остановке повторяли слово «партизанен»? — заключаю я.

Виктор, косясь по сторонам, тихонько говорит:

— В общем, конечно, твой план приемлем. Но одно «но»... Не лучше ли нам пересидеть первые сутки где-нибудь неподалёку от лагеря?

Олег бурно возражает. Мне это предложение тоже не по душе. Виктор спрашивает Олега:

— Ты сколько раз бегал?

— Дважды.

— А ты, Костя?

— Тоже дважды.

— Ну, а мне довелось, кроме двух побегов, переходить линию фронта... Давайте решим так: если километрах в двух найдём подходящее место, пересидим сутки, не найдём — будем топтать.

— Какая же выгода? — недоумевает Олег.

— Они не будут искать у себя под носом.

— А собаки?

— Мы пойдём вначале в колодках. Дерево не пахнет.

Нам с Олегом приходится согласиться.

— Теперь о времени,— продолжает Виктор.— Медлить нам нельзя, это ясно, но без двухдневных по крайней мере запасов еды трогаться тоже бессмысленно. наших сбережений — по пайке хлеба на нос — хватит на сутки. Нам надо ещё три пайки.

Он вопросительно смотрит на меня. Говорю:

— Антон даст.

Подходит Шурка и протягивает горячий котелок.

— А хлеб? — Хлеб меня интересует сейчас превыше всего.

— Хлеба не было. Васёк передавал, что с хлебом стало туго...

Под вечер к нам во двор заходит Антон. Опять моросит дождь. Становится прохладно.

— Зайдём в шлафзал, — предлагает он мне.

Я отвечаю, что Виктава не пустит. Антон, махнув рукой, скрывается в бараке и через несколько минут окликает меня из окна спальни. Виктава, увидев меня на пороге, буркает по-немецки: «Иди».

Мы усаживаемся в углу. Антон говорит, что скоро нам будет легче: Штрик прогонит этого белобрысого торвертера.

— Откуда у тебя такие сведения?

— Догадываюсь,— басит он.

Потом он рассказывает о положении на фронтах. Он слышал, что наши подошли к Днепру; немцы вряд ли продержатся теперь больше года. Союзники высадились в Южной Италии. Очень возможно, что они в недалёком будущем подойдут к границам Австрии с юга.

Я слышал о высадке американцев ещё неделю назад и жду, когда можно будет заговорить с Антоном о своём деле. Он просит:

— Ты как-нибудь тихонько передавай эти новости другим, пусть хлопцы приободряются.

Я говорю:

— Всё это, конечно, радостно, Антон, и подышать легче, когда знаешь, что за тебя отомстят, но... подышать-то не хочется... особенно так... бессмысленно.

Антон закуривает — я первый раз вижу его курящим.

— Знаешь,— продолжаю я,— почти все ребята, с которыми я сюда приехал, убиты, теперь очередь за нами: за мной, Виктором и Олегом, и вот я хотел просить тебя...— Встречаюсь с насторожённым взглядом и поспешно доканчиваю: — ...просить, чтобы ты принёс мне три пайки хлеба. Это нам очень поможет.

Антон берёт меня крепко за руку.

— Что вы задумали, Константин? — Взгляд у него становится давящим. — Ну?

— Антон,— отвечаю я, вдруг почему-то поняв, что он не одобрит нашего намерения, и поэтому решив не посвящать его в наш замысел,— мне нужно три пайки хлеба. Если можешь достать — доставь, они пойдут на доброе дело; если нет, трудно — скажи прямо, я не обижусь, но мне они очень нужны.

— Ты что же это, не веришь мне?

— Верю, но сказать, зачем хлеб, не могу.

— Добро. Я сам кое о чём догадываюсь. Хлеба нет. Доставать его, не зная для чего, тоже не буду. Тебя же прошу: если ты не шкуродёр, обожди пару дней, с тобой должен побеседовать ещё один наш земляк. Он тебя прояснит... Ну, и пока.

Встревоженный, сумрачный, он уходит.

Перед отбоем мы опоражниваем ещё один котелок со сладкой брюквой, доставленной Васьком. Ложась спать, я сообщаю друзьям о своём разговоре с Антоном.

10

Все последующие дни я хожу, как помешанный. Отказ Антона сильно понижает наши шансы на успех, кроме того, непрерывно идут дожди и воздушные тревоги прекратились. Время движется — уже середина сентября,— а с наступлением холодов трудности нашего предприятия возрастут.

Мы попрежнему работаем у Лизнера. Норма убийств продолжает выполняться. Чувствуем — приближается и наш час. Надо действовать, невзирая ни на что, и мы решаем бежать при первой же воздушной тревоге.

...Утро такое же пасмурное, как и все предыдущие, но без мороси. Крепкий восточный ветер гонит низко над землёй разрозненные тучи. Кое-где в разрывы облаков проглядывает блёклое осеннее небо, и изредка на мокрую землю падают прямые, как лезвие штыка, солнечные лучи.

— К вечеру прояснится,— произносит Олег, задирая голову.

— Да, ветер с востока,— отзывается Виктор.

— Ещё должны быть тёплые дни,— говорю я.

Мы занимаемся планировкой грунта на самой нижней площадке, шагах в двадцати от заграждения. Выше нас, на трёх других площадках, начинается сооружение каких-то зданий. Их строят из крупных неотёсанных камней испанцы, наши друзья. Они часто предупреждают нас об опасности таинственным словом «агуа».

Олег срезает лопатой бугор, возвышающийся над вбитым в землю колышком — отметкой. Виктор бросает грунт под откос. Я трамбуя, поднимая и опуская массивный, окованный железом чурбак.

Олег выглядит скверно. Шея у него такая тонкая, что кажется, ей трудно держать голову. Виктор высох и как будто ещё более почернел; в восточных глазах его теперь постоянно горит мрачный огонёк.

Мы, как одержимые, всегда вместе и всегда говорим об одном: о предстоящем побеге. Ничто другое нас не занимает или занимает лишь постольку, поскольку может как-то влиять на исход нашей операции.

— Всё-таки нет худа без добра,— замечает Олег.— Это я насчёт того, что мы задерживаемся... Если наши уже форсировали Днепр, они через неделю-другую подойдут к старым государственным границам. Сейчас партизаны должны усилить свою работу.

— Конечно,— говорю я,— тем более, что немцы, наверное, бросили все силы на фронт.

Переговариваясь так, мы ни на секунду не выпускаем из поля зрения верхнюю площадку, на которой в любую минуту может появиться Лизнер или его помощник.

— Интересно, сколько сейчас времени,— спрашивает после небольшой паузы, ни к кому в отдельности не обращаясь, Виктор.— Часов десять есть уже?

Вероятно, уже одиннадцать, и, вероятно, Виктор это знает, но он всегда рассчитывает на худшее — такой уж он человек.

— Четверть двенадцатого,— заявляет Олег. Он большой оптимист.

Проходит минута молчания.

Я опускаю чурбак, и вдруг наверху, слева, со стороны, за которой мы не следим, раздаётся злорадный возглас:

— Отдыхаешь тут?

— Агуа! — торопливо произношу я.

— Агуа, агуа! — бежит дальше по площадкам.

— Выходи! Живо! — доносится свирепый выкрик Лизнера.

Я быстро бью чурбаком, поглядывая в сторону выкрика. Из-за дощатой загородки, где расположена уборная, появляется побледневший Шурка, за ним — маленький узкоплечий эсэсовец и Лизнер. Он бьёт Шурку в грудь и отрывисто приказывает:

— Камень носить! Живо!

Шурка покорно направляется к груде камней, затем останавливается и умоляюще смотрит на капо.

— Бери!

Шурка поднимает камень и вновь смотрит на Лизнера. Капо коротким резким взмахом бьёт его в лицо и указывает на другой камень — побольше. Шурка бросает один камень, хватается за другой — на камень падают яркие звёзды каплей крови — и идёт за Лизнером. Лизнер, захлёбываясь от возбуждения, что-то говорит ему. Шурка срывается с места и, придерживая груз обеими руками, начинает бегать вокруг загородки.

Мне уже ясно, чем это кончится. Сердце моё колотится частыми, гулкими толчками. Шурка не очень располагает меня к себе, но сейчас я многое дал бы, чтобы спасти его. Но это невозможно, даже ценой собственной жизни.

Руки мои продолжают своё дело. Слышится учащённое позвякивание лопат. Хоть бы скорее звякнул колокол — только это могло бы выручить товарища.

Шурка бегаёт вокруг загородки уборной. Лизнер и командофюрер ждут, когда он выбьется из сил. Лицо Шурки, выпачканное кровью, начинается сереть. Огромный камень чудовищным горбом гнетёт его. Сколько кругов он уже сделал?

Кажется, сейчас все смотрят на него. Надламываясь от тяжести, он продолжает бегать, но с каждым кругом движения его становятся всё более шаткими. Груз неумолимо давит его. Очевидно, наступают последние минуты.

Лизнер поднимает ржавый лом... Шурка, Шурка, берегись!..

— Костя, не останавливайся! — хрипит рядом голос Виктора, и в эту секунду, поравнявшись с Лизнером, Шурка всем телом обрушивается на него свою ношу.

Лизнер, взмахнув руками, роняет лом и падает. Эсэсовец, отскакивая, цепляющимися пальцами ловит пистолет в твёрдой чёрной кобуре. Шурка, вобрав голову в плечи, хватается лом. Лизнер снизу кидается на него. Шурка бьёт капо ломом по голове и одновременно со звериным визгом Лизнера раздаётся выстрел...

Мелодично звенит лагерный колокол. Несколько минут не дожидая Шурка до своего спасения. Я смотрю на его бездыханное тело и молча поднимаюсь с друзьями к пожелтевшим каштанам.

Вечером — была суббота — Виктор говорит мне и Олегу:

— Если, паче чаяния, придётся погибать здесь, давайте умрём, как Шурка, хоть одного гада да пристукнем.

Мы обмениваемся крепким рукопожатием, глядя на плотную сетку дождя за окном.

В воскресенье мы целый день мокнем во дворе. Олег клянёт гнилую австрийскую осень. Виктор погружён в свои размышления.

Под вечер, не выдержав, я предлагаю:

— Давайте сегодня. Чёрт с ней, с воздушной тревогой, её, может, не будет до следующего лета.

Олег быстро поворачивается к Виктору. Олег — я чувствую — согласен. Виктор безмолвствует.

— Мы можем пролезть под проволоку сразу после отбоя, когда меняются посты, — говорю я. — Пока часовой поднимается на вышку, мы успеем проскочить. Дождь смое наши следы. Я однажды пробовал так.

Виктор глухо произносит:

— Это всё равно, что пойти в уборную и повеситься.

Я протестую, Олег поддерживает меня, но Виктор неумолим:

— Это же слабость, самоубийство, поймите вы... У нас ещё есть возможность прежде уколошить какого-нибудь охранника, автоматчика, например, внизу, и потом дорого продать свою жизнь... Мальчики. Зачем дешевле?

Виктор, как всегда, логичен. Мы с Олегом молчим.

После вечерней поверки, покончив с ужином, плетусь по привычке к воротам. Неожиданно является Васёк, и не один: в проулке, поглядывая на меня, стоит сутуловатый остроглазый человек с чахоточным лицом. Передавая мне котелок, Васёк шепчет: «С тобой будет говорить друг Антона. Он сейчас войдёт во двор, далеко не отходи».

Я отдаю котелок Олегу и жду. Чахоточный человек, что-то сказав торвертеру по-немецки, поднимается по ступеням и шагает двором к бараку. Минут через десять он возвращается, отыскивает глазами меня и отходит к стене семнадцатого блока. От наших окон нас отгораживает толпа. Мы присаживаемся на низкий каменный бортик, опоясывающий цветник перед бараком.

— Меня зовут Валентин,— говорит он негромко, подавая мне руку.— Я бывший сослуживец и старый товарищ Антона. Для ваших знакомых, в случае вопросов, я тоже ваш земляк. Условились?

Киваю утвердительно головой.

— Антон просил меня побеседовать с вами. Давайте поговорим, но с уговором: то, что я скажу, никому не передавать. Ясно?

— Да.

Валентин продолжает:

— Я знаю, что вы честный советский человек, комсомолец. Поэтому говорю прямо: выбросьте из головы всякие мысли о побеге. Молчите и слушайте. Бежать вы, конечно, смогли бы. Возможно, хотя и маловероятно, вам удалось бы скрыться. Но за ваш побег были бы расстреляны все товарищи, оставшиеся в штафзале, — теперь здесь такой порядок. Молчите, пожалуйста. Значит, вы просто не имеете права бежать, морального, понимаете? Если вы только не шкурники, должны понять... А шкурников щадить нечего, нашлись бы люди, которые бы вам помешали. А теперь вот что — передайте товарищам, что вас скоро переведут в общий лагерь. Вам и вашим друзьям советую обратиться к врачу — старику чеху — с просьбой отправить вас как дистрофиков в лагерьный лазарет. И когда будете в лазарете, подумайте на досуге обо всём, что увидели и узнали за два месяца в Брукхаузене, и в частности о том, так ли уж бессмысленно было то, что вы делали, когда работали торвертером. Может быть, на эту тему с вами ещё побеседуют в лазарете.

Валентин пристально смотрит на меня глубоко запавшими острыми глазами и очень крепко пожимает мне руку.

— До свидания. и мужайтесь. Мужайтесь.

Он встаёт и, не оглядываясь, быстро уходит, сутуловатый, худощавый, лёгкий.

После отбоя я рассказываю обо всём друзьям. Виктор говорит:

— Не верится.

— Кто знает,— замечает Олег.

Я молчу. На меня впервые находит отчаяние. Подготовка к побегу, даже самая мысль о нём давала надежду и силы бороться. А теперь?.. Правда или неправда то, что говорил Валентин насчёт массовых расстрелов за побег, несомненно одно: наш замысел больше не тайна, и нам действительно могут помешать. Значит, всё отрезано, всё погибло... Но где же, в чём же тогда ещё черпать силу для жизни?

В понедельник нас на работу ведёт только помощник капо. Лизнера нет. Говорят, что у него проломлен череп и его песенка спета. Ко мне и к моим друзьям наш надсмотрщик не подходит. Он почему-то вымещает зло на других.

Во вторник он пробивает ломом головы трём старикам словенцам.

В среду гибнут последние два еврея из французской группы.

В четверг во время воздушной тревоги эсэсовец расстреливает четверых: убиты два наших товарища — они были десантниками.

В пятницу снова льёт дождь; помощник капо и командофюрер сидят в будке.

В субботу часовой-автоматчик открывает огонь по нижней площадке: трое падают. Виктор хватается за плечо; в обеденный перерыв, спрятавшись в уборной, мы с Олегом осматриваем рану — пуля, к счастью, только поцарапала плечо.

В субботу же, зайдя после отбоя в штафзал, Макс объявляет, что все работающие в команде Лизнера переводятся в команду «Штайнбрух» и в понедельник переходят из карантина на четырнадцатый блок общего лагеря.

— Нам, кажется, можно друг друга поздравить,— невесело усмехаясь, говорит Олег, когда за писарем прикрывается дверь.

— Твой Валентин был прав,— задумчиво произносит Виктор.

— Завтра мы идём к врачу,— заявляю я.

Ночью просыпаюсь от грохота за стенкой. Бужу Олега и Виктора. Слышим, как Виктава вопит по-немецки: «Простите меня, блокфюрер! Лагерэльтестер, заступитесь!»

— Давай ещё часы! — требует медлительный голос.

— Я всё уже отдал, всё, всё,— рыдает Виктава. Опять раздаются тупые удары, крики и снова: «Пощадите меня!»

— Видно, здорово хапнул с последнего транспорта и засыпался... Добычи не поделили, скорпионы.— шепчет Олег. (Потом мы узнаём, что на Виктаву донёс один из его соотечественников и что хорошие люди в лагере не упускали ни одного случая, чтобы стравить наших мучителей, жаждавших поживы и соперничавших между собой.)

Радостные, мы засыпаем, как только вопли «герр коменданта», удаляясь, переносятся во двор и там стихают.

...И вот мы идём в лазарет. Идём по той же дороге, по которой нас впервые вели в Брукхаузен. Я гляжу на Альпы, на солнечную ленту Дуная, на вершины холмов, увенчанные старинными замками, и сердце моё вновь наполняется надеждой.

— Мы ещё подышим,— говорю я Виктору, высохшему, чёрному и бледному от боли в плече.

— И повоюем,— бодро произносит Олег, покачивая большой головой на детски-тонкой шее.

Виктор молчит. Его глаза почему-то влажны и странно, скорбно блестят.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я лежу под ветхим одеялом на втором этаже трёхъярусной койки в душном полутёмном помещении. Рядом с моей головой окно. Сквозь запотевшие стёкла смутно чернеют ели. Лежу здесь уже вторую неделю, один, без Виктора и Олега: нас разлучили после первого же осмотра. Я признан дистрофиком, что с моими друзьями — не знаю.

По странной прихоти судьбы, барак, куда меня направил старший врач лазарета — политзаключённый Вислоцкий, именуется тоже карантин. И это тоже очень странный карантин.

Вдоль длинных стен тянутся ряды высоких деревянных коек. На них пластами лежат больные — всего их тут около трёхсот человек. Сходить с своего места разрешается только в случае крайней нужды. Сидеть невозможно: не позволяет расстояние между ярусами. Самовольный выход из барака — тягчайшее преступление; да и как выйти, если отобрана одежда? Еда разносится по койкам санитарями и уборщиками. Медицинская помощь почти не оказывается: во-первых, на весь карантин один врач, а во-вторых, для больных — они все дистрофики — нужно главным образом хорошее питание, а в лазарете «порцион» в полтора раза меньше, чем в общем лагере.

Блокперсонал здесь по сравнению с лагерем более многочислен: старшина — молодой дурашливый немец, уголовник, по имени Вилли; писарь — высокий молчаливый поляк, бывший штабной офицер; врач — румяный круглолицый блондин, чех Штыхлер; парикмахер — испанец, подросток; старший санитар — мой соотечественник Петренко, мрачноватый и несколько загадочный.

Попад сюда, я первые два дня отсыпался. На третий день я резко ощутил голод, который затем с каждым днём чудовищно возрастал. Вначале я ещё пробовал отвлечься — думал о посторонних вещах, но потом меня одолело сосущее, изнуряющее чувство, стали преследовать голодные сны.

После завтрака, состоящего из пустого кофе, я ждал обеда; после обеденной похлёбки ждал ломтика хлеба, выдаваемого на ужин. Однажды, вспомнив о работе в штрафной команде как о счастливой поре, я начал серьёзно опасаться за свой рассудок — не схожу ли уже с ума?

Не знаю, что было бы дальше, если бы в воскресенье, во время раздачи обеда, Петренко не сунул мне лишнюю миску брюквы. Я опорожнил её, не прибегая к помощи ложки, и только потом догадался поблагодарить. Петренко, сам худой и, вероятно, голодный, угрюмо сказал:

— Меня благодарить нечего, не своё отдаю.

— А чьё же?

— Тех, кто кончился.

— А почему же мне?

— Так велено.

Кем велено и почему, выведать у него не удалось. Мне оставалось только благословить свою счастливую звезду. С этого дня Петренко, по-прежнему угрюмый и молчаливый, стал регулярно подкармливать меня, и я почувствовал, что начинаю оживать...

Я лежу лицом к окну. В стёкла монотонно настукивает дождь. Внезапно меня озаряет мысль: раз бежать отсюда нельзя, значит, надо сделать так, чтобы люди назло врагам могли здесь держаться как можно дольше... Есть же в лагере товарищи, имеющие возможность помогать и помогающие другим? Их следует объединить. Словом, в лагере надо создать подпольную организацию. Конечно, предотвратить здесь убийства никто не в силах, но уберечь от дистрофии людей, которые в решительный момент сумеют дать эсэсовцам отпор, можно, и этим надо заняться.

Я переворачиваюсь на живот. Протираю запотевшее стекло, вижу узкую полосу земли между карантинном и колючей проволокой, мокрую стену леса, и мне делается невмоготу моё вынужденное одиночество. Я ощущаю почти физическую потребность поделиться своими мыслями с Виктором, услышать горячее одобрение Олега... Где они сейчас? И когда я снова увижусь с ними?

Скидываю с себя одеяло. Из-под матраца достаю пантофли и спускаюсь на пол. Петренко моет в умывальной миски. Я окликаю его.

— Чего тебе?

— Слушай, Петро,— говорю я,— тут в лазарете работает один русский доктор, Степан Иванович Решин... Ты не знаешь?

— Нет.

— Мне надо с ним повидаться.

— Ничего не знаю.

— Я тебя очень прошу, Петро.

— Нечего меня просить. На шестой блок я не хожу, и вообще... иди.

Он поворачивается к своим мискам. Досадуя, я возвращаюсь на койку. Решин, конечно, мог бы узнать, где лежат Виктор и Олег... Тяжёлый всё-таки человек этот Петренко.

Опять ворочаюсь с боку на бок на трухлявом матраце. Ненадолго забываюсь в нездоровом сне, а когда открываю глаза, вижу бритый затылок и белый халат врача-чеха Штыхлера. Наклонившись, он даёт таблетку красивому французу с большим фурункулом на шее — наискосок от меня, на нижнем ярусе.

— Доктор, можно вас на минуту? — прошу его по-немецки.

— Один момент,— не оборачиваясь, отвечает он и продолжает что-то тихо говорить французу. До меня долетает несколько французских слов. — Кто меня спрашивал? — произносит он по-немецки через минуту.

— Доктор! Господин врач! — раздаётся на разных языках со всех сторон.

— Я спрашивал,— говорю по-русски.

Штыхлер, взглянув на номер моей койки, подходит.

— Пожалуйста,— по-русски вполголоса произносит он.

— Доктор, будьте добры,— быстро говорю я.— Мне надо обязательно повидаться с русским врачом Решиним, он работает на шестом блоке. Не можете ли вы передать ему?

— Вы плохо себя чувствуете?

— Нет, но...

— Имеете жалобу?

— Нет.

— Здесь запрещается устраивать свидания.

— Но это не свидание, доктор работает здесь...

— Сейчас я ваш доктор.

Снова лежу, ворочаюсь, вытягиваюсь и сжимаюсь. Короткий сон, при котором сам не знаешь, спишь ты или не спишь, сменяется бодрствованием, и это бодрствование тоже происходит в полузабытьи. Моя койка начинает мне казаться полкой в вагоне, а лазарет — поездом, идущим по какой-то бескрайней равнине, неизвестно куда и зачем.

— Тихо! — доносится внезапно голос старшины.

Я приподнимаю голову. Старшина — дурашливый, курносый Вилли — проходит мимо с большим табуретом-скамейкой и ставит его в центре палаты. Подросток-испанец занимает место у дверей. Вилли взбирается на табурет.

— Али-Баба!

Из-под скамейки неожиданно вылезает пучеглазый старик.

— Начинаем представление, — объявляет Вилли. — Милостивые дамы, господа! Сейчас герой всемирно известной сказки «Али-Баба и сорок разбойников» исполнит модную песенку Рюмера «Моё сердце». Аккомпанирует карточный шулер, профессиональный преступник Вилли Трудель.

Он соскакивает с табурета. На его место взбирается старик. У Али-Бабы слишком короткие кальсоны; видны тощие икры ног, покрытые густой растительностью.

Курносый Вилли, скрестив руки на груди, мастерски высвистывает вступление. У него очень толстые губы и маленькие блестящие глаза. Старик, дождавшись паузы, неожиданно приятным, чуть дребезжащим тенорком начинает:

Моё сердце — пчелиный домик,
А девушки — это пчёлы.
Они влетают туда и вылетают,
Как в настоящем пчелином домике.

Он жмурится, стараясь изобразить улыбку, и, набрав в лёгкие воздуху, выводит вместе со старшиной:

Да, мир прекрасен, его лишь надо понять,
Ди голляри, ди голлярья;
Да, мир прекрасен, его лишь надо узнать,
Ди голляри, ди го!

И потом оба добавляют что-то уже совершенно несурзное:

Ой ля квивва, квивва, квивва,
Ой ля квивва, квивва, квивва,
Голляри,
Голлярья!

Вилли опять переходит на свист, а Али-Баба поёт:

Моё сердце — колбасная фабрика,
А девушки — это колбаски.
Они все висят на одной бечеве,
Как на настоящей колбасной фабрике.

Старик жмурится, свист обрывается, и следует припев: «Да, мир прекрасен...», а затем — «Ой ля квива...» Закончив, Али-Баба раскланивается.

— А где аплодисменты? — негодуяще восклицает Вилли.

Раздаются хлопки — жидкие, немощные.

— Громче, громче! — требует старшина и срывается с места. Слышится треск пощёчин. — Я вас научу уважать искусство, вы, дохлые птицы головы!

Он искренне возмущён и взволнован. Я думаю о том, чего в нём больше: идиотизма или жестокости.

— А теперь, — резко меняя тон и снова принимая позу конферансье, объявляет Вилли, — посмотрите в исполнении Али-Бабы танец паяца.

Мне не хочется глядеть на кривляния старика. Развесёлая свистящая музыка нагоняет тоску. Кто знает, может быть, в эту минуту надо мной или ниже меня тихо умирает какой-нибудь замечательный человек... Рискую навлечь на себя гнев старшины, я натягиваю ветхое одеяло на голову. Уже сквозь дрему различаю три мерных удара колокола — сигнал отбоя.

Следующим вечером, убедившись, что ни Петренко, ни Штыхлер не помогут мне увидеться с Решиным, я, воспользовавшись отсутствием Вилли, надеваю пантофли и незаметно выбираюсь из блока. На улице темно и скользко. Резкий сырой ветер пронизывает меня насквозь. Проваливаясь по щиколотки в ледяную воду и зажимая обеими руками ворот рубашки, бегу вдоль бараков. У крайнего — на стене его большая цифра «6» — останавливаюсь. Стучусь. Дверь открывается. Вижу беззубого старика.

— Откуда ты, призрак? — шамкает он.

Говорю, что мне надо срочно видеть русского доктора.

— Прочь!

— Всего на один момент, пожалуйста...

— Вон!

Дверь у самого носа захлопывается. Я плюю на дверь. Думаю: стучаться ещё — выйдет, пожалуй, здешний старшина блока, и тогда быть беде; возвращаться — обидно. Однако ноги мои коченеют, а зубы начинают выбивать судорожную дробь, и я поворачиваю, бегу обратно.

Дверь карантина оказывается запертой. Стою с полминуты, размышляя, дрожу от холода, потом тихо стучусь. Никто не отвечает. Стучусь сильнее — снова безрезультатно. Постучав в третий раз, прикладываю ухо к двери. Слышу где-то наверху пение, различаю среди других голосов голос старшины.

Я попался. Это несомненно. И несомненно, что теперь наказания мне не избежать. А раз так — начинаю барабанить. Дверь распаивается. Меня обдаёт волной яркого света и тёплого воздуха. Передо мной писарь.

— Кто ты? Откуда?

— Я отсюда.

— Что там такое? Что случилось? — раздаётся из-под потолка гневный голос Вилли. Пение обрывается. Слышу, как он упруго соскакивает на пол, как большими нервными шагами приближается к двери. — Входи!

Я переступаю порог. В ту же секунду удар кулаком валит меня на пол. При падении я цепляюсь за угол койки и прикусываю язык.

— Встать!

Это всё уже знакомо. Встаю, чтобы снова упасть. Силы хватает всего на три подъёма. После четвёртого удара подняться уже не могу. Вилли, всё более ярясь, колотит меня ногами. При одном особенно сильном ударе в грудь я вскрикиваю, колючая боль спирает мне дыхание, я слышу только высокий вибрирующий голос Штыхлера:

— Ты с ума сошёл. Это тяжело больной, у него бред! Оставь его сейчас же!

— Я его оставляю!

Новая серия ударов, и взбешённый крик Штыхлера:

— Оставь сию же минуту, или я позову Вислоцкого!

Удары прекращаются. Вилли орёт на врача, врач — на Вилли.

Слышится взволнованный бас писаря. Потом кто-то поднимает меня и несёт. Я, кажется, действительно тяжело больной, и у меня бред. Пью что-то холодное, горькое и куда-то проваливаюсь.

2

Прихожу в себя в середине дня. За окном голубое небо. На полу солнечный квадрат. В воздухе танец серебристых пылинок.

Мне очень тепло и покойно. Хочется только пить. Приподнимаюсь и снова опрокидываюсь от резкой боли в груди. Сразу же вспоминаю вчерашнее происшествие: ноги старшины в остроносых ботинках и дрожащий голос Штыхлера. Я избит. У меня, должно быть, жар, и поэтому жажда.

— Пить, — прошу я.

Тишина. Слышится только посапывание спящих соседей.

— Петренко! — произношу громче. При вздохе сильная боль пронзывает грудь, в глазах от неё оранжевые кольца. Положение моё, видимо, хуже, чем я себе представлял. Начинаю придумывать, как бы обратиться на себя внимание старшего санитаря, не пытаюсь больше подавать голос. Шевелю ногой. Это не причиняет боли, но скоро утомляет. Становится уже не просто тепло, а жарко. Сдвигаю с себя одеяло, облизываю сухие губы, смыкаю веки, чтобы передохнуть. Перед глазами, как назло, выплывает блестящий графин с водой, и в ней кусочки льда и солнце. Слышу свой стон. И вдруг мне становится ясно, что если я сейчас, сию же минуту, не получу хотя бы глотка воды — сгорию.

— Пить! — кричу я изо всех сил и чувствую, что от боли лицо моё покрывается холодным потом. — Пить, пить!

Грудь при каждом вздохе прокалывают изнутри какие-то иглы.

— Пить!

Проходит час или два. Ко мне подбирается что-то тёмное, тяжёлое и, сбавая горячим дыханием, начинает меня давить. Я отталкиваю его и снова начинаю кричать. Тяжёлое и жаркое продолжает наваливаться, где-то глубоко в сознании мелькает согбенная фигура Шурки, является чахоточное лицо Валентина, а иголки всё чаще и глубже впиваются в лёгкие. Рву на себе ворот рубашки и только по острой непрекращающейся боли в груди догадываюсь, что всё ещё кричу. О зубы мои стучит что-то твёрдое — глотаю воду жадно, захлёбываясь, и, открыв на секунду глаза, в следующую секунду засыпаю.

Просыпаюсь от боли. Рядом — рукой можно достать — солнечное пятно. Возле пятна — белое. Белое — это халат Штыхлера. Он держит шприц. Петренко подаёт ему продолговатую никелированную коробку.

— Вот и всё, — говорит Штыхлер.

— Очнулся, — произносит Петренко.

— Конечно, — подтверждает врач и наклоняется ко мне. Я раньше не замечал, что у него такие добрые и такие усталые глаза.

— Как себя чувствуете?

— Хорошо.

— Ну, и чудесно. — Штыхлер показывает в улыбке ровные белые зубы. Проверив мой пульс, он что-то вполголоса говорит Петренко и пересаживается на соседнюю койку, где лежит красивый француз. Я теперь помещаюсь на нижнем ярусе.

— А ты здоровый,— замечает Петренко, заворачивая никелированную коробку в марлю. Сейчас он мне кажется тоже приветливым и добрым.

— Что со мной, Петро?

— Трещина в ребре и воспаление лёгких... А ты не разговаривай.

Он уходит и через минуту возвращается с большой кружкой. Я с наслаждением выпиваю горячий брюквенный бульон.

Потом сплю. Просыпаясь, вижу подле себя три засохшие пайки хлеба и кофе. Утром Штыхлер снова колет меня шприцем. В обед Петренко даёт мне полную миску густой похлёбки. Так начинают проходить дни. Я снова всем чертям назло оживаю.

Как-то в полдень, когда в карантине резко посветлело от выпавшего на улице снега, дверь барака раскрылась, и я увидел Олега. Он внёс вместе с Петренко бачок с супом, грохнул его на пол и с взволнованным лицом спросил Петра:

— Где он?

— Олег! — кричу я.

— Костя! — глухо отзывается Олег и на цыпочках, прибедавая, устремляется ко мне.

Обнимаемся, целуемся, хлопаем друг друга по плечу — я сильно, Олег осторожно.

— Ты чем занимаешься? — спрашиваю я, глядя на его округлившуюся физиономию и снова потолстевшую шею.

— Я работаю на кухне, а ты... долго ещё будешь так?

— Как?

— Да так... болеть?

Ему, видимо, неловко, что он здоров и даже поправился; он конфузится, но в его глазах радость: он рад встрече, и я ему благодарен за это.

— Вы с Виктором скоты,— заявляю я.— Неужели не могли пораньше навестить? Я не болел бы, если бы вы догадались заглянуть ко мне недели две назад.

Олег оправдывается: он на кухне всего неделю; Виктору же, уборщику, не разрешается заходить в другие бараки. Я спрашиваю, как им удалось устроиться. Олег говорит, что помог старшина блока: он у них хороший, сочувствует нашим людям. Потом Олег рассказывает о положении на фронтах и о таинственной смерти помощника Лизнера: на него в каменоломне как-то ухитрился упасть камень сверху. Между прочим, все последние новости он узнаёт от Броскова — тот работает тоже на кухне и живёт с ними. Мы радуемся и вместе гадаем о сроках гибели Гитлера. Затем я делюсь своими мыслями о создании организации. Олег настораживается.

— Ты разговаривал уже с кем-нибудь об этом?

— Нет ещё.

— И не разговаривай, и вообще... не произноси больше никогда этого слова. Ясно?

Мне ничего не ясно. Почему так взволновался Олег?

— Мы попозднее ещё потолкуем об этом. Ты поправляйся, главное, понял? Главное, поправляйся... Ну, мне пора бежать, Костюха, а то влетит.

Уходя, Олег ещё раз просит никого не посвящать в мои замыслы. Он обещает зайти на днях.

Меня вдруг осеняет догадка: в лагере и здесь, в лазарете, уже существует подпольная организация. Есть же организованная взаимопомощь? Помогают же мне? А намёк Валентина? А предупреждение Олега?

Мне становится вдруг легко и весело.

В обед, получая от Петренко двойную порцию брюквы, говорю:

— Передай Штыхлеру, чтобы он меня выписывал. Я поправился.

— Не спеши, не спеши, всему свой черёд,— ворчит Петро.

Через несколько дней, осмотрев и прослушав меня, Штыхлер разрешает мне подниматься с койки, а спустя ещё два дня просит зайти в его приёмную — маленькую светлую комнатушку.

Я волнуясь и радуюсь. Вероятно, сейчас должна произойти та беседа, о которой говорил Валентин.

— Я хотел бы взять тебя санитаром,— негромко произносит врач, встав спиной к плотно закрытой двери.— Как ты на это смотришь?

— Я согласен.

— Должен предупредить, что работа не лёгкая... за некоторые вещи могут жестоко наказать.

— В концлагере всё может быть.

Штыхлер делает предостерегающий жест. Потом, указав на низкий табурет, достаёт из кармана халата резиновый жгут. Я закатываю рукав.

— Ты будешь раздавать дополнительные порции супа и хлеба. Номера коек Петренко будет называть заранее. Делать всё надо незаметно — Вилли часто за этим следит. Испанца можно не опасаться. Это и есть то, за что могут жестоко наказать. Остальное: уборка, мытьё посуды — несложно. Ещё предупреждение: я иногда буду придираюсь, кричать — принимай всё без обиды; никто не должен знать о наших истинных взаимоотношениях. Иди к себе и жди, когда позовёт Вилли.

Я возвращаюсь на койку несколько разочарованным — придётся заниматься по существу тем же, чем я занимался, будучи торвертером; очевидно, или никакой подпольной организации нет — помогают людям просто по велению совести,— или мне не доверяют. И то и другое плохо. И всё-таки я радуюсь.

Вилли вызывает меня к себе сразу после проверки. От него несёт спиртом. Маленькие глазки с порозовевшими бейками сердито блестят.

— Ты русский?

— Русский.

— Я ненавижу русских.

Молчу.

— Почему молчишь? Я должен с тобой поговорить.

— Пожалуйста.

— Ты думаешь, русские победили немцев? Нет... Через пятнадцать лет мы снова возьмёмся за оружие. Немецкий дух непобедим

— Меня не интересует политика.

— Врёшь... Вы все врёте.

Пожимаю плечами. Вилли переводит глаза на дверь, икает и снова недобро смотрит на меня.

— Штыхлер предложил назначить тебя санитаром. Я ненавижу чехов, но... Штыхлера я уважаю: он сильная личность. Кроме того, я тебя боксировал, когда у тебя был бред. Я виноват. И согласен — ты будешь санитаром. Ступай.

Утром Петренко приносит мне мою французскую куртку, брюки и новые башмаки на деревянной подошве. Мы протираем мокрыми тряпками цементные полы в палате, в умывальной и в приёмной врача. У старшины и писаря убирает Али-Баба. Потом Петренко и уборщик-грек выносят из барака на брезентовых носилках тела умерших. Вскоре начинается раздача кофе. Я и грек обслуживаем одну половину палаты, Петренко и Али-Баба — другую. Петренко называет мне четыре номера — это те, кому я должен буду дать в обед двойную порцию.

Часа через два приводят новеньких. Их встречают врач и писарь. Штыхлер берёт карточки больных и уходит в свою комнату. Некоторое время спустя он вызывает к себе Петренко. Выйдя от него, Петро называет мне ещё один номер.

Незаметно наступает полдень. Бачки с супом снова приносит Олег. Он долго трясёт мне руку. Потом говорит:

— Ваш старшина приходил вчера к нашему писарю резаться в карты. Упоминал про нового русского санитаря. Насколько я мог понять, ты ему не по вкусу, так что смотри за ним хорошенько.

Я благодарю за совет. Олег на прощание суёт мне в карман какой-то свёрток.

Перед раздачей обеда знакомлюсь с больными, чьи номера мне приказано запомнить. Среди них оказывается мой сосед, немолодой красивый француз. Меня так и подмывает расспросить их, кто они и за что попали в концлагерь. Делать этого, к сожалению, нельзя, и я только предупреждаю товарищей, чтобы они побыстрее прятали под одеяло первые миски. Француз, улынувшись, произносит «мерси», итальянец — у него скорбные глаза — наклоняет в знак согласия голову, поляк-юноша быстро говорит «добже, добже», седой, суровый на вид немец отвечает мне по-русски «хорошо». Новенький, не то бельгиец, не то голландец, ничего сперва не понимает. Потом горячо благодарит по-немецки, называя меня «другом».

На моё счастье, в начале раздачи супа Вилли вызывают к старшему врачу. Я успешно справляюсь со своим заданием.

Вымыв миски, мы с Петренко садимся обедать, и тут я вспоминаю про свёрток в кармане.

— Что там? — интересуется Петро. При виде варёных картофелин он судорожно глотает слюну. — Отнёс бы ты их тому французу, — не глядя на меня, говорит он.

Я немедленно отношу. Смотрю на красное зимнее солнце в окне и чувствую себя счастливым.

(Окончание следует)



ШАХЕР БОРДЖАКОВ

★

У МОРЯ

Устав от праздных размышлений,
Буквально выбившись из сил,
Один поэт за вдохновеньем
В рыбачий округ прикатил.

Поэт увидел столько света,
Что затуманила слеза
Его в потёмках кабинета
Осоловевшие глаза.

Он видел море, видел горы,
Глядел на синий небосклон,
Ища поэму, за которой
В такую даль приехал он.

Но не морской простор бескрайний,
Не жители рыбачьих сёл,
А чей-то разговор случайный
В восторг писателя привёл.

Ценивший лишь звучанье слова,
Писатель был от счастья пьян:
Он столько слов услышал новых —
«Севрюга», «камбала», «сазан»...

С улыбкой человек угрюмый
Название рыб в блокнот занёс
Так, словно сам он их придумал
И сам же первый произнёс.

А ко всему другому вскоре
Поэт утратил интерес,
И с рыбаками выйти в море
Он отказался наотрез.

Поэт, пришедший за стихами,
На берегу один стоял...
Даль покрывалась парусами,
Сушились сети между скал.

Смеркалось. Где-то в дальней дали
Мелькнул маячный огонёк.
А волны пели и швыряли
К ногам поэта сотни строк.

Его не тронул моря облик,
И даль его не потрясла.
Он бормотал: «белуга», «вобла»,
«Севрюга», «килька», «камбала».

Перевод с туркменского
Н. Гребнева.



Д. СИМАНОВИЧ

★

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА

Шла весна, как маляр-волшебник,
по дорогам земного шара,
поднимая до самого неба
языки зелёных пожаров.

Травку каждую, каждый листик
красил бережно и влюблённо
тот маляр, что чудесной кистью
сделал землю такой зелёной.

Он полям пожелал удачи,
улыбнулся рождённой сказке.
Только небо осталось мрачным:
не хватило зелёной краски.

И маляр, подумав немного,
чтоб никто не сказал, что скуп он,
кисть макнул в голубую Волгу
и покрасил небесный купол.

Поглядел на простор широкий,
на огни небывалыхстроек
и, собравшись опять в дорогу,
кисть обмыл прозрачной росюю.

А потом — совсем не для славы —
расписался звёздною строчкой
и на самом восходе поставил
ярким солнцем
огромную точку.

ЛЕЙТЕНАНТЫ

Приехал с далёкой границы
в родные места
лейтенант.
На синих, как небо, петлицах
орлиные крылья звенят.

Со стройки, с завода, из класса,
в обычном гражданском своём,
друзья — лейтенанты запаса —
к нему собрались вечерком.

Припомнили юность, шумели,
играли, как в детстве, в лото...

Всю ночь
возле серой шинели
висели
простые пальто,
в которых
опять
до приказа
на стройку, к уроку, к станку
спешить лейтенантам запаса
по мирному городку.

ТОВАРИЩА ВСТРЕТИШЬ...

Товарища встретишь.
Не видел его
давненько.
Пожмёте горячие руки,
как будто и не было вовсе разлуки.
— Ну как?
— Ничего!..
— Ну, а ты?..
— Ничего!..

А хочется
что-то такое сказать,
чтоб сердце его
веселей застучало,
чтоб доброй улыбкой
оно отвечало,
а губ почему-то никак не разжать.

И будешь ругать себя долго потом,
мол, это совсем ни на что не похоже.
А старый товарищ,
наверное, тоже
уйдёт, называя себя
сухарём.

О РАЗЛУКАХ

Чтоб тысячи влюблённых,
надеждой окрылённых,
могли счастливо жить,

собрать бы все разлуки,
связать разлукам руки
и в море утопить.



Не улыбкой —
грустью и тревогой
ты встречаешь
мужа на пороге,
словно это он —
твоя беда.

Привыкают к тишине и крику,
к морю и журчащему арыку,
только к нелюбимому
привыкнуть
сердце не сумеет никогда.

ТРОЕ

Как всегда, подаст пальто
и проводит до трамвая.
Он ей муж.
А я — никто,
Хоть знакомым называюсь.

Не в моей остаться власти.
Поднимаю воротник,
Ухожу...

Такое счастье
не разделишь
на троих.



О. ДЬЯКОВА

★

УГОЩЕНИЕ

Рассказ

Рита Миронова, жена начальника строительного управления, очень радовалась просторной, светлой квартире, которую они получили, переехав на стройку. Особенно привлекательной казалась Рите квартира в вечернем освещении. Вот и сейчас: поздний вечер, в столовой никого нет, но ярко горит люстра с хрустальными подвесками — точно ждут гостей. Стол накрыт белой свежей скатертью, поблёскивают дверцы буфета с гранёными стёклами. Свет отражается на лакированных спинках стульев, на листьях цветов у окна. Блестит натёртый паркет.

Двери в смежную комнату распахнуты. Там сейчас темно и тихо — дети спят.

Вторая дверь из столовой открыта в кабинет. Он освещён. Мир, и тишина, и чистота. Кажется, вошёл — и позади остались все заботы. Но это только так кажется. В семье Мироновых сейчас тревога и растерянность.

Владимир Григорьевич Миронов, человек лет около тридцати, жилистый, худощавый, но плечистый, в помятом рабочем костюме, сидит за письменным столом, подперев голову кулаками, и в его позе сразу чувствуется угрюмое беспокойство. У него усталое лицо с резкими чертами, большой лоб, очень сердитые сейчас, умные карие глаза. Позади него, посреди комнаты, с полотенцем через плечо и крышкой от кастрюльки в руках, стоит Рита — в пёстром домашнем платье с короткими рукавами, в комнатных меховых туфлях, переднике с оборочкой. Она стоит под лампой, и на светлых пышных волосах ярко золотится кружок света. Лицо совсем молодое, красивое. Прямой нос и высокий лоб, вероятно, обычно придают её лицу выражение милой решительности и серьёзности. Но сейчас лицо у неё расстроенное и на нём растерянность и тревога. Миронов с болью и досадой угадывает за своей спиной это выражение на лице жены, и это его ещё больше раздражает.

Только что он рассказал жене о происшедших у него на работе крупных неприятностях. Они нарастали всё это время, и Рита об этом знала. Работа у него не ладилась вот уже полгода, с тех пор, как они сюда приехали.

Управление не выполняло плана: не хватало материалов и квалифицированной рабочей силы, главный инженер был очень слабым организатором (а сейчас и вовсе был болен), некоторые прорабы даже на стройке появлялись пьяными. И оказалось, что в трёх многоквартирных домах, подготовленных к сдаче заказчику-заводу, краска на полах уже в течение трёх недель отказывалась сохнуть и липла к ногам входивших в квартиры...

— Чмокает, когда ходишь по ней! — с жестоким юмором по отношению к самому себе говорит Владимир Григорьевич. — Чмокает!

Сегодня ведомственной комиссией заказчика и представителей стройуправления было принято решение соскоблить недоброкачественную краску во всех квартирах и покрасить полы заново.

И сегодня же обнаружилось, что одна из стен ранее выстроенного дома, к которому, пользуясь общей стеной, теперь пристроили новый, дала по всем четырём этажам трещину. По всей вероятности, когда зимой закладывали фундамент, подрылись под ранее построенный дом, и грунт весной в этом месте осел.

Завтра из треста приезжает комиссия для расследования — заместитель главного инженера треста и старший технолог.

«Трещина и полы — это ведь ужасно. Наверное, отстранят от руководства и переведут в прорабы или в мастера. Тем более, что главного инженера нет сейчас, вся ответственность на нём», — проносится в мыслях у Риты после всего выслушанного только что. Она делает шаг вперёд и спрашивает обо всём одним-единственным тревожным словом:

— Володя?!

Он ударяет крепко сжатым кулаком по столу, дав волю долго сдерживаемому волнению, и кричит гневно, даже с некоторым наслаждением:

— К чёрту всё — с такой работой и с такой жизнью!.. К чёрту!

— Тише! Дети! — требовательно и испуганно восклицает Рита. На её бледном расстроенном лице вздрагивают от напряжения светлые брови.

И странно смешным, кажется Миронову, выглядит в это время на ней кокетливый фартук с оборочкой на груди и нелепая крышка от кастрюльки, зажатая в руке.

Но напоминание о спящих детях всё-таки сдерживает его. Встав, он широкими шагами начинает ходить по комнате взад-вперёд.

Кроме случившегося на производстве, его мучит ещё и то стыдное и гадкое, что он намеровался сделать, чего он не может не сделать, кажется ему, ради жены и детей.

Владимир Григорьевич знает, что для предотвращения личной катастрофы, то есть для того, чтобы его не понизили резко в должности, надо суметь поладить с приезжающей к ним на стройку трестовской комиссией: с Белозёровым и Лидиным — заместителем главного инженера и старшим технологом треста.

А ему известно от начальника соседнего стройуправления, как надо «ладить» с ними: следует их «хорошо принять» — угостить изысканным обедом, дорогими винами и... не то чтобы взятку дать, а сделать какое-нибудь одолжение — ну, скажем, купить им что-нибудь из того, что трудно достать в городе, где они живут, а здесь, на стройке, есть.

И тогда в акте комиссии всё будет смягчено.

«Всё зависит от них — думает Миронов. — Как повернут дело. Его можно раздуть, можно и погасить...»

И, на минуту забывшись, представляет себе, что уже всё улажено — он остаётся работать здесь. Как он тогда повернёт всё дело! Теперь он уже видит, в чём беда. Всё-таки он больше проектировщик. Специфика производства была далека от него. Но теперь нет, дудки, теперь он всё приберёт к рукам!

Миронов на самом деле сжимает кулак и энергичным жестом приглаживает волосы, точно немедленно приступает к делу по наведению порядка в управлении, и, решившись, громко говорит:

— Рита, чёрт с ними! Надо их будет завтра угостить, комиссию, устроить обед, вин хороших и... В городе перебои с маслом, купишь в Гастрономе килограммов 10—15 сливочного масла...

И, подумав о том, как это непривычно и гадко делать то, что он собирается сделать, не выдержав, протонал:

— Ох, какая мерзость!..

— Хорошо... — говорит, очевидно об угощении, Рита и сурово сдвигает брови.

Проходя мимо неё по комнате, Миронов хотел привычным жестом провести рукой по её волосам и не смог. Почувствовал, что ему неловко и стыдно перед ней. «А что ж я — для себя?!» — подумал он зло, уже готовый рассориться с женой и оставить всю эту затею с угощением.

— Я куплю завтра утром индейку, зажарю целиком и сделаю пирожки... бульон. Торт можно будет взять в магазине, — деловито сосредоточиваясь на хозяйственных приготовлениях, негромко сказала Рита, но глаза её избегали взгляда мужа.

Потом она вздохнула и вышла из комнаты.

Не о чем было говорить, нечего обсуждать, надо было действовать. В их жизнь вошло тяжёлое, тревожное и... нечестное — в первый раз.

Утром шёл дождь, и после бессонной ночи Миронова знобило. Он сидел в управлении нахохлившийся, похудевший и встречал входивших невесёлым взглядом. Без всякого интереса перебирал он бумаги в папке «на доклад начальнику». Всё равно это ему уже не нужно, ведь, вернее всего, сидит он сегодня в этом кабинете последний день.

Чтобы хоть немного отвлечься от мрачных мыслей, он время от времени поглядывал в сторону окна. Мало весёлого — по оконным стёклам бесшумно и быстро, одна за одной, заливая стекло тонкой мутью, бегут капли дождя.

В соседней комнате часто хлопали дверями, громко разговаривали. За трестовской комиссией уже был отправлен на вокзал «газик». Вот-вот прибудут.

...Широко распахнув дверь, внося с собой запах бензина и холодной весенней сырости, вошли двое: в одном Миронов узнал заместителя главного инженера треста Белозёрова, в другом — главного технолога Лидина. Шагавший несколько впереди Белозёров, высокий, дородный, в шубе с каракулевым воротником, лихо заломленной меховой шапке, заполнил собой всю комнату.

Лицо у него было крупное, мясистое, с обвислыми щеками в синих прожилках, с толстым носом и светлосерыми глазами навывкате. Голова поворачивалась вместе с плечами, и это придавало Белозёрову особенно спесивый вид.

Главный технолог Лидин, блёклый блондин с худым лицом в веснушках и карими мышинными глазками, показался Миронову и вежливее и симпатичнее Белозёрова (может быть, потому, что у него была очень обыкновенная внешность).

Технолог направился в угол к вешалке, чтобы снять пальто и калоши, а Белозёров, едва успев расстегнуть крючки воротника, расселся похозяйски на стуле и, не подав руки, сказал, делая попытку прищурить выпуклые глаза:

— Безобразие! Вечно какой-нибудь скандал в вашем управлении! Ну? Рассказывайте, что вы натворили?!

И тут же, не дав времени ответить, смаху ударил толстым кулаком по столу:

— Да вы знаете, что вы оскандалились уже в масштабах министерства! Телеграммы с жалобами на вас так и сыплются! Ведь вы же, чёрт возьми, готовите жильё! Это ответственнейший участок работы на сегодняшний день. Забота о людях, о быте, о тружениках завода — это почёт! Мы же стоим с вами на пороге коммунизма и должны думать в первую очередь о людях. А вы готовите не дома, а липучки для мух! У вас стены трескаются, как орехи!.. У вас прорабы безобразничают! Главный инженер ни черта не делает, даже когда не болеет. А вы что? Наблюдаете?

Надо руководить, работать, организовывать других вокруг работы. А не даром государственный хлеб есть!

Миронов сидел, низко опустив голову, крепко держась обеими руками за сиденье стула, как бы боясь, что может потерять равновесие.

То, что говорил Белозёров, было очень грубо и жестоко. Но возразить было нечего. Всё это правда. Правда, что работать можно лучше. Правда, что можно не допускать тех ошибок, которые он допустил.

Работники управления, вероятно, слышали всё, что говорилось в кабинете. Кто-то заглядывал два раза в дверь и тотчас же поспешно закрывал её. «Слышат и боятся», — с тоской подумал Миронов.

И чтобы никто не заметил выражения стыда и отчаяния на его лице, он щурил глаза и крепко сжимал зубы.

— Ну, ладно, поехали смотреть на место! — внезапно оборвав себя, произнёс Белозёров уже спокойным голосом.

В первой же квартире четырёхэтажного большого дома, в которую они вошли, девушки-маляры в брезентовых, испачканных краской костюмах соскабливали с досок пола краску скребками. Снятая загустевшая краска, перемешанная с сором, мелкими стружками и кусочками штукатурки с плитусов, лежала кучками на грязнобелом полу, липла к подошвам ботинок. Когда члены комиссии взялись за дверные ручки, ладони тоже оказались перепачканными краской.

— Ну-ну! Ну и дела!.. — сказал Белозёров, разглядывая свою испачканную руку.

Лидин, оглядевшись, только протяжно и выразительно свистнул.

Комиссия переходила из квартиры в квартиру, из подъезда в подъезд, и всюду повторялось одно и то же: маляры, скребущие пол, или пустые ещё квартиры, в которые нельзя войти, так как с первого же шага ноги прилипали к полу.

— Та-а-ак! — протянул Белозёров. И, указывая на следующий, только что построенный многоквартирный дом, спросил: — Там тоже такое?..

Миронов хмуро кивнул головой.

— Ну, хватит! Хорошего понемножку! Пойдём смотреть второй ваш фокус, — сердито проговорил Белозёров.

И они поехали на третий строительный участок, где образовалась трещина в стене жилого дома.

— Что же, этот ваш прораб-отделочник, надо полагать, неплохо живёт? — спросил Белозёров, очевидно полагая, что прораб, ведавший отделочными работами, воровал материалы.

— Да, нет, просто шняница и разгильдяй, — ответил Миронов. — Не наблюдал за работами, и операции при покраске проводились небрежно или пропускались вовсе.

— Дурак! — сердито сказал о прорабе Белозёров.

Трещина в стене дома оставалась такой же, какой была вчера, какой и была описана в акте, отосланном в трест.

Но Белозёров ужаснулся так, будто он и не знал о ней вовсе или надеялся, что она исчезнет к их приезду, а Лидин снова, как и при осмотре малярных работ, выразительно свистнул.

Это разозлило Миронова. «Свистят, ужасаются! Ведь знали же! Написали же им!» — с возмущением подумал он и, не дожидаясь членов комиссии, направился к «газнику», стоявшему на обочине дороги.

Ясно. Всё кончено. Сейчас они поедут в управление и предпишут сдать дела. Наверное, Лидину.

Белозёров, подойдя к машине, сказал раздражённо:

— Слушайте, где здесь можно поесть?! Мы с самого утра не ели. Так и пропасть недолго, чего доброго.

И Миронову пришлось теперь уже просто по необходимости пригласить их к себе домой, так как столовая в этот час была закрыта.

«Только я сейчас же скажу Рите, чтоб убрала весь парад и дала просто что-нибудь поесть, — решил Миронов, с неприятным чувством вспоминая вчерашние свои стыдные надежды на угощение комиссии. — И Рита там готовится... Эх...» — внутренне передёргиваясь, подумал он, поглубже забываясь в угол «газика».

В квартиру вошли молча, угрюмые, сосредоточенные на своих мыслях. В прихожей, ярко освещённой электрической лампочкой, с прикрытыми в комнаты белыми дверями, было особенно тепло и уютно после промозглой слякоти на улице.

На круглой вешалке висело женское пальто, шляпка. Подле вешалки блестело зеркало. Пахло духами и ещё чем-то очень приятным и аппетитным. За одной из дверей слышался шум передвигаемых на плите кастрюль и шипение чего-то жарящегося на сковороде.

— Рита! — позвал жену Миронов и хотел поскорее пройти в кухню, пока гости снимают пальто, чтобы предупредить жену.

Но Рита, догадавшись, что пришли гости, стараясь, наверное, быть радушной, сама вышла к ним — покрасневшая от кухонного жара, но тщательно причёсанная, в тёмной юбке, пёстрой нарядной блузке, с приколотым к груди крошечным фартуком.

— Познакомься, это заместитель главного инженера треста и старший технолог, — представил Миронов гостей, чувствуя, что ему не хочется называть их имён. «Надо поскорее объяснить Рите, насколько неуместен сейчас, после разговора с Белозёровым и посещения строительства, этот ужасный парадный обед», — беспokoйно думал Миронов.

Но Рита уже распахнула дверь в столовую, и все увидели празднично накрытый стол с бутылками, графинами и возвышающейся посреди стола горой блестящих, почти лакированных на вид пирожков.

Было совершенно очевидно, что гостей здесь ждали.

«Ух!» — зажмурившись от стыда, подумал Миронов.

Гости, наоборот, оживились, увидев празднично накрытый стол.

— О, смотрите-ка! — с откровенным восхищением воскликнул Белозёров. — Вот это я понимаю!

Потирая руки и едва не нагибаясь над тарелками, он стал рассматривать закуски. Ещё более, казалось, обвисли в эту минуту его почти радужные от сине-красных жилок щёки.

— Ну-ну, молодцы! Здорово! Ведь вот что значит, когда в доме женщина.

У Лидина, снявшего шапку, оказались очень бледные, прижатые к черепу уши с острыми верхними кончиками, делавшие его ещё более похожим на мышь. Но остренькое блёклое лицо его тоже повеселело.

Рита тотчас же ушла на кухню, а Миронов проводил гостей в ванную.

Члены комиссии перерождались буквально на глазах. Они уже оживлённо разговаривали, умываясь, Белозёров смеялся чему-то противным, как казалось Миронову, квакающим смехом: «Квах-квах-квах!»

Шумно и весело текла вода из кранов. В квартире вкусно пахнет жареным мясом, стол празднично накрыт, нарядная жена хлопочет на кухне. Всё как в настоящие праздничные дни. А никакого праздника нет. Полная безнадёжность и отчаяние в душе. «Как будто на собственных похоронах», — подумал Миронов и, позабыв об обязанностях хозяина, неприязненно сощурился, взглянув на лоснящиеся после умывания, довольные физиономии гостей, выходящих из ванной.

— Пф-ф! Ну-ну, хозяин?! — не то ободряя Миронова, не то желая сказать, что так и следует, чтобы ему было тяжело, проговорил Белозёров и слегка похлопал его по плечу.

Вина Рита купила очень хорошие и дорогие.

«Как это она достала здесь?» — удивился Миронов, бросая взгляд на этикетки.

Гости выпили, закусили и ещё заметнее повеселели.

«Надо было бы всё-таки предупредить Риту... Ах, ничего, всё равно уж», — решил Миронов.

После бульона с пирожками и жареной рыбы Рита подала к столу на огромном блюде румяную, лоснящуюся от жира, зажаренную целиком индейку, красиво украшенную зеленью.

— Ох, и красота! Толково сделано! — восхитился Белозёров и, уже сам вместо хозяина наливая вино в бокалы, поднял тост: — За хозяйку! — Потом, протянув указательный палец, назидательно и требовательно сказал: — Цените жену, Миронов! Такую жену нужно ценить!

Лидин ел и пил молча. Он был попрежнему бледен, но Миронов заметил, как плотоядно стали блестеть его захмелевшие мышинные глазки.

«Подлец, только умеет скрывать это», — неожиданно для себя решил Миронов. Теперь Лидин казался ему гораздо более отталкивающим, чем Белозёров.

— А почему вы не сядете с нами? — размягчённо-ласково спросил Белозёров, когда Рита вошла с очередным блюдом. — Не украсите стол вашим присутствием?

Рита села рядом с Белозёровым, расстроенная, притихшая.

Миронов с горечью вспомнил, какое у неё бывает милое, весёлое, открытое лицо, когда она принимает друзей. «Всё из-за меня! Из-за моих дел...» — подумал он и, чтобы скрыть от гостей своё настроение, решил притвориться немножко пьяным. С деланной неловкостью он стал ковырять вилкой в тарелке.

— Вот ваш благоверный переживает! — благодушно откидываясь на спинку стула и вытирая салфеткой толстые синеватые губы, захохотал Белозёров. — Наделал делов и переживает! Художественная картина у него на стройке, — продолжал он. — Полы счищают скребками, трещины в стенах... — Но, заметив тревогу на лице Риты, сказал покровительственно: — Ничего, бывает... — и добавил, положив руку на плечо Миронова, вероятно, намекая на свою возможную поддержку: — Бывает...

Рита, очевидно считая, что наступил удобный момент, а главное, поскорее желая отделаться от того тяжёлого, что мучило её и грузом висело у неё на душе, сказала неумело-развязно:

— А вы знаете, я тут кое-что для вас приготовила. Масла сливочного купила двенадцать килограммов. Хотите? Во что вам упаковать?

«Господи?!» — поражаясь неуместности её тона и слов, мысленно воскликнул Миронов.

И не в силах поднять глаз, не в силах шевельнуться от вяжущего все движения стыда, сидел и молчал.

— Масло? А какое? Экстра? — деловито спросил Белозёров.

— Экстра, — негромко ответила Рита.

— Ну, упакуйте в корзину, есть же у вас? Когда поедем на вокзал, захватим.

И сейчас же заговорил о другом: о вкусе вина, о слякоти на улице, о бездорожье и о том, наконец, что квартира Мироновых прямо оазис в здешних местах.

Со злорадной гадливостью слушал Миронов не совсем связную речь гостя.

Он уже понял, что всё будет именно так, как ему говорил начальник соседней стройки. Белозёров, оценив «любезность» и понимая, что она не последняя, состряпает выгораживающий Миронова акт, представит всё в благоприятном для Миронова свете в тресте.

«Ну что ж, и хорошо... Хорошо», — убеждал себя Миронов.

— Миронов, голову выше! — потребовал немного захмелевший Белозёров.

А Лидин сидел чинно, как приклеенный к стулу, всё ещё старательно жуя индейку, и его умные глазки, поблёскивая, разглядывали Миронова.

«Мышь проклятая! Грызун! — со злобой подумал Миронов, чувствуя, что всё больше ненавидит этого «смирнсо» и вежливого, но всё понимающего Лидина. — Он же сам принимает в этом участие? Присосок...»

— Понимаете, ваш супруг сейчас... в неприятном положении... — говорил Рите Белозёров, точно смакуя неприятное положение её мужа. — Но... — Он поднял палец вверх. — Нет такого положения, из которого нельзя выйти! — Его отяжелевшая рука шумно опустилась на стол перед хозяйкой. — Вы что думаете? Мы приехали сюда топить вашего мужа? Гробить молодого специалиста? Кому это нужно? Прежде всего мы обязаны думать о производстве. Выправлять положение на производстве! — Он опять стукнул тяжёлой рукой по столу. — Ваш муж, Владимир Григорьевич, допустил ошибки. И большие ошибки! Но он ведь недавно на руководящей работе. Надо ему помогать. Мы его заставим работать хорошо здесь же, в этой должности! Выправлять положение!

Он уже, очевидно, говорил не только для Риты, а представляя себе, как надо будет говорить и действовать в тресте, выгораживая Миронова.

И, отхлебнув вина, чтобы показать, насколько велико одолжение, которое он делает Мироновым, прибавил:

— Конечно, мы могли бы раз-два — и отдать человека под суд, снять с работы, перевести в прорабы и даже в бригадиры, если на то пошло. Но, Рита Ивановна, ничего! Сей муж, — указал он на Лидина, — сегодня же напишет соответствующий акт, толково освещающий дело. Он в этих делах специалист. Мы человека губить не будем.

Лидин кивнул головой, и его тёмные глазки, показалось Миронову, отвратительно, подло улыбнулись.

Миронов почувствовал непреодолимую потребность расстегнуть ворот рубашки.

— Мама! Товарищи! Граждане! Я получила сегодня пятёрку по арифметике! — раздался в передней детский голос. Хлопая дверями и, очевидно, не зная, что в доме гости, в столовую ворвалась худенькая, похожая на Миронова девочка, в коричневом форменном платье, в пуховом, съехавшем набор беретике.

Рита совершенно таким же хлопотливым движением, какое бывает у неё, когда она подхватывает Галочку на улице на краю лужи, куда та готова ступить по рассеянности, бросилась к ней, подхватила подмышки и поспешно выпроводила из комнаты.

— Иди, иди, Галочка, к себе. Там Наташа уже занимается. Здесь взрослые.

Миронов с благодарностью посмотрел на жену. Не нужно Галочке здесь быть, стыдно, чтобы она была здесь.

«Дожил отец!» — горестно подумал он и с остервенением, залпом выпил бокал вина. И ещё один.

Но разве захмелеешь при таком напряжении нервов?!

— Дети — это цветы жизни, как выразился Горький, — сказал Белозёров, смакуя вино. Потом восторженно сообщил: — Ох, и дочка же у меня! Хоть не принято хвалить собственных детей, но это просто... исключение! Она теперь, в её возрасте, играет концерт Брамса! Слышите? Концерт Брамса!

— Да?.. — натянуто, как неживая, проговорила Рита и села рядом, стараясь делать вид, что внимательно слушает.

Миронов и сам не заметил, как оказался в коридоре, прислонился лбом к косяку. «Выгнать к чёртовой матери! — почти вслух произнёс он. — Эх! Если б не семья!.. Если б один был!..»

Когда он вернулся в столовую, Белозёров как раз говорил о семье.

— Разве можно? Такая жена-красавица, такие дети — и потерять положение? Нет, нет, невозможно. Вы не тревожьтесь, Рита Ивановна. Всё будет сделано. Мы исправим.

Лидин сосредоточенно, мелкими глоточками пил вино. Белозёров, помолчав ровно столько времени, сколько потребовалось на то, чтобы глотнуть ликёру, повернулся к Миронову тяжёлым корпусом и сказал:

— Слушайте, что вы за человек такой непонятный?! Рассудка у вас нет, что ли? Надо же так губить себя! У меня кровь застыла, когда я увидел этих маляров со скребками... И краску содранную — кисель из краски... Ужас! — Белозёров даже схватился за голову. — Ведь вы же знали, что мы приедем!

— Что ж было делать? Исправить уже ничего нельзя. Полы не подсохнут, раз олифа недоброкачественная. Так получилось, прошляпили.

— Надо было найти выход из положения! — прикрикнул Белозёров, сердито поставив рюмку на стол. — Любой ценой! Налить лаку, скипидару, клею, всякой всячины намешать и покрыть весь этот ваш кисель! Не то что в неделю — в несколько часов подсохло бы всё. Дай боже!

— От такой «химии» полы коржом встанут через пять дней после того, как жильцы въедут, — ответил Миронов.

— Ну, видите, через пять дней! Тогда — другое дело! Акт-то уже был бы написан? Комиссия приняла бы всё? Как говорится: «Бачылы очи, що куповалы». Там уж пускай выясняют, что к чему. Но жильцы-то уже были бы устроены. Настроение не такое напряжённое — крыша над головой! Ну, объявили бы вам выговор. Пришили бы ещё один к вашему личному делу.

— У меня не было ещё выговоров. Не зарабатывал, — угрюмо, но всё-таки с гордостью сказал Миронов.

— Ах да! Вы на производстве мало работали! — припоминая, отозвался Белозёров. — В нашей системе совсем мало. — И, сейчас же возвращаясь к прерванному разговору, с возмущением заговорил: — А то скребут, чистят, краску снимают! На глазах у заказчика! Я же вынужден был на вас кричать в управлении, не мог не кричать! Надо было как-то реагировать: ведь трещина в стене! Если хотите знать, так и сейчас выгородить вас довольно трудно. — Он, раздражаясь, развёл руками и приподнял плечи. — Но мало ли от чего образовалась трещина?! Не надо было о ней кричать, афишировать!

«Как тяжело, оказывается, быть подлецом!» — подумал о себе Миронов, с ожесточённым озлоблением рассматривая глупое красное лицо Белозёрова.

Он провёл дрожащей рукой по лбу, по волосам, стараясь подавить готовый прорваться гнев, и, извинившись, вышел из комнаты.

Он прошёл к Рите, на кухню.

Она стояла у стола и большим ножом разрезала торт. Выражение лица у неё было очень серьёзное, грустное, точно она делала что-то тяжёлое и неприятное.

— Рита? — только и смог сказать Миронов.

И сам почувствовал, сколько горечи прозвучало в его голосе.

— Иди, иди, Володя, к ним, неудобно, — сказала она, как чужая.

После обеда опять отправились на строительный участок, но работы уже мало интересовали гостей. Поехали они главным образом для того, чтобы освежить головы после выпитого вина.

— Сегодня же ночным поездом — и домой, — решил Белозёров. — Что тут, на самом деле, валандаться? Вопрос и так ясен, набросаем сейчас акт и — поехали.

В управлении, в кабинете начальника, Лидин сейчас же сел с краю стола и, положив перед собой чистые листки бумаги, выжидательно посмотрел на Белозёрова. Вероятно, они уже не раз вместе писали подобные акты.

Белозёров прошёлся по комнате, потом сел к столу Миронова и сказал Лидину тоже, видимо, привычную фразу:

— Ну что ж, маэстро, приступим?

У Миронова защемило сердце.

«Что они будут писать? Факты есть факты!» — думалось ему. И перед глазами встало то, о чём следовало писать в акте: несохнувшие полы, маляры, соскребающие краску, кучки липкой грязи в углах нарядно отделанных комнат. И дом с извилистой трещиной в стене сверху донизу — по всем этажам, по фасаду. Куда это денешь? Не склеишь же?

И всё-таки выжидательно, с надеждой посмотрел на Белозёрова. А вдруг он что-нибудь придумает, какое-нибудь оправдание!

Белозёров полуприкрыл веками свои выпуклые глаза, пожевал толстыми губами и неторопливо начал:

— Значит, напишем так... После всех там фёрмальностей вводных. Конечно, факты брака на строительных объектах действительно имеют место, но... сообщение о них явно преувеличено... Да! Вот именно: преувеличено! — взмахнув рукой, решительно подтвердил он, очевидно находя это выражение удачным и веским.

Но тут же повернулся к Миронову и грубо потребовал:

— Слушайте, не будьте вы шляпой хоть теперь! Замажьте вы эту трещину! Заштукатурьте. Сделайте вид, что ремонтируете фасад. Неужели нельзя было догадаться? А то стоит, как на витрине. Я уже почувствовал ваш стиль. Надо было сегодня к этому приступить. И полы завтра же начните покрывать лаком! Вам любой бригадир подскажет, как делается эта химия. Поняли?

И снова повернулся к Лидину:

— Так, значит, первое — о полах. Напишите, что полы были покрыты медленно сохнущей краской, но вполне доброкачественной... нет, пишите, удовлетворительной по своему составу. Полы, пишите, просыхают, и окраска пола не явится помехой для сдачи жилья в эксплуатацию. Трещина же появилась... Пойдите... Какие веские причины можно привести? Ммм... чтоб обоснованнее... чтоб комар носа не подточил...

Сосредоточенно размышляя, он выпятил толстую нижнюю губу, снова полуприкрыл выпуклые глаза и пошевелил пальцами, точно растирал что-то в щепоти.

Но внезапно снова повернулся к Миронову и, обеспокоенный, очевидно, не покидавшей его мыслью о полах, крикнул, постучав предостерегающе пальцем по столу:

— Так слушайте, Миронов! Чтоб завтра же был блеск наведён на полы! Слушайте? Бросьте на это дело всех маляров со стройки! Вы понимаете, что если управляющий и главный инженер заглянут сюда раньше, чем у вас будет всё готово, то и сами пропадёте и нас подведёте! И потом вот что. Краска-то начнёт отковыриваться, так? Вот и продумайте этот вопрос. Ссылайтесь на сжатые сроки, которые поставил заказчик, — качество материала, мол, не учли, а сжатые сроки поставили. Лес, доскать, влажный, вот и не принимает левкаса. Словом, придумайте. Тут уж пусть ваша голова болит. Советую потолковать на этот счёт с прорабами — у них большой опыт по этой части.

Миронов слушал Белозёрова со всё возрастающей ненавистью, поражаясь его наглости и цинизму.

«Какой мерзавец!.. Что ж он думает, я такие вещи буду делать? Как он? Как они?!»

Он перевёл взгляд на Лидина, строчащего акт, худого, щуплого, невзрачного, с мышинными ушками...

И вдруг точно какая-то сила сорвала его с места. Он встал, с шумом отодвинул стул, резко шагнул к столу и, положив ладонь на бумаги, лежащие перед Лидиным, гневно потребовал:

— Не хочу! Пишите, как есть! И краску снимать с полов надо, и трешину скрывать нельзя: она будет расти и разрушать здание. К чёртовой матери эти комбинации! Не буду я ими заниматься!

Белозёров откинулся на спинку стула и, подняв голову, ошеломлённо смотрел на Миронова.

Он не мог допустить и мысли, что Миронов может потребовать такую, с его, Белозёрова, точки зрения, глупость, и пытался понять, что же в действительности скрывается за словами Миронова.

— Что вы хотите?! Что вы хотите этим сказать? — спросил он с недружелюбием.

— Только то, что сказал. Пишите всё как есть!

Акт написали точный и краткий. К поезду уехали тотчас же, молча, холодно простившись с Мироновым.

Всю дорогу в машине тоже молчали.

И только в купе мягкого вагона, когда они остались одни, Лидин, лёжа на диване и глядя в потолок, сказал негромко, с сосредоточенной ненавистью:

— Сволочной человек... В жизни не ожидал.

Но Белозёров, который в часы отдыха обычно находился в состоянии добродушной невозмутимости, небрежно махнул рукой:

— А, просто дурак. Как говорится, не все дома. Жизни не видел, мальчишка.

— Да, натрёт ему жизнь холку... — процедил сквозь зубы Лидин. Потом, указав на багажную сетку над головой, в которой стояла корзина с тщательно упакованным маслом, сказал, раздумывая: — Как бы он нам неприятностей с этим не наделал... Ведь приедет же в трест.

— Хм... — усмехнулся пренебрежительно Белозёров. Он снял галстук, расстегнул тесный ворот рубашки и блаженно растирал свою толстую бычью шею. — Если мы брали, так он же давал? Не до такой степени он дурак, чтоб трепаться?.. — И неторопливо, с видимым наслаждением укладываясь в мягкую, чистую постель, осевшую под его грузным телом, сказал, соглашаясь: — А вообще... Конечно, его надо проучить. Снять с треском! Акт придётся соответствующе усилить докладной. Завтра займёмся этим...

Миронов вернулся домой усталый и подавленный. Едва войдя в столовую, опустился на стул, уронил руки на колени.

Гордое возбуждение, охватившее его, когда писался акт, ушло.

Всё просто и естественно встало на своё место. Теперь предстояло только одно — держать ответ.

С работы начальника управления его, конечно, снимут. Пошлют работать прорабом. Куда? Куда-нибудь да пошлют! Всё равно. Надо будет тащиться с детьми, с обстановкой, с утварью... Нет, обстановку, конечно, они продадут. Да ведь и с квартирой придётся расстаться (а Рита так блаженствовала здесь с девочками!). Оклад тоже будет не тот. Трудно придётся!

Завтра эти мошенники начнут, как говорится, «капать» в тресте на него. Придумывать всякие мерзости. Хотя что тут придумывать? Хуже и не придумаешь!.. Эх, не так надо было браться за дело! А может быть, уйти снова на проектную работу? На старое своё место? Там обрадуются.

Нет! Раз сам просился на производство, раз взялся за руководящую работу, значит должен доказать, что может справиться! Если не сразу, так постепенно, по всем ступенькам, пройдёт он весь путь — и вытянет! Да, да, всю практическую школу производства пройдёт!

Мионов стиснул зубы и положил тяжёлый кулак на стол, твёрдо чувствуя, что не отступит от своего решения и перенесёт то, что положено ему перенести.

Но тут же провёл рукой по лбу и волосам и, вздохнув, произнёс шёпотом:

— Пфф!.. Тяжело!..

В комнату вошла Рита.

— Рита! — сказал он. — Я всё... поломал... Послал их к чёрту и заставил написать в акте всё как есть. — И, отвернувшись, прибавил уже негромко: — Конечно, они теперь будут мне пакостить, как умеют. А они умеют!..

Он говорил и напряжённо ожидал: что же она скажет? Как отнесётся к тому, что он сделал? Ей же самой было противно сегодня, когда обеды эти взяточники, он же видел. И вчера, когда готовилась к их приёму. А вот теперь, может, она и пожалеет, что он так сделал? Она его не упрекнёт словом, но он ведь знает каждое её движение...

Весь сжавшись, готовый в этом случае наговорить резких слов, Мионов ждал.

Рита ещё секунду помолчала, потом он вдруг почувствовал, как её тёплые руки обвили его шею. Нагнувшись, она прильнула щекой к его щеке и призналась шёпотом:

— Володя, а мне.. так легче.

Голос у неё был прежний — не такой, как сегодня днём, не чужой. И губы и брови не дрожали у неё, как весь сегодняшний день.



МИХ. ЛУКОНИН

★

НОВЫЕ СТИХИ

ЗИМОЙ

Синеет небо.

 Падает капель,
и тени голубеют на снегу,
зелёная стоит в сугробе ель,—
соединить всё вместе
 не могу.

Ты рядом

 не такая, как вдали.
Я мысленно подальше уйду.
Молчи,
 я на другом краю земли
воспоминаньем смутным дорожу.
Вот вспоминаю я тебя, мою,
придумываю мысленно опять,
как ты опять
 в заснеженном краю
не устаёшь меня живого ждать.

Письмо твоё давнишнее беру:
«Благополучно всё. Пиши. Привет».
Приписываю твоему перу
всё то,

 о чём в письме
 ни слова нет.
Я мыслью дом домой перенесу,
в мечте
 письмо в свиданье претворю,
все яблони твои
 в моём лесу
я поселю
и разожгу зарю.
Все строчки истолкую, как хочу,
из равнодушья твоего
 слеплю
любовь.

За эту вольность я плачу
тем,

 что из нас двоих
 один люблю.

ПИСЬМО

Тебя всё, наверно, спрашивают:
— Почему ты одна?

Где он? —

А что ты им отвечаешь?

Скажи им, что я

влюблён

в Тихий и Ледовитый,
на синей льдине плыву.

Скажи им, что я

зимовщик,

на Новой Земле живу.

Скажи им, что я мореплаватель,
сквозь льды прохожу, грущу,
к материку открытий
новый пролив ищу.

Бьёт меня море,

шатают волны,

и ветер ещё не стих...

Я вижу пролив,

скажи им,

и ты не обманешь их.

ЖАЖДА

А дождь всё тот же —

бьёт по стёклам,

по наклонённым ветром клёнам,
по мостовым,

мостам промоклым,

по лицам, жаждой опалённым.

Какою жаждой?

Той, что гулом

в груди тревожно зародится,
тревожит,

гонит в переулочек

и заставляет торопиться.

Куда?

Просить тебя: не надо

так запираяться в отдаленьи.

Бежать, ловить деревья сада

и водосточных труб колени.

Зачем?

Найти тебя под ливнем,

и увести,

и косы выжать.

Чтобы навовсе стать счастливым,

сложнее,

чем счастливо выжить.

В ЛЕСУ

Постукивает ветвями

мокрый шумящий лес.

Иду, миновав осинник,

под сосновый навес.

Вот он — закрыл полнеба.
 Мягко ходить в лесу
 по мокрым сосновым иглам.
 Ты помнишь его красу?
 Еловый, хмельной, сосновый,
 он всё прошёл без потерь.
 Думаю,

 помню,
 слышу тебя —
 вот как живу теперь.
 Душно, тепло.

 Войду я —
 в глазах зарябит. Кругом —
 только лишь я, весна ещё
 да гулкий далёкий гром.
 Зови — и не дозовёшься,
 и сколько ты ни кричи —
 нигде никого!

 Сейчас же
 передразнят грачи.
 Палкой бы их,

 погнаться,
 крикнуть на них: «Ага!...»
 Лес начнёт заикаться,
 дождиком осыпаться,
 листья метнёт к ногам.

Слушаешь —
 и услышишь,
 как, шумя, попадёт
 в ясный кусочек неба
 крошечный самолёт
 и полетит на запад,
 на запад,

 один, другой...
 Сердце вослед метнётся,
 да побежишь домой,
 да соберёшься сразу
 на пригородный любой.

Скучно в такое время
 быть самому с собой.

ГОДЫ

Молодость твоя —
 секрет
 моего рассвета.
 То не разность наших лет,
 а единство это.
 На двоих
 у нас одна
 молодость и старость.
 Эта
 жизни глубина
 мне с тобой досталась.

И дана возможность мне,
выбор дан безбрежный —
жить на разной глубине
нашей жизни смежной.
Облюбую год любой
в нашей общей кассе.
Хорошо мне так с тобой:
десять лет в запасе!

Жить хочу
и жить могу
с сердцем, туго сжатым.
Я к твоим годам бегу,
вот и —
в сорок пятом.
И опять бушует стих,
и трубит тревога,
и товарищей моих
рядом — много-много.
Не изменит друг в бою,
недруг — не преграда.
Не стреляйте в грудь мою,
жить мне очень надо!
И опять иду, иду,
не хожу — летаю,
неудачу и беду
на ходу сметаю.
И живётся в полный рост,
дышится завидно,
и на много лет и вёрст
мне дорогу видно.

У ПАМЯТНОГО ДОМА

Мне вспомнилась война.
Весёлым летом
я в Сталинграде дом ищу.
Вот здесь,
да, это он, тот дом, —
по всем приметам.
Стоит, как будто новый, в краске весь.
Рабочие в бадье вращают глину,
у малышей постройки из песка.
В окне девчонка нянчит мандолину,
в другом — студент с ладонью у виска.
Я подошёл.
У бельевой верёвки
две женщины.
Спрошу-ка: этот дом?..
— А ты сама-то! — Слышу от чертовки!
— Свою верёвку займай — суши потом... —
Забылись и твердят одно и то же.
Сердитые,
а в солнце всё равно,
как две сестры молоденькие, схожи.
Я повернулся и — назад скорее, но...

— Вам что тут, гражданин?
— Да так, мне надо...
дом нужен,— говорю,—

стоял в те дни,
во время обороны Сталинграда.
Остались стены чёрные одни.
Ваш дом не тот? —

Молчат.

— Напротив, что ли?.. —
Молчание.

— Куда итти, туда?
Тогда он здесь стоял, гудел от боли... —
Опять не отвечают, вот беда.
И головы нагнули.

Их жалея,
я подошёл:
— Случилось что-нибудь? —

Прищепки теребя, как ожерелья,
взглянули,
и меня толкнуло в грудь,
и вспомнил я...

и понял их, молчащих.
Да, были те, бессмертные, дружны.
Да, вспоминайте, думайте почаще:
как в этом доме люди жить должны!
И сам, подумал, отступаю к дому,
в душе перебирая жизнь свою:

не так, не так,
а надо по-другому.
Так надо жить,
как жили мы в бою.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я проснулся от радости,
глаза раскрываю,
ногами отпихиваю одеяло,
встаю, как пружина.
Что же такое?
Может, солнце продвинулось к маю?

Подходит зима,
а радость меня закружила.
Радость волнует меня,
охватывает,
тревожит.

Я водою плещу на лицо
и подпрыгиваю даже.

Какая же радость?
По службе?
По дружбе, быть может?

Или слава пришла и меня полюбили? Когда же?
Перебираю дела свои —
ничего в них такого

ни вчера,
ни сегодня,
ни завтра-
особенного не вижу.

А сердце от радости ворочается бестолково,
 и что-то
 необычайно счастливое
 ближе и ближе.

Надо что-то предпринимать,
 разорвусь ведь на части!
 Надо всем сообщить обо всём,
 это радость какая!

Так нельзя,
 я не справлюсь один с этим счастьем,
 так и буду ходить по земле я,
 к нему привыкая.

Обзваниваю друзей:
 — Что случилось?
 Не слышал?

Не знаете ничего?
 Не случилось?

Вот странное дело!.. —
 А радость меня, между тем, поднимает всё выше,
 и я несусь её,
 к груди прижав неумело.

И вдруг осенило!
 И всё загорается светом:

да,
 война ведь окончена!
 Вот что!
 Скажи-ка на милость,
 как это мог я забыть и не вспомнить об этом!

Мне
 девятое мая в Берлине
 сегодня приснилось.



ИДА РАДВОЛИНА

★

РАССКАЗЫ О ЮЛИУСЕ ФУЧИКЕ *

4. Дни работы

Исть часов утра. Фучик методично, со свойственной ему целеустремлённостью, начинает знакомиться с жизнью героев своего романа.

— Будем завтракать в общей столовой. Больше мы здесь не гости,— говорит он.

...На длинных столах, покрытых белыми скатертями, стоят металлические чайники с кофе «Здоровье», тарелки с нарезанным хлебом и перепалочки с паприкой. Девушка в белом халате без лишних расспросов подносит каждому по тарелке плавающего в красном соусе «куриного паприкаша». Курица кажется нам чуть сладковатой, но мы и в этот день и во все последующие, под каким бы соусом она ни подавалась, едим её с превеликим аппетитом и лишь перед отъездом узнаём, что это те самые пионерские кролики, которыми в последнее время увлекается Самуэль.

Сейчас Самуэль сидит рядом с нами и пока не выдаёт своего секрета. Блокнот Фучика — на столе. Поглощая «курицу», он в то же время составляет список особенно интересующих его людей. Самуэль подсказывает имена. Мы спешим на мебельную фабрику коммуны. Самуэль хочет нас сопровождать. Однако тут уж Фучик протестует:

— Иди! Ты занимайся своими делами, а мы — своими...

Блокнот исчезает в одном из карманов фучиковского пиджака. Во время своих корреспондентских походов Фучик никогда не держит его в руках... Я ещё в Самарканде однажды спросила его, как надеется он без предварительных записей воспроизвести потом такое множество разнообразных впечатлений?

— Ты понимаешь, я ведь не буду писать о машинах, о выработке рабочих,— ответил он.— Машинами наших не удивишь. Я должен понять рабочего, почувствовать, для того чтобы простым людям Чехословакии ещё и ещё раз рассказать, что не боги горшки обжигают и не боги коммунизм строят! Понимаешь?

Очевидно, на моём лице Фучик заметил недоумение — но чем же может помешать ему блокнот? И он с ещё большим жаром начал доказывать: он хочет рассказать простой чешской женщине, которая заботится о семье, ревнует мужа, бережно разглаживает складки на белье, любит красивые платья и туфли, хочет рассказать ей, что советская женщина тоже заботится о семье, тоже ревнует мужа, тоже стряпает — не кнедлики, так вареники, тоже любит красивые платья и туфли. Женщина как женщина. Но в Советской стране она дальновиднее — она строит ещё счастливый завтрашний день для своей семьи и для всех людей. И он хочет показать, что это в равной мере доступно и чешке — ведь «не боги горшки обжигают»! Но для того, чтобы ему поверили, он должен хорошо знать и чувствовать, чем живёт человек, о котором он пишет...

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

— Если я к нему подойду с блокнотом, что я увижу? Что я почувствую? Неважный человек станет в позу, как перед фотографом. Хороший — отделается формальностями, цифрами о работе, сухим перечнем дел: он ведь знает, что нашему брату, корреспонденту, надо! Ты помнишь, как было с той докторшей в больнице? — Фучик улыбнулся.

А было вот что.

Накануне мы ходили по сверкающим белизной новеньким палатам Самаркандской республиканской больницы, похрустывая свеженакрахмаленными, сверкающими халатами. Нас сопровождало несколько товарищей и среди них узбечка, врач Н. Это была очень красивая, статная, уверенная в себе женщина средних лет, со слегка подведёнными сурьмой карими глазами. Она любезно показывала нам новейшее советское и заграничное медицинское оборудование больницы, рассказывала о мощности немецких микроскопов Цейсса, о вольтаже электролечебных машин... Фучик пытался то серьёзным вопросом, то шуткой направить её рассказ по другому руслу — ему хотелось услышать о людях, о врачах Узбекистана. Но врач Н. продолжала добросовестно и точно, как на научной конференции, докладывать о количестве операций, об изучении болезней, о методах лечения...

У входа в одну из палат мы с Ваврой спросили о чём-то главного врача, тот увёл нас на минуту в соседнюю лабораторию, и мы разминутись с товарищами.

Встретились уже перед уходом — в кабинете директора. Фучик, весёлый, смеющийся, тихо сказал:

— Вы бы только послушали, что она мне потом рассказывала! Это ты был виноват, Вавриди. У тебя сегодня всё время блокнот в руках. Поэтому она и «докладывала»...

Вечером, сидя в чайхане Старого города, Фучик пересказал нам то, что услышал от Н.

Ей было шесть лет, когда бедняки родители продали её в жёны баю. До самой революции она была заперта в доме престарелого мужа и свету божьего не видела. Когда ей удавалось вырваться на улицу, её с головы до пят окутывал серый балахон, а лицо закрывала сетка—чачвана.

В двадцатых годах, когда и жёны уцелевшего бая стали поговаривать о воле, шестнадцатилетняя Н. решила бежать от мужа. А куда бежать? В Самарканде, в Ташкенте он её найдёт. Надо подальше. Она побежит прямо к Ленину, в Москву. Ленин, о котором она уже столько слышала, её поймёт.

Сложнейшими путями, зная всего несколько русских слов, без копейки денег, добралась Н. до Москвы. Был конец января 1924 года. Страшный мороз. Она увидела — стоят на морозе толпы людей. Спрашивает: «Как пройти к Ленину?» Ей отвечают: «Становись, мы все идём к нему...» Три дня и три ночи шла с этой безмолвной вереницей молчаливая и испуганная молоденькая узбечка. Шла к Ленину, Ленин ей поможет! Она грелась у костров. Какие-то женщины вводили её к себе на час-два: отдохнуть, выпить чаю. И лишь на четвёртые сутки, попав в Дом союзов, она поняла, что опоздала. Нет больше Ленина!

— Ты себе представляешь её горе? — спрашивает Фучик. — Ты понимаешь, она уже вкусила этой самой свободы, она увидела женщин с открытыми лицами, она в Москве, она так верила! А теперь ей показалось, что всему конец. Надо возвращаться к мужу, надеть паранджу, умереть...

Убитая, поплелась она обратно к вокзалу. И вдруг из новых русских слов, которые она за эти дни узнала, ей вспомнилось слово «жена». Она решила поискать жену Ленина. У такого хорошего человека должна быть хорошая жена. И она нашла Крупскую. Надежда Константиновна выслушала молодую женщину, устроила её учиться, позаботилась об общежитии и все долгие годы учения Н. интересовалась ею.

— И вот теперь, сами видели, Н.— врач, доцент, вернулась сюда. Она депутат горсовета. У неё и муж теперь другой. Говорит, хороший муж. Говорит, что стоит ей увидеть женщину в парандже, как её всю трясти начинает... Вот. Видите? А она нам рассказывала о микроскопах Цейсса! — Фучик поворачивается к Вавре и просит его: — Вавруша, хочешь, я тебе три чайника с кокчаем закажу, хочешь, куплю вон тот арбуз — только не вынимай больше своего блокнота!

...Мы в одном из цехов мебельной фабрики «Интергельпо». Фучик присел к столу старшего мастера и уже добрый час разговаривает с ним, просматривает рапортчики, листает папку с рабочими предложениями. Он внимательно читает приказы по фабрике. Заглядывает всюду. Подходит и к цеховой стенгазете. Здесь уже не выдерживает и делает какие-то выписки. Потом поворачивается и долго смотрит, как работает цех. Сейчас его занимают движения людей, ритм работы, или, как он потом говорит, «новое самочувствие человека, который трудится на себя». Ведь он этих людей наблюдал и тогда, когда они работали на Батю, на Шкоду.

Входим в бухгалтерию. Казалось бы, что может быть скучнее бухгалтерских отчётов для такого поэтически приподнятого человека, как Фучик? Но он погружается в этот зажатый аккуратными берегами переплёттов океан цифр с необычайным удовольствием и каждый раз выныривает с сияющей улыбкой.

Он что-то подсчитывает, заставляет нас выписывать, сам выписывает. А когда работники бухгалтерии уходят на обед, оставив нас на полчаса одних, вскакивает и говорит:

— Ты понимаешь, есть какая-то высшая педагогика Советского государства. Вот смотри: оказывается, государственная дотация, полученная ими за всё это время, во много раз превышает стоимость того, что они привезли с собой. А у них, у интергельповцев, только и слышишь: «Мы построили, мы сделали, наше...»

Фучик ходит между столами, останавливается, говорит медленно, будто руками лепит каждое слово:

— Когда хочешь воспитать в ребёнке чувство творца, водишь его за руку, складываешь с ним вместе домик из кубиков и говоришь: «Это ты сам ходишь, это ты сам сделал, ты можешь ещё лучше сделать, только постарайся!..» С твоей помощью у него появляется уверенность в себе...

Позже, когда мы идём уже в столовую, Фучик снова заговаривает об этом. Видно, сейчас мысль о воспитании, которое зиждется на выраженной заранее безграничной вере в тебя, целиком владеет Фучиком.

Самуэль не знает, что Фучик собирается писать роман об «Интергельпо». Он и не должен знать. Как утверждает Фучик, это может нарушить естественность отношений. Самуэль, полагая, что корреспондент «Руде право» будет писать только статью, дал для этой статьи все нужные материалы, помог осмотреть хозяйство коммуны и доволен, что у его друга остаётся в течение дня немало времени для отдыха.

Самуэль не догадывается, что Фучик работает непрерывно и продолжает работать даже в поздние густоцёрные южные вечера, когда мы до полуночи засиживаемся в столовой коммуны, или на завалинке нашего дома, или у него, Самуэля, на веранде.

...Невзначай задав вопрос, взволнованно рассказав о чём-нибудь, Фучик ждёт ответного рассказа Самуэля, чтобы заглянуть во внутреннюю жизнь этого сдержанного человека. Впрочем, Самуэль охотно рассказывает о судьбах и взаимоотношениях других людей; он довольно ярко очертил характеры и склонности почти всех членов коммуны; по всему видно, что он наблюдателен и умеет отделить то хорошее, что заложено и воспитано в человеке, от того, что нанесено сложной и безжалостной жизнью. Но стоит только Фучику спросить Самуэля о нём самом, о его родных,

о его заботах, как тот становится косноязычным и угрюмо бурчит: «Ну, знаешь как, хормэ?.. Как у всех, так и у меня...»

Сегодня после завтрака Фучик съездил с Самуэлем в горком партии и в исполком. На кожевенном возник какой-то конфликт — Фучик пошёл с Самуэлем его разбирать. Возвращались они, споря. Фучик считал, что меры, принятые Самуэлем, чрезмерно резки. Людей лучше добром воспитывать. Самуэль в сотый раз повторяет цифру убытка, который принесли коммуне люди, с которых он строго взыскал.

Обедали мы вместе, спор ещё продолжался, и убедить друг друга им не удалось. Потом они поехали на какую-то базу. Изучение героя заставляло Фучика наблюдать его всюду, где возможно.

А сейчас сидим уже после ужина всё на той же веранде Самуэля, и Фучик с необычайным задором утверждает, что нигде так красиво не поют народные песни, как у него в Смихове. По правде говоря, мне снова кажется, что это он подбирает ещё один ключик к Самуэлю. До сих пор в Фучике не заметить было особого «смиховского патриотизма», но разговор о песнях и сами песни родины обычно напоминают человеку о его детстве, о юности, о чём-то дорогим и близком — может быть, и Самуэль раскроет сейчас свою душу...

Есть у Фучика ещё одна удивительная способность — способность слушать. Его глаза не холодеют, когда рассказ собеседника становится менее занимательным. Он любит человека. Ему важно всё. Даже это неумение хорошо рассказать о своей безусловно интересной жизни. И он не просто слушает. Он безмолвно участвует в рассказе. Выражение его оживлённого лица меняется в зависимости от интонации говорящего. Руки Фучика то мнут так и не зажжённую сигарету, то сжимаются в кулаки, то облегчённо ложатся на колени, то сочувственно глядят говорящего по спине, и человеку доставляет удовольствие рассказывать ему о себе... Сдаётся наконец и Самуэль!

Фучик работает очень много, он продолжает работать и тогда, когда «ничего не делает» — не сидит над бумагами, не беседует с Самуэлем, не наблюдает людей и окружающую жизнь, а просто остаётся наедине с нами в отведённом нам домике... Он начинает размышлять вслух о характерах и судьбах своих героев, об опыте «Интергельпо», как он говорит: о «мичуринской сущности этого опыта» (ему хорошо известны труды Мичурина, он побывал и в Козлове у великого преобразователя природы). Кажется, ни о чём другом он сейчас не может думать — внутренняя работа над романом идёт в нём безостановочно.

— Понимаешь, пересадили людей из другого национального и социального климата в благоприятный климат социалистической революции,— развивает свою любимую мысль Фучик,— и ты посмотри, какие это дало ростки! Ты удивлялась, почему я несколько раз спрашивал, откладывают ли они на чёрный день хоть понемногу. Ты этого не понимаешь. У вас с Вавриком, небось, и на конец месяца не отложено?.. А они всю жизнь, если хоть крона лишняя выкраивалась, должны были её припрятывать. Теперь у них, у настоящих чехов, появилась особая русская широта — советский оптимизм и непоколебимая вера в жизнь.

Фучик приводит в пример одного из интергельповцев — кажется, его звали Ярославом. Сюда Ярослав приехал беспартийным. Недавно стал членом партии. Фучик любит его меткие замечания и ценит его острый критический глаз. Малейшая бесхозяйственность в коммуне — трата общественных денег попусту — приводит этого человека в бешенство. А вот дома Ярослав стал несравненно щедрее, чем был.

— Ты понимаешь, ведь прежде, даже если б он и имел хороший заработок, он бы, наверное, ещё подумал, позвать ли нас всех к себе ужинать или нет? Он привык копить если не про чёрный день, так на покупку вещи. Ты знаешь, как у нас вещи съедают людей?

Эту тему уже не впервые затрагивает Фучик. Появление мещанской страсти к вещам он считает смертельной болезнью для коммуниста, «как рак, как туберкулёз!» Но теперь эта тема занимает его не вообще, а переплетается с раздумьями о жизни одного из героев романа.

— Был у нас в Праге вроде хороший парень, — рассказывал Фучик, — рабочий парень, весёлый, молодой, компанейский. Партии сочувствовал. Но вот женился. Квартирка. Кое-что получили в приданое. Сами скопили на одну вещь, на другую, на третью. Приятно на хорошую вещь смотреть. Жена ходит с тряпочкой — тут подотрёт, там протрёт, чтобы даже следа от пальцев, не дай бог, не осталось. Третья вещь тянет за собой четвёртую. И они уже начинают себе во всём отказывать: лучше в вещь, чем поехать куда-нибудь, лучше в вещь, чем в театре посмотреть что-нибудь, лучше в вещь, чем встреча с друзьями, которая может привести к непредвиденным расходам. И замыкается парень в себе и в своих вещах. Он уже не рискует ничем больше. Он уже дорожит своим благополучием. Что ему теперь до людей, до партии?.. Видишь ли, — помолчав, продолжает Фучик, — вещи, конечно, необходимы, удобны... Но они, часто помимо его воли, завладевают человеком. Там, дома, я думал, что от них надо просто отказываться, пока для каждого их не будет производиться столько, что человек перестанет придавать им цену. Но тут, в «Интергельпо», жизнь нашла другие формы. Ярослав не отказывается от вещей, но он перестал быть их рабом. И тот парень из Праги здесь не сошёл бы с верного пути...

Обобщения, мысли, кристаллизованные образы накапливаются в его голове. Размышлять вслух ему, видно, совершенно необходимо. Он иногда высказывает заведомо спорное мнение, чтобы на возражениях собеседника проверить себя. Но чаще всего, размышляя вслух, он нащупывает всё новые и новые повороты основной темы романа.

— Больше всего меня радует, — говорил он, — что «Интергельпо» за эти годы перестало быть чехословацким островком в советском океане. Оно так слилось и переплелось с советской жизнью, так вросло в неё, что теперь уже вырвать «Интергельпо» из советской жизни невозможно. Теперь уже Самуэль сам ставит вопрос о том, чтобы передать хозяйство коммуны целиком в общую систему государственных предприятий. Ведь в этих фабриках осталось столько же прежнего, привезённого, сколько в этих людях осталось от прежних братиславских, пльзенских и пражских безработных¹.

...Кажется, всё уже изучено в «Интергельпо». Но нет, у коммуны есть ещё скотоводческие фермы. Они расположены высоко в горах. Коммунары называют их «совхозом». Решено: едем в горы.

— Всё надо увидеть, — твердит Фучик, — иначе писать нельзя.

5. В горах

Солнечное, но уже прохладное октябрьское утро. Сорок километров вверх, в горы, по ухабам извилистой, ещё не достроенной дороги мчит нас грузовик. Три лёгких венских стула, на которых мы сидим в кузове, сно-

¹ Впоследствии предприятия «Интергельпо» действительно перешли в промышленную кооперацию и местную промышленность Киргизской ССР. На их базе во Фрунзе ныне выросли крупный завод сельскохозяйственных машин, деревообделочный комбинат, кожаный и мотороремонтный заводы, суконная фабрика и другие. В послевоенные годы, когда в Чехословакии, Венгрии и в ряде других стран Европы был установлен народно-демократический строй, часть бывших членов коммуны вернулась в Чехословакию, а руководитель «Интергельпо» Самуэль выехал в Венгрию. Большинство же интергельповцев осталось в Киргизии. Только во Фрунзе живёт более двухсот их семейств. Они работают на тех же предприятиях, и многие из них заслуженно славятся как передовики труда.

сит то к левому борту, то к правому. Фучик называет это «тренировкой альпиниста»...

— Чест праци, соудруг! — приветствует нас на пороге маленькой сторожки полная пожилая женщина. Грудь её крест-накрест, по-русски, перевязана серым оренбургским платком.

И здесь над белыми, аккуратно оштукатуренными стенами домика, приютившегося у стыка двух скал, высится остроконечная красная черепичная крыша. И здесь широколицый степенный человек в добротном свитере радостно трясёт руку Фучика. И здесь угощают нас чешскими блюдами...

Вечером, у окошка, за узким столом, сидят на ящиках, на свежеструганных табуретках два словака, один русский, один украинец и один киргиз. Мы пьём парное молоко и снова слушаем необыкновенные человеческие истории. Всех этих людей — одного из Праги, другого из-под Винницы, третьего с Памира, четвёртого из Архангельска — занесла сюда, на Алатау, наша революция. Она соединила их в дружную трудовую семью. А как различны их привычки, обычаи, понятия... Каждый из них даже ест по-своему.

Прослушав рассказ киргиза пастуха, Фучик весело рассказывает в ответ, как в детстве он сам мечтал уйти в горы со стадом овец — и всё оттого, что в какой-то сказке ему понравился справедливый пастух Гонза... С зоотехником-украинцем Фучик пытается установить степень родственности чешского и украинского языков... Он читает письма, полученные хозяйкой из далёкой Братиславы. Письма полны печальной озабоченности. Они полны вопросов. Вернее, звучит в них один взволнованный, на разные лады повторяющийся вопрос: «Неужели вы действительно нашли там выход из этой нашей безнадёжности?» Фучик спрашивает, что ответила хозяйка. Потом просит разрешения сделать выписки из писем — он в своих корреспонденциях обязательно ответит на главный вопрос её братиславских земляков.

Огнёк керосиновой лампы начинает дрожать и дымить. Давно уже сидим мы. На глазах у хозяйки слёзы. В счастливых заботах о детях, о муже, о товарищах забывалось здесь, что значит безвыходная нужда, многое начало забываться... А теперь вдруг вспомнилась ей родная Словакия и стало жалко близких. Она просит Фучика спеть хоть одну песню, которую поёт теперь молодёжь. Они с мужем помнят только старинные словацкие... Фучика трогает печаль этой женщины. Он кивает Вавре, и вместе они затягивают популярную теперь в Праге, тоже печальную, песенку Вериха и Восковца:

Ветер гонит шапку
По пустому полю.
Чья же эта шапка?
Чью голову она защищала?

Песня проникнута тем же унынием, что и письма из Братиславы, но после двух четверостиший Фучик переходит на свою любимую: «Никто пути пройдённого у нас не отберёт...» Бурный темп песни всех заражает весельем.

Поздно уже. В комнатухе нестерпимо душно. Мы выходим из дома. На угольно-чёрном небе — россыпи звёзд. Вокруг скорее ощущаешь, чем видишь, очертания гор. Тишина. Молча идём по едва освещённой из окошка тропинке. Площадка — выступ в горе — невелика. Подходим к обрыву. Далеко внизу глухо ворчит, обегая подножия скал, нетерпеливая горная речка. Глаза привыкают к темноте. Горы нависают, огромные, молчаливо невозмутимые, такие, какими они были и тысячи тысяч лет назад. Долго стоим над обрывом, ощущая подавляющее величие этой красоты. Именно — подавляющее. Человек начинает казаться маленьким,

бессильным, суетливым, как вон та речка внизу. Но Фучик вдруг тихо и убеждённо говорит:

— А знаешь, здесь, в этой первозданной дикости, легче понять, как много человек сделал на земле... Как много он может сделать!

Вывод Фучика, как всегда, — в пользу человека.

Наутро мы отправляемся «к елям». Ещё вечером Фучик договорился с хозяевами: нам дают проводника и лошадей.

Мы, конечно, знали, что Фучика влекли сюда не только богатые стада и молочное хозяйство коммуны. Мы знали, что в районе пастбищ «Интергельпо» ему во что бы то ни стало надо увидеть высокогорные тяньшаньские ели; об этих знаменитых серебристых елях упоминается в любой книге о Тянь-Шане, о них доют киргизские акыны и, наконец, под сенью этих елей герой романа Фучика — словацкий токарь Янек — должен будет объясниться в любви своей будущей жене, ткачихе Ружене.

Мы, разумеется, шутим, что для объяснения можно было бы найти место поближе и поудобнее. Но Фучик настаивает — он уверяет, что неповторимо прекрасные чувства в человеке инстинктивно ищут неповторимо прекрасной обстановки, чтобы проявиться во всей полноте и силе.

Светаёт. Фучик уже сходил за проводником. Торопит нас поскорее собираться. Требуется, чтобы мы потеплес оделись. Натягивает свитер и лыжные брюки. В нетерпении он сам несёт от хозяйки свежие лепёшки с парным молоком. Наконец во главе с влюблённым в эти места проводником-украинцем мы трогаемся в путь.

Как далеко до елей — никто из нас представления не имеет. Одни говорили нам, что туда километров десять. Другие — семь, восемь. Кто-то сказал, что двенадцать с гаком. Старый киргиз пастух не то серьёзно, не то шутливо заметил, что, пожалуй, будут и все двадцать пять. Проводник смеётся: не больше пяти километров, хоть голову с плеч! Мы охотно верим — чем ближе, тем лучше...

Горы, ночью угрожающе нависавшие над нами, теперь расступились, и их серовато-голубые вершины вовсе не кажутся грозными. В расселинах между ними лежат облака. Резкий свежий воздух врывается в лёгкие, распирает грудь. Как раз в тот момент, когда мы достигаем перевала, после спуска с которого где-то справа должно находиться ущелье, ведущее к елям, как раз в этот момент именно там, справа, восходит солнце.

Сколько раз доводилось мне видеть это как бы притихшее, серьёзное выражение лица Фучика с примесью почти детского восторга и странной озадаченности... Так удивил его полгода назад прозрачно-весенний день в подмосковной берёзово-сосновой роще на станции Планерная; так глядел он недавно на переливы золотисто-сиренево-голубых минаретов самаркандской мечети — усыпальницы Шир-Дор; так удивит его вскоре разбушевавшееся горное озеро Иссык-Куль; так смотрит он и сейчас. Сам не замечая того, он подёргивает поводья, и лошадь вместе с ним поворачивает голову то направо, то налево. Переступая с ноги на ногу, она подходит к краю узенькой площадки на гребне горы.

И тут, видно от полноты чувств, Фучик внезапно пришпоривает её и мчится вниз. Тропа крута, проводник предостерегающе кричит, пытается сдерживать бег наших лошадей, тоже устремившихся под гору, но тщетно — лошади несутся стремглав, осыпающиеся камни бьют их по ногам, и они ещё ускоряют свой бег, осыпь с грохотом летит вдогонку за ними, и думать приходится только о том, как бы не свалиться.

Наконец у подножия новой вершины, где сразу начинается новый подъём, мы переводим дух. Фучик улыбается как ни в чём не бывало, будто не он затеял эту бешеную скачку. Куда ехать дальше?

Вчера вечером, сегодня утром, только что там, наверху, наш весёлый проводник утверждал, что к елям можно пробраться по ущелью,

спустившись именно с этого перевала, который уже остался позади, но теперь он почему-то твердит, что лучше, пожалуй, «китти по прямой», то есть подняться снова вверх и потом снова спуститься вниз. «Та ще п'ять километров, и мы там!»

Фучик удивлён:

— Всё ещё пять?!

«Прямая» упирается почти перпендикулярно в небо. Лошади идут с трудом. Солнце начинает понемногу склоняться к западу, когда мы снова добираемся до новой вершины. Проводник с гордостью показывает нам очередную цепь снеговых хребтов, выросших на горизонте. Нам уже всё понятно — он так влюблён в эти места, что лишний десяток километров, лишний подъём для него просто ничего не значат. На вопрос, сколько ещё осталось до елей, он, внимательно посмотрев вниз, всё так же бодро заверяет нас:

— Так километров п'ять ще, не больше!

Уже пятый час пополудни. Фучик растерян: когда же мы вернёмся обратно, если до цели всё те же неизменные «пять километров»? Хоть бы сказал четыре с половиной, а то снова — пять!

Фучик мечтательно смотрит вниз, туда, где начинается новое желанное ущелье, и обречённо произносит:

— Нет, дальше так ехать нельзя. Придётся поворачивать... Видно, не суждено мне написать этот роман.

Мы пытаемся успокоить его: вот поедem к Иссык-Кулю, там, наверное, встретятся такие же ели, и, вообще, подумаешь — тьяншаньские ёлки... Что, он не может подмосковные описать?

Фучик соскакивает с лошади и совершенно всерьёз, точно утратив вдруг своё нестошное чувство юмора, возражает:

— Это тебе не фантастический роман, это роман-правда! И я хочу, чтоб мне верили... «Волнует тот, кто сам волнуется, вызывает гнев тот, кто действительно сердится!» — это не я сказал, это сказал Аристотель. Я не смогу описать волнения Янека, когда он попал с любимой девушкой в это ущелье, именно к этим елям, если я сам, своими глазами, их не видел. Не смогу!..

Мы снова пускаемся в путь. Разве можно стать виновниками того, что этот уже заранее любимый нами роман не будет написан!

Лаконичное описание того, что было дальше, выписываю из блокнота Вавры:

«Одиннадцатое октября. Проехали верхом вглубь по ущелью, против течения реки... Часто обрывалась тропинка по почти вертикальному склону горы, и нашим лошадям приходилось, как диким козам, прыгать с седоками на спине через обрывы, расщелины, по щебню, осыпающемуся в головокружительную глубину... По этому же пути, так живо напоминающему дантов ад, мы возвращались ночью при еле заметном свете луны. Проголодавшиеся лошади неудержимо мчались домой, усиливая наши муки: ведь мы не привыкли ездить верхом... И всё-таки мы добрались до елей, к которым так рвался Фучик и без которых, если ему не придётся их увидеть, он не сможет, как он упорно утверждает, написать свой роман об «Интергельпо».

Уже поздняя ночь, а мы ещё сидим в горной сторожке и вспоминаем всё рискованное и смешное в нашей поездке к месту объяснения в любви Янека и Ружены — героев романа Фучика. Фучик посмеивается и похваливает проводника: ведь обратная дорога даже ночью заняла всего полтора часа! Молодец, значит, он просто хотел нам побольше показать и увлечься.

Фучик настроен мечтательно. Он говорит то, что потом повторил на берегу Атбаши и о чём я уже вскользь упоминала:

— Эх, знаешь, Вавруша, когда мы станем старенькими, у тебя уже брюшко отрастёт, а у меня появится лысина,— давай тогда приедем сюда. Домик здесь оборудуем. Библиотеку привезём и будем писать... Здесь можно очень умные книги писать...

И снова начинаются планы, увлекательнейшие планы. Долго ночью звучат приглушённые взволнованные голоса друзей. Глиняное блюдечко уже доверху заполнено окурками. Наконец Фучик поднимается, высовывается в окошко, шумно, со вкусом вдыхает свежий воздух и изумляется:

— Смотри, уже утро!

Потягиваясь, отодвигает стул и высоченный Вавра. Он хочет выпрямиться, но Фучик, посмеиваясь, предупреждает:

— Осторожней, потолок продавишь. Пойдём лучше погуляем до завтрака.

Они выходят, так и не вздремнув после целого дня верховой езды. Слышу, как оба вполголоса с кем-то разговаривают. Фучик заглядывает в окно.

— Ты отдохни. Мы пойдём побродить немного.

И долго ещё, постепенно затихая, слышатся их шаги и смех.

...Полдень. Они ещё не вернулись. Хозяин озабоченно спрашивает:

— Приходилось ли им раньше бывать в горах?

Заходит ещё раз:

— Есть ли у них компас?

Возвращается снова:

— Как они вообще ориентируются?

Прибегает хозяйка, спрашивает, в чём они пошли.

— А я им и поесть с собой не дала,— огорчается она.

Приходит пастух. Молча сидит и покачивает головой.

Тревожиться как будто нечего. Один — уроженец горного городка, другой не раз поднимался на Татры. Да и во время нашего путешествия подобная вылазка — не первая. Правда, кто-то говорит, что наверху — снежная буря. Но это далеко отсюда.

Надвигается вечер. Несколько человек вскакивают на лошадей и едут в том направлении, куда так давно уже ушли Фучик с Ваврой. Тревога переходит в уверенность — что-то случилось!

И как раз в эти минуты слышится радостный крик. Они появляются совсем с другой стороны. У них несколько потрёпанный, но весьма удалой вид. У Фучика болтается полуоторванный рукав, он показывает на него и ещё издали кричит со смехом:

— Воспользовался, чудак, своим правом на самоопределение, даже отделиться захотел!

Оба подходят к окну и, виновато посмеиваясь, отвечают, что прогулка была отличная, что Фучику хотелось высмотреть ещё какие-то детали для пейзажей будущего романа и что вообще приятно всегда повыше подняться в горы. Лишь в Москве я узнала правду, прочтя всё в том же блокноте Вавры запись об этой «прогулке». Вот она:

«12 октября... Мы с Фучиком «прогулялись» в горы... и чуть не погибли... Заблудились на высоте в 3 500 метров. Вот и приключение! Гуляли, подымались по склону горы, удивлялись прекрасным видам бесконечных снежных вершин, открывающихся над пеленой облаков, увлеклись и незаметно переступили снежный рубеж. Карабкались всё выше и выше, пока не заметили, что окутаны туманом облака, севшего на гору. Когда подымались, был прекрасный солнечный день. И мы, одетые в летние костюмы, ботинки, без еды, без компаса, карт, без всего, что требуется для подобного рода туристских «прогулок», вдруг оказались в снежном бургане; морозный ветер страшной силы; неведомая нам местность среди крутых, белых горных хребтов, скал и ледников.

Теперь мы не знали ни куда мы пришли, ни куда спуститься. Мы долго обдумывали своё положение, искали дорогу, блуждали, пробирались ощупью, ползли, прижимаясь к выступам скал, чтобы хоть немного защититься от свирепствующего ветра. Когда на мгновение разрывалась вата холодного тумана, мы вглядывались в долину, в вершины, стараясь высмотреть хоть какие-нибудь знакомые приметы — где мы и куда нам идти?

Мы брели уже по колено в снегу. Не было и надежды найти хотя бы наши следы. Ураганный вой и рёв оглушал нас. Мы изо всех сил звали, кричали, чтобы хоть друг друга не потерять. Но тут мы наконец наткнулись на знакомую глыбу и... путь обратно в долину. Какая была радость! Мы не спускались, мы скатывались, бежали, валились, прыгали и... очутились внизу, в совхозе».

6. На Тянь-Шане

— Об этой ночи я когда-нибудь напишу... Маленькие, маленькие рассказы... Ты представляешь себе, вот природа... — Фучик показывает по сторонам неуклюжей рукой в меховой рукавице и говорит приглушённо, почти шёпотом: — Здесь ничего и придумать не придётся...

И действительно, лучше не придумаешь! Горы сверху, снизу, кругом. Чёрное небо. Грузовик над пропастью. И двенадцать советских людей, которые только что чуть было в неё не свалились.

Угроза несчастья, как обычно, сблизилась всех. Холодно. Мы сидим в кузове плотным четырёхугольником вдоль бортов машины, взволнованные, ещё немного испуганные, но весёлые. По-братски разложили снедь. Фучик тихо говорит:

— Я напишу так: «Было темно, а никто ни разу не ошибся — брал у соседа, выпивал, наливал снова и передавал дальше единственный бокал — консервную банку из-под бычков, наполненную «ерофеичем»...

Нечем чокнуться в честь своего спасения, и мы просто пожимаем друг другу руки, и чем чаще наш единственный «бокал» обходит круг, тем откровеннее и теплее становятся рассказы. Люди рассказывают почему-то вполголоса, едва слышно... Хочешь не хочешь, а невольно притихаешь, словно в храме.

— Только как передашь эту тишину? — спрашивает всё тем же полшёпотом Фучик.

В который раз уже и здесь, на Тянь-Шане, он огорчается тем, как беден язык, как недостаёт ему образов и сравнений, чтобы передать всё то прекрасное, что он видит и слышит в последние дни.

— Нег, сперва пойдёт рассказ о том, как наш старик Касымов хотел выгодно выдать замуж свою дочку... — В голосе Фучика звучит упрямство, точно он оспаривает какой-то другой, свой собственный вариант начала этого, как он говорит, лирического цикла рассказов. — Потом уж пойдёт история Карима, поэма о похождениях Карима! Потом — о встрече судьи с басмачом, которого он сам когда-то судил и осудил. Потом... знаешь, я и этого рыжего строителя Магаршака сюда из Рыбачьего переташу... — Фучик улыбается. — Какая разница, где прозвучали его рассказы, в Рыбачьем или здесь? — Но, видно, вспомнив свою недавнюю тираду в горах за совхозом «Интергельпо» о необходимости «увидеть именно эти ели» и как бы отвечая на слегка насмешливый взгляд любителя последовательности Вавры, Фучик спрашивает: — Ты думаешь, не надо Магаршака перетаскивать?

Уже пять суток взбираемся мы по будущей трассе Великого Памирского тракта. Сейчас дорога ползёт по всё суживающемуся выступу гранитной скалы. Говорят, что до вершины горы, возле которой застигла нас ночь, ещё километр-полтора. Но если поворачиваешься лицом к ней, ви-

дишь только эту почти отвесную стену, уходящую в чёрное небо. Говорят, что где-то внизу, как в каждом порядочном ущелье, мчится река, но грохот её сюда не доносится. Машина наша стоит уже часа три, погрузившись до половины колёс в свежий мягкий снежок. Мы остановились невядале от одного из перевалов в центре Тянь-Шаня.

Во Фрунзе, в Токмаке стоят сейчас последние дни жаркого бабьего лета. Повыше — на Иссык-Куле, в приземистом, одноуличном посёлке, который люди щедрой фантазии называют городом, — нас встретил осенний каменный град — «улан». Этот ветер с бешеной силой врывается в долину из Буамского ущелья, подхватывает и крутит щебень, гальку, песок, воду над озером. Он заставляет людей строить дома, наполовину вкопанные в землю. А здесь, на Атбаштау, и осень прошла. Уже зима. Снег и под нами — на остроконечных каменных грядках, и над нами, и вокруг. Днём на солнце он сегодня подтаивал. К вечеру присыпало ещё. А сейчас подмораживает.

Шофёр сказал, что ехать дальше пока нельзя: темно, а нам предстоит за близким уже перевалом крутой спуск — там дорога так узка, что второе заднее колесо чуть ли не свисает над самым обрывом.

До рассвета далеко. Мы только что кончили ужинать. Среди наших спутников — двое пожилых колхозников (киргизы из-под Атбашей, крупного селения в глубине Тянь-Шаня), выездная тройка народного суда (все трое — завзятые охотники и ещё большие любители охотничьих анекдотов), двое строителей с глубинного участка Памирского тракта (они везут валенки и одежду для своих товарищей), шофёр Зубков и любимец Фучика Карим — тоже работник Памирстроя, единственный человек, который решился пошутить как раз в тот момент, когда правое переднее колесо нашей машины на миг оказалось в воздухе, над пропастью, и только каким-то невероятным усилием рук и воли Зубкова уцепилось всё-таки за краешек земли и вывезло нас.

Карим, узбек, комсомолец, участвовал в прокладке Памирского тракта со стороны Таджикистана на отрезке Ош—Хорог. Он хорошо знаком со здешними обычаями, рассказывает истории старых, уже оставленных жителями киргизских селений, у него неистощимый запас легенд. К каждому случаю он находит прибаутку, присказку. И на любом участке дороги его встречают радостным возгласом: «А, Карим приехал!» — и оказывают особое гостеприимство.

Ужинали мы долго и основательно. Много раз обошёл наш «бокал» по кругу, все-уже были на «ты» и знали друг о друге немало...

Быть может, судья и преувеличил слегка количество горных куропаток и джейранов, которых он подстрелил в здешних горах, быть может, осуждённый им басмач, который высекает теперь дорогу в таких же гранитных скалах Памира, не так уж легко дал себя перевоспитать, но, право, этот судья, как отзывается о нём Фучик, — «прекрасный парень». И Фучик понимает его: хочется ведь человеку, чтобы всё шло легче, прямее и, главное, быстрее! А разве не поэтому каждый из нас, сам того не замечая, частенько выдаёт желаемое за сущее? Нет, Фучику судья очень нравится...

Как и над охотничьими историями судьи, Фучик хохотал над рассказом старого киргиза, который не то жаловался, не то хвалился тем, как ловко провела его дочь, неожиданно вышедшая замуж.

Как и другие, Фучик тоже рассказал о себе. Вспомнил о родных местах, о том, как он перехитрил однажды жандарма в Пльзене, когда ещё мальчиком принесл отцу обед на завод. Рассказал о своём путешествии на север Франции, которое он когда-то предпринял с любимыми друзьями, о суровом быте рыбацкого посёлка Дуаррене, где даже дети перестали родиться, так тяжело жилось там людям... Как обычно, Фучик не упустил случая рассмешить своих собеседников, но сам стал почему-то за-

думчиво-сосредоточенным — от воспоминаний ли, от ощущения ли красоты и грандиозности окружающей ночной природы... Он сам нередко посмеивается, что для прозаически деловой профессии журналиста в нём, пожалуй, появилась теперь излишняя доза впечатлительности.

Но вст окончился и этот «ужин горных шехерезад», как сострил Фучик. Шофёр Зубков позвал всех пройтись по нашей так называемой дороге — посмотреть, не появились ли оползни, не надо ли где расчистить снег, камней подложить: следующий участок, за поворотом, и будет самым опасным.

Мы пошли было со всеми, но Зубков попросил нас вернуться — посторожить грузовик, зажечь фары, давать время от времени сигналы, чтобы кто-нибудь ненароком не наскочил на нас сзади. Эти сигналы понадобятся и ему самому, а то как бы не увёл он людей слишком далеко.

Расхаживаем — шагов пятьдесят вправо от грузовика и обратно. Огромные, растопыренные внизу тулупы делают Фучика и Вавру неповоротливо-тяжёлыми. Снег начинает хрустеть — мороз крепчает, но, как видно, эта непроницаемая для холода одежда досаждаёт Фучику.

— Не человек, а юрта ходячая! — заявляет он раздражённо и, скинув тулуп, бросает его в кузов машины. — Можно остаться и просто в пальто. Альпинисты мы или нет?!

Облегчённо вздохнув, Фучик вдруг замолкает. Он ошеломлённо смотрит на противоположные склоны ущелья: появилась луна, и в её подсвеченном свете фантастически быстро меняются очертания снежных вершин. У Фучика вид ребёнка, которого впервые привели на таинственно разукрашенную ёлку и который ждёт теперь ещё бог весть какого чуда.

— Я ещё никогда не был так счастлив, никогда! — тихо произносит он.

...Накануне, рано утром, когда мы умывались в ледяной, прозрачно-зеленоватой воде горного ручья, Фучик, рассматривая гальку и песок, сказал, что жадность его к людям выглядит, наверное, такой же смешной, как жадность первых золотоискателей, когда они набрели на россыпи Клондайка: «Уже карманы полны, уже и за пазуху насыпано, а уйти никак не могут!»

Мы провели ночь в одиноком домике дорожного сторожа на дне Караункурта — Чёрного ущелья. За длинным, во всю ширину комнаты, свежеструганным столом и на кошме, покрывавшей пол, сидели вперемежку киргизы, дунгане, русские; резали шедрыми ломтями жирную сельдь, угощали друг друга всё тем же вездесущим «ерофеичем», ели дымящийся картофель в мундире и, конечно, вели нескончаемый разговор. И, как обычно, говорили кто о чём. Обвиняли Чемберлена в двуличии — он и с Гитлером «крутит» и с нами сориться не хочет. Придумывали, как бы затащить в Атбаши какого-то инженера с Памирстроя. Сетовали на страшную силу вековых привычек — иначе не было бы так трудно приучить киргизские семьи топить печи, а не разжигать костры в новых, только что построенных для них домиках, словно это юрты. Говорили о том, что в Атбашах школа, конечно, будет хорошая, но с этим чёртовым Рыбачьим — горе! Рвётся человек, рвётся с дальних участков дороги в «центр», а придет на денёк — даже сходить некуда, клуба ещё в Рыбачьем нет, магазина нет, «в кино всё тухнет свет», только пивных да водки вдосталь...

Нам предстояла тяжёлая дорога, было уже поздно, но уговорить Фучика хоть на часок ради короткого сна выключиться из этой беседы, причудливо перескакивавшей с Тянь-Шаня в Москву, в Лондон и снова сюда, к границам Синьцзяна, не удавалось никак.

— Нет, ну посидим ещё немного, — тихо, чтобы не слышали соседи, упрашивал он. И, пригнувшись к нам, шептал: — Видишь, они вроде жалуются. Как будто всем недовольны. Я обязательно напишу очерк о та-

ком вот недовольстве требовательных людей — возьму «быка за роги»: это ведь показатель их роста! Да, да, и скука в Рыбачьем, и водка, и сгорел у киргиза домик, а ведь раньше здесь некому было пить, некому было скучать, не было домиков, которые могли бы сгореть, не было школ, ничего не было... Понимаешь, это же стремительное продвижение культуры!

И уже под утро, с трудом поднимаясь на затёкшие ноги, он всё ещё жалел:

— Ах, я бы присидел здесь хоть целый год!

Эти же слова мы слышали от него накануне, когда мы восседали по-восточному на кошке гостеприимной киргизской юрты в кругу большой семьи — здесь были и прадед, и дед, и правнуки. И хозяйка подала нам в пиалах непривычный, почти без соли, суп из баранины, и хозяин хвалился сыном-учителем (к нему в Атбаши мы потом заехали), и внучка показывала Фучику пёстрый календарь — подарок школы-юрты (туда мы уже заглянули часом раньше), и старый дед заставлял Фучика принять в дар искусно сплетённую кожаную камчу, которую тот имел неосторожность похвалить. И Фучик негодовал, что безжалостный шофёр Зубков даёт уже третий, четвёртый, пятый сигнал, сзывая нас в машину.

И ещё раньше — в Рыбачьем, на берегу вообразившего себя океаном высокогорного озера Иссык-Куль, в приземистом домике дорожников Памирстроя, куда на два дня загнал нас свирепствовавший «улан», где на постелях, покрытых солдатскими одеялами, лежали и сидели небритые шофёры, десятники, прорабы, угрюмо переживавшие непогоду, — Фучика одолевала всё та же золотоискательская страсть и жадность счастливица, нашедшего россыпь. Он не мог отвести глаз от инженера Магаршака, высокого, длиннолицего человека с огненными вихрами. Сначала ленинградец Магаршак жаловался на отсутствие здесь ванной, хорошей парикмахерской, концертного зала, говорил, что ничья жена в эту дыру не приедет, а потом с тем же жаром стал убеждать Фучика, что в наши дни единственная настоящая профессия для настоящего человека — это, конечно, прокладывать дороги. «Сначала — дороги, а потом уж по ним приходят строители, жители и ваша братия — писатели!» Фучик бросился было в бой за честь писателя-коммуниста, но у Магаршака, без всякой внешней связи с этим спором, вдруг вырвалось мечтательное: «Эх, хорошо было бы сейчас послушать «Героическую» Бетховена!» — и Фучик разом забыл все свои аргументы...

В той прокуренной комнате с потемневшим от керосиновой лампы потолком, где целый день шли деловые разговоры о цементе, о валенках, о ходе соревнования между бригадой бывших правонарушителей и бригадой бывших басмачей, а сейчас под стук бьющегося в окно «улана» шли жаркие споры обо всём на свете, памирстроевцы поставили на стол настоящее, не просто похожее, а настоящее пльзенское пиво. Тёмное, горькое, с густой белой пеной в две трети стакана. Золотоискательский пыл тотчас повёл Фучика по следу этой пены, и он нашёл в Рыбачьем пожилого чеха пивовара, который в годы первой мировой войны был военнопленным и осел в Иссык-Кульской долине, обзавёлся семьёй, вырастил детей и теперь работал в кооперативе. Фучик долго пропадал у этого старика — ещё бы, какая неожиданная встреча с земляком из его родного Пльзена! И где? На берегу Иссык-Куля!

...Вот так мы миновали уже десятки подъёмов и спусков, перевалов и долин, Фучик разговаривал с сотнями людей в аулах, селениях, стойбищах, умывался в шумных ледниковых водах Чу, Нарына и Атбаши. А теперь ещё один перевал — и последний пункт нашего пути, Атбаши.

Стоим возле грузовика. Фучик дал очередной сигнал спутникам и поёжился. Становится всё прохладнее. Луна уже осветила острия вершин перед нами, заснеженный выступ нашей дороги, гранитную стену позади.

Фучик вытаскивает из-за борта машины тулуп Вавры, посмеиваясь, даёт ему: «Ещё простудишься!» Из-под сиденья шофёра достаёт остатки «ерофеича», делает глоток прямо из горлышка и протягивает бутылку другу. Оба понимающе улыбаются. Теперь очередь Вавры пожалеть Фучика и с той же насмешливой галантностью опустить на его плечи второй огромный бараний кожух. Оба пробуют согреться — тяжеловатыми петушками насакивают друг на друга. Фучик заглядывает в глаза Вавре: «А правда, хорошо, что мы дали себя увезти памирстроевцам?»

Его немного мучит, что товарищи из обкома во Фрунзе могли обидеться: «Сбежали гости!» Но как было не сбежать?

Дней двенадцать назад, гуляя по Фрунзе, мы случайно забрели в правление Памирстроя, чтобы разузнать о рейсах и маршрутах вглубь страны. Главный инженер предложил нам завтра же на рассвете в «Голубом экспрессе» отправиться к Иссык-Кулю, чтобы не опоздать к машине с валенками, которая должна будет из Рыбачьего выехать к Атбашам и пройти по всей трассе будущего Памирского тракта.

— Другой такой возможности у вас больше не будет в этом году... Это, наверное, последняя машина...

Нам повезло. Однако дребезжащий автобус «Голубой экспресс» застрял в Токмаке. К нашему счастью, «улан» задержал в Рыбачьем машину Карима. И Фучику удалось то, о чём он мечтал, — увидеть Иссык-Куль.

Теперь путь подходит к концу. Ещё немного — и повернём обратно; правда, нам очень хочется ещё добраться по Иссык-Кулю до Пржевальска: в тех краях, говорят, виден сам Хан-Тенгри.

Светает. Фучик смотрит, как обращённые к востоку боковины хребтов начинают голубеть, а дальние вершины едва заметно розовеют... Издалека слышится голос Карима. Наши спутники возвращаются. Фучик даёт очередной сигнал. Ему, кажется, доставляет удовольствие будить этот покой. Или, может быть, просто захотелось услышать эхо в горах. Фучик подходит, обнимает нас за плечи, шумно набирает полную грудь морозного воздуха и повторяет:

— Я ещё никогда не был так счастлив!

Нам пришлось вернуться в Москву раньше Фучика: в Рыбачьем нас ждала телеграмма с вызовом на работу. Фучик продолжал путешествие по Средней Азии один.

В ноябре он прислал нам из Ташкента письмо, которое, хоть и весьма сжато, завершает этот короткий рассказ о последнем этапе путешествия. Фучик писал нам:

«...Разрешите поздравить вас с праздником из Ташкента. Недавно я вернулся с демонстрации. Никогда бы я не смог себе представить, что в Ташкенте она бывает такой многолюдной. Прошло несколько красивых колонн, особенно колонна Наркомзема — то есть хлопок. Теперь у меня первая свободная минута, и я могу вам написать, так как в Ташкент я приехал только вчера утром. До этого я всё ещё бродил по киргизским вершинам. Во Фрунзе я остановился всего лишь на один-единственный день. И так я namного опаздываю. Разговор с фрунзенским культпропом меня не беспокоит. Не думаю, чтоб они могли мне дать больше, чем «обобщение» того, что я сам видел. А видел я очень многое. До первого числа я жил в аулах и кишлаках. Был ещё далеко за Караколом (Пржевальск), словно прошёл обратно по пути, который проделали в своём развитии киргизы: я стал кочевником... На пароходе мы ехали превосходно... но обратно я ехал на автомобиле, и это было адское мучение. Дорога просто невероятная. По сравнению с ней дорога Рыбачье — Атбаши может показаться первоклассным асфальтированным шоссе. К тому же ещё изменилась погода. Шёл дождь и снег. Двести тридцать

пять километров из Каракола в Рыбачье мы проделали в два с половиной дня и... по крайней мере треть пути — на одном боку. Задние колёса машины всё время скользили. Наконец им удалось стащить нас с дороги чуть ли не в самый Иссык-Куль.

К счастью, ни с кем ничего не случилось. Автомобиль лёг на бок, но не совсем перевернулся.

С нашим шофёром Зубковым, с которым мы проделали наше путешествие в Атбаши и обратно, кончилось гораздо хуже. В следующий рейс по тому же маршруту, как раз в то время, когда он выбрался из Нарына, пошёл снег. Примерно на том же месте, где и с нами это случилось, автомобиль забуксовал и слетел в пропасть. Итог печальный: четверо убитых, восемь тяжело раненных, в том числе и сам Зубков, а Карим, говорят, — смертельно. Теперь уже путешествовать здесь очень опасно. От Быстровки до Фрунзе мы ехали по снегу... Промёрз я за последние дни так, что и сейчас ещё у меня ноги и пальцы рук лишены чувствительности, хотя здесь, в Ташкенте, красиво и солнце печёт не меньше, чем в лучшие дни нашего пребывания... Говорят, что в «Правде Востока» написали о нас целый роман. Я ещё этого не читал, но боюсь... Теперь я опять могу начать писать. В горах это действительно никак не удавалось... Еду опять на Чирчикстрой — закладывают плотину!.. Множество раз приветствую вас.

Ваш Юло».

Что скажет Клем?

Москва. Морозные декабрьские сумерки. Фучик болен. Когда недели две назад он выходил из вагона ташкентского поезда, ему уже не давал покоя кашель и глаза его подозрительно блестели. Поехали к нам.

Врач посмотрел, сказал:

— Воспаление лёгких. В больницу!

Фучик не согласился. Нет, он знает себя. Это только небольшая простуда. Он переедет к себе в гостиницу.

После долгого спора пришли наконец к компромиссному решению: он останется у нас и будет лежать на своей любимой тахте возле книжных полок, а мы должны устроить ему подставку для работы, чтобы он мог писать.

— Болезнь болезнью, а план выполнять надо! — твердил он нам. — Люди ждут. Я не могу валяться без дела. Я и так разъезжал сколько...

Каждый день приходит врач. Каждый день ставят ему банки и горчичники. И каждый день Фучик утверждает, что теперь он уже выздоровел окончательно. Ставит на секунду термометр подмышку, потом, по-детски плутовато озираясь, сует его под подушку. На термометре — неизменные тридцать шесть и шесть. Но показания температуры разительно расходятся с показаниями пульса. Доктор предлагает кому-нибудь из нас взять бюллетень и последить за больным. Сложный больной!

Фучик, как всегда, утверждает, что лучше всего побеждать болезнь работой. (Правда, это ему не всегда удавалось: после одного из таких экспериментов он писал нам из Праги: «Хотел победить грипп и получил воспаление нервов».)

...Морозные декабрьские сумерки. За окном сквозь вечернюю синеву видны уже огни в окнах противоположного дома. И в комнате синее всё. Только жёлтое старинное сюзане, которое Фучик сам выискал на ташкентском базаре, сохраняет солнечное тепло своих красок. Оно висит у Фучика над изголовьем. Он потребовал, чтобы на время его болезни было снято зелёное и повешено это — жёлтое, его любимое. Воля больного — закон. Зажжённая лампочка освещает побледневшее лицо Фучика. Резче выступают скулы, и глубже запали глаза. Он полусидит, полулежит,

облокотившись на выложенные углом подушки, ноги прикрыты полосатым таджикским халатом — подарком Айни, на юбилее которого Фучик успел побывать, заехав из Ташкента в Сталинабад.

Фучик читает вслух свой только что написанный очерк о Нуринисе Гулям, которую муж — гордый её трудовыми успехами — провёз по родному селению верхом на осле: впервые она ехала, а он шёл.

Фучик работал с утра. Сначала долго листал блокнот. Потом долго смотрел в окно. Просил дать ему Семёнова-Тяньшаньского. Просил почитать немного Омара Хайяма и Джами. Стихи ему необходимы, чтобы найти нужный тон. Они служат ему своего рода лирическим камертоном. Ведь и когда он писал очерки о Москве, о Ленинграде, о призыве в Красную Армию, о двух депутатах Моссовета, он каждый раз тоже просил меня или Вавру почитать ему стихи. Но тогда это бывали Маяковский, Багрицкий, Тихонов, а иногда Лермонтов или Пушкин...

«Настроившись», он взял наконец ручку и потом весь день заполнял листок за листком мелкой зелёной вязью. Писал он быстро, не отвлекаясь. Заходила медсестра взять кровь на анализ. Он выставлял руку, не отрывая глаз от очередного листка, и просил: «Поскорей только!» Ставили перед ним еду, он отодвигал тарелку в сторону: «Подожди!»

...Теперь работа, очевидно, закончена, он выпивает залпом чай, закуськает, но глаза его тем временем всё ещё скашиваются на написанное, а рука переворачивает листки. Сейчас он читает вслух. И работа продолжается. Вот он вдруг останавливается, взглядом пробегает прочитанное и вычёркивает добрых полстраницы. Непонятно! Как будто ничего плохого в них не было: подробное описание пейзажа, мусульманских обычаев, неожиданное, несколько усложнённое, но точное сравнение — любимый писатель не устыдился бы этих строк!

Читает дальше. Снова останавливается, снова перечитывает и снова вычёркивает. Правда, ассоциация пошла здесь по литературному руслу, но он остроумно возразил иностранному путешественнику Вамбери, писавшему об этих краях. Разве это плохо?

Ещё несколько таких же остановок. Ещё несколько таких же ампутаций. Даже жалко становится. Вычеркнуто точное описание аула, вычеркнута завистливая болтовня кумушек, вычеркнуты переживания мужа Нуринисы, которому вовсе не так просто итти пешком позади осла, когда он всю жизнь ездил верхом, а она шла позади. И, наконец, вычеркнуты прелестные, полные лирической взволнованности признания самого Фучика. Чтение закончено. Отложив на столик аккуратную стопку почти квадратных, мелко исписанных листков, Фучик, усталый, но довольный, опускается на подушки.

Несколько минут мы молчим.

— А мастеровому Клему твой очерк понравится? — Уже давно хотелось задать ему этот вопрос, сегодня он вырвался не случайно. И не только потому, что вспомнилось, как в первый день нашего знакомства Фучик с глубокой заинтересованностью говорил о суровом немногословии и требовательности вечно занятого своим делом пражского мастера Клема — читателя особого склада. Не только поэтому.

Дело в том, что на днях мы читали вслух и долго обсуждали небольшой рассказ Фейхгвангера «После сезона» («Кельнер Франц»). Речь там идёт о прославленном европейском писателе и о маленьком кельнере в провинциальном курортном городке. Писателя этого уже давно признала и захвалила пресса. Он богат, популярен, каждое его произведение публика встречает с восторгом. Однако есть лишь один человек, чьим мнением он по-настоящему дорожит. Это кельнер Франц... Маленький, сдержанный кельнер всю жизнь подаёт кофе. Он услужлив. Но писатель знает, а Франц и не скрывает этого, что он, кельнер, вовсе не склонен поклоняться перед признанной знаменитостью только оттого, что она

знаменитость. В судьи он не напрашивается, но писатель всё чаще и чаще мысленно обращается к этому независимому человеку. Он всё больше уважает его и, быть может, невольно, не всегда осознанно, «прочитывает» каждое своё слово глазами маленького кельнера... Знаменитый писатель при смерти. С трудом пишет он последнее своё произведение. И мысль, что скажет о нём кельнер Франц, — его последняя мысль.

К разговору о взаимоотношениях писателя и кельнера Франца мы возвращаемся много раз.

— Да, каждый писатель, если это не мещанин и эгоцентрик, должен иметь своего кельнера Франца.— Фучик обдумывает сказанное, потом уточняет: — Даже эгоцентрик всё-таки всегда на кого-нибудь оглядывается...— Ещё минута раздумья, и Фучик добавляет: — Конечно, от характера писателя зависит, станет ли он подлаживаться под мнения этого самого Франца или сумеет увлечь Франца за собой. Разумеется, надо чувствовать полную ответственность перед тем, кто тебе доверился или кому доверился ты. Но главное, — заканчивает мысль Фучик, — главное, конечно, кого ты избрал своим Францем! У героя Фейхтвангера это кельнер, у Джойса... да, всё это субъективно и зависит от писателя. Но ещё больше от этого зависит писатель сам.

— Так ты думаешь, мастеру Клему твой очерк понравится?

Фучик лежит, сцепив пальцы рук под головой. Он не удивлён вопросом и, кажется, рад, что секрет его разгадан без психологических объяснений, до которых он вообще небольшой охотник. Как бы оправдывая все сокращения в очерке о Нуринисе Гулям, он говорит:

— Сейчас, когда я так далеко от дома, я особенно часто сажаю Клема рядом с собой...

— Но ты ведь сам любишь эти слова Чехова: надо не Гоголя опускать до народа, а народ поднимать до Гоголя!

Фучик даже подскакивает. Он в обиде за мастерового Клема.

— Почему опускать? Почему поднимать? Я говорю с рабочим человеком, который не привык зря терять время, не привык делать лишние движения! Он знает, что лишняя нарезка может только испортить гайку, что лишние украшения на кузове не ускоряют хода машины... Я учусь у него этой великой экономии. Ведь в этом — мастерство, ты понимаешь?

Я всегда живо вспоминаю этот разговор с Фучиком, когда думаю о той его главной работе, которой он отдавал всё свободное время после возвращения из Средней Азии,— о романе.

Прощай, Москва!

Раннее первомайское утро 1936 года. Фучик накануне приехал из Ленинграда. Ему остаётся пробыть в нашей стране считанные дни.

На столе — праздничный завтрак, но мы торопимся на демонстрацию и не засиживаемся. Фучик натягивает плащ, вынимает из кармана гребёнку и привычным движением проводит ею по волосам, а другая рука следом приглаживает их ладонью; посмеиваясь, он расправляет и свежेत्रащённую бородку, которая совсем изменила его лицо, достаёт берет и смотрит на нас немного смущённо:

— Настоящий иностранец, да?

Он отбрасывает берет и натягивает кепку. Ему неприятна даже самая мысль, что кто-то примет его в Москве за чужеземца.

— По какому маршруту вы пойдёте? — спрашивает он.

— Фрунзенская набережная, Арбат, улица Коминтерна.

— Я вас встречу на Арбатской площади, слева, у магазина.

— То есть как? У тебя ведь пропуск на трибуну?

— Ну что ты так смотришь? Я погляжу парад, пробуду там, пока пройдут знаменосцы демонстрации, а потом прибегу к вам, в колонну.

Вы мне местечко оставьте в шеренге. По Красной площади пойдём вместе. Петь будем! — Он смеётся.

В подъезде мы пробиваемся сквозь толпу ребятишек, нетерпеливо высматривающих, когда наконец тронутся все эти танки, пушки, броневики, которые с ночи ещё выстроились вдоль улицы Горького.

— Так ты постарайся, Вавра, по Арбату итти с правого края. Будешь мне маяком, — бросает Фучик напоследок, весело смерив взглядом двухметровый рост своего друга. Махнув нам рукой, он направляется к Красной площади.

Проходит несколько часов. Военный парад кончился. Над головами промчались замыкающие звенья истребителей. Шлюзы у Красной площади, наверное, уже открылись, и поток демонстрантов Фрунзенского района тронулся по своему обычному руслу. В узком канале Арбата, уже в районе Староконюшенного, мы замедляем шаг; фланговые подравнивают ряды; транспаранты вздымаются вверх. Секретарь нашей комсомольской организации запевает замечательный эйслеровский гимн:

Заводы, вставайте,
Шеренги смыкайте,
На битву шагайте!
Шагайте!
Шагайте!

Взявшись за руки, мы шагаем, словно этот призыв обращён теперь именно к нам. Мы поём, как могут петь только юноши и девушки, уверенные, что им ещё предстоит сражаться в этой жестокой битве и далеко не в последних рядах.

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами,
Хоть нет вас в колоннах...

Вдруг прямо над ухом раздаётся знакомый сильный голос, и Фучик, потрясая в воздухе, словно двумя связками гранат, серебристыми эскимо и протягивая их товарищам направо и налево, подхватывает песню.

Он очень весел сегодня, Фучик, он как-то особенно щедро весел, он окликает друзей и заражающе хохочет. Его карманы набиты конфетами, в его глазах столько радостного дружелюбия, что видно — он действительно счастлив, попав в оживлённую толпу москвичей-демонстрантов.

Уже близка библиотека Ленина. Как весело просвечивает сквозь стальные конструкции строящегося нового здания разрезанная на четырёхугольники, конусы и круги весенняя синева неба. Фучик наклоняется и говорит:

— Посмотри, вот это я люблю больше всего! Если бы я был советским художником, я бы теперь рисовал, наверное, только молодых людей, леса будущих домов и солнце.

— Почему «только»?

— Нет, ты не понимаешь... В молодом парне всё в движении, всё в будущем. И в строящемся доме — тоже. Вот в этом — наша жизнь!

Колонны с улицы Горького, Петровки, площади Дзержинского сливаются у Исторического музея. Фучик возбуждённо оглядывает это людское море.

— Смотри, сколько нас!

Мы поднимаемся вдоль Кремлёвской стены и снова поём:

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами,
Хоть нет вас в колоннах...

Фучик заметно волнуется. Проходя мимо Мавзолея, он срывает с головы кепку и, подняв крепко сжатый кулак, кричит по-чешски: «На здар!» Когда он очень взволнован, он всегда говорит по-чешски.

Сегодня утром он стоял здесь, слева, на трибуне, как иностранный корреспондент. Он был пусть дорогим, но всё же гостем, зрителем. Он был, как полагается при исполнении служебных обязанностей, сдержан, «благовоспитан». Сейчас он проходит по площади как рядовой солдат армии коммунизма, теперь он может уже до конца быть самим собой. Он кричит: «Чест праци!» — и снова поднимает высоко над головой при ответственно сжатый кулак. Теперь он весь отдаётся порыву.

Наверное, именно эти минуты, это первомайское утро в Москве, вспоминал Юлиус Фучик первого мая 1943 года в 267-й камере Панкраца, за четыре месяца до казни. «Мы вместе с теми, кто сейчас свободно поёт на воле, с теми, кто ведёт бой, как мы...» — писал он в своём дневнике. И дальше продолжал не по-чешски, а по-русски: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах...»

Ему вспоминался, наверное, и шумный вечер того первомайского дня... Мы с балкона смотрим вниз, на бурлящую улицу Горького. Сквозь людскую гущу безуспешно пробивается неуклюжий, но настойчивый троллейбус. Шеренга молодёжи весело поёт и не оборачивается на гудки упрямого водителя. Сквозь это смеющееся море не проедешь.

Фучик полуспрашивает, полупредлагает: «Мырнём?» Ему почему-то нравится некоторые слова произносить, коверкая на свой манер: «мырнём», «огурцей», «лягнуться» (вместо «лечь»)... Это не от незнания, а от какого-то вечного ребячества, живущего в нём.

— Мырнём? — спрашивает Фучик, показывая с балкона вниз.

Мы с удовольствием соглашаемся. Выходим на улицу. Сначала идём по тротуару, рассматриваем витрины, с пристрастием обсуждаем выставленные там проекты будущих зданий и планировки улиц.

— Почему не планируют памятников? — спрашивает Фучик. — В Москве до сих пор нет памятника Марксу и Энгельсу. Я буду на днях у председателя Моссовета, обязательно спрошу его.

В одной из витрин Фучику очень нравится проект будущего дома, кажется, на Можайском шоссе. Строгие благородные линии, никаких решёточек, башенок, зубцов, колонн.

— Ты понимаешь, каждый выступ в этом доме красив, потому что необходим. — Повернув лицо к нам и рассекая воздух полусогнутой ладонью, Фучик убеждённо продолжает: — В нём нет суетливого, услужливого желания нравиться, в нём величественное чувство собственного достоинства и сдержанная уверенность в себе строения, которое войдёт в коммунизм. — Фучик говорит о доме почти как о живом существе. — Ты понимаешь, повар живёт часом, газетчик — днём, сапожник — может быть, годом, но наш архитектор, архитектор-коммунист, должен жить столетиями. Он обязан уже сейчас жить в будущем! Если бы я был архитектором...

Мы прерываем его монолог весёлым смехом: сегодня Фучик уже хотел быть и пионером, и художником, и строителем, и геологом... А с какой мечтательностью он произнёс после демонстрации: «Эх, если б я был настоящим писателем!»

И случись так, как в сказках случается: будь он о двенадцати головах, будь у него десятки рук — он бы тут же для них нашёл особые звания, и все эти головы и руки строили бы каждая что-то своё, исследовали, лечили, рисовали, писали, обязательно создавали бы нечто необходимое человеку, радостное для него!

Толпа оттесняет нас с тротуара. Мы сходим на мостовую. Теперь уже за нашими спинами с той же настойчивостью мычит клаксон троллейбуса. Теперь уже Фучик — просто москвич, которому весело. Нас сносит

вниз, к площади. Мы отплясываем какой-то невероятный гопак у Манежа, обязательный вальс на Театральной, теряем друг друга, потом снова сходимся и, когда наконец возвращаемся усталые домой, у самой двери общежития долго ещё смотрим на пляшущую в пёстром венке девочку лет пятнадцати...

-- Вот это радость! — говорит Фучик, кивая на неё. И, открывая дверь, добавляет: — Если у меня когда-нибудь родится дочь, я назову её Радость...

Пятое мая 1936 года. Его последняя ночь перед отъездом из Москвы. Уже вчера Фучик сдал в «Ново-Московской» ключ от номера. Вещи его у нас. Отъезд неожиданно был отложен на сутки, и сегодня целый день он приводил в порядок свои бумаги. Укладывал в чемодан аккуратно перевязанные крест-накрест книги, черновики очерков и статей и стопки написанных глав романа.

Всего лишь два месяца назад мы сидели в узенькой комнатухе Фучика в гостинице «Ново-Московская» и он читал нам первые главы этого романа. Кончит абзац — молча, внимательно поглядит на нас, кончит главку — спросит, не скучно ли.

Небольшие листочки переходили из одной стопки в другую.

Всю эту зиму Фучик вставал чуть свет, и вот написанных листков уже накопилось много, очень много...

Фучик настойчиво просил никому не рассказывать об этой его работе. На случай, если товарищи спросят, над чем это он так много трудится, заготовлен был постоянный ответ: «Сатирическая повесть о кругосветном путешествии в наши дни». (Нечто подобное он действительно начал писать два года назад, в начале своего пребывания в Москве.) Фучик болезненно хмурился, если мы нечаянно, по собственной инициативе, затрагивали эту тему. Но когда созревшее просилось наружу, тогда он сам говорил.

В последнее время он всё чаще заговаривал об отдельных сценах романа, вспоминал биографии героев, объяснял их характеры. До сих пор звучат у меня в ушах протяжные и спокойные интонации, которые он придал репликам Янека — Самуэля.

Фучику казалось, что образ этого главного героя выходил у него ещё недостаточно убедительным, расплывчатым. Он искал лаконичную, сдержанную манеру письма, а ему виделось, что он слишком часто растекается в описательности и что, кроме того, в тексте слишком навязчиво прорываются его субъективные симпатии и антипатии к изображаемым людям. Это главным образом касалось не Янека и не второго героя — Вацека, а писателя-неудачника, тщеславного эгоцентрика Иржи, которого социальная и политическая неустойчивость бросала справа налево и слева направо. Фучику не хотелось сразу, на первых же страницах, вызвать у читателя неприязнь к Иржи. Он был глубоко убеждён, что нет неисправимо плохих людей, а есть плохая среда, скверные условия, коверкающие человека.

— Поставь самого плохого человека в среду чистых людей, между которыми существуют чистые, коммунистические отношения, сумеи увлечь его общими интересами — и человек волей-неволей станет другим...

Так подходил Фучик и к образу Иржи, но он боялся, что ненависть к «иржиподобным», накопившаяся в сегодняшней непосредственной борьбе с ними, проскальзывает у него даже в тоне описаний детства ещё ни в чём не повинного мальчика.

— Ты понимаешь, ведь таких — больших и малых — разных Иржи у нас множество среди интеллигенции. И это всё — люди... Они могут делать огромные дела, если избавятся от мелкой возни вокруг своего «я».

Фучик хотел, чтобы, прочитав книгу, «большой» Иржи понял, что именно обрекло его на беспутницу и на бесплодие, а «малый», узнав свои

черты и увидев, что автор желает ему добра, невольно сам испугался бы предстоящего ему будущего. Но для этого Фучику нужно было сохранить в образе Иржи и всё привлекательное: «Да, да, понимаешь, ведь жена Вацека может всё-таки в него влюбиться! Надо дать ей для этого основания — значит, надо избежать авторского произвола».

И Фучик был обеспокоен. Он уверен был, что пока ему всё это не удаётся. Ему легче писать Янека, легче писать Вацека, а Иржи просто не выходит. И ещё больше его тревожило: не бросит ли с первых же страниц такую книгу «старый Клем»? Зачем пльзенскому пролетарию загружать свою усталую голову этой интеллигентской вознёй? Но нет, он, Фучик, убеждён, что из соображений будущего хозяина страны ему, Клему, следует узнать и следует понять, чем живут «иржиподобные». Но как рассказать об этом, чтобы Клем был заинтересован романом?

Он с особенным беспокойством говорил об этом в тот день, когда решился впервые прочитать нам законченные главы. Помню, мы подошли тогда к Москворецкому мосту — старому ещё Москворецкому мосту; за ним высилась «Ново-Московская». Фучик показал глазами на окно своего номера и предложил:

— Зайдём ко мне, я вам почитаю. Сами увидите...

...И всё, что мы прослушали в тот вечер, всё, что мне посчастливилось потом ещё не раз слушать урывками, — рукопись начала романа и наброски глав из его середины, — всё это перевязывалось сейчас, аккуратно укладывалось в чемодан.

Этот чемодан мы будем хранить до его приезда: через несколько месяцев он предполагает вернуться. Если же что-нибудь изменится, он письмом попросит переслать ему рукописи или, скорее всего, по его поручению к нам зайдёт Ян Шверма¹. Товарищу Шверме можно будет всё отдать.

А теперь действительно его последняя ночь в Москве. Мы сидим удручённые, молчаливые, говорим о мелочах, потому что о большом говорить тяжело. Кто знает, что ждёт нашего друга на родине? Легальный въезд в Чехословакию грозит ему тюрьмой.

За эти два года мы так привязались друг к другу! И хочется в последние часы чем-то выразить эту привязанность. А чем её выразишь?

Вавра протягивает Фучику свою новую голубую рубашку.

— Надень её, Юло...

Но Фучик смеётся.

— Знаешь, Ваврик, я, конечно, не суеверен, однако, честное слово, каждый раз, когда я приезжал в Прагу в нсвой рубашке, меня арестовывали или вызывали в полицию...

На Фучике выдавшая виды синяя трикотажная рубашка. В ней он ходил и по Ташкенту, и по Самарканду, и по Москве, и, наверное, ещё раньше — по Праге.

Фучик предлагает:

— Пройдёмся по нашим улицам...

Москва уже спит. Пусто на улицах. Взявшись под руки, мы спускаемся, как и пять дней назад, в первомайскую ночь, вниз, к Охотному ряду.

— Когда мы в следующий раз поедем в Среднюю Азию, — говорит Фучик, — надо будет захватить с собой фотоаппарат.

Мы не отвечаем. Что-то невесело на душе.

Зачем-то переходим на противоположную сторону улицы Горького. Машинально останавливаемся у ярко освещённой витрины книжного магазина за телеграфом. Показывая на какую-то книгу, Фучик говорит:

¹ Ян Шверма — народный герой Чехословакии, один из руководителей Коммунистической партии Чехословакии, погибший в 1944 году во время словацкого народного восстания против гитлеровских оккупантов.

— Завтра надо будет обязательно купить... — но спохватывается и улыбается. Спрашивает: — Вы мне писать-то хоть будете?..

И снова мы идём молча — по Александровскому саду, по Красной площади, по Кремлёвской набережной. Долго сидим на Гоголевском бульваре. Светает. Снова идём. Переулки Арбата, Собачья площадка, Поварская... То из одних ворст, то из других уже выходят женщины с кошёлками — они спешат на Арбатский рынок. Раннее утро. А Фучик всё повторяет:

— Ну, ещё немного походим...

Он не может расстаться с Москвой.

Мы сидим на Тверском бульваре. Мимо, задыхаясь, пробегает мужчина с портфелем. Округлый. Вытирает платочком затылок и лысину. Фучик грустно замечает:

-- Если я напишу вам, что увидимся, когда у тебя, Вавра, брюшко отрастёт, значит моё возвращение в Москву пока отменяется...

Проходят девушки в брезентовых спецовках, резиновых сапогах и больших широкополых шляпах. Метростроевки.

— Московская мода середины тридцатых годов! Езус Мария, самая лучшая мода в мире!..

Наконец Фучик встаёт. Пора. Он говорит в раздумье:

— Как Ленин закончил своё «Государство и революция»? Кажется, так: опыт революции полезнее проделывать, чем о нём писать...

Медленно подходим к дому. Но как ни старайся, часы эти не растянешь — ещё немного, и машина увезёт Фучика. Снова, упрямо нагнув свою темноволосую голову, он говорит:

— Не знаю, как выйдет с романом, не знаю, как выйдет со всеми планами, но книгу о Москве я обязательно напишу. Мне кажется, даже настоящий москвич такую написать не сможет. Вы слишком притёрлись... Впрочем, кто-то сказал, что слишком много чувствовать так же плохо для писателя, как совсем не чувствовать... Понимаешь, это будут лирические очерки. Нет, не так — это будет нечто вроде дневниковых записей: встречи, мысли, чувства, всё, что я видел и пережил здесь... Ну, помнишь, у Стендаля, об Италии?.. Это, наверное, будет всё-таки моей лучшей книгой! Ах, чёрт побери, — вскидывает он голову, — как раз сейчас я мог бы написать её залпом...

«Мог бы!»

Спустя два месяца, в июле 1936 года, приходит письмо из Праги: «...Я опять стал шефом «Руде право». ...Результатами я ещё, конечно, не доволен, но я убеждён, что осенью нам всё-таки удастся сделать газету такой, какой она должна быть. ...Состояние, в котором я живу, очень удивительно. Не всё в порядке, но в Р. («Руде право». — *И. Р.*) я хожу, и они (полиция. — *И. Р.*) об этом знают. Пока всё без последствий. Теперь ситуация такова, что... всё возможно... Ещё многое у меня на душе. Но сегодня уже не всё выскажу. Машинка ждёт передовичку... Более крупные планы должны были опять уступить дорогу. Но, надеюсь, не совсем... Надеюсь, что мы опять встретимся, что у тебя, Вавра, уже отрастёт брюшко... что мы ещё заедем в гости к друзьям за Гиссарский хребет...» Значит, свидание не скоро.

Через три года он снова пишет:

«Работы у нас тут теперь много... Роман, конечно, писать не приходится. Но всё-таки надеюсь, что даже в этом году мне удастся писать — если не случатся большие перемены в стране. Есть такая опасность...»

«Большие перемены» в стране случились. В марте 1939 года гитлеровские войска оккупировали Чехословакию. Последней, лучшей книгой Фучика оказался «Репортаж с петлей на шее»...

А чемодан с рукописью начальных глав романа всё ещё лежал у нас и ждал своего хозяина.

...Однажды, в конце ноября или в декабре 1943 года, Вавра на несколько суток приехал из армии, и к нам, на огонёк, зашёл Ян Шверма. Мы сидели в холодноватой комнате, перебирали в памяти события недавнего и далёкого прошлого, перебирали друзей и, как часто со всеми случалось в те дни, старались представить себе, кого и куда забросила война... Хотелось верить, что все живы, что все где-то борются и в один прекрасный день снова соберутся вместе — ну, хотя бы вот здесь, в этой комнате. Без конца говорили и о Фучике. Наверно, он в эту минуту сидит где-нибудь в предместье Праги, завесил двери и окна комнатухи одеялами и слушает родные голоса московского радио. Небось, ворчит... А как он выглядит? Борода, вероятно, буйно разрослась и уже почти закрывает лицо. Вавра с улыбкой вспомнил, как в горах за Атбашами обросший густой пятидневной щетиной Фучик юмористически жаловался, что хотя вообще-то бог к нему и неплохо относится, но при распределении наследства Маркса спутал немного и вместо марковского ума выдал ему только марксову бороду. Но сейчас-то он, конечно, на это не жалуется! Наверно, и мы бы его не узнали, встретив на улице...

Не знаю, осведомлён ли был Шверма в те минуты о судьбе Фучика. Может быть, слышал о его аресте, но о казни в Берлине тогда ещё никому в Москве не было известно. Однако Яну Шверме очень хотелось, чтобы Фучик сидел в тот вечер именно у радиоприёмника. Он завёл разговор о том, как слушают передачи из Москвы в Праге, в Братиславе. Говорил, что вот теперь, когда «война перевалила через хребет Сталинграда», именно Фучика не хватает в московской радиостудии: прочесть бы сейчас для чехов по радио его очерк или рассказ!..

Высокий, худощавый, слегка сутулящийся Шверма сидел на поручне того самого кресла, где часто сживал Фучик, спиной к затемнённой синей плотной бумагой окну, и с полной затаённого дружелюбия улыбкой на светлом большелобом лице говорил, что всего более сейчас необходимо это фучиковское умение искренне и душевно разговаривать с читателями и слушателями... Шверма спросил, не сохранилась ли у Вавры книга Фучика «В стране, где наше завтра уже стало вчерашним днём». И, вдруг вскочив, обрадованно воскликнул:

— Слушай, у тебя ведь остался чемодан с его рукописями! Завтра же посмотри, может быть, что-нибудь пригодится для радио... — и добавил: — Мы передадим в эфир несколько его очерков, пусть немцы подумают, что настоящий Фучик в Москве. Это, кстати, может оказаться очень полезным для него!

Книгу Фучика с дружеской надписью мы тут же достали с полки и дали товарищу Шверме. А покрытый пылью чемодан, семь лет ожидавший на антресолях той счастливой минуты, когда он снова понадобится своему хозяину, был открыт на следующее утро.

В течение двух дней мы читали и перечитывали рукописи Фучика. Перед нами оживали два года, прожитых вместе, — мы снова ходили с Фучиком по парку культуры, мчались в поезде, слушали здесь, в этой комнате, его рассказ о Ленинграде, усталые, опускались на снега тьяншаньских перевалов... Ведь человеческая память — огромное хранилище жизни: только открой туда доступ живому, тёплому свету — и вновь увидишь, ощутишь давние события, пожатия рук, взгляды, движения, запахи и краски отжитого, услышишь звуки голосов и слова людей, которых, быть может, и нет уж среди живых.

Начало романа мы дочитывали ночью второго дня. Вавра ждал машину, чтобы уехать в свою часть. Шинель его, планшет и чемоданчик лежали наготове. А мы читали... И в кругу героев Фучика нас удерживали

вал в те тревожные, напряжённые часы не только долг перед другом. Нам просто ещё раз хотелось побыть наедине с ним, поговорить о людях, жизнь которых была ему, а потому и нам, так дорога... Это молчаливое свидание с Фучиком отвлекало от тяжёлых мыслей о предстоящей разлуке.

Последнюю из написанных глав фучиковского романа я читала уже утром, без Вавры: он снова уехал на фронт. Он просил меня днём обязательно передать чемодан Яну Шверме, и я это сделала.

Всё уходило в тот день, чтобы уже никогда не вернуться...

Ушёл с чемоданом и товарищ Шверма — я его больше не видела, он погиб через год во время словацкого восстания. След рукописей Фучика потерялся и пока не найден.

Когда весной 1943 года у нас с Ваврой родилась дочь, мы вспомнили высказанное в тот майский вечер желание нашего друга и назвали её Радостью — Радой.

Вот она, двенадцатилетняя пионерка в красном галстучке, стоит сейчас рядом со своим братишкой на балконе и смотрит вниз, на праздничную улицу Горького. Она никогда не видела того, кому обязана своим именем. Но и она и её брат хорошо знают его по портретам. И мне хочется рассказать им о весёлом, жизнелюбивом человеке, который заботился об их будущем, когда обоих ещё не было на свете, который отдал свою жизнь за их радость.



ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

★

РИМСКИЕ РАССКАЗЫ

Альберто Моравиа (род. 1907) — один из крупнейших современных итальянских прозаиков, мастер психологического романа и новеллы. Такие романы и повести Моравиа, как «Равнодушные» (1929), «Провинциалка» (1937), «Рим-лянка» (1947) и многие другие, широко известны за пределами Италии.

На русский язык произведения Моравиа переводятся впервые. Публикуемые ниже новеллы взяты из сборника «Римские рассказы» (1954), который свидетельствует о новом этапе в творчестве писателя. До этого времени основной темой произведений Моравиа было разоблачение моральной опустошённости, безысходного пессимизма буржуазной интеллигенции, пороков правящей верхушки. В шестидесяти «Римских рассказах» писатель обращается к народной среде, изображая жизнь, чувства и стремления простых людей труда.

МЛАДЕНЕЦ

Та добрая синьора, что принесла нам пособие из общества помощи бедным, тоже нас спросила, зачем это мы заводим столько детей. Жена моя в тот день была не в духе, взяла да и выложила ей всю правду. «Были б у нас деньги, говорит, мы бы вечером в кино отправились, а раз денег нет, так мы отправляемся в постель — вот дети и рождаются». Синьора на такие речи обиделась и ушла, не простившись. А я отругал жену, потому что не всегда правда хороша; прежде чем говорить напрымик, сперва посмотри, с кем имеешь дело.

Когда я был молод и неженат, то часто почитывал в газетах отдел римской хроники; там рассказывается обо всяких несчастьях, что могут приключиться с людьми: грабежи, убийства, самоубийства, уличные происшествия. И мне тогда казалось, что из всех этих несчастий одно-единственное уж никогда не выпадет мне на долю: то, что в газетах называют «случаем, достойным сострадания», — когда человек уж настолько несчастен, что вызывает к себе жалость без всяких особенных бедствий, одним тем, что существует на свете. Как я сказал, я был тогда молод и не знал, что значит содержать большую семью. А теперь я вижу, что мало-помалу превратился в самый настоящий «случай, достойный сострадания». Вот, например, читаешь в газете: «Они живут в самой чёрной нужде». А мы как раз и живём сейчас в самой что ни на есть чёрной нужде. Или: «Они ютятся в доме, который и домом-то назвать нельзя». А я живу в Тормаранчо¹ с женой и шестью детьми в комнате, где между тюфяков и ступить некуда, а в дождик вода по полу гуляет всё равно как на улице. Или такое, например: «Несчастливая, узнав о своей беременности, приняла преступное решение избавиться от плода своей любви». Так вот: мы с женой в полном согласии приняли это самое решение, когда узнали, что у нас должен родиться седьмой ребёнок. Мы порешили, как только погода позволит, оставить младенца в какой-нибудь церкви, положившись на милосердие того, кто найдёт его первым.

¹ Тормаранчо — предместье Рима, где беднота ютится в лачугах из досок и жести. (Примеч. перев.)

Благодаря содействию тех добрых синьор жену мою устроили рожать в больнице. Оправившись, она с грудным вернулась в Тормаранчо. Войдя в комнату, она сказала мне:

— Знаешь, хоть больница — это больница, только-я готова была бы остаться там, лишь бы не возвращаться сюда.

Младенец словно понял эти слова и завопил прямо оглушительно. Крепкий, красивый был малыш, и голос громкий, ничего не скажешь: когда он начинал реветь по ночам, то уж никому спать не давал.

Наступил май, и стало тепло, так что можно было выйти на улицу без пальто. Вот мы и отправились из Тормаранчо в Рим. Жена прижимала ребёнка к груди, нагнув на него столько тряпья, словно собиралась оставить его в снежном поле. Когда мы добрались до города, она, вероятно, чтобы перебороть своё горе, принялась говорить без умолку; дышит тяжело, вся растрёпанная, глаза широко раскрыты...

Сначала она завела разговор про разные церкви, где мы могли бы его оставить, и всё объясняла мне, что нужно выбрать такую, куда ходят богатые; ведь если малыша подберёт бедняк вроде нас, так пусть лучше уж ребёнок с нами останется. Потом она сказала, что ей хочется выбрать церковь во имя Мадонны: ведь и у Мадонны был сын, говорит, она многое может понять и исполнит наше желание. От этих разговоров я устал, и во мне поднялось раздражение: ведь и мне было не сладко, потому что мне вовсе не хотелось делать этого. Но я повторял себе, что нельзя терять головы, нужно быть спокойным и подбадривать жену. Я что-то возразил ей, так просто, чтобы перебить этот поток слов, и предложил:

— Давай оставим его в соборе Святого Петра.

Она поколебалась, а потом говорит:

— Нет, там настоящий проходной двор... его могут и не заметить... надо попробовать в маленькой церкви на Виа Кондотти, там кругом такие роскошные магазины... ходит много богатых людей... Самое подходящее место.

Мы сели в автобус, и среди публики она поутихла. Только всё крепче завёртывала ребёнка в одеяльце и время от времени осторожно открывала личико и глядела на него. А он спал, уткнув свою розовую мордашку в тряпки. Он был одет плохо, как мы, только рукавички у него были хорошенькие — из голубой шерсти, и он всё выпрастывал ручки, словно чтобы показать их. Мы вышли около театра Гольдони, и жена сейчас же снова стала говорить без остановки. Остановилась у ювелирного магазина и, показав мне на драгоценности, выставленные на красном бархате в витрине, завела своё:

— Посмотри, какая красота... На эту улицу люди ходят, чтобы купить драгоценности и другие красивые вещи... Бедняков здесь не бывает... И вот в промежутке между покупками они зайдут в церковь помолиться... настроение у них хорошее... увидят ребёнка и возьмут его.

Она всё повторяла одно и то же, смотря на бриллианты и прижимая к груди ребёнка, будто рассуждая сама с собой, а глаза у неё были какие-то дикие, и я не смел перечить ей.

Мы вошли в церковь. Она была маленькая, окрашенная внутри под жёлтый мрамор, с несколькими приделами и пышным главным алтарём. Жена моя сказала, что ей эта церковь представлялась совсем другой, а теперь она ей что-то не очень нравится. Но всё-таки она окунула пальцы в святую воду и перекрестилась. Потом, с ребёнком у груди, она медленно стала обходить церковь, недовольно и недоверчиво оглядывая её. С купола, через верхние окна, лился холодный яркий свет. Жена моя всё бродила по церкви, рассматривая капеллы, алтари и картины, словно проверяя, стоит ли оставлять здесь маленького. Я шёл за ней в нескольких шагах, всё время поглядывая на вход. Вошла высокая синьорина в красном, волосы светлые, как золото. Она встала на колени, так что её узкая

юбка затрещала, помолилась самую малую минуточку, перекрестилась и вышла из церкви, не взглянув на нас. Жена моя, увидев это, говорит:

— Нет, здесь не выйдет... Сюда заходят люди вроде этой синьорины, им только и дела, что поразвлечься да по магазинам шляться. Пойдём отсюда.— И с этими словами она вышла из церкви.

Мы прошли порядочно по Корсо, всё бегом, жена моя впереди, я за ней, и неподалёку от Пьяцца Венеция вошли в другую церковь. Эта была гораздо больше первой, с богатыми занавесами, позолотой, а на стенах под стеклом — полно серебряных сердец, блестящих в полумраке. Здесь было довольно много народу; состоятельные люди, судя по виду: дамы в шляпках, хорошо одетые мужчины. С амвона священник читал проповедь, и вся публика стояла, поворотившись к нему. Я подумал: «Вот удобный случай, никто нас не заметит!» — и говорю жене тихонько:

— Попробуем здесь.

Она кивнула. Пошли мы в боковой придел. Там вроде никого нет, да и так темно, что мы еле видели друг друга. Жена моя закрыла ребёнка лицо краем одеяльца, в которое он был завернут, и положила его на скамью, словно для того, чтобы неудобный свёрток руки не оттягивал. Потом она опустилась на колени и долго молилась, закрыв лицо руками. А я от нечего делать рассматривал сотни серебряных сердец, больших и малых, развешанных на стенах капеллы. Наконец жена моя встала; лицо у неё было совсем убитое. Она перекрестилась и тихонечко пошла из капеллы, я за ней следом. В этот момент священник возопил:

— И сказал Христос: «Камо грядеши, Петре?»

И мне почудилось, будто это он меня спрашивал. Моя жена уже было откинула портьеру у выхода, как вдруг окликают её; мы оба так и подскочили:

— Синьора, вы свёрток на скамье оставили.

Смотрим — женщина в чёрном, из тех ханжей, что целые дни торчат то в церкви, то в исповедальне.

— Ах да,— говорит моя жена,— спасибо, я о нём и забыла.

Забрали мы свёрток и вышли из церкви ни живы ни мертвы.

На улице жена говорит:

— Никто его не хочет, никому он не нужен, бедный мой сыночек...

Ну, словно продавец, который рассчитывал на хорошую торговлю, а на рынке никто его товар не берёт.

И опять она понеслась вперёд, тяжело дыша, растрёпанная, едва касаясь ногами земли. Добрались мы до площади Святых Апостолов. Церковь тут была открыта. Вошли мы, видим — большая, просторная, света мало. Жена шепчет:

— Вот подходящее место.

Решительно прошла в один из боковых приделов, положила малыша на скамью и, не перекрестившись, не помолвившись, не поцеловав даже его в лобик, бросилась к выходу, словно у неё земля горела под ногами. Но едва она сделала несколько шагов, как раздался отчаянный рёв на всю церковь. Подошёл час кормления, а младенец своё время знал и заплакал от голода. Жена моя будто голову потеряла от его громкого плача: она сначала рванулась к двери, потом кинулась обратно — всё бегом — и, не подумав, где находится, уселась на скамью, схватила ребёнка на руки и растегнулась, чтобы покормить его. Только она дала ему грудь, и малыш, вцепившись в неё обеими ручонками, принялся сосать, словно настоящий волчонок, как послышался грубый окрик:

— В доме божьем таких вещей не делают... Пошли прочь отсюда, идите на улицу!

Это был пономарь, старикашка с седой бородкой, а голос у него здоровей, чем он сам. Жена моя встала, кое-как прикрыла грудь и голову ребёнка, да и говорит:

— Но ведь Мадонна на картинах... она всегда с ребёнком у груди.

А он ей:

— Ты ещё хотела бы с Мадонной равняться, бесстыдница.

В общем, ушли мы из этой церкви и уселись на скверике на Пьяцца Венеция. Там жена моя снова дала грудь ребёнку, и он, насосавшись до-сыта, уснул опять.

Тем временем вечер настал, стемнело. Церкви позакрывались, а мы сидим усталые, замученные, и ничего нам в голову не приходит. Меня просто отчаяние взяло при мысли, что мы столько сил убиваем на такое дело, какого и затевать-то не следовало. Я говорю жене:

— Послушай, поздно уж, я больше не могу, давай решать.

Она отвечает зло:

— Это твой сын, твоя кровь... Что же, ты хочешь бросить его так, в уголке, словно пакетик с объедками для кошки!

— Нет, — говорю, — но такие вещи надо или уж сразу делать, без раздумывания, либо не делать совсем.

А она:

— Ты попросту боишься, что я передумаю и отнесу его домой... Все вы, мужчины, трусы!

Я вижу, что ей сейчас перечить нельзя, и говорю примирительно:

— Я тебя понимаю, не беспокойся, но пойми ты: что бы с ним ни случилось, всё будет лучше, чем расти ему в Тормаранчо, в нашей лачуге без кухни и отхожего места; зимой в ней черви, а летом мухи.

Она на этот раз ничего не сказала.

Пошли мы, сами не зная куда, по Виа Национале, вверх, к Воротам Нерона. За ними, немного подальше, есть улочка, совсем пустынная. Вижу, там у одного подъезда стоит закрытая серая машина, пустая. Я сразу сообразил: подошёл к машине, повернул ручку — дверца открылась. Я говорю жене:

— Скорей, вот удобный случай, клади его на заднее сиденье.

Она послушалась, положила ребёнка, и я захлопнул дверцу. Всё это мы проделали в один миг, и нас никто не видел, потом я схватил её под руку, и мы побежали на Пьяцца Квиринале¹.

Площадь была пустая и тёмная. Только у дворца горело несколько фонарей, и все огни Рима сверкали в ночи за парпетом. Жена подошла к фонтану возле обелиска, села на скамеечку, скрючилась вся и, отвернувшись от меня, вдруг как заплачет. Я говорю:

— Ну, что тебя так разбирает?

А она:

— Теперь, когда я его оставила, мне так пусто... мне его не хватает здесь, на груди, где он лежал.

Я говорю:

— Понятно, конечно... Ну, это у тебя пройдёт.

Она повела плечами и продолжала плакать. И вдруг слёзы у неё высохли, ну, как высыхает дождь на мостовой, когда подует ветер. Она вскочила и как закричит в ярости, тыча пальцем на дворец:

— А теперь я пойду туда, доберусь до короля и всё ему выскажу!

— Стой! — кричу я, хватая её за руку. — Ты что, с ума сошла?.. Не знаешь, что короля давно нет?

А она:

— А мне всё равно... Скажу тому, кто сидит на его месте... Кто-нибудь да есть там!

Словом, она бросилась к подъезду и наверняка устроила бы скандал, если бы я не завопил в отчаянии:

¹ Площадь, где находится Квиринал — бывший королевский дворец. (Примеч. перев.)

— Послушай, я передумал... Вернёмся к машине и возьмём ребёнка... Оставим его себе... Не всё ли равно — одним больше, одним меньше.

Эта мысль, видать, у неё всё время сидела в голове и разом вытеснила выдумку про короля.

— Да там ли он ещё? — говорит она, бросившись в ту улочку с серой машиной.

— Ещё бы, — говорю, — ведь и пяти минут не прошло.

И правда, машина была ещё там, но в тот самый миг, как жена моя открыла дверцу, из подъезда выскочил мужчина средних лет, низенький, с холемым лицом, и закричал:

— Стой! Стой! Что вам надо в моей машине?

— Мне надо забрать свои вещи, — ответила жена, не оборачиваясь, и наклонилась, чтобы взять ребёнка с сиденья.

Но тот твердит своё:

— Что вы там берёте? Это моя машина... Поняли? Моя!

Надо было видеть тогда мою жену! Она выпрямилась, да как накинется на него:

— Кто у тебя что берёт? Не бойся, ничего у тебя не возьму, а на твою машину мне наплевать... Вот смотри.

И она действительно плюнула на дверцу.

— А этот свёрток?.. — начал тот растерянно.

А она:

— Это не свёрток... Это сын мой... Смотри.

Она открыла личико малыша, показала его и опять за своё:

— Тебе с твоей женой такого прекрасного сына в жизни не сделать, хоть два века живи... И не вздумай меня задерживать, не то я закричу, позову полицию и скажу, что ты хотел украсть моего ребёнка.

В общем, она ему такого наговорила, что тот, бедняжка, рот разинул и вся кровь ему в лицо бросилась — того и гляди удар хватит. Наконец жена замолчала, повернулась, не спеша пошла прочь и догнала меня на перекрёстке.

МАРИО

Дело было так. Утром я встал пораньше, пока Филомена ещё спала, взял инструменты, вышел на цыпочках из дома и отправился в Монте Париоли, на Виа Грамши, где нужно было починить колонку в ванной. Сколько времени у меня ушло на работу? Наверное, часа два: нужно было снять старую трубу и поставить новую. Кончив работу, я на автобусе и потом на трамвае вернулся на Виа деи Коронари, где я живу и где наша мастерская. Прикиньте время: два часа в Монте Париоли, полчаса туда, полчаса обратно, всего часа три. Что такое три часа? И много и мало, скажу я вам. Всё зависит от обстоятельств. Я потратил три часа на то, чтобы сменить трубу, а другие за это время...

Расскажу по порядку. Только я вышел на Виа деи Коронари и зашагал по тротуару, слышу — меня кто-то окликает. Оборачиваюсь: это старуха Феде, что сдаёт комнаты в доме напротив нас. У этой бедняжки Феде так распухли от подагры ноги, прямо как у слона. Она говорит мне, тяжело дыша:

— Ну и сильный же сирокко сегодня... Ты домой? Не сможешь ли донести кошёлку?

Я отвечаю, что с удовольствием. Перекинул сумку с инструментами на другое плечо и подхватил её кошёлку. Пошли мы рядом, она пыхтит, еле волочит свои ножищи. Потом спрашивает:

— А где Филомена?

— А где же ей быть? — отвечаю. — Дома.

— Ах, дома, — говорит она, качая головой. — Понятно...

Я спрашиваю просто так, лишь для разговору:

— А почему «понятно»?

А она:

— Понятно... Эх, бедняжка ты мой!

Мне это показалось что-то подозрительным. Я подождал немного и опять спрашиваю:

— А почему ж я бедняжка?

— А потому, что жаль мне тебя,— говорит старая карга, отводя глаза.

— Это как же понимать?

— А так, что нынче не то, что в старину... Женщины не такие стали, как в моё время.

— Почему?

— В моё время мужчина мог спокойно оставить жену дома. Какой оставил — такой и нашёл. А теперь...

— Теперь?

— Теперь не так... Ну, довольно... Дай мне кошёлку. Спасибо.

Всё удовольствие этого славного утра было мне отравлено. Я тяну к себе кошёлку и говорю:

— Не отдам, пока вы мне не объясните... При чём тут Филомена?

— Я ничего не знаю,— говорит она,— но предупредить не мешает.

— Да в конце концов,— кричу,— что такое сделала Филомена?!

— Спроси у Альдализы,— ответила она и, вырвав кошёлку, засеменила прочь в своей длинной юбке, да так резво, как я и ожидать не мог.

Ну, я решил, что не стоит сейчас идти в мастерскую, и отправился обратно — искать Альдализу. К счастью, она тоже живёт на Виа деи Коронари. До того, как я встретил Филомену, мы с Альдализой были помолвлены. Она осталась в девушках, и я подозревал, что эту историю с Филоменой выдумала именно она. Я поднялся на четвёртый этаж и сильно застучал кулаком, так, что чуть-чуть не попал ей по лицу, когда она внезапно открыла дверь. У неё были рукава засучены, в руках метла, видно, убиралась. Спрашивает меня очень сухо:

— Тебе что, Джино?

Альдализа — миловидная девушка среднего роста. Только у неё голова великовата и подбородок уж очень вперёд выдаётся. Из-за этого подбородка её прозвали «Щелкунчик». Но этого ей говорить не следует. А я от злости как раз и выпалил:

— Это ты, Щелкунчик, натрепалась, будто, пока я сижу в мастерской, Филомена невесть чем дома занимается?

Она на меня посмотрела бешено и говорит:

— Ты свою Филомену хотел — ты её и получи.

Я шагнул вперёд и схватил её за руку, но сейчас же отпустил, потому что она на меня как-то нежно посмотрела; говорю ей:

— Так, значит, это ты выдумала?

— Нет, не я... А я за что купила, за то и продаю.

— А кто тебе сказал?

— Джаннина.

Я ничего не ответил и повернулся, чтоб уйти. Но она меня удержала и говорит вызывающе:

— Не смей меня звать Щелкунчиком!

— А что, разве у тебя не щелкушка вместо подбородка? -- отвечаю я, выдёргивая руку и сбегая вниз по лестнице через три ступеньки.

— Лучше иметь щелкушку, чем рога! — кричит она, перегнувшись через перила.

Тут уж мне стало совсем не по себе. Мне казалось просто невероятным, чтоб Филомена мне изменила: ведь за те три года, что мы женаты, я от неё ничего, кроме ласки да нежностей, не видел. Но смотри, что за штука ревность: после разговоров Феде и Альдализы именно эти нежности мне вдруг представились доказательством измены.

Джаннина работает кассиршей в закусочной по соседству — всё тут же на нашей Виа деи Коронари. Джаннина — бесцветная блондинка, у неё гладкие волосы и голубые, словно фарфоровые, глаза. Спокойная, рассудительная такая. Я подошёл к кассе и говорю шёпотом:

— Скажи-ка, это ты выдумала, что Филомена принимает гостей, когда меня нет дома?

В этот момент Джаннина обслуживала клиента. Она не спеша потыкала пальцем в клавиши кассы, выбила чек, повторила заказ: «Два кофе» — и наконец спокойно спрашивает:

— Что ты говоришь, Джино?

Я повторил свой вопрос. Она дала клиенту сдачу и отвечает:

— Помилуй, Джино, как я могу выдумать такую вещь про Филомену, мою лучшую подругу?

— Что ж, Альдализе приснилось, что ли?

— Нет, — поправились она, — нет, не приснилось... Но я этого не выдумывала, я только повторила!

— Что и говорить, хорошая подруга, — не вытерпел я.

— Но я ведь добавила, что я этому не верю... Этого тебе, конечно, Альдализа не передала?

— Ну, а тебе-то кто наболтал?

— Вицентина... Она нарочно пришла из прачечной, чтоб мне рассказать...

Я вышел, не простившись, и пошёл прямо в прачечную. Ещё с улицы я увидел Вицентину у стола; она гладила, нажимая на утюг обеими руками. Вицентина — миниатюрная девушка, с лукавой кошачьей мордочкой, смуглая и очень живая. Я знаю, что нравлюсь ей, и действительно, едва я поманил её пальцем, как она бросила утюг и выскочила наружу.

— Джино, как приятно тебя видеть!

— Ведьма, — говорю я ей, — это ты всюду болтаешь, что, пока я сижу в мастерской, Филомена принимает дома мужчин?

Она засунула руки в карманы передника, покачивается и спрашивает насмешливо:

— А тебе не нравится?

— Отвечай, — настаиваю я, — это ты выдумала такую гадость?

— Ух, какой ты ревнивый! — говорит она, пожимая плечами. — А что ж тут такого? Неужели женщине нельзя пяти минут поболтать с дружкой?

— Значит, это ты! Ты!

— Слушай, мне тебя просто жаль, — говорит эта гадюка. — Какое мне дело до твоей жены? Ничего я не выдумывала. Мне это сказала Аньезе, она знает и его имя...

— Как его зовут?

— Это ты у неё спроси.

Теперь-то я был уверен, что Филомена мне изменяет: уж и имя всем известно! «Хорошо, что у меня в сумке ни одного тяжёлого инструмента, — думаю, — не то я б сторяча, чего доброго, мог и убить её». Нет, никак это у меня в голове не укладывалось: Филомена, моя жена, — с другим...

Я вошёл в табачную лавочку отца Аньезе, где она торговала сигаретами, и бросил на прилавок деньги.

— Две пачки «Национальных», — говорю.

Аньезе — девчоночка лет семнадцати, с копной курчавых жёстких волос. У неё толстое бледное лицо, вечно обсыпанное розовой пудрой, а глаза чёрные, как зёрнышки лавровишни. Её на Виа деи Коронари все знают. Мне, как и всем прочим, было известно, что она ужас до чего жадная и готова душу продать за деньги. Даёт она мне сигареты, а я наклонился к ней и говорю:

— Ну-ка, скажи, как его зовут?

— Кого? — спрашивает она удивлённо.

— Дружка моей жены.

Она посмотрела на меня испуганно — у меня, наверное, была в этот момент препротивная физиономия — и говорит:

— Я ничего не знаю.

Я выдавил на лице улыбку.

— Да ну, скажи мне... Всем уж известно, один только я не знаю.

Она посмотрела на меня пристально и покачала головой. Тогда я добавил:

— Смотри-ка, если ты мне скажешь, то получишь вот это,— и вытащил из кармана тысячу лир, что получил утром за починку.

При виде денег она так заволновалась, словно я заговорил с ней о любви. Губы у неё задрожали, она осмотрелась вокруг, схватила деньги и говорит тихонько:

— Марио...

— Откуда ты узнала?

— От твоей привратницы.

Значит, это была правда! Мы, как в игру «холодно—жарко», дошли до моего дома, значит скоро доберёмся и до квартиры. Я выскочил из табачной и побежал домой; мы живём совсем рядом, через несколько подъездов. На бегу я повторял: «Марио, Марио...», и от этого имени все Марио, каких я знал, завертели у меня в голове: Марио-молочник, Марио-столяр, Марио-фруктовщик, Марио, который был в солдатах, а теперь безработный, Марио — сын колбасника, Марио, Марио, Марио... В Риме, наверное, миллион Марио, а на Виа деи Коронари их добрая сотня наберётся. Я влетел в подъезд нашего дома — и напрямик в каморку привратницы. Она у нас старая и усатая, как Феде. Смотрю, сидит у жаровни и собирается сушить цикорий. Я спрашиваю её в упор:

— Скажите, это вы выдумали, что Филомена в моё отсутствие принимает какого-то Марио?

Она отвечает сердито:

— Никто ничего не выдумывает! Мне твоя жена сама сказала.

— Филомена?!

— Ну да... Она мне сказала: «Должен прийти такой-то и такой-то парень, зовут его Марио... Если Джино будет дома, то передайте, чтоб он не заходил, а если Джино нет, то пусть поднимется»... Он и сейчас там.

— Там?

— Ну да... Он пришёл час назад.

Значит, Марио не только на самом деле существует, но уже целый час сидит у нас дома, с Филоменой. Я опрометью бросился по лестнице, взбежал на третий этаж, застучал. Филомена мне сама открыла. Я сразу заметил, что она, всегда такая уверенная и спокойная, казалась испуганной.

— Ловко,— говорю,— когда меня нет дома, ты принимаешь Марио.

— Да как же...— начала она.

— Я всё знаю! — заорал я и хотел войти, но она загородила мне дорогу и говорит:

— Ну, оставь, не всё ли тебе равно... Приди попозже.

Ну, тут уж я просто света не взвидел. Дал ей пощёчину и кричу:

— Ах, так, мне всё равно? — отшвырнул её в сторону и ворвался в кухню.

Пропади пропадом бабьи сплетни, и провались все бабы на свете! Действительно, сидел там за столом Марио и собирался пить кофе, только это был не Марио-столяр, и не Марио-фруктовщик, и не Марио—сын колбасника, в общем, ни один из этих Марио, о ком я думал на улице. А просто-напросто это был Марио — брат Филомены, который отсидел два года в тюрьме за кражу со взломом. Я знал, что он скоро должен выйти, и говорил ей: «Смотри, я не желаю его видеть у себя в доме...»

И разговаривать-то о нём не хочу». А она, бедняжка, любила брата, хоть сн и жулик, и хотела принять его в моё отсутствие. Увидя меня в таком бешенстве, он вскочил, а я говорю, задыхаясь:

— Здравствуй, Марио.

— Я уйду,— говорит он поспешно.— Не беспокойся, я уйду. В чём дело? Что я, чумной, что ли?

Я слышу, Филомена в коридоре всхлипывает, и стыдно мне стало от всего, что я натворил. Я говорю смущённо:

— Да нет, останься... останься на сегодня... Позавтракаем... Правда, Филомена,— говорю я жене, которая стоит на пороге и утирает слёзы,— правда, Марио может остаться позавтракать?

В общем, я вывернулся, как мог, потом пошёл в спальню, позвал Филомену, поцеловал её, и мы помирились.

Теперь надо было покончить со сплетнями. Я подумал-подумал и говорю Марио:

— Марио, идём со мной в мастерскую — может, хозяин найдёт тебе дело.

Он пошёл со мной, а когда мы вышли на лестницу, я говорю:

— Тебя здесь никто не знает... ты эти годы работал в Милане. Договорились?

— Договорились.

Спустились мы по лестнице. Когда проходили мимо привратничкой, я взял Марио под руку и познакомил его со старухой.

— Это Марио,— говорю,— мой шурин, приехал из Милана, теперь будет у нас жить.

— Очень приятно, очень приятно!

«Приятно-то больше всех мне,— подумал я, выходя на улицу,— из-за бабьих сплетен я выбросил тысячу лир, и ко всему прочему у меня теперь воришка в доме».

МЫСЛИ ВСЛУХ

В этом обыкновенном римском ресторане «Марфорио» у меня поначалу всё шло хорошо. Голова у меня была пустая и гулкая, как раковины, что попадают на морсксм берегу: улитка, жившая внутри, давно погнибла. И когда клиенты заказывали мне «спагетти с подливкой», то у меня в голове послушным эхом отдавалось: «спагетти с подливкой», а когда заказывали «суп по-английски», то в голове звенело: «суп по-английски», и ничего больше. В общем, я ни о чём не думал, снаружи и внутри был вылитый официант — уж до такой степени официант, что по вечерам, перед сном, у меня в голове всё ещё продолжали звенеть всякие спагетти с подливкой и английские супы, которые я весь день подавал.

Я сказал, что голова у меня была пустая, вернее сказать, замёрзшая, вроде как вода в горных озерах; а весной, под солнцем, лёд снова превращается в воду, и она в одно прекрасное утро начинает журчать и рябить под ветром.

В общем, с пустой ли, с замороженной ли головой, а я был действительно образцовым официантом. Раз вечером одна девушка в ресторане даже сказала про меня своему кавалеру: «Посмотри на этого... Ну, до чего же у него официантское лицо! Он никем, кроме официанта, и быть не может... Официантом родился — официантом и умрёт». А кто его знает, что это такое — официантское лицо. Может, это такое лицо, которое нравится посетителям? Им-то самим специально «посетительские лица» иметь не к чему, ведь им никому не надо угождать. А вот если официант хочет остаться официантом, то уж у него особое лицо должно быть, официантское?!

Ну да ладно. Целый год я ни о чём не думал и только выполнял заказы посетителей. Даже если какой-нибудь грубиян кричал мне: «Да ты дурак или прикидываешься?», то моя голова послушно повторяла: «Ты дурак или прикидываешься?», и больше ничего. Хозяин ресторана, понятно, был мной доволен и часто говорил другим: «Я у себя скандалов не желаю... Берите пример с Альфредо — ни одного слова лишнего. Настоящий официант».

Началось всё однажды вечером, ну, точно как лёд, который под солнцем тает, становится водой, и она вдруг забурлит и заволнуется... Попался мне клиент, старый уже, но молодящийся, курчавый, с проседью, словно ему снегом голову посыпали, лицо какое-то козлиное. И начал он меня шпынять — наверное, чтоб пустить пыль в глаза девушке, с которой он пришёл, — невзрачная такая блондинка, машинистка, видать, или модисточка. Всем он был недоволен, и когда я принёс заказанные, он начал кричать:

— Да что это за дрянь? Да куда мы пришли? Не знаю, что меня удерживает, чтоб не запустить всем этим вам в голову!

Он был неправ: он заказывал бифштекс — я ему и принёс бифштекс. Но на этот раз, вместо того чтоб покорно повторять в голове его слова, я вдруг подумал: «Козлиная физиономия у этого типа». И даже сам удивился. Не великая это была мысль, я знаю, но для меня это было важно, потому что с тех пор, как я служил в ресторане, я в первый раз что-то сам подумал. Я пошёл на кухню, заменил заказ, принёс две порции аббаккио¹ по-охотничьи и снова подумал: «Нá... и чтоб тебе подавиться». Это, как видите, была уж другая мысль, тоже не бог весть какая, но всё-таки мысль.

С этого вечера я начал думать, то есть, я хочу сказать, стал делать одно, а думать другое. По-моему, это как раз и называется думать. Вот, например, я кланяюсь и спрашиваю: «Чего желаете, синьоры?», а сам думаю: «Ну и длинная шея у этого франта... на гуся похож». Или вежливо говорю: «Не угодно ли сыру, синьора?», а сам думаю: «У тебя усы, милая моя, ты их выщечиваешь, да они всё равно видны». Не чаще всего мне в голову лезли грубости, брань, даже оскорбления: «Болван, идиот, чтоб у тебя язык отсох, чтоб тебе околеть», и всё в таком духе. Это было сильнее меня, слова так и кипели у меня в голове, как фасоль в горшке. В конце концов я стал замечать, что мысленно заканчиваю те фразы, которые произношу вслух. Например, спрашиваю: «Угодно маслин, лимона?», а про себя заканчиваю: «В рожу тебе, свинья». Или говорю: «Вы знаете специальность нашего ресторана?», а сам добавляю: «Скверная еда и приписка к счёту». И вдруг я поймал себя на том, что эти фразы я кончаю уж не про себя, а вслух, только тихо, очень тихо, чтоб не услышали. В общем, заговорил я, хоть и осторожно. Значит, таким порядком: сначала я совсем не думал, потом стал задумываться, а теперь уж думал вслух, то есть говорил.

Я прекрасно помню, как заговорил в первый раз. В субботу вечером села за мой столик парочка: она из «этих», высокая крашенная блондинка, хорошенькая, нахальная, вся намазанная и сильно надушенная; он блондин с прищемлённым носом, лицо красное, низенький, курчавый, широкоплечий, синий костюм, ботинки жёлтые. Он схватил карту, словно это было объявление войны, и уткнулся в неё с сердитым видом, долго не решая, что взять. Потом заказал для себя еду поплотнее: спагетти, аббаккио с картофелем, пирожки, анчоусы. Она, наоборот, выбрала лёгкие, тонкие блюда. Я записал заказ и повернулся, чтоб итти на кухню. Но при этом я ещё раз взглянул на него и чувствую, как у меня губы шевелятся и произносят тихо, но внятно:

¹ Аббаккио — жареная баранина на вертеле. (Примеч. перев.)

— Что за хамская рожа.

Он всё ещё читал меню и ничего не заметил. Но у неё, как у всех женщин, слух был тонкий; она так и подскочила на стуле и выпучила на меня глаза: услышала. Я пошёл на кухню, крикнул во весь голос: «Одно консоме, один раз спагетти!» — вернулся и стал у стенки неподдельно от них.

Смотрю — она смеётся. Смеётся и смеётся, прижимая руку к груди, лицо всё пунцовое от хохота. А он сидит обиженный и всё наклоняется к ней — должно быть, спрашивает, чего она хохочет. Но она всё продолжала смеяться, трясая головой и хватаясь за грудь. Наконец она немножко успокоилась, наклонилась к нему и сказала что-то, указывая в мою сторону. Он повернулся и уставился на меня. Я отвёл глаза, потом посмотрел снова и вижу — она опять смеётся, а он глядит на меня, нагнув голову, словно баран, который хочет боднуть. Наконец он меня позвал:

— Официант!

Я пошёл, хоть мне было страшновато, и всё-таки не удержался и снова пробормотал убеждённо:

— Вот именно, хамская рожа.

Потом подошёл, говорю:

— Что прикажете?

А он поднял на меня глаза и говорит угрожающе:

— Официант, вы тут изволили выразить мнение...

Я спрашиваю, словно с луны свалился:

— Мнение?.. Не понимаю.

— Да, вы высказали суждение... Синьора вас слышала.

— Синьора, вероятно, плохо расслышала.

— Синьора прекрасно расслышала.

— Не понимаю. Может быть, вам, синьор, не угодно спагетти, так можно переменить.

— Официант, вы высказали суждение и знаете, о чём я говорю.

Тут она наклонилась вперёд и говорит:

— Послушайте, лучше оставьте его в покое.

Но он не унимался.

— Позовите мне директора.

Я поклонился и отправился звать директора. Тот явился, выслушал, возразил, поспорил, а девица всё продолжала смеяться, и этот тип ещё пуще бесился. Наконец директор подошёл ко мне и сказал тихо:

— Ну, обслужи их, и довольно... Но смотри, если это повторится, ты будешь уволен.

— Но я...

— Молчать!.. Катись!

В общем, я подал им ужин, не проронив ни слова, но она всё время хохотала, а он едва дотронулся до еды. В конце концов, не заказав десерта и не оставив на чай, они ушли. Но она продолжала смеяться даже у выхода.

После первого раза мне бы надо сдерживаться, а у меня вместо того пошло ещё хуже. Теперь уж я почти не думал про себя, а всё говорил. В дни, когда в ресторане мало народу и официанты без дела переминаются с ноги на ногу у столиков или по стенкам, я всё чаще говорил сам с собой, едва шевеля губами, так что остальные замечали это и дразнили меня:

— Ты что, молитвы читаешь? Чётки перебираешь?

Нет, я не читал молитвы и не перебирал чётки, а глядел, скажем, на семейство в пять душ — папа, мама и трое маленьких детей — и бормотал: «Ему не хочется тратиться, то ли он скуп, то ли у него действительно не хватает денег... А у неё дурь в голове, всякие прихоти, и она заказала

всё дорогое: ранние овощи, омаров, грибы, сладости... Он из себя выходит и еле сдерживается... Ей, хитрюге, нравится его мучить, а тут ещё и ребята капризничают, и ему сейчас очень кисло...» Или же я рассматривал лицо посетителя, у которого на лбу был какой-то большой нарост: «Ну и картошка же у этого субъекта на фасаде... Странно, должно быть, чувствовать это на себе, щупать... А как же он шляпу надевает? Поверх этой штуки или сдвигает на затылок, чтоб поля до шишки не доходили?..» В общем, я всё чаще говорил сам с собой и всё реже разговаривал в компании. Хозяин уж не ставил меня в пример, а поглядывал на меня косо. Я думаю, он меня считал слегка ненормальным и поджидал первого случая, чтобы выставить.

Случай представился. Как-то вечером в ресторане почти никого не было, оркестр играл римскую песенку «Душа и сердце» для пустых столиков, а я зевал и переминался около большого стола, накрытого на десять персон. Люди, заказавшие его, не показывались, но я знал, кто они такие, и не ждал ничего хорошего. Вот наконец они вошли в ярко освещённый зал: женщины в вечерних платьях, оживлённые, говорят громко и возбуждённо, оборачиваясь назад, к мужчинам, которые идут за ними — руки в карманы, животами вперёд, все в темносиних костюмах, рыхлые, самодовольные. В общем, из тех, кто зовётся приличной публикой. Это точно, я однажды вечером слышал, как один фронт сказал, глядя на них: «Смотри, сегодня здесь очень приличная публика». В общем, приличная или неприличная, они мне по многим причинам не нравились, главное потому, что они называли меня на «ты»: «Принеси стул... Дай карту... Ну, живо, поворачивайся». Зовут меня на «ты», точно они мне братья, а я-то ничьим братом себя не чувствовал, особенно среди них. Правда, они всех называли на «ты» — и других официантов и даже хозяина, но мне это было всё равно, пусть говорят «ты» хоть царю небесному, коли хотят, но не мне.

Словом, они явились, и первым долгом началась комедия с рассаживанием: Джулия сядет сюда, Фабрицио здесь, Лоренцо рядом со мной, с Пьетро сяду я, Джованна — между нами, Мариза — во главе стола. Наконец, слава тебе господи, все нашли свои места, и тогда я подошёл и дал карту тому, кто сидел во главе стола, — толстый такой, лысый, с дохлыми глазами, нос крючком, шея белая, припудренная тальком. Он взял карту и начал перелистывать её, говоря:

— Ну, что же ты нам посоветуешь?

Я слышу, что он меня тыкает, и бормочу:

— Скотина.

Но он меня, к счастью, не слышал, потому что остальные устроили страшный шум, споря из-за меню. Кто требовал спагетти, кто холодных закусок, кто хотел римской кухни, а кто нет, одни желали красного вина, другие — белого. Особенный гам подняли женщины, словно куры, которые кудахчут в курятнике, прежде чем уснуть. Я не вытерпел и пробормотал сквозь зубы, склонившись к нему:

— Глупые курицы!

Он, должно быть, услышал, потому что вздрогнул и спрашивает:

— Что ты говоришь? Куры?..

— Да, — объясняю, — есть варёные куры.

— К чёрту варёных кур! — кричит кто-то. — Мы хотим ужинать по-римски: бобовую запеканку и пальята.

— А из чего делается пальята?

— Пальята, — объясняет тот, у кого карта, — это внутренности молочного телёнка, который ещё никогда не ел травы. Их варят целиком, со всем, что есть внутри, то есть с экскрементами...

— Экскременты!.. Фу, какой ужас!

— Это вам и нужно, — думаю я или, вернее, бормочу, наклонившись.

На этот раз он, видно, что-то разобрал, потому что спрашивает недоверчиво:

— Что?

— Я ничего не говорил.

— Нет, ты говорил и сказал что-то, — ответил тот твёрдо, но без гнева.

В этот момент, не знаю почему, стало тихо, не только за нашим столом, но и во всём ресторане. Даже оркестр, как нарочно, перестал играть. И в этой тишине я сам слышу, как говорю — вполголоса, но внятно:

— На «ты» называешь, скотина?

Тут он как подскочит в невероятном бешенстве:

— Мне — скотина?.. Да ты знаешь, с кем говоришь?

— Я ничего не говорил.

— Мне — скотина... Ах, мерзавец, подлец, каналья, я тебе сейчас покажу!

Он вскочил, схватил меня за ворот и прижал к стене. Все остальные тоже повскакали из-за стола: кто успокаивает, кто, наоборот, нападает на меня. Весь ресторан на нас смотрит. Я разозлился, отпихиваю его и говорю:

— Ничего я не говорил... Руки прочь!

— Ах, ты ничего не сказал? Ничего?

— Ничего я не сказал, — повторил я, вырываясь. И добавил тише: — Скотина.

Во второй раз у меня это слово выскочило...

К счастью, тут примчался директор: уж он и юлил, и вертелся, кланялся, как тростинка, извивался, как угорь.

— Прошу вас, уважаемый, прошу вас!

А уважаемый орал:

— Да я ему всю морду разобью!

Директор в конце концов взял меня за руку и говорит:

— А ты иди за мной.

Опять — «ты».

Пошли мы через весь зал, и публика вставала из-за столиков, чтоб получше разглядеть меня, и я не мог не подумать вслух:

— Вот ещё одна скотина меня на «ты» называет.

Он тут ничего не сказал, но, когда мы были в кухне, за закрытой дверью, он крикнул мне в лицо:

— Так ты называешь скотиной сначала клиентов, а потом и меня?

— Я ничего не говорил... скотина.

— Ты опять своё? Так скотина — это ты, милейший... и пшёл вон, убирайся сейчас же!

— Хорошо... я уйду... скотина.

В общем, губы у меня шевелились помимо моей воли, и я не мог этому помешать. Я очнулся уже на улице; стою и громко рассуждаю: «Называют на «ты»... будто мы братья... Да кто они такие, кто их знает? Почему они не ведут себя прилично?»

В этот момент полицейский, видя, что я разговариваю сам с собой, подошёл и окликнул меня:

— Ты что, выпил? Сухого или шипучего? Проходи, проходи, здесь нельзя стоять!

— Да кто пил? — опять запротестовал я. И сейчас же у меня слетело с языка то самое слово, за какое меня выгнали из «Марфорио». Я хотел поймать его, как мотылька, что выскальзывает из-под шапки. Да как бы не так, оно уж вылетело наружу, и ничего нельзя было поделать... Коротче говоря, меня арестовали за оскорбление полиции, я провёл ночь в участке; потом суд, приговор — правда, условный... Когда я вышел из

тюрьмы, то обнаружил, что голова у меня снова замёрзла. Я переходил улицу у моста Витторно, и меня чуть не сшибла машина. Я стою, весь дрожу, а шофёр высунулся и заорал мне:

— Спишь на ходу!

Я посмотрел ему вслед, и в моей голове стало послушно отстукивать, как прежде: «Спишь на ходу... Спишь на ходу... Спишь на ходу!»

ВОРЫ В ЦЕРКВИ

Что делает волк, когда волчица и волчата голодны и, сидя с пустым брюхом, скулят и грызутся между собой? Что делает волк, спрашиваю я вас! Я вам скажу, что он тогда делает: он выходит из логова и идёт искать добычу; случается, что, отчаявшись, он спускается в деревню и забирается в дома. И крестьяне, которые убивают его, правы; но и он прав, когда забирается в дома и бросается на людей. Выходит, что все правы, и ничьей вины тут нет. А из этой правоты рождается смерть.

Этой зимой волком был я и даже жил по-волчьи — не в доме, а в пещере, за Монте Марио, в заброшенных карьерах. Там много таких пещер, но почти все они заросли колючками — не подобраться; жить можно было только в двух — в моей и ещё у одного старика, который просил милостыню и ходил собирать тряпье; звали его Пулити. Местность кругом была жёлтая, голая, отверстия пещер чёрные, закопчённые. Перед пещерой Пулити вечно лежала груда тряпок, в которой он копшился; перед моей стоял большой бидон из-под бензина, который нам служил печуркой, и жена моя с ребёнком у груди без конца раздувала угли.

Внутри пещера была, пожалуй, получше, чем иная комната: просторная, сухая, чистая, на земле тюфяк, вещи развешаны на гвоздях. Я оставлял семью в пещере, а сам ходил в Рим на заработки: я был чернорабочий и чаще всего нанимался землекопом. Но пришла зима, и, не зная отчего, земляных работ не стало, и нужно было менять ремесло, но это приходилось делать всё чаще, и наконец я вовсе остался без работы. Вечером, когда я возвращался в пещеру и при свете масляной коптилки жена, сидя на тюфяке, смотрела на меня, младенец у её груди смотрел на меня и двое старших ребят, что играли на полу, смотрели на меня, и когда я видел в этих четырёх парах глаз одно и то же голодное выражение, тогда мне казалось, что я и вправду волк в волчьей семье, и я думал: «Если я им в эти дни не принесу поесть, они меня на куски разорвут».

Этот старикашка Пулити, который со своей седой бородой казался настоящим святым, но, чуть откроет рот, сразу видно, что жулик, говорил мне:

— Чего вы столько детей наплодили? Чтоб они мучились? А ты почему не собираешь окурки? С этим можно вывернуться.

Но я не мог заставить себя собирать окурки, я хотел настоящей работы. И вот однажды вечером я с отчаяния говорю жене:

— Я больше так не могу... Знаешь что? Стану за углом и первого же прохожего...

Жена меня перебила:

— В тюрьму захотелось?

Я говорю:

— В тюрьме хоть накормят.

А она:

— Тебя — да, а нас?

Это меня, надо сказать, убедило.

Мысль обокрасть церковь подал мне Пулити. Он часто ходил попрошайничать по церквам и, можно сказать, знал их все наизусть. Он уве-

рял, что если я сумею спрятаться в церкви вечером, перед тем как запирают, то утром можно незаметно удрать. Но он предупредил:

— Смотри... Попы не дураки... Хорошие вещи они держат в сейфах, а напоказ выставляют стекляшки.

Кроме того, он обещал перепродать вещь, если мне удастся сделать это дело. В общем, пустил он мне, как говорится, блоху в ухо, хоть я сначала об этом и думать не стал. Но мысли, что блохи: коли залезут, так гуляют сами и без спросу вдруг кусанут тебя, да так, что подскакиваешь от неожиданности.

Так и меня укусило однажды вечером, и я заговорил об этом с женой. А надо вам сказать, что жена у меня верующая, и когда мы жили в деревне, то она больше времени проводила в церкви, чем дома. Она мне говорит:

— Да ты с ума сошёл!

Я ожидал, что она будет возражать, и отвечаю:

— Это не воровство... Зачем эти вещи дарят церкви? Чтоб творить благо... Если мы что и возьмём, так для чего? Для блага... Для кого же и творить благо, как не для нас, когда мы так в нём нуждаемся?

Она растерялась и говорит:

— Как ты до этого додумался?

Я говорю:

— Это дело не твоё. Ты мне отвечай: разве не сказано, что надо насытить алчущих?

— Да.

— Мы алчущие или нет?

— Да.

— Так значит, мы только выполним свой долг... сделаем доброе дело.

В общем, я ей много в таком роде наговорил, всё напирая на религию — а это у неё было слабое место, — и в конце концов убедил её. Но она всё-таки сказала:

— Только я не хочу, чтоб ты шёл один... Пойдём вдвоём. Если нас поймают, то хоть в тюрьме будем вместе.

— А ребята?

— Ребят оставим на Пулити... Потом о них господь позаботится.

В общем, мы договорились и сказали обо всём Пулити. Он обсудил наш план и одобрил его. Но под конец сказал, поглаживая бороду:

— Доменико, послушай меня, старика, не трогай серебряных сердец. Это дешёвка. Бери драгоценности.

Когда я вспоминаю о Пулити с его бородой, о советах, которые он давал так серьёзно, мне даже смешно становится.

И вот в назначенный день оставили мы детей у Пулити и поехали трамваем в Рим. Ну, совсем как два голодных волка, что спускаются с гор в деревню: моя жена низенькая, коренастая, широкоплечая, с густыми курчавыми волосами, словно костёр на голове, лицо решительное; а я худой, как с живодёрни, щёки ввалились, заросший весь, впалые глаза сверкают. Мы выбрали старинную церковь на одной из тех улиц, что выходят на Корсо. Церковь большая и очень тёмная, потому что кругом высокие дома, внутри — два ряда колонн, а за колоннами — два нефа, узкие и тёмные, и несколько приделов, полных всякого добра. На стенах под стеклом висело очень много серебряных и золочёных сердец, но я заметил маленькую витринку, где на красном бархате среди нескольких более дорогих сердец было выставлено ожерелье из ляпислазури. Эта витрина находилась в капелле, посвящённой Мадонне; над алтарём стояла и статуя Мадонны в натуральную величину, под балдахинном, вся раскрашенная, голова в нимбе из лампадок, а в ногах много цветов и подсвечников.

Мы вошли в церковь уже затемно и, улучив момент, когда в этой капелле никого не было, спрятались за алтарь. Там, позади статуи, было несколько ступеней; мы на них присели. Час был поздний, и пономарь стал ходить по церкви, шаркая ногами и бормоча: «Закрывается». Но за этот алтарь он не заглянул и только погасил все лампадки, кроме двух красных светильников по обе стороны статуи. Потом, слышим, он двери позапирал и пошёл к себе. Мы остались в тёмном коридорчике между алтарём и стеной абсиды. Меня трясла лихорадка, и я сказал жене:

— Ну, давай быстро... откроем витрину.

А жена говорит:

— Подожди... куда спешить?

Слышу, выходит она из тайника. Встала посередине капеллы, поклонилась в полутьме, перекрестилась, потом попятилась и опять поклонилась и перекрестилась. Наконец вижу, опустила на колени в углу и сложила руки на молитву. О чём она молилась — не знаю, но я понял, что она уж не так-то была уверена, что творит благо, как я ей говорил, и хотела выгородить себя, насколько возможно. Вижу, она наклоняет голову так, что лица из-за волос не видно, потом поднимает в этом красноватом свете, потом снова опускает, шевеля губами, словно чётки перебирает. Я подошёл и шепчу с опаской:

— Помолиться ведь можно и дома?

А она мне грубо:

— Оставь меня, церковь большая, пройдишь, чего ты тут стоишь?

Я шепчу:

— Хочешь, пока ты молишься, я открою витрину?

Она опять мне резко:

— Нет, ничего не хочу... Дай мне эту железку.

У меня в пальто была железка, вполне подходящая, чтоб открыть эту хлипкую витрину. Я её отдал и отошёл. Стал ходить по церкви, не зная, что делать. Мне было страшно в этом полутёмном храме с высокими сводами, которые гудели при каждом вздохе, с главным алтарём в глубине, таким огромным, еле освещённым, с чёрными исповедальными кабинками в боковых приделах. Я пробрался на цыпочках к двери через два ряда пустых скамеек, и по спине у меня прошёл холодок, словно кто-то следил за мной. Я попробовал открыть дверь, но она была крепко заперта; тогда я прошёл обратно и сел в левом приделе у какой-то гробницы, освещённой красным ночником.

Гробница была вделана в стену, и на ней лежала большая доска чёрного мрамора, а по обеим сторонам — по фигуре: скелет с косою и нагая женщина, закутанная в собственные волосы. Это были замечательные скульптуры из желтоватого блестящего мрамора.

Я стал рассматривать их, и мне в полумраке показалось, что они задвигались и что женщина пытается бежать от скелета, а он любезно поддерживает её под руку. Тогда, чтоб отвлечься, я стал думать о пещере, о детях, о Пулито и сказал себе, что, если бы мне сейчас предложили вернуться назад и снова решить, что мне делать, я сделал бы то же самое или что-нибудь в таком же роде. В общем, не случайно попал я в эту церковь, не случайно задумал такое дело и не случайно не нашёл в жизни ничего лучшего. И среди всех этих мыслей нашёл на меня сон, и я заснул. Это был тяжёлый сон без сновидений, и меня всё пробирала дрожь в этой церкви, холодной, как погреб. В общем, я спал и больше ничего не знаю.

Потом кто-то меня стал трясти, а я сквозь сон бормочу:

— Оставь, чего привязалась!

Но меня всё продолжали трясти, я открыл глаза и вижу — народ: пономарь, который так и выпучил на меня глаза, священник — старик с растрёпанными волосами, в кое-как наброшенной одежде, два или три

полицейских и среди них — моя жена, угрюмая, насупившаяся. Я говорю, не двигаясь с места:

— Оставьте нас... Мы бездомные и пришли поспать в церковь...

Тогда полицейский мне что-то суёт под нос; я сначала со сна думал, что это чётки, потом вижу — ожерелье из лазурита.

— А это что — для сновидений? — говорит.

В общем, полицейские забрали нас и повели из церкви.

Была ещё ночь, но близился рассвет; улицы мокрые, пустые. И мы, окружённые полицейскими, молча шагаем, понутив головы. Я увидел, как впереди идёт моя жена, такая маленькая, бедняжка, в своей короткой юбке, волосы на голове дыбом, и мне до того стало её жалко, что я сказал одному из полицейских:

— Жаль мне её и детей.

Он спрашивает:

— А где у тебя дети?

Я объяснил. Он мне:

— Ты отец семейства... Как тебе это в голову влезло? Ты б о детях подумал.

Я ему ответил:

— Именно потому, что я о детях думал, я это и сделал.

В полиции какой-то молодой блондин за письменным столом, увидев нас, говорит:

— А, похитители священной утвари...

Вдруг моя жена как закричит страшным голосом:

— Как перед господом богом, я не виновата!..

Я никогда у неё такого голоса не слышал, даже испугался.

Полицейский комиссар говорит:

— Значит, твой муж виноват?

— Тот же нет.

— Выходит — я виноват... А как у тебя ожерелье очутилось?

А моя жена:

— Мадонна сошла с алтаря, своими руками открыла витрину и дала мне ожерелье.

— Ах, Мадонна... А свиного окорока тебе Мадонна не дала?

Но жена, подняв вверх руку, продолжала кричать тем же диким голосом:

— Умереть мне на этом месте, если я не говорю святую истину!

Они допрашивали нас не знаю сколько времени, но я говорил чистую правду, что знать ничего не знаю, а жена всё твердила, что ожерелье ей дала Мадонна. Время от времени она выкрикивала:

— Люди, на колени перед чудом!

В общем, она казалась какой-то одержимой или помешанной. Кончилось тем, что её увели, а она всё кричала и призывала Мадонну. Я думаю, они её в лазарет отправили. Полицейский комиссар стал спрашивать меня, считаю ли я, что моя жена спятила, а я ему ответил:

— Может, и так.

Ведь сумасшедшие — не больные, просто им всё по-другому представляется. А потом я подумал, что, может статься, моя жена сказала правду, и так мне стало обидно, что я не видел своими глазами, как Мадонна сошла с алтаря, открыла витрину и отдала жене ожерелье.

Перевод с итальянского З. Потаповой.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ТОМАС МАНН

★

МОЕ ВРЕМЯ

12 августа 1955 года в Кильхберге, около Цюриха (Швейцария), умер Томас Манн. Уже более полувека его имя значится в ряду выдающихся писателей мира. Страстным призывом к единству прозвучали слова Манна, обращённые в дни шиллеровских торжеств к немецкому народу: «Вопреки политической бессмыслице, пусть расколота надвое Германия ощутит своё единство во имя его!».

В час, когда гроб с прахом Томаса Манна был опущен в землю, в Берлине состоялось траурное заседание правительства Германской Демократической Республики, а в Западной Германии собрались на траурные митинги в университетах, рабочих клубах и театрах тысячи людей. На многих зданиях в Германии были вывешены траурные флаги. Так германский народ провожал в последний путь своего лучшего писателя XX века.

В поразительно богатом и разнообразном литературном наследстве Томаса Манна одно из первых мест занимает роман «Доктор Фаустус», который Томас Манн назвал «книгой моих страданий». В нём писатель завещал германскому народу идти к духовному обновлению Германии, беспощадно бичуя и безжалостно искореняя всё мелочное, тёмное, варварское, мерзкое, что в прошлом отравляло душу Германии. Он зовёт германский народ вперёд, к вершинам духовного и политического возрождения.

Томас Манн много раз подчёркивал свою глубокую симпатию к Советскому Союзу, свою любовь к русской литературе, которую он называл «святой литературой». Одним из последних произведений писателя была его статья о Чехове, написанная для «Нового мира». В ней он вновь подчеркнул свою духовную связь с гениальными русскими реалистами XIX века.

В мае 1950 года Томас Манн, эмигрировавший ещё в тридцатых годах из фашистской Германии в США, выступил в Чикагском университете с докладом, который он назвал «Моё время». Это своеобразный политический и философский манифест писателя. Быть может, и не всё сказанное им приемлемо для советского читателя, но это искренняя и страстная исповедь большого, честного художника и умудрённого жизнью человека. Писатель прямо и открыто выразил свою горячую любовь ко всему прогрессивному, свою ненависть к реакции во всех её проявлениях, своё страстное стремление к миру, свою веру в светлое будущее человечества. Доклад печатается с небольшими сокращениями.

Я буду говорить сегодня не о своей жизни, а о моём времени. У меня нет или, вернее, почти нет желания рассказывать вам свою биографию. Правда, иногда у меня возникала мысль после множества книг, отразивших мою жизнь, написать о д н у книгу и в ней рассказать о своём жизненном пути. Однако такие намерения появлялись у меня лишь изредка, и я никогда не осуществлял их полностью: временами только я рассказывал самому себе и друзьям историю возникновения того или иного произведения, созданного мной. Весьма возможно, что я не смог стать своим собственным биографом потому, что моя жизнь не так уж нравится мне.

Церковные круги в Германии, среди которых есть много известных имён, заявили — как я прочитал недавно, — что во всех моих трудах полностью отсутствует христианская идея. Я невольно вспоминаю, что в этом они обвиняли и гораздо более видных людей. Однако что касается меня, то их утверждения возбуждают во мне явное недоверие. Я говорю здесь не

о содержании моих произведений, а лишь о причинах, породивших их. Если в понятие христианства входит сознание того, что жизнь человека, твоя жизнь, является чем-то несовершенным, неизменно требующим оправдания и искупления, если в это понятие зходит чувство своей вины и невыполненного долга, то тогда богословы, считающие, что я являюсь примером писателя с антихристианской моралью, не совсем правы. Ведь редко какой человек в такой степени, как я,— начиная с ранней молодости, кончая нынешними днями, когда жизнь моя уже на ущербе,— проникнут тревожным стремлением к очищению и оправданию и своей жизни и всего своего столь несовершенного творчества. И это несмотря на то, что мои книги казались очень шутливыми, скептическими, насмешливыми, артистическими.

Возможно, что богословы вовсе и не требуют от художников, чтобы они стремились искупить что-либо или спасти самих себя. Возможно, что в этом они и правы. Ведь если бы это было так, то люди искусства, оглядываясь на свершённое ими, испытывали бы большее удовлетворение, большее спокойствие и большую радость. Однако в действительности самый процесс творчества проникнут никогда не угасающим стремлением искупить вину, этим, как мне кажется, христианским импульсом к самооправданию. Каждое новое произведение является как бы попыткой защитить предыдущие, попыткой очистить их, оправдаться за их несовершенство. И в этом художник не знает ни отдыха, ни покоя. Так он творит до конца своих дней, пока ему не остаётся ничего иного, как сказать словами шекспировского Просперо: «Конец моей жизни — отчаяние». И тогда его, как и Просперо, сможет утешить только мысль о высшей милости, которой одной дано снимать с нас вину; близость её мы иногда с трепетом ощущаем.

Напомню вам, что всё это я говорю лишь для того, чтобы объяснить своё отрицательное отношение как к автобиографиям вообще, так и к тому, чтобы посвящать свои книги и свои публичные выступления рассказам о собственном жизненном пути. Но, говоря о «моём времени», я неизбежно ставлю перед собой двойную задачу: показать и свою эпоху и свою жизнь. Ведь пережитый мной исторический период, равно как и современные события, свидетелем которых я являюсь, как раз и образуют тот фон, на котором протекает моя жизнь. Ведь именно это, а не какое-либо другое время было отведено мне судьбой. Ведь именно из всех пережитых мной событий и сложилась горсточка песку, отмеренная мне в песочных часах моей жизни; верхняя часть их сейчас уже почти опустела: песок всё высыпается через горлышко этих часов. И возможно, что это казалось бы мне поистине ужасным, если бы я не считал этот маленький ещё оставшийся мне отрезок пути таким большим и драгоценным даром судьбы. Итак, говоря о «моём времени», я не могу, конечно, полностью отвлечься от своего автобиографического «я». Рассказ об этом времени вольно или невольно должен включить в себя и рассказ о моей жизни.

Семидесятипятилетний Гёте говорил Эккерману: «Моим огромным преимуществом явилось то, что я родился в эпоху, когда в порядок дня стали величайшие мировые события. Они происходили на всём протяжении моей жизни. Я был живым свидетелем Семилетней войны, потом свидетелем отпадения Америки от Англии, далее свидетелем Французской революции и, наконец, наполеоновского времени вплоть до гибели этого героя и последовавших за этим событий». Так старый Гёте гордился тем, что судьба дала ему возможность обогатить свой опыт опытом истории и постичь так много, приобрести познания, каких не удастся, по его словам, приобрести людям, «родившимся теперь», то есть в 1824 году. Однако надо сказать, что и на долю поколения, следовавшего за Гёте, выпало вполне достаточно ярких мировых событий и перемен. Лишь в 1830 году, собственно говоря, начался новый век, наступление которого Гёте встретил

с таким глубоким недоверием. Выражая это недоверие, полный тревог и сомнений, он окрестил грядущую эпоху «легковесной». В наши беспоконные дни этот век, ставший веком техники и прогресса, веком народных масс, просуществовав сто двадцать лет, достиг своей головокружительной, сказочной вершины.

Итак, мы видим, что гордиться событиями, которые тебе довелось пережить за свою жизнь,— весьма рискованное дело. Ибо события, которые произойдут в последующие эпохи, могут оказаться ещё более разнообразными и богатыми. Так это обычно и случается. И всё же я должен сказать, что это не шутка пережить столько, сколько пережил я. Не шутка, родившись сразу же после окончания франко-прусской войны и гибели Второй французской империи, увидеть гегемонию Германии на континенте при Бисмарке, расцвет Британской империи при королеве Виктории, а став взрослым, быть свидетелем того, как повсюду в Европе зашаталась самая устоявшаяся бюргерская бытность. Не шутка пережить катастрофу 1914 года, вступление Америки в мировую политику, крах кайзеровской империи в Германии. Не шутка стать свидетелем коренного изменения моральной атмосферы, вызванного четырьмя кровавыми годами первой мировой войны. За этими годами последовала великая русская революция. Наконец, не так-то это легко увидеть зарождение фашизма в Италии и национал-социализма в Германии, ужасы гитлеризма, союз между Западом и Востоком против Гитлера, выигранную войну и вновь проигранный мир. Не часто выпадает на долю одного человека так много драматических событий. Я думаю, что и Гёте пережил не больше. Но я отнюдь не ручаюсь, что когда дети, лежащие сейчас в своих колыбелях, станут стариками (если, конечно, техника, которая, словно одержимая, мчится вперёд, вообще даст им возможность дожить до старости), то они не смогут рассказать о ещё больших исторических катаклизмах, о ещё более шумных событиях, чем те, о которых рассказывает сейчас тот, кому, подобно мне, исполнилось семьдесят пять лет... Предоставим им эту возможность. Не будем, как об этом поётся в старой рождественской немецкой песне, «с завистью смотреть на чужие подарки» и в то же время кичиться перед другими красотой своих. Ни одно поколение не останется обойдённым. И всё же я бы хотел отметить одно преимущество, которым обладает человек тысяча восемьсот семьдесят пятого года рождения, если сравнить его с теми, кто родился в четырнадцатом году или ещё позже. Нет, это не так-то мало быть сыном последней четверти XIX века, великого века. Увидеть закат буржуазного либерализма. Жить ещё в том мире. Дышать ещё тем воздухом. С высоты своего возраста я вижу, мне кажется, что это даёт человеку известные преимущества, некоторый добавочный запас культуры и знаний по сравнению с теми, кто родился на Западе в годы распада, хоть они сами, быть может, и не сознают этого. Мне кажется, что я нахожусь примерно в таком положении, в каком оказался бы человек, живший во Франции во времена старой французской монархии и проживший ещё несколько десятилетий в послереволюционную эпоху, по сравнению с теми, кто вступил в жизнь уже после 1789 года. Преимущество человека, чья жизнь захватила две различные эпохи, заключается главным образом в том, что он на своём опыте убедился в последовательности и преемственности исторических событий. Ибо в истории всё совершается последовательно. В каждом «старом порядке» уже живут и духовно развиваются ростки нового.

Эти ростки пробивались уже во времена моего детства. А между тем как раз в это время вновь основанная Германская империя была окружена таким ореолом! Правда, этот ореол несколько терял в своём блеске потому, что благосостояние империи отчасти зиждилось на некоем золотом тельце — французских контрибуциях, а также из-за скандальных

афёр эпохи грюндерства¹. Но кто мог видеть, что сердцеви́ну роскошного плода уже гложет червь? Кто из нас мог осознать правдивость слов, которые Жорж Занд написала в письме к Флоберу в 1876 году: победа Германии является началом её морального упадка. Коварное детище Бисмарка, все насильственные действия которого направлены к достижению выгоды, детище, воспитанное в пренебрежении ко всему человеческому, — это колосс на глиняных ногах. И далее в письме содержались такие же поразительные пророчества, завершающиеся образом знамени, в которое, по словам Занд, рядилась торжествующая Германия, растерявшая все свои прежние идеалы, знамени, которому суждено было стать саваном. Если бы слова Жорж Занд достигли наших ушей, мы бы назвали их «пораженческими». В то время мы вообще не очень-то интересовались государственными делами. А коль скоро интересовались ими, то полагали, что господь бог осчастливил нас, ниспослав Германии Бисмарка, человека, наделённого невиданной властью. Для всей Европы Бисмарк олицетворял чудовищное смещение жестокости и грубости. Называя себя немецким «верным слугой своего господина», он управлял Германией, как полновластный хозяин.

Каким многоопытным ты кажешься себе самому, когда думаешь о том, что своими глазами видел в детстве кайзера Вильгельма I, которого его внуки окрестили «великим». Когда он был молодым, его называли «принцем картечи», потому что в 1848 году он стрелял картечью в народ. Но в те времена, о которых я говорю, он уже считался полубогатым героическим старцем в «венке победителя». Тогда его изображали как кумира нации, особенно превознося царственную мягкость кайзера, отличавшую его от «железного канцлера». Я видел его в Любеке, на прокопчённом дымом вокзале, где на несколько минут остановился экстренный поезд. Толпа, которую допустили на вокзал, кричала «ура» — именитые граждане приветствовали главу империи.

Нам, детям, вместе с нашей «фрейлейн» было разрешено с благоговением наблюдать за всем этим. Кайзер был в то время уже страшно стар. Его военная фуражка была глубоко надвинута на лоб, его бакенбарды белели как снег. Когда он поднёс дрожащую руку к околышку, стало видно, что кончики перчаток свисают с его пальцев. Кайзер стоял в дверях вагона, а позади него, насторожившись, готовый в любую секунду подхватить старца, находился его лейб-медик. На сюртуке одного из встречавших делегатов кайзер заметил Железный крест и спросил, в каком именно сражении тот заслужил свою награду. Повидимому, это было главной темой официальной беседы на вокзале или по крайней мере её кульминационным пунктом. Потом снова раздались крики «ура», и поезд увёз царственного пассажира. Так на наших глазах свершалась история.

Я видел также старого фельдмаршала фон Мольтке, «философа сражений», как его тогда называли. Он был в свите Вильгельма II, который в начале своего правления прибыл в мой родной город с официальным визитом. Наследник императорского трона во всём блеске своих бриллиантов, сверкавших на его ордене, появился после парадного обеда у окна ратуши. Он был восторженно встречен толпой, собравшейся на рыночной площади. Но появление Мольтке, хотел он этого или не хотел, вызвало ещё более бурный взрыв восторга. Морщины не испортили тонких черт его лица. Его голова казалась скорее головой учёного и мыслителя, нежели головой солдата-рубачи. В 1870 году этот штабист-математик, вычислявший свои победы, внушал ужас галантной французской военщине. Дабы усилить ликование толпы, кто-то из парадно одетых

¹ Грюндерство — предпринимательство, сопровождающееся спекулятивной лихорадкой в период оживления капиталистического производства и торговли. (Примеч. перев.)

граждан потрясал над головой старого стратега своим шапокляком. За это он был награждён орденом «Красного орла» четвёртого класса.

Время, о котором я рассказываю, было временем, когда каждый год 2 сентября ещё праздновалась годовщина битвы при Седане, временем бисмарковского национал-либерализма, временем возникновения умеренно-оппозиционной партии свободомыслящих под руководством Эйгена Рихтера (к ней, как это ни странно, принадлежали также некоторые учителя нашей гимназии, воспитанные на Шиллере и преклонявшиеся перед классицизмом). Это был период угрожающего роста социал-демократической партии Августа Бебеля, которая была в то время в воображении бюргера — это я помню очень хорошо — тем же самым, чем является сейчас большевизм. Для бюргера социал-демократия являлась символом бунта санкюлотов, символом экспроприации частной собственности, символом разрушения культурных ценностей и всякого разрушения вообще. Я ещё помню, как директор нашей гимназии кричал озорникам, которые резали скамейки и парты своими перочинными ножиками: «Вы ведёте себя, как социал-демократы». Все присутствовавшие в актовом зале рассмеялись. Смеялись также и учителя. Однако директор продолжал бушевать: «Нечего тут смеяться!»

Да. Тогда ещё представители буржуазной культуры могли смеяться, ибо их культура казалась им нерушимой, незыблемой. И уж кто-кто, а социал-демократы не угрожали ей всерьёз. Правда, Бисмарк ненавидел теоретический интернационализм этой партии, но то же он ненавидел и в партии католиков — ультрамонтанов¹, которых он клеймил как «врагов империи». Однако в действительности Бисмарк ясно сознавал, что социал-демократическая партия являлась партией правопорядка и государственной дисциплины. По-настоящему он ненавидел в ней лишь её либерализм и свободомыслие, про которые он говорил, что они гораздо ближе духу анархизма, чем сама социал-демократия. Это была довольно меткая характеристика, и бюргеру она показалась бы парадоксом, ибо в то время именно свободомыслящие казались бюргерам защитниками порядка. Партия свободомыслящих выступала исключительно в бюргерском одеянии, а отнюдь не в пролетарской одежде. Поэтому-то лояльное бюргерство и терпело в своих рядах свободомыслящих.

Однако управлял германским бюргерством одержимый злым духом консерватор. Правда, он был вынужден приличия ради, следуя духу эпохи, дать своей империи псевдodemократическую конституцию. Но это, разумеется, не мешало ему быть самым заклятым врагом европейской демократии, узурпатором и реакционером в ужасающе современном смысле этого слова...

Главной опорой империи было бюргерство, её базой являлись «образованные люди», «имущие граждане». Несмотря на политическую активность этой империи, её основой, как, впрочем, и основой всей той эпохи, являлся буржуазный покой. Недаром эта эпоха сльвёт ныне «добрым старым временем». В ту пору казалось раз и навсегда самым богом установленным, что английский фунт стоит двадцать марок, а американский доллар — четыре марки и что одна марка равнозначна 120 итальянским, французским и швейцарским сантимам. В обращении ещё находилось золото. А ведь только тот, кто держал в своих руках золотую монету, только тот вообще знал золотой век бюргерства. Что касается меня, то, когда я вспоминаю, что получил свой первый авторский гонорар в виде трёх золотых червонцев, я начинаю с содроганием сознавать, как я стар.

Солидность и приличие — вот что определяло ту эпоху. Много воды ещё утекло до тех пор, пока спорт открыл человеческое тело. Наши тела

¹ Ультрамонтаны — наиболее реакционное крыло католической партии, стремящееся к подчинению государственной власти римскому папе. (Примеч. перев.)

были всегда тщательно запряваны в одежду. Декольте на балльных платьях являлось исключением из общего правила. Оно было принято при дворе, а потому признавалось и бюргерством. Это обнажение плеч и груди в торжественных случаях, которое страстно бичевал Толстой-моралист, а Толстой-художник описывал с таким мастерством и вождением в «Анне Карениной», представляло собой поразительный контраст со стыдливостью женского купального костюма, скрывавшего решительно всё под множеством воланов, так что, как ни намокал этот специально купальный туалет, он всё равно сохранял свой абсолютно благопристойный вид. И вот в таких-то купальных костюмах погружался в воду прекрасный пол в 1880 году!

Богатая бюргерша под вуалью разъезжала в экипаже, прикрывшись от солнца зонтиком, обшитым кружевами, чтобы сохранить свой цвет лица. Загорелая от спорта кожа вошла в моду много позднее. Тогда ещё не было принято проводить зимний сезон в горах. Игры на свежем воздухе — если не считать благопристойной игры в крокет — были ещё неизвестны. Нам, молодёжи, приходилось упражняться на снарядах в безрадостных гимнастических залах. А сами упражнения остались неизменными со времени старика Яна¹ или были заимствованы из тренировок для юношества в эпоху войны против Наполеона. Правда, мы исполняли свои упражнения в рубашках, но, каким бы это ни казалось странным сейчас, стоячий воротник являлся обязательным, а по возможности рекомендовалась и крахмальная манишка. Наблюдал за всем этим учитель гимнастики с рыжей бородой, в пенсне, командовавший нами своим пропойным голосом. Спорт — враг алкоголя. Однако патриотическая гимнастика находилась в духовной связи с великогерманским питьём пива и со студенческими корпорациями.

Моё время! Какие только события не произошли на моём веку! Возьмём к примеру складку на мужских брюках. Во времена моего детства её ещё не существовало. Однако вскоре она уже появилась, и я могу даже точно указать, когда это событие было впервые зафиксировано в литературе. В одном из поздних романов Толстого — в «Воскресении», — когда Нехлюдов, сопровождавший в Сибирь партию ссыльных, где находилась его возлюбленная, приводит себя в порядок в гостинице губернского города, он надевает на себя крахмальную рубашку и «со слежавшимися складками панталюны». Таким образом, мы видим, что складка на мужских панталонах образовалась от лежания на стуле, а уют только закрепил эту складку.

В моё время конка, звеня, тащилась по улицам. Я ещё помню, как в Мюнхене последняя, украшенная флажками конка въехала в свою усыпальницу. Все линии в городе были к тому времени уже электрифицированы. Я был свидетелем того, как керосиновую лампу заменило электрическое освещение, как электричество вытеснило белое пламя газовых фонарей и газовый свет на театральной рампе. Я помню, как сначала в конторах крупных коммерсантов и лишь много времени спустя в частных квартирах были установлены телефонные аппараты. На моих глазах появился «бицикл», названный в Европе велосипедом. Вначале он состоял из непомерно большого переднего колеса и маленького заднего, которое легко оборачивалось. Человек казался на этом велосипеде обезьяной, усевшейся верхом на высоком верблюде. Затем появился низкий английский велосипед. У нас его называли «сэйфти», что означает в переводе «безопасность». Вообще «сэйфти» был лозунгом того времени. Ведь буржуазная безопасность и буржуазный либерализм — английского происхождения.

¹ Ян Фридрих (1778—1852) — организатор массового спорта и гимнастики среди германской молодёжи в период наполеоновского нашествия. (Примеч. перев.)

Европейский континент покоился под сенью и под охраной Британской империи.

«Безопасность» и «гарантированные вклады» были во времена моей юности отличительной чертой и жизненной основой эпохи, казавшейся тогда незыблемой. И всё же — хоть рядовой бюргер и не замечал этого — жизненная основа эпохи была уже затронута распадом. Верили в неё уже далеко не все. Она подвергалась многим атакам, хотя атаковали её не столько с политических позиций — социал-демократия, некогда столь пугавшая бюргеров, сама всё больше обуржуазивалась, — сколько с позиций интеллекта, искусства, морали и эстетики. Атаковали эпоху и революционеры, выступавшие против буржуазного либерализма, и неоконсерваторы, и шеголявшая в модных костюмах молодёжь, мироощущение которой резко отличалось от мироощущения её отцов. Молодёжь бунтовала против «добропорядочного дома», против буржуазного салона. Всему этому она противопоставляла «цыганское житьё на вольном воздухе». Однако в то время существовала ещё другая разновидность «цыган» — художники и литераторы. Эти «цыгане» были скорее связаны с гашишем и надушенными сигаретами, нежели с вольным воздухом: В наше время в жаргон, на котором изъяснялись интеллигенты, проникло словечко «декаданс», которым так виртуозно орудовал Ницше. Одна немецкая повесть, описывавшая нравы того периода, — сегодня уже забытая — так и была названа: «Роман декаданса». Размагниченная пресыщенность, распад являлись темой и лейтмотивом лирической поэзии от Гофмансталь до Тракля¹. Вне зависимости от того, какое бы содержание ни вкладывалось в модное тогда во всей Европе выражение «конец века» — «Fin de siècle», — считалось ли, что «конец века» это неокатолицизм или демонизм, интеллектуальное преступление или упадочная свехрутонченность нервного опьянения, — ясно было, во всяком случае, одно: это была формула близкого конца, свехмодная и несколько претенциозная формула, выражавшая чувство гибели определённой эпохи, а именно буржуазной эпохи.

Вспоминая прошлое, я могу сказать, что никогда не гнался за модой, никогда не носил рокового и шутовского наряда «конца века», никогда не ставил себе честолюбивой цели быть впереди всех. Я никогда не принадлежал к какому-либо господствующему литературному направлению или какой-либо модной литературной школе, будь то натурализм или неоромантизм, неоклассицизм, символизм, экспрессионизм или что-нибудь иное в том же духе. Поэтому меня никогда не поддерживало какое-либо течение и редко хвалили литераторы. Они считали меня бюргером. И в этом они были не так уж неправы — инстинктивно, а иногда и сознательно я придерживался старых буржуазных традиций, ибо с духовным богатством XIX века в моём представлении было связано понятие духовного богатства вообще.

Правы, наверное, те, кто считает Толстого реалистом. Но главное для меня заключается в том, что он был великим, гигантом того масштаба, какой создал XIX век. Перед этим его величием я преклонялся, в нём я видел свой идеал. Я считал себя его должником и, восхищаясь им, требовал от себя очень многого. Конечно, всё это отнюдь не облегчало мне жизнь в дни моей неустойчивой юности. Реалистом и в то же время символистом был Вагнер. Ницше называл его также декадентом. Но основное было в том, что это был также художник гигантского масштаба. А между тем в тот период, когда я с любовью познавал его творения, когда мой юношеский восторг достиг своего апогея, так что «Кольцо Нибелунгов»

¹ Гофмансталь Гуго (1884—1928) и Тракль Георг (1887—1914) — австрийские поэты-символисты, пользовавшиеся большой известностью среди бюргерской интеллигенции в Германии в конце XIX и начале XX века. (Примеч. перев.).

казалось мне венцом всех творений,— кстати, это продолжает иногда казаться мне и сейчас,— в тот период Вагнер уже перестал быть интеллектуальной модой, перестал считаться «последним криком моды», перестал быть предметом животрепещущих дискуссий. Разумеется, и в то время, так же как и сейчас, его произведения исполнялись на всех оперных сценах мира. И всё же мой жгучий интерес к Вагнеру, который критика Ницше только подогрела, казался несколько старомодным и запоздавшим. Точно так же запоздал я и с Шопенгауэром. В то время, когда я читал и почитал этого метафизика и атеиста, в то время, когда я упивался его философией утончённого артистического пессимизма,— а мне было тогда двадцать с лишним лет,— в тот период Шопенгауэр уже перестал быть философом сегодняшнего дня, перейдя в разряд философов вчерашнего, даже позавчерашнего дня. Он был олицетворением буржуазного века и в мои дни стал достоянием музеев, вошёл в сокровищницу культуры. Но для меня история была тогда не историей, а самой жизнью.

Связь с прошлым являлась для меня необходимостью, неперенным условием моего существования. Если 23—25-летний молодой человек сумел создать «Будденброков», то этому он обязан английскому, русскому и скандинавскому роману 1850—1860 годов, эпическому театру Вагнера, пессимистической морали Шопенгауэра, декадансу Ницше, виртуозности Флобера и Гонкуров, а также в значительной степени нижнегерманскому юмору. «Будденброки» появились как раз на пороге нового века. Однако эта книга казалась старомодной, ибо действие развивалось в ней медленно и она была весьма объёмиста. Немудрено, что литераторы прошли мимо неё. После недолгого колебания её подхватило и подняло образованное бюргерство Германии, ибо общее ощущение времени в этой книге было созвучно его ощущению времени. Вскоре «Будденброков» перевели чуть ли не на все европейские языки. Но я вспоминаю ещё, что, когда один мюнхенский художник спросил меня в период моей работы над романом, над чем я тружусь, я ответил ему скорее с огорчением, нежели высокомерно: «Ах, я пишу скучную бюргерскую книгу, но в ней говорится о распаде, и это единственное литературное в ней». Я действительно написал роман о своей собственной семье. Правда, мне казалось, что в этом материале есть нечто «от литературы», то есть духовное, то есть общезначимое. Но, по сути дела, я и сам не сознавал того, что рассказал в «Будденброках» о распаде буржуазной семьи, что я повествовал в этой книге о разложении, об окончании последнего периода XIX века, предсказав приход новой, гораздо более значительной культурной и социально-исторической эпохи. Если бы я осознал всё это, я не смог бы через четырнадцать лет, когда сама история своими грубыми и кровавыми руками провела черту под прошлым, обозначила великий поворот в нашей жизни,— я не смог бы тогда защищать романтическое бюргерство, национализм и немецкую воинственность, не смог бы написать книгу, которая получила печальную известность под названием «Размышления аполитичного человека». Связи с прошлым, о которых я говорил раньше, столь необходимые мне для моего творчества, теперь показали свою отрицательную сторону. Они превращали меня в реакционера. Во всяком случае, некоторое время казалось, что это было именно так, хотя книга, о которой идёт речь, являлась скорее экспериментом, скорее познавательным романом, нежели политическим манифестом. Не связывая себя никакими окончательными суждениями, я сам воспринимал свою книгу как глубокую разведку национальных консервативных кругов, предпринятую в полемической форме.

Уже в 1918 году, то есть сразу же после окончания «Размышлений», я отошёл от этой книги. Это облегчено было тем, что германская консервативная партия упорствовала в своём отрицании моего труда. Моя книга показалась ей слишком европейской и либеральной. Облегчило мой отход

и то, что я тогда лично соприкоснулся с этими кругами и, разглядев их политическую и интеллектуальную сущность, проникся глубоким ужасом. Наконец, в тот период уже возникло совершенно неприемлемое для меня фашистское движение, движение, характеризующееся интеллектуальным и научным обскурантизмом, противопоставляющее национализм гуманности, рассматривающее человечность как нечто упадочное и отжившее.

Моё время! Я вправе сказать, что никогда не льстил ему и не унижался перед ним ни в искусстве, ни в политике, ни в морали. Отражая его в своих произведениях, я в большинстве случаев находил к нему в оппозиции. А когда я пытался высказать свои взгляды, то это обычно оказывалось как раз некстати. Я был националистически настроен, когда злобой дня считался экспрессионизм с его обоюдоострым пацифизмом. Я с ужасом отвергал антигуманизм и иррационализм интеллигенции 1920—1925 годов, политические последствия которых были в то время видны лишь очень немногим. Всего лишь через четыре года после появления «Размышлений» я выступал в защиту демократической республики, этого хрупкого детища поражения, выступал против национализма. При этом мне ни от чего не пришлось отречься, и таким образом я так и не ощутил ни малейшего «надлома» в своём «я». Именно антигуманизм того времени заставил меня осознать, что всё сделанное мной или, во всяком случае, всё, что я стремился сделать, всегда служило одной цели — защите гуманизма. Ничего иного я не буду делать и впредь.

Моё время! Оно было непостоянным. Но сам я, живший в эту эпоху, был всегда верен себе. Даже самые даты моей жизни нравятся мне, ибо я люблю всякий разумный порядок. В 1900 году мне исполнилось двадцать пять лет и я закончил «Будденброков». Когда столетие достигло того возраста, в котором я пребывал тогда, а я достиг возраста, в котором пребывает столетие теперь, то есть пятидесяти лет, словом, в 1925 году появилась «Волшебная гора».

Эта книга была написана в совершенно других условиях, чем книга моей юности. Позади уже была первая мировая война. Можно сказать, что роман этот «пережил» её вместе с тем молодым поколением, которое бессмысленно и бесцельно сражалось и страдало в эти годы. Духовный облик этого поколения сильно отличался от облика современников Ганно Будденброка и Тонио Крёгера. Это было поколение, полностью растерявшее свои гражданские чувства и свои гуманистические идеалы, закалённое и вместе с тем опустошённое, физически сильное и вместе с тем отчаявшееся. Нигилизм, неизбежность которого предсказал Ницше и который неминуемо должен был идеологически сформироваться в результате второй мировой войны, в тот период уже сложился в верхах интеллигенции, о чём свидетельствовали, в частности, произведения Эрнста Юнгера¹. Человек, хорошо знакомый с национал-социалистским движением, назвал как-то национал-социализм «революцией нигилизма». И это было действительно так. Только к нигилизму национал-социалистов ещё применялась своеобразная вера в тёмные силы. Вера в антигуманное, в неразумное, в силы мрака, в «почву», в «нацию», в «кровь», в прошлое и в смерть. Я бы не сказал, что все эти атрибуты, с которыми мне пришлось столкнуться в период моей зрелости, были тогда такими уж новыми. Однако, говоря о преимуществах, которыми обладает человек 1875 года рождения — в частности, о преимуществах в его культурном и образовательном уровне — перед теми людьми, которые начали жить в годы распада бюргерства, я имел в виду, между прочим, и следующее: мы, старики, видели совсем иную реакцию на либерализм и рационализм, нежели та, о которой я сейчас говорю. Раньше противниками рационализма были высокообразованные люди — гуманисты с несколько сумрачным

¹ Юнгер Эрнст — фашистский писатель. (Примеч. перев.)

взглядом на жизнь, пессимисты (пессимизм пронизывал всю прозу той великой эпохи), гордые мизантропы, далёкие от того, чтобы отрицать верность идеалам, верность высокому призванию и достоинству человека...

Роман моей зрелости «Волшебная гора» был также гуманистическим, философским трудом, написанным в иронически-символическом стиле. Центральной проблемой романа является проблема человека, этого самого «уязвимого существа» на земле, его положения в обществе и отношения к государственному устройству этого общества. Роман этот, как и рассказы о Иосифе, относящиеся к тридцатым годам, но ставшие произведениями «американского» периода моей жизни, был задуман как книга о человеке. Внешняя сфера действия «Волшебной горы» предельно сужена. Все события разыгрываются в горной долине в Швейцарии, куда съезжаются люди из всех стран. Но внутренний охват этого романа очень широк. Написанный за четырнадцать лет до начала второй мировой войны, он показывает все политические и моральные противоречия нашей западной культуры, противоречия, которые и поныне ожидают своего синтеза. И сейчас, через двадцать пять лет после своего возникновения, этот роман продолжает оставаться в известном смысле актуальным по теме, ибо борьба этих противоречий ещё не перестала быть темой дня. В «Волшебной горе» я уже не пытался противопоставлять интеллект и искусство политике, как я это делал в «Размышлениях», которые являлись своего рода подготовкой к роману. Политика стала на Западе господствующей силой, хотя искусство и заигрывало с ней и хотя, стоя на разных позициях в своей борьбе за душу «западного мира», они продолжали дискутировать друг с другом. Эта книга, высмеивавшая риторику тогдашних демократов и политическое краснбайство учеников Мадзини, показала фашистские идеи террора и порабощения человека в таком ужасном свете, в каком их тогда никто ещё не показывал. И, вспоминая об этом, я после многих недоразумений должен признать — теперь, мне кажется, как раз настало время сделать это, — что отвращение, которое я испытывал к тоталитарному догматизму двадцать пять лет назад, ужас перед ужасом, — всё это и поныне живёт во мне: Мне с ним не по пути. И это происходит не из старомодного либерализма и не потому, что я не понимаю стремления человечества к новым абсолютным связям взамен тех, которые ему предоставляла когда-то религия... Фашизм противен всему моему существу потому, что он принципиально несовместим с правдой. Как писатель, как психолог и как художник, изображающий всё человеческое, я всегда и неизменно был верен правде. Я связан с правдой неразрывными узами. Я люблю её прелесть, я проникнут сознанием высоких достоинств правды, и я презираю все мерзости неправды. Конечно, писатель имеет право на выдумку, но ложь невыносима не только в моральном отношении, она отвратительна и с точки зрения эстетики. Здесь можно как раз убедиться в том, что, вопреки установившемуся мнению, оба эти понятия — мораль и эстетика — родственны, в некоторых случаях они даже совпадают. Фашистское государство требует, чтобы люди верили в ложь. Мне могут возразить, что лгут повсюду, даже в нормальном буржуазном обществе. Это я знаю. Я знаю, что бюргер привык скрывать свои истинные интересы за разными побрякушками и что «политика силы» повсюду рядится в мессианские одежды. Знаю я также, что то, что мы называем пропагандой, никогда не сродни правде. Но я говорю сейчас не об этом. Обман в небольших дозах и даже в больших — это ещё не есть вера в ложь, вера в ложь как в силу, созидающую историю. А именно этого требуют сторонники тоталитаризма.

Мне уже пришлось усомниться в том, что история всегда зиждилась на правде. И это как раз то, что издавна отпугивает меня от истории. Однако прирождённого историка это не страшит. В своей «Истории города

Рима в средние века» Грегоровиус¹, повествуя о возникновении христианской церкви и её догматов, в частности о примате римского епископа, иными словами, рассказывая об установлении власти римского папы, совершенно спокойно заявляет нижеследующее: «Если власть преданий, основанных на достойной и освящённой столетиями вере, и покажется кому-нибудь чудом, то следует иметь в виду, что в каждой окончательно сформировавшейся религии предания и легенды являются основой её практической действительности. Лишь только мир признал их, они становятся фактами».

Эта фраза, произнесённая столь хладнокровно, навевает на меня нечто подобное ужасу. Как же это так? Легенды, если их признает мир, могут стать правдой? Мифы, сказки, фальсификация, ложь могут стать основой исторической действительности? И в этом-то и заключается подлинная сущность истории? Если это так, то история является проявлением отвратительной для меня «философии силы», опозитизированной ныне. Кто превращает неправду в правду? Разумеется, тот, на чьей стороне сила. Сила использует также потребность человека в вере, хоть она при этом и «мягко стелет». Но фашизм пошёл ещё дальше. С восторгом усвоив, что в истории сила превращала ложь в правду, что на этом основывалась иногда жизнь людей, фашизм решил сам творить таким способом историю. Фашисты считают, что не правда делает людей счастливыми — никто, собственно говоря, и не требует этого от неё, — а вера. Вера в некую спасительную ложь. Причём вера, которую навязывают людям с помощью приказов. Согласно фашистскому учению фашистский политик — это своего рода служитель религиозного культа, вернее, творец непогрешимой догматической системы, основанной на мифах. Система, которая насильственными, чисто инквизиторскими методами подавляет всякое инакомыслие. Правда должна отречься от самой себя и подчиниться ей.

Нет ничего удивительного в том, что в наш век эта акция увенчалась успехом, несмотря на то, что последствия её были поистине ужасны для человека, приученного к свободе искусством, для которого свобода, возможно, только и является естественным состоянием. Ведь демократия перестала верить в себя, или, говоря точнее, усомнилась в своих силах. Свобода в нашем обществе почти уже с момента своего рождения разочаровалась в самой себе, она пыталась ограничить себя, искала каких-то новых пут, некоего абсолюта, внушающего ей пиетет, единой сдерживающей её этической и моральной системы. Оказалось, что в мире разобщённых индивидуумов человек не может жить, что человечество не может быть разобщённым. Наивно было бы в нашем обществе с беззаботной лёгкостью отнестись к проблеме свободы, без колебания противопоставляя свободу деспотизму. Проблема свободы внушает нам тревогу, такую тревогу, что возникает вопрос: не предпочтёт ли человек, стараясь сохранить свой душевный покой, террор свободе? В «Волшебной горе», так же как и в романе моей старости — «Доктор Фаустус», я много занимался этими вопросами...

Я не хочу, чтобы хоть кто-либо мог усомниться в том, что я с глубоким преклонением отношусь к великому историческому событию моего времени — к русской революции. В своей стране она покончила с совершенно нетерпимыми анахронистскими порядками, подняла народ, в котором девяносто процентов были неграмотными, на совершенно новую культурную ступень, бесконечно повысила жизненный уровень масс. Она является величайшей социальной революцией после политической революции

¹ Грегоровиус Фердинанд (1821—1891) — известный немецкий историк средневековья. «История города Рима в средние века» — одна из наиболее значительных работ Грегоровиуса. (Примеч. перев.).

1789 года и, подобно ей, оставит свой след во всей жизни человечества. Уже одно то, что эта революция является абсолютным антиподом фашизма итальянского и немецкого толка — этого дурацкого, обезьяньего подлаживания под «коммунизм», — антиподом любой псевдореволюции, не имеющей ничего общего с идеей человечности и с будущим человечества, — уже одно это вселяет в меня глубокое уважение к ней. Никто не станет отрицать, что великая русская революция была проникнута идеей гуманности.

Кто может усомниться в человечности России, вечной России? Такого глубокого гуманизма, каким была проникнута русская литература, с вят а я русская литература, как я назвал её в одной из моих ранних повестей, вообще не существовало нигде и никогда в мире. Вспоминая период немецких освободительных войн, к которым он вообще относился холодно, Гёте сказал как-то: «Моё мирозерцание слишком многим обязано французам, для того чтобы я мог их ненавидеть».

Мой духовный мир слишком многим обязан русской мысли, русской душе, для того чтобы политика силы могла заставить меня ненавидеть Россию. Что же касается коммунизма, лично мне чуждого, но пустившего глубокие корни в русском человеке, то ведь тогда, когда вопрос стоял о том, быть или не быть западным демократиям, тогда они сражались плечом к плечу с русским коммунизмом против нацистского фашизма. И это было только вчера. А сегодня считают необходимым вытравить из памяти народов этот вчерашний день и самое воспоминание о нём клеймят как государственную измену. Несмотря на всё это, я полагаю, что для человечества было бы великим благом, если бы мы сумели сохранить это боевое содружество. Но для этого обе стороны должны проявить много мудрости. И в то же время каждый разумный человек понимает, что нынешнее состояние, когда Запад и Восток находятся в хроническом конфликте, не может привести ни к чему хорошему.

Даже если предположить, что этот хронический конфликт и не втянет постепенно народы в войну, то есть не приведёт их к самой безнадёжной и отчаянной авантюре, в какую когда-либо было вовлечено человечество (тот, кто даст сигнал начать эту авантюру, не может не быть обречённым на моральную смерть), то и в таком случае он принесёт людям только несчастье. Он, этот конфликт, унижает достоинство народов, возбуждает в них ненависть и страх, заставляет их служить делу ненависти и страха, растрчивая свои лучшие силы, ведёт к застою и реакции, мешает всякому прогрессу, духовно опустошает людей, лишает великие нации правосознания, делает их смешными, заставляя их совершать глупости либо из-за навязчивой мании преследования, либо из жадности самим преследовать кого-то. Никто не отваживается представить себе горячую войну, но мы спокойно наблюдаем, как перед нашими глазами развёртывается «холодная война», которая разрушает как раз то, что она стремится якобы сохранить, — демократию. Демократия не может устоять перед искушением «изгнать дьявола» с помощью Вельзевула, провозгласить фашизм своим оруженосцем, поддерживать его и вновь взрастить. А ведь любой, кто попытается сделать это в чужой стране, достигнет лишь того, что он в свой собственный дом вселит фашистского дьявола. Буржуазные демократии всегда должны помнить слова: «Даже если ты завоюешь весь мир, ничто не поможет тебе, если ты при этом загубишь свою душу».

Из глубин человеческого сердца раздаётся крик: «Мир! Во имя всего святого — мир!» Неужели Америка и Россия — эти два гиганта с добрыми сердцами — должны, подобно Фафниру и Фазольду¹, схватиться в смертельном поединке, для того чтобы кто-нибудь из них остался един-

¹ Фафнир и Фазольд — мифические персонажи древнегерманского эпоса. (Примеч. перев.)

ственным хранителем земного сокровища? Надо при этом помнить, что дракону, который победит в этом поединке, уже нечего будет охранять. Водородная бомба — это не дубинка, применение её может привести к тому, что и самое сокровище будет уничтожено. Уничтожена будет и демократия. Восточный и западный колоссы — один с его древней и трудной историей, другой с его молодой и беспечальной, — сколько, в сущности, общего между ними... Это общее могло бы полностью изгнать из их сознания ненависть и страх! Самые масштабы этих стран роднят их друг с другом. Размеры их обуславливают особое отношение к фактору времени; у них есть время; они не спешат; им незнакомо чувство нетерпения.

Я ещё никогда не видел ни нетерпеливого американца, ни русского, потерявшего терпение. Недавно была открыта выставка, на которой были показаны фотоснимки из американской жизни, сделанные искусным фотографом. Сюжеты этих фотографий были выбраны чрезвычайно удачно: фотографии изображали сценки на ферме, американцев на работах — в поле и на заводах. Удивительным мне показалось на этой выставке, как много русского там было, вплоть до внешнего сходства в лицах. В характерах американцев и русских поразительно много общего. Их роднит врождённая демократичность, доверчивость, искренность, прямота в обращении, которая так отличает их от индивидуализма англичан и французов, намеренно отгораживающихся от внешнего мира. Известно, что, когда американские солдаты встречались во время войны со своими русскими товарищами — так было, например, в Иране и Германии, — они великолепно понимали друг друга, ладили друг с другом фактически лучше, чем с французами и с англичанами. Их дружбе способствовало то общее, что у них есть, некое примитивно-радостное отношение к благам жизни — к питью ли, к любви ли, одинаковый жизненный тонус. Они хорошо ладили.

Да ни Ваня и ни Сэм или Джим не хотят хватать друг друга за горло только потому, что в их странах разные конституции. Ведь даже такие основные принципы демократии, как свобода и равенство, оказываются часто несовместимыми друг с другом. Они не только не могут в своём чистом виде достичь единства, но и прямо противоречат друг другу, ибо понятие равенства включает в себя понятие твёрдой власти, а свобода в буржуазном обществе несёт в себе элементы анархистского разложения.

Задача человечества заключается сейчас в том, чтобы найти новое равновесие между ними, завязать новые связи, причём это не должно привести к забвению того факта, что господствующей идеей эпохи является справедливость; осуществление её настолько, насколько это в наших силах, — дело совести всего человечества. Принципы буржуазной политической революции должны быть распространены на область экономики, а либеральная демократия должна стать социальной. По сути дела, это понимают все. И если Гёте к концу своей жизни заявлял, что каждый здравомыслящий человек является умеренным либералом, то сегодня эти слова надо произносить так: каждый здравомыслящий человек является умеренным социалистом. Правда, мне известно, что именно умеренный либеральный социализм, то есть социал-демократия, сильнее всего ненавидит коммунизм. Это имеет место в Америке, точно так же как это было в Германии. И всё же я считаю, что самый факт готовности в нашем лагере признать, что социальные реформы в области свободы неизбежны и необходимы, самый факт отказа от того явно ложного взгляда, что надо подавлять социализм во всём мире и что лучше пойти на союз с фашизмом, чем допустить, чтобы в какой-либо стране был нарушен принцип «свободы предпринимательства», — уже одно это привело бы к коренному изменению всей международной обстановки. Я не сомневаюсь, что в этих условиях русско-американские противоречия во многом, и, я думаю, даже в основном, потеряли бы свою остроту.

Меня как-то обвиняли в недостатке патриотизма. Мне говорили, что если я не стал немецким патриотом, то должен хотя бы стать американским. Возможно, что в этом есть доля истины.

И вот на склоне лет у меня появилась патриотическая мечта. Я мечтаю о том, чтобы смелость Америки в моральной сфере пришла в соответствие с её материальной мощью и чтобы она взяла на себя инициативу созыва мирной конференции всех стран, на которой был бы положен конец пагубной гонке вооружений... И только в том случае, если Россия откажется принять участие в мировом планировании и в подготовке к созданию единых всемирных учреждений для защиты законности и мира, показав тем самым свою национальную ограниченность,— только в этом случае можно считать доказанным, что она не хочет мира. Да, это требует доказательства. И напрасно некоторые пытаются представить дело так, что они якобы знают всё заранее...

Говорят, Россия хочет мира лишь потому, что она считает, что время работает на неё. Возможно, что это и так. Но ведь время работает и на нас. Почему вера в силу времени должна быть прерогативой России? И Америка и Россия — великие страны, обладающие терпением. Время работает на нас всех. Надо только предоставить ему творить своё дело, ведущее к примирению и к преодолению противоречий. Надо только, чтобы все люди и все народы заполнили его трудом на своё благо. Время — драгоценный дар. Оно дано нам для того, чтобы мы стали более умными, более добрыми, более зрелыми и совершенными. Понятие времени неотделимо от понятия мира. Война не что иное, как бессмысленная, необузданная, варварская растрата времени.

Тот, кто семьдесят пять лет прожил на этой земле, тот узнал, каким благом является время. Он знает цену всему тому, что время терпеливо создает. Он успел привязаться к этой зеленеющей земле, и когда ему суждено будет опуститься в её лоно — о, как скоро это уже будет! — то он пожелает грядущим поколениям, которые там, наверху, будут свершать свой путь, озарённые солнцем, только одного — чтобы на их долю выпала не нищета и не позор одичания, а мир и радость!

*Перевод с немецкого
Л. Чёрной и Д. Мельникова.*

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОМАСА МАННА В НАШЕЙ СТРАНЕ

Томас Манн уже в начале нашего века был известен русскому читателю. В 1903—1910 годах в русской журнальной периодике («Вестник иностранной литературы», «Западный сборник», «Северное сияние», «Русская мысль», «Современные проблемы» и др.) печатались переводы многих рассказов Манна. В 1910—1915 годах вышло его пятитомное собрание сочинений. В него вошли «Семейство Будденброков» и все написанные к тому времени рассказы и повести. «Будденброки» и собрание новелл выходили также и отдельными изданиями.

В советские годы читатель получил два новых издания «Будденброков», несколько сборников новелл, а в 1934—1936 годах — шеститомное собрание сочинений. В него, помимо всего того, что было в дореволюционном собрании, вошёл один из лучших романов Манна — «Волшебная гора» — и поздние его рассказы. В 1941 году в журнале «Интернациональная литература» печатался роман «Лотта в Веймаре». Общий тираж изданий Т. Манна в нашей стране составляет около 300 тысяч экземпляров. Следует заметить, что некоторые крупные произведения выдающегося художника, такие, как «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус», «Похождения Феликса Круля» и другие, незнакомы широкому советскому читателю. Издание нового, более полного собрания сочинений этого замечательного писателя-гуманиста стало очевидной необходимостью.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

★

ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ

(К 250-летию со дня рождения поэта)

*Мой язык гремел, как било,
Сердце колоколом пело.*

Д. Гурамишвили.

Длинную и трудную жизнь прожил Давид Гурамишвили. В юности он был похищен лезгинами и увезён в Дагестан. Первая попытка бегства окончилась неудачно: его поймали и наказали жестоко. Гурамишвили бежал снова и вышел к русским поселениям на Тереке. Здесь его радушно встретили и выходили русские поселенцы-казаки. С Терека Гурамишвили перебрался в Астрахань, а оттуда в 1730 году — в Москву, где в то время, добиваясь русской помощи, проживал вместе со своей многочисленной свитой грузинский царь-эмигрант Вахтанг VI. Гурамишвили примкнул к грузинской эмиграции; царь сделал его начальником своего арсенала.

Миссия Вахтанга, как известно, была безуспешна, и царь скончался в 1737 году, отказавшись от политической деятельности. После его смерти эмигранты перешли в русское подданство и поступили на военную службу, получив от правительства царицы Анны Иоанновны поместья на Украине. В качестве русского офицера Гурамишвили принимал участие во многих войнах того времени: турецкой, шведской, Семилетней. В Кюстринском сражении 1758 года поэт попал в плен к пруссакам и до конца 1759 года содержался в Магдебургской крепости. В Россию он возвратился больным, неспособным к военной службе и вышел в отставку с чином поручика. С этого времени он удалился на покой в своё миргородское имение, где и умер в 1792 году, почти никому не известным и всеми забытым полуослепшим стариком.

Литературная судьба Гурамишвили столь же необычна, как и его жизнь. В молодые

годы он получил некоторую известность в Москве, при дворе Вахтанга VI. Эмигранты знали Гурамишвили в качестве автора стихотворных экспромтов и остроумных маджами: молодой человек блистал ими за царским столом, развлекая эмигрантскую знать в её вынужденном бездействии. Но не этим литературным мелочам суждено было составить посмертную славу Гурамишвили. Все лучшие его творения созданы значительно позже. В те годы, когда они создавались, жизнь поэта, видимо, клонилась к концу, и он уже не мог рассчитывать на литературную известность среди своих соотечественников.

Поэзия Гурамишвили вступила в период своего общественного существования только через шестьдесят лет после смерти её автора, когда были впервые опубликованы его произведения. Удивления достоин тот факт, что рукопись Гурамишвили дошла до нас целой и почти невредимой. В то время как многие рукописи крупнейших грузинских поэтов XIX века были безвозвратно утрачены, всё стихотворное наследие Гурамишвили сохранилось полностью в виде авторской рукописи, то есть в идеальной сохранности, устраняющей всякие разночтения. Существует предание о том, что во время путешествия царевича Мириана по Волге рукопись Гурамишвили едва не потонула и была лишь случайно вытащена веслом из воды. Рукопись и до сей поры носит на себе следы размыва чернил, попортившего автопортретный рисунок поэта. Если предание не вымышлено, то можно лишь благодарить счастливый случай, со-

хранивший Грузии одного из выдающихся её поэтов.

Всеобщее признание пришло к поэту спустя длительное время после его смерти. Оно было настолько же безусловным и всеобщим, насколько трагична и безысходна была его личная жизненная судьба.

Мировоззрение и творчество Гурамишвили противоречивы. Черты его деятельного отношения к миру к старости слабеют: нравственная и обличительная проповедь, направленная на возрождение родного народа, уступает место настроениям глубокой безнадежности и мистицизма. Славолюбия разуму и просвещению сменяются религиозными стихами и сетованиями на коварный мир. Эта эволюция была обусловлена у Гурамишвили целым рядом особо трагических обстоятельств как общественного, так и личного характера.

На глазах поэта погибала его родина, его родной народ. От некогда многочисленного грузинского населения в результате пятистолетнего, сначала монгольского, а затем иранского и турецкого владычества к середине и концу XVIII века оставалась лишь небольшая его часть. Восточные деспотии добивались физического уничтожения грузинского народа или же его полной ассимиляции. Угасал могучий очаг древней культуры, разрушались храмы и крепости, исчезало просвещение, падало искусство.

Личные бедствия Гурамишвили тесно связаны с бедствиями его родины. Всю свою жизнь он должен был прозести в эмиграции. До конца своих дней он тосковал о родине. Военным человеком он стал под давлением обстоятельств. Жизнь на Украине сложилась у него неудачно: не один раз падало там его хозяйство и не один раз приходилось ему начинать всё сначала. Была неудачной и семейная жизнь поэта: он был бездетен, и это обстоятельство всегда тяготило его. Бедствия поэта усугублялись ещё и тем, что любимое своё детище, свою «книгу-сироту», он не мог обнародовать при жизни и умирал, не зная, что станет с нею.

Подобно Камюэнсу, он имел право сказать: «Я умираю вместе с моим отечеством».

Во времена Гурамишвили Грузия представляла собой ряд мелких царств, влачивших тяжёлое существование под игом иран-

ских и турецких властителей. Ещё в половине XVI века Иран и Турция поделили между собой верховную власть в этой стране: Иран получил Восточную, а Турция — Западную Грузию. Шах Ирана являлся верховным правителем Восточной Грузии. Грузинские цари подчинялись ему и получали престол из его рук. Обычно они должны были для этого принять магометанство и сделаться проводниками иранской политики в собственном отечестве.

Вахтаг VI, карталинский царь, с кем связал свою судьбу Гурамишвили, был, по видимому, не столь государственным мужем, сколь способным литературным деятелем. Это был поэт, переводчик и учёный, создавший в Тбилиси первую типографию и издавший впервые Руставели. Как государственный деятель он был большим неудачником: долгое время провёл в плену у шаха Ирана, где был принуждён принять магометанство и этим вернул себе корону Карталинии. Враг Ирана, в дальнейшем он заключил с Петром I военнополитический союз и овладел Гянджой, ожидая прибытия русского войска. Однако Петру во время персидского похода дальше Дербента продвинуться не удалось. Шах объявил Вахтага изменником и лишил его престола. Карталинским царём был сделан царь кахетинский Константин: шах решил посеять вражду между царями Восточной Грузии и достиг своей цели. Константин с помощью иранцев и лезгин овладел Тбилиси. Вахтаг обратился за помощью к Турции. Турки вошли в страну, овладели ею и опустошили её. Константин был убит в неволе, а Вахтаг бежал в Россию. К этому времени Пётр уже скончался, а его преемники в отношении Ирана наступательных шагов не предпринимали, уступив ему обратно петровские приобретения. Вахтаг, как было уже сказано, окончил свою жизнь в эмиграции.

В поэме «Бедствия Грузии» Гурамишвили описывает все эти события и дополняет свой рассказ автобиографическими главами.

Примечателен прежде всего выбор современной автору темы и отказ автора от художественного вымысла в пользу исторического бытописания. Здесь Гурамишвили целиком примыкает к позиции одного из своих прогрессивных предшественников, царя-поэта Арчила II, который в своё время выступил как деятельный противник иранского влияния в грузинской поэзии.

Мы должны помнить, что ко времени Гурамишвили иранская литература уже давным-давно утратила свой былой блеск. Времена расцвета иранской культуры, живительными соками которой в какой-то мере питался ещё Руставели, миновали, и в литературе Ирама наступил период своеобразного декаданса с его условной, далёкой от жизни тематикой, с его неверием в реальную жизнь и пессимизмом, с одной стороны, и проповедью чувственных наслаждений — с другой. Именно такой по преимуществу и была придворная иранская поэзия того времени, и итти по её стопам, как это делали некоторые грузинские поэты, значило итти по стопам регресса, вырождения, в то время как реальная обстановка в Грузии требовала величайших усилий героизма и самопожертвования ради спасения страны и народа.

Гурамишвили отверг упадочные иранские тенденции поэзии и пошёл новой, самостоятельной дорогой. Правда, в поэме «Бедствия Грузии» он ещё не поднялся до уровня художественного обобщения и создания характеров, он ещё остался в роли летописца событий, участником и свидетелем которых был сам, и дидактиком-патриотом, но и эта позиция была глубоко прогрессивна, и её общественная роль не вызвала сомнения. Теперь остаётся лишь пожалеть, что известность поэта при его жизни не выходила за пределы грузинской эмиграции. На своей родине Гурамишвили мог бы стать крупным деятелем освобождения, так как сила его художественного слова была необычайно велика.

Гурамишвили с большой отчётливостью формулировал свою боевую творческую программу:

Как хорошее прославить,
Коль дурное не ругать?
Если зло во зло не ставить,
Что добром именовать?
Можно ль добрые поступки
У достойного отнять?
Чем оправдывать злодея,
Лучше мучеником стать!

Льстить в лицо, ругать заочно —
Добрым людям не годится.
Чем с неправдой жить на свете,
Лучше с правдой в небо взвиться.
Разве будет виноградарь
Жалким тернием гордиться?
Пусть погибнет плоть за правду,
Но душа возвеселится!

Говорить я буду правду,
Не глашатай я химере.
Недостойных не прославлю,
Не унижусь в лицемерье.
Пусть хоть голову снимают
С плеч моих,—по крайней мере,
Не сравню кого попало
С достославным Кахабери.

Обличительно нередко
Не прощают обличенья,
Но стране забвенья правды
Не приносит облегченья,—
Злоумышленники будут
Продолжать злоумышленья.
Выводите зло наружу,
Чтоб страшились искушенья!

Такова программа общественного и поэтического подвига Гурамишвили. И как эта программа не похожа на поэтические программы других грузинских поэтов XVII—XVIII веков! Во всяком случае, второй крупный поэт этого периода, Теймураз I, весь погружённый в искусственный мир утончённой иранской эстетики, по своим поэтическим устремлениям был диаметрально противоположен Гурамишвили. А ведь Теймураз I многими считался достойным соперником Руставели!

Манифест Гурамишвили является ярким документом в истории грузинского общественного самосознания и новой страницей в истории грузинской поэзии. Порабощённый народ устами своего поэта заявлял о своём национальном бытии, о своей воле к жизни и утверждению своего национального искусства. Значительность этого явления трудно переоценить, если принять во внимание реальную обстановку того времени.

Описывая бедствия Грузии, Гурамишвили обличает грузинскую правящую знать и в первую очередь царей Восточной Грузии — Вахтанга и Константина:

Не смогли цари поладить,—
Зол был каждый и упрям,
Не умели присмотреться
К государственным делам,
Крепко запертые двери
Лютым отвергли врагам,—
Привели лезгинов кахи.
Карталинцы — турок к нам.

Как ни странно, но в этой братоубийственной розни Гурамишвили обвиняет в первую очередь не Константина, царя Ка-

¹ Все цитаты по изданию: Д. Гурамишвили, «Давитиани». Перевёз с грузинского Н. Заболоцкий. Гослитиздат, М. 1955.

хетии, а Вахтанга, своего патрона и покровителя по эмиграции и единомышленника по симпатиям к России. Устами царевича Бакара он заявляет по адресу Вахтанга:

Мудрых дел его доньше
Видеть мне не довелось,
Ведь за что он ни возьмётся,
Всё идёт и вкривь и вкось.

Да и сам царь в поэме говорит про себя:

«...Что ж мне делать? Я старался
Послужить родной стране,
Но не смог...»

Гурамишвили обвиняет Вахтанга в том, что он не захотел договориться с Константином о едином фронте против общего врага, и особенно в том, что Вахтанг вызвал турок, которые разорили страну.

Белена была Вахтангу
В эти дни вкусней нектара...—

замечает по этому поводу Гурамишвили.

Но, обвиняя во многом Вахтанга, Гурамишвили не может не сочувствовать его руссофильским тенденциям, поэтому его отношение к Вахтангу двойственно.

Очень характерны в поэме высказывания Гурамишвили о Петре Великом. Опять-таки вслед за своим предшественником, Арчилом, Гурамишвили восхищается деятельностью царя-преобразователя и заявляет о себе, как о горячем стороннике его мудрой политики:

Был на севере влагъга,
Повелитель всей России —
Пётр Великий, наречённый
Императором впервые.
Он для подвигов великих
Заострил мечи тупые,
О его душе бессмертной
Молят господа живые.

Он при жизни неустанно
Об отечестве радел;
Мудрый, щедрый, справедливый,
Он блюсти закон умел;
Всемогущею рукою
Всех врагов он одолел,
Опочивши, продолжает
Он творить немало дел.

Таким образом, политическая ориентация Гурамишвили совпадает с вахтанговской. Но в XVIII веке в силу обстоятельств она не могла принести реальных результатов — освобождения Грузии. Гурамишвили и его патрон были пролагателями того пути, который восторжествовал после их смерти, сами же они погибли трагически, не видя плода многолетних своих усилий.

Большой интерес представляют автобиографические главы поэмы. Без них мы, по всей вероятности, никогда не узнали бы о событиях, которые привели поэта в Россию. Гурамишвили рассказывает о своих приключениях с такой искренностью, с таким простодушием и подчас с такой горькой иронией над самим собой, что до сих пор вызывает живое сочувствие читателя. Особенно трогательно изображает поэт своё бегство из лезгинского плена, когда он после двенадцатидневных скитаний в горах Дагестана, умирая от голода, вышел в предгорья, забрался в какой-то виноградник и вдруг услышал церковный звон.

О, как сердце задржало,
Услыхав церковный звон!
Я вскочил и оглянулся —
И отпрянул, поражён:
Люди истово крестились
Возле церкви у окон.
Вот оно, моё спасенье!
Кончен вражеский полон!

Возместил мне бог сторицей
Всё, чего лишил когда-то!
Как безумное, стучало
Сердце, радостью объято,
И рассыпал изо рта я
Там немало винограда,
И бежать хотел я к людям
Из приветливого сада.

Тут внимательней взглянул я
На неведомых людей, —
Клички женщин поднимались,
Словно рожки у чертей.
Испугался я, несчастный,
Новых дьявольских затей
И решил бежать отсюда
И других искать путей.

* * * * *

Решив бежать, поэт набрал в подол винограду и залёг в тростник, ожидая темноты. Но тут подстерегла его новая беда: на беглеца набросилась туча комаров и заставила его забыть обо всех опасностях. Доведённый комарами до иступления, он устремился в село и очутился на сельском гумне.

Словно званный гость, внезапно
На гумне я появился,
Окружив меня толпою,
На меня народ дивился.
У любого под рубахой
Крестик маленький светился.
Медный крестик лобызая,
Трижды я перекрестился.

«Лазарь, дай-ка парню хлеба!» —
Кто-то, сжалившись, сказал.
Слово «хлеб» слышав ужом,
Я, как лист, затрепетал.

Закачался на ногах я,
Пошатнулся, застонал.
И, как рухнувшее зданье,
Обессиленный, упал.

Слово «хлеб» я знал по-русски,
Слышал я его и ране.
Услыхав его, я понял,
Что на русской я окраине.
И душа, забыв о муке,
Погрузилась в ликованье.
И, как сноп, я там на землю
Повалился без сознания.

Был казак в селенье этом,
Мне ниспосланный судьбою.
Как родной отец за сыном,
Он ухаживал за мною.
Обнял он меня с любовью,
Оросил мне грудь слезою,
Толмача Январу-пшава
Разыскал, привёл с собою.

Примечателен весь тон этого рассказа, это внимание к трагикомическим происшествиям бегства: к рассыпанному изюму в виноград, к страху перед женскими кичками, к нападению комаров. Благодаря этой особенности автобиографических глав поэма «Бедствия Грузии» приобретает убедительность реалистического жизненного повествования.

Примечательны также и те тёплые краски, которыми поэт рисует свою первую встречу с русскими крестьянами. В то время как изображённые в поэме русские цари Пётр и Анна предстают перед нами в схематическом, отвлечённом виде, безмятный терской казак, приютивший и вышедший беглеца-грузина, имеет живое лицо, написанное трогательно и любовно.

Обличая соотечественников — царей, феодалов, духовенство, — Гурамишвили противопоставляет им простой народ, с такой любовью изображённый им в поэме «Весёлая Весна» («Пастух Кацвия»). Некоторые исследователи называют эту поэму пасторальной, подчёркивая этим наименованием её жанровую условность и, может быть, недостаточную самостоятельность в разработке темы. С этим утверждением можно соглашаться, можно и не соглашаться, но дело явно не в нём, так как оно не даёт представления о значении поэмы в целом. А значение её велико: эта поэма хотя и идеализирует патриархальный уклад крестьянской жизни и воспевает этот уклад, как правильный и способный поддержать материальное и нравственное благосостояние народа, однако она первая в грузинской литературе поэма о народе.

С точки зрения литературного мастерства Гурамишвили в этой поэме делает шаг вперёд. Если «Бедствия Грузии» представляли собой историческую и автобиографическую летопись в стихах, то «Весёлая Весна» уже носит характер сюжетного произведения с целым рядом действующих лиц, наделённых характерными признаками. И хотя это произведение, видимо, не закончено автором, оно настолько своеобразно и реалистично для того времени, что о нём можно говорить как о новом слове тогдашней грузинской литературы.

Две поэмы Гурамишвили, дополняя одна другую, дают нам ясное представление об общественной позиции автора. И в то же время они не похожи друг на друга. «Бедствия Грузии» — поэма мрачная по колориту, как бы освещённая тусклым отблеском далёкого зорька; тяжёлые картины вражеского засилья сменяются в ней картинами внутренних грузинских раздоров, гневные обличительные строфы нередко переходят в вопль отчаяния и безнадежности. «Весёлая Весна», наоборот, исполнена душевного равновесия и умиротворения. Она полна добродушной весёлости, местами назидательна и всегда преисполнена веры в народную мудрость и её непререкаемый авторитет.

Кроме двух поэм, Гурамишвили оставил много песен и стихотворений. Эти его произведения очень разнообразны. Большая часть их, написанная в старости, носит характер религиозных размышлений и песнопений, связанных с тем или иным происшествием из жизни поэта (например, в связи с эпизодом в Кюстринском сражении 1758 года, в связи с разорением украинского имения и пр.). Другая часть представляет собой лирические песни, написанные по мотивам русских, украинских и польских песен. Они интересны тем, что обогатили грузинскую поэзию новыми звучаниями и ввели в её обиход новые стихотворные размеры. Ряд стихов («Спор человека с бранным миром» и подобные) чем-то напоминает древнерусские и украинские вирши. Наконец, ряд стихов с большой долей реалистического содержания можно отнести к числу лучших произведений Гурамишвили и всей грузинской поэзии в целом.

Из этих последних особенно выделяется стихотворение «Зубовка». Так называется селение, расположенное неподалёку от

Миргорода. Около Зубовки поэт встретился с женщиной, которой, видимо, суждено было сыграть немалую роль в его жизни. Приводим полностью это стихотворение.

ЗУБОВКА

(На мотив русской песни «Казак — душа правдивая»)

Я из Зубовки однажды к дому
возвращался
И с красоткой чернобровой в поле
пвстречался.

На лице её прекрасном родинка чернела.
Красота её внезапно сердцем овладела!

Я спросил её: — О солнце, держишь путь
куда ты?

Из какого ты селенья, из какой ты хаты?
Я узрел тебя, и сердце стало словно
камень.

Окропи меня водою, жжёт меня твой
пламени!

Осерчав, она сказала: — Грех тебе,
злодею!

Как просить ты смеешь, чтобы стала я
твоею!

С соловьём любиться розе, не с тобой,
ворсоной! —

Слыша это, я заплакал, в сердце
уязвлённый.

И она сказала снова: — Прочь, отстань,
прошу я!

Не хочу тебя, другому здесь принадлежу я.
Мой супруг тебя красивей, мужественней
с виду. —

Обезумел я, почуяв горькую обиду.

А она: — Ни слова больше! Отцепись,
проклятый! —

И ударила, ругая, палкой суковатой.
Покачнулся и упал я, потеряв сознание.
И она передо мною встала, как сиянье.

Пожалела, наклонилась и взяла за руку:
— И за что ты, неразумный, принимаешь
муку? —

Я сказал: — Из-за тебя я разума лишился,
Необласканный тобою, с жизнью
распростился!

И красавица с улыбкой ласково сказала:
— Если нас с тобой увидят, худо бы
не стало.

Встань, пойдём, пора вернуться каждому
до дому.

Будешь здесь, так снова выйду я к тебе,
дурному.

И ушла она, пропала, чудо черноброво,
Лишь оставила на память ласковое слово.

С той поры я, раб влюблённый, всё гляжу
на поле,

Лишь пришла бы, ничего я не желаю
бо, те.

«Я приду», — она сказала. Полный
ожиданья,
Не могу в тоске по милой я сдержатъ
рыданья.

В час кончины одинокой не она, так
кто же
Дверь в загробное селенье мне откроет,
боже?

Послужить моей любимой жажду я,
унылый.

Переполненное сердце вечно жаждет
милой.

У неё в руках, я знаю, чтобы жил и
впредь я.

Есть и хлеб существованья и вода
бессмертья.

Дай мне, боже, только ею жить в години
эти!

Разве есть ещё другая, лучшая, на свете?
За меня она, я знаю, вытерпела муки,
Вижу лик её обмерший, связанные руки.

Где теперь ты, дорогая? Отзовись скорее!
Ты была мне в целом мире всех людей
роднее.

Я в аду тебя не вижу, ты в стране
господней,

Так возьми ж меня с собою прочь из
преисподней!

Многое удивляет и волнует нас в этом стихотворении. Удивительной кажется внезапность чувства, овладевшего поэтом. Любовь не постепенно назревала в нём, но поразила его мгновенно, с одного взгляда и на всю жизнь. Удивительной кажется и образ возлюбленной поэта — это не идеализированная неземная красавица, но живая, реальная женщина, наделённая всеми признаками украинской крестьянки, трезвой, разумной, уважающей своего мужа и вовсе не склонной к мимолётным шансам с этим чудачком-грузином, который ни с того ни с сего повстречался с нею на жизненной её дороге. Обратите внимание, как она отчитала его и даже «ударила, ругая, палкой суковатой!» Реализм этой сцены доведён до предела, коллизия — до полного сбострения. И вдруг... Что случилось с нею? Что произошло в её душе? Чем тронул, чем пронзил её этот чудак, упавший к её ногам? Не красотой же он взял, не мужественностью, не умом и не недостатком съём — наоборот, он был скорее жалок, беспомощен, смешон даже! Но что-то вдруг тронуло её, остановило, и сердце, должно быть, подсказало ей, что за всей видимой нелепостью этого внезапного объяснения таится нечто такое, чего она ещё не испытала в жизни своей... И она оставляет его со словами обещания и надежды.

И он ждёт её. И ожидание становится смыслом его жизни. Это ожидание так же поразительно, как ожидание рыцаря Тогенбурга в известной балладе Шиллера. Но

Тогенбург жаждал увидеть лицо возлюбленной, затворившейся в монастыре и погружившейся в тишину религиозного успокоения. А что происходит с этой женщиной в стихотворении Гурамишвили?

За меня она, я знаю, вытерпела муки,
Вижу лик её обмерший, связанные руки.

Поэт не объясняет нам, что случилось с его любимой. Проведал ли муж о её внезапной любви и истязал её в порыве ревности? Или родня её не захотела смириться с изменницей, опозорившей дом и своё честное имя? Мы не знаем этого. И мы не знаем, осталась ли она в живых, эта женщина, или стала жертвой своей внезапной и необъяснимой любви? Во всяком случае, последнюю строфу стихотворения можно воспринимать как прощание с нею: настолько эта строфа пронзительно-безутешна!

В области стихосложения Гурамишвили был новатором не только потому, что чрезвычайно искусно ввёл в литературный обиход новые типы поэтических произведений. Он, кроме всего прочего, упростил и приблизил к народному языку своей поэзии, а также ввёл новые размеры, получившие в дальнейшем название «гурамули». Прислушиваясь к музыке русских и украинских песен, поэт вводил их элементы в свой поэтический обиход, чем значительно преобразовал грузинское стихосложение. Особенно сказалось это на поэтике его лирических произведений.

По единодушному признанию грузинских литературоведов и писателей, Гурамишвили выделяется среди поэтов Грузии исключительной музыкальностью своих произведений. Его версификация безукоризненна, точна и богата, и в этом отношении он является прямым продолжателем Шота Руставели.

Таким образом, и в узком понятии поэтического мастерства творчество Гурамишвили было явлением исключительного значения. Поэтика его противостояла поэтике писателей иранофильского толка, столь искусственной и ограниченной в своей изощрённости и оторванности от интересов народа. Недаром его «гурамули» так быстро привились в Грузии и прочно вошли в обиход грузинской поэзии.

Грузинская литература XVII—XVIII веков была ареной борьбы против культурной и политической диктатуры Ирана. Борьба эта была нелегка, тем более, что главным защитником иранских традиций в искусстве был не кто иной, как талантливый грузинский поэт — царь Теймураз I (ум. 1663). Этот Теймураз, всю жизнь борющийся с Ираном как политический деятель, был верным рабом иранской эстетики как поэт: явление в высшей степени характерное, свидетельствующее об исключительной силе иранских влияний. Его «Вардбульбулиани», «Спор вина с устами» и другие подобные сочинения вводили грузинскую литературу на изнеженный и вырождающийся иранский восток. Теймураз, этот второй Руставели в представлении его поклонников, был не одинок в своём иранофильстве: грузинская литература может указать на ряд его продолжателей, пусть не столь одарённых, как он сам (Бесики и другие).

Поэзия Гурамишвили явилась как бы народным ответом на иранофильскую поэзию Теймураза. Порабощённый врагами, народ отверг поэзию своего эстета-царя и творчеством изгнанника Гурамишвили утвердил реалистический путь своего национального искусства. Под пером Гурамишвили зарождалась новая гражданская поэзия Грузии, одухотворённая передовыми идеями своего века. Она боролась за объединение страны перед лицом общего врага, за возрождение народа, за союз Грузии и России.

Грузинская литература в силу исторических условий не могла развиваться последовательно. После великого Руставели она молчала триста лет, придавленная захватчиками, два века приходила в себя после предыдущих потрясений и, наконец, в XVIII веке родила Гурамишвили, который, таким образом, явился отцом новой грузинской литературы и великим продолжателем дела Руставели.

Из его рук грузинская поэзия XIX века получила своё знамя, которое и было достойно поддержано целой плеядой новых талантов: Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе, А. Церетели, Важа Пшавела. Только с их помощью грузинская поэзия окончательно преодолела чужеродные влияния и, не колеблясь, вступила на путь своего национального развития.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

★

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО

Любителя и собирателя книг даже в воскресенье, когда книжные магазины переполнены, легко отличишь от других покупателей. Что выдаёт его? Всё. Жест — нервный, стремительный, каким он берёт книгу, которую долго ждал; ласкающий и бережный, когда он наконец держит её в руках. Нетерпение. Оно заставляет любителя тут же в магазине — один раз у прилавка, а другой раз где-нибудь в уголке у окна — перелистать книгу. Пока он листает, по его лицу, как свет и тени, пробегают выражения радости и огорчения. Это безмолвный монолог о качестве бумаги, о рисунке шрифта, о фактуре переплёта. И жаль, что издатели не могут этот монолог подслушать.

Любитель книги знает не только её автора, название и год выхода в свет. Он видит книгу в цвете, помнит её на ощупь, мысленно чувствует её тяжесть в своей руке...

Год назад в маршруте московских книжников, освящённом многолетней традицией, — этот маршрут включает в себя магазин академической книги на улице Горького, букинистические лавки на Арбате и на улице Герцена, книжный магазин в Центральном проезде (особенно его второй этаж, где отдельными листами продаются репродукции и гравюры), — в этом традиционном книжном маршруте появился ещё один пункт притяжения. В книжном магазине № 1, что рядом с Моссоветом, открылся отдел, где продаются книги ряда зарубежных стран. И теперь всё чаще и чаще в пачке книг, которую собиратель торжествующе несёт домой, есть книги на польском, немецком, китайском, болгарском, венгерском и других языках. Их покупают не только те, кто знает эти языки. Многие издания, особенно монографии и альбомы по изобразительному искусству и другие иллюстрированные книги, так искушают, что впору вначале их купить, а потом приняться за изучение языка. Да и как не приняться! Пожалуй, скорее выучишься читать по-чешски, чтобы порадоваться, например, не только фотографиям, но и тексту в замечательной книжке чешских путешественников Ганзелки и Зикмунда «Африка; мечты и действительность», чем дождёшься, пока Издательство иностранной литературы выпустит её в свет на русском языке.

Ну, а уж если собиратель книг читает хотя бы на одном из языков, представленных в этом магазине, то тут для него соблазнов без счёта!

Мне и хочется рассказать о некоторых немецких изданиях, которые продавались в Москве, рассказать не с точки зрения литературного критика, а с точки зрения любителя и собирателя книги.

Начну со справочников. Когда они появляются в продаже, то удержаться от покупки почти невозможно. Всех книг, конечно, купить нельзя — мысленно утешаешь себя, отказываясь от какой-нибудь покупки, — но уж справочники и словари — эти-то книги нужны постоянно. А в Германии — давняя традиция издания различных справочников, и книжные фирмы ГДР успешно продолжают и развивают эту традицию.

Прежде всего следовало бы рассказать о знаменитой «семье» словарей Дудена. Дуден — немецкий филолог и педагог конца прошлого, начала нынешнего века. Он составил ряд справочников по немецкой орфографии, грамматике и стилистике. Они отличались полнотой материала и очень продуманным его расположением. Со временем фамилия Дудена стала нарицательным словом, превратилась в фирменное обо-

значение серии словарей, которую теперь издаёт Библиографический институт ГДР в Лейпциге.

Вот, например, иллюстрированный немецко-русский словарь Дудена. Он не может заменить обычные двуязычные словари, но представляет собой хорошее дополнение к ним. Все слова, которые обозначают конкретные понятия, поддающиеся графическому изображению, даны не только на двух языках, но и проиллюстрированы на схематических рисунках. Каждый, кому приходилось самостоятельно читать специальную литературу на иностранном языке или заниматься переводом, особенно техническим, знает, какое неоценимое значение имеет пособие, которое даёт возможность не только подыскать словарное соответствие, но и увидеть зрительный образ той машины или детали, о которой идёт речь, и тем самым себя проверить.

Схематические рисунки в иллюстрированном Дудене продуманны и целесообразны. Здесь есть таблицы, которые изображают, например, заводской цех, университетскую аудиторию, столярную мастерскую, давая зрительные образы для многих десятков помещённых рядом с каждой из этих таблиц понятий.

Не всё, конечно, удачно в этом словаре: есть не очень точные переводы, особенно в разделах общественно-политической лексики; есть случаи подмены перевода так называемыми «кальками», но словари Библиографического института выходят в свет часто, улучшаясь от издания к изданию. Так, наверное, будет и с этим словарём.

Среди других немецких справочников, которые разошлись среди москвичей в тысячах экземпляров, можно назвать лексикон «От А до Зет», который приближается по типу к нашему трёхтомному энциклопедическому словарю, но издан более компактно, переиздание известнейшего справочника Вильгельма Либкнехта «Словарь иностранных слов для народного читателя» и «Лексикон естественных и точных наук» Брокгауза.

Это всё издания, рассчитанные на широкого читателя. А вот огромные тома — немецкий словарь древнеегипетского языка. Появление этих книг было радостью для специалистов по истории древнего Востока. Этот многотомный словарь — своего рода научный и издательский подвиг. Наша Академическая типография ещё в семидесятых годах прошлого века имела комплекты литер с египетскими иероглифами для набора, но до сих пор книги, воспроизводящие древнеегипетскую письменность, тем более полные словари, представляют собой явление незаурядное в издательской практике.

Не могу не поделиться впечатлениями по поводу некоторых изданий художественной литературы. Прежде всего следует отметить одну особенность, свойственную различным многотомным изданиям классиков, выходящим в ГДР. Это, как правило, собрания, выходящие в свет одновременно, целиком, всеми томами, а не растянутые на многие годы подписные издания. Несомненно, одновременный выпуск в свет всех томов собрания сочинений того или иного писателя создаёт большие удобства.

Теперь о качестве этих изданий. Возьмём для примера одно из многих за последние годы изданий Гейне. Это «Избранные сочинения в шести томах» — продукция одного из известных лейпцигских издательств. По объёму материала, включённого в шеститомник, по характеру литературно-критических статей видно, что это — издание, рассчитанное на массового читателя. Чем оно привлекательно? Шесть томов, хотя они и содержат все основные поэтические и прозаические произведения Гейне, занимают на книжной полке сравнительно немного места. Когда берёшь каждый томик в руку, на глаз кажется, что в нём страниц двести пятьдесят, от силы триста. На самом же деле в нём около четырёхсот страниц. Компактность издания зависит от качества бумаги, тонкой и вместе с тем достаточно плотной. Ещё одна деталь, существенная для книжника: материал распределён так, что все тома — одинаковой толщины, с колебаниями не более чем в десяток-другой страниц, что при тонкой бумаге делает эту разницу совсем незаметной. Видно, что оформители издания заботились о внешнем виде не только отдельного тома, но и всего собрания, когда оно станет на полку, и знали при этом, как проигрывает многотомник, в котором все книги разной толщины.

Большинство современных немецких изданий, в том числе и это издание Гейне, выходит в коленкорových, полуколенкорových или холщовых переплётках. Иногда это цветные переплётки — коричневые, зелёные, красные — с минимальным количеством тиснения на них. Нередко переплётки сохраняют естественный цвет некрашеного холста. В таких случаях используется особенно грубый холст с переплетением толстых узлова-

тых нитей, подчёркивающих фактуру материала. Холщовые и коленкоровые переплёт-ты приятны на ощупь. Они, как говорят художники, хорошо смотрятся, да, кроме того, сама фактура этого материала предрасполагает к скромному, современному по стилю оформлению. И, глядя на эти книги, думаешь, что зря некоторые наши издатели считают обязательным признаком хорошего издания переплёт из ледерина с золотым тиснением. Ледериновый переплёт делает книгу тяжёлой. Он, особенно в жару, липнет к рукам, а когда вы хотите снять новую книгу с полки, вы чувствуете, что она не просто вынимается, а отклеивается от своих ледериновых соседей.

Между тем коленкоровые переплёт-ты, и особенно холщовые, были всегда в традиции русского искусства оформления книги. Да и сейчас они примета многих превосходных наших изданий. Если вы возьмёте в руки одно из самых лучших по полиграфическому исполнению собраний сочинений Пушкина — юбилейный десяти томник издания Академии наук (любители называют его «Академический, синий»), вы увидите, какими изящными могут быть книги, возрождающие этот наш обычай строгого и скромного холщового переплёт-та.

Но вернёмся к тому изданию Гейне, о котором мы начали говорить. Его оформление не лишено недостатков. Художник сделал эскиз переплёт-та достаточно строго и лаконично. На нём вытиснено всего одно слово: «Гейне», а больше на переплёт-те ничего и не требуется. Но он не удержался и разукрасил корешок золочёным орнаментом, состоящим из двух полосок одного рисунка, пяти полосок другого рисунка, одного кружка с цифрой и трёх розеток с лепестками. Это единственное, что напоминает в издании, вполне современном по виду, так называемые немецкие «золотые издания» классиков конца прошлого века, которые были далеко не образцом хорошего вкуса.

Помимо обычных многотомных «избранных сочинений» с пронумерованными томами, в ГДР распространён другой тип издания сочинений одного писателя. Это так называемые «Избранные сочинения в отдельных выпусках». Что это значит? Вот двухтомник — «Новеллы» Генриха Манна. С одной стороны, это вполне самостоятельное издание, имеющее свой собственный справочный аппарат: комментарии к циклам новелл, библиографию новеллистического наследия Генриха Манна и т. д. С другой стороны, этот двухтомник входит как часть в многотомное издание избранных сочинений Генриха Манна. Вы можете купить каждый выпуск этого многотомного издания, включающий то или иное отдельное произведение или группу произведений, близких друг другу, отдельно, и в пределах каждого выпуска у вас будет замкнутое целое, а не разрозненные тома.

Есть, наконец, ещё один тип издания. Так выходят, например, романы Лиона Фейхтвангера. Каждая книга издаётся как совершенно самостоятельная, но вместе с тем формат, цвет переплёт-та, его оформление однотипны и для «Лже-Нерона», и для «Успеха», и для «Мудрости простака», и для других книг Фейхтвангера. Такая однотипность оформления томов как бы сама толкает любителя на возможно более полный подбор книг этого писателя в данном издании.

Рассказать обо всех и даже о самых характерных изданиях произведений художественной литературы, которые продавались и продаются в этом магазине, или даже просто перечислить все названия решительно невозможно. Москвичи покупали здесь книги Анны Зегерс и Бертольда Брехта, Эрнха Вайнерта и Бодо Уэе, Стефана Хермлина и Эрвина Штриттматера и многих других современных немецких писателей. Книги эти пользуются большим спросом. Достаточно сказать, что даже довольно дорогое двенадцатитомное полное собрание сочинений Томаса Манна разошлось в количестве нескольких сотен экземпляров. Между прочим, собрание сочинений Томаса Манна — один из примеров сотрудничества между книжными фирмами ГДР и ГФР. В последнее время некоторые западногерманские фирмы часть тиража того или иного издания предназначают для продажи в ГДР или даже специально выпускают в свет книги для ГДР. Так, например, в Западной Германии по заказу книжных фирм ГДР напечатан «Трёхгрошовый роман» Б. Брехта.

Расскажу о нескольких книжных приобретениях последнего времени, которые меня особенно порадовали, потому что с каждой из этих книг связана история, потому что каждая из них подтверждает старинную мудрую поговорку: «Книги имеют свою судьбу».

Вот книга Эгона Эрвина Киша, замечательного чешского журналиста, писавшего главным образом на немецком языке. Книга называется «Ярмарка сенсаций». Это мемуары Киша, или, как говорит в отлично написанном предисловии Бодо Узе, своего рода «репортаж о репортаже». Эгон Эрвин Киш был не только блистательным мастером репортажа, но знатоком истории и теории журналистики. Недаром под его редакцией в тридцатых годах была издана интереснейшая книга — антология классического репортажа, которая начиналась... рассказом Плиния Младшего об извержении Везувия и кончалась лучшими образцами современного репортажа. Среди множества очерков у Киша были такие, в которых рассказывается, как возникал очерк. Иначе говоря, он иной раз описывал не только само общественное событие, взволновавшее его, но делал внутренним композиционным приёмом очерка рассказ о собирании материала. В этих его полурассказах-полуочерках всегда присутствуют два героя — тот, о котором он пишет, и сам журналист. «Ярмарка сенсаций» — книга, написанная в 1942 году, во время пребывания Киша в эмиграции, в Мексике. Здесь есть и главы о старой Праге, где Киш родился и вырос, и воспоминания о гимназии, в которой он учился, и блестящие памфлетные страницы о предвоенной австро-венгерской дипломатии и т. д. Но главное и центральное в этих воспоминаниях — становление журналиста, рассказ о его творческом и профессиональном опыте. Киш вспоминает, как он искал свой жанр, как учился наблюдать, как ошибался. Он вспоминает о том, как возникли такие его очерки, которые прогремели по всему миру, как, например, очерк о шпионском деле Рейндля — полковника австро-венгерского генштаба, — или его знаменитый очерк об океанском переходе на маленьком речном буксире...

Словом, это книга, которую с интересом прочтут и журналисты и просто читатели, и стоило бы облегчить знакомство с нею переводом на русский язык хотя бы наиболее интересных глав.

Я сказал, что буду говорить об изданиях, подтверждающих пословицу, что книги имеют свою судьбу. Чем примечательна в этом смысле книга Киша? Она — один из самых последних замыслов, им осуществлённых. Рукописи многих других книг погибли во Франции во время гитлеровской оккупации, а они были близки к завершению. Другие замыслы не позволили осуществить смерть. Об этом пишет в предисловии Бодо Узе, который был близок к Кишу. И это заставляет с особенным волнением и особенным вниманием брать в руки томик мемуаров того, кто всю жизнь скромно и упрямо называл себя «репортёром», а был талантливым писателем, незаурядным хронистом своей бурной эпохи.

Вот несколько книг Б. Травена — «Повозка», «Марш в страну красного дерева», «Троцас». Их автор — человек, биография которого, как принято говорить в приключенческих романах, «покрыта густым мраком неизвестности». Лет двадцать пять назад вначале на немецком, а потом и на других европейских языках стали появляться книги из жизни Латинской Америки, главным образом Мексики. Это были книги, написанные человеком, для которого родным или, во всяком случае, очень близким был немецкий язык. Вместе с тем это книги, написанные литератором, несомненно хорошо знающим быт, нравы, фольклор коренного населения Латинской Америки, индейцев, человеком, который знаком с бесчеловечной эксплуатацией на плантациях в американских тропиках.

Книги Травена привлекли внимание читателей своей резкой антиколониальной и антиимпериалистической направленностью, мастерством сюжетостроения, отточенностью стиля. Писателем заинтересовались. Но о нём ничего не было известно и не стало известно до сих пор, если не считать множества противоречивых и полуфантастических версий, вроде того, что Травен — это псевдоним человека, который, по всей видимости, живёт где-то в Латинской Америке и не желает, чтобы о нём знали что-либо, кроме его книг.

Между прочим, в ГДР на страницах «Зоннтаг» — еженедельника по вопросам культуры — развернулась дискуссия о творчестве Травена. В его книгах сильны нотки анархизма, бесспорно. Но на основании этого вряд ли правильно вовсе исключать их, как требуют некоторые участники дискуссии, из понятия «прогрессивная литература»... Думается, что издательства ГДР, переиздавшие книги Травена, поступили правильно. Может быть, стоило бы перевести некоторые из его вещей и у нас или

переиздать те, которые выходили на русском языке в довоенные годы, но основательно позабыты...

Каждый приход в книжный магазин, когда сюда поступает новая партия книг, означает для любителя и собирателя небольшое открытие. Вот недавно в продажу поступила книга молодого западногерманского писателя Зигфрида Зоммера «И никто по мне не заплачет». Она вначале появилась в Западной Германии, а потом была переиздана в ГДР, где вообще очень широко издают всё лучшее, что создают прогрессивные писатели ГФР.

Книга написана в реалистической манере, зрелость которой поражает в таком молодом писателе. Здесь рассказывается многолетняя история нескольких семей, живущих в одном из окраинных районов Мюнхена, в большом «дходном» доме. Действие романа происходит в двадцатых—тридцатых годах нашего века. В книге прослежена история нескольких юношей и девушек, у которых последствия первой мировой войны, инфляция, безработица, нужда и лишения отрезали путь к настоящей жизни, убили мечту о будущем. А она была у них, когда они кончали школу, когда выходили на жизненную дорогу. Всё это сделано в манере очень сдержанной, скупой и тонкой. Зоммер почти не прибегает к прямому публицистическому обвинению, но от этого то обвинение, которое звучит в подтексте его романа, становится не менее сильным. Юный герой книги Лео Кни, обрисованный Зоммером с большой любовью и симпатией, гибнет, гибнет бессмысленно, от сознания опустошённости своей жизни.

Слабой стороной книги Зоммера является его подчёркнутое, нарочитое желание как можно меньше связывать судьбы людей с конкретными приметам времени. Он как бы хочет сказать, что изображает судьбы маленьких людей вообще, а не в конкретной стране и в конкретный период. Глубокие причины их лишений скорее угадываются, чем названы. Но всё-таки это значительная книга.

Роман Зоммера по беспощадному изображению мещанского быта, по своему сочувствию к простым людям перекликается с работами выдающегося немецкого художника-реалиста Генриха Цилле, заставляет вспомнить его рисунки.

Упоминание имени Цилле вызвало у меня желание рассказать и о других книгах, увиденных в этом магазине, — о книгах по изобразительному искусству.

Вот монография известного современного немецкого художника Отто Нагеля о творчестве Генриха Цилле. В этой книге удачно сочетаются достоинства серьёзного очерка о жизненном и творческом пути художника с теплотой и непосредственностью личных воспоминаний. Отто Нагель был другом Цилле, и это чувствуется в книге. А как тщательно она иллюстрирована, и как отлично воспроизведены эти иллюстрации! Здесь множество рисунков Цилле: его этюды и наброски, его гравюры и зарисовки карандашом различных уголков старого Берлина, городских трущоб, здесь его знаменитые, исполненные любви и горя рисунки, запечатлевшие жизнь детворы рабочих кварталов города. Это делает книгу как бы настольной выставкой произведений Цилле.

А вот другая книга. Она называется «Из мастерской искусства» и входит в серию научно-популярных книг для юношества. Её автор — Фридрих Либер — задался целью познакомить молодых читателей с тем минимумом понятий в области изобразительных искусств, который необходим каждому культурному человеку. Он рассказывает о различных видах графики, объясняет, чем отличается техника рисунка тушью, пером, углем, сангиной, объясняет различие между гравюрами, исполненными в разной манере, и офортом, знакомит читателя с основными понятиями, связанными с трудом скульптора, архитектора, и, наконец, даёт самую краткую периодизацию истории искусства.

К книге приложен небольшой словарик искусствоведческих терминов, и она очень хорошо иллюстрирована. И всё это вмещено на ста страничках, в изящном томике, который удобно положить в карман. Конечно, в этой книге не всё совершенно. Например, её раздел, посвящённый периодизации искусства, следует традиционной западноевропейской схеме: Греция, Рим, западноевропейская готика, Италия, Нидерланды, Фламандия, Франция и т. д., почти совершенно оставляя вне поля зрения искусство стран Восточной Европы и Азии. Довольно примитивна характеристика борьбы различных направлений в современном искусстве.

Но всё-таки как первый справочник, как первое пособие эта книга при всех её недостатках полезна и интересна.

А вот фундаментальное издание — двухтомник известного искусствоведа Рихарда Гамана «История искусства», изданный в Германской Федеральной Республике и переизданный в ГДР. Не буду говорить о теоретических взглядах Гамана, это не входит в мою задачу, да и, не будучи искусствоведом, я за это не возьмусь, хотя и неспециалисту видно, как устарели некоторые представления автора. Но что чрезвычайно важно в этой книге и что делает её полезным справочным изданием, это обширный аппарат, который позволяет быстро навести в двух толстых томах любую необходимую фактическую справку, и множество — более двух тысяч — отлично выполненных иллюстраций.

Можно было бы написать ещё о многом — скажем, об иллюстрированных изданиях для детей или о публикациях зарубежного литературного наследия, например, о прекрасно изданном на немецком языке томе старинной итальянской новеллы. Можно было бы поговорить о научно-популярных книгах, особенно о многочисленных научно-популярных изданиях в области биологии, ботаники и т. п.

Интересны различные пособия по садоводству, руководства для туристов, фотолюбителей и т. д. Некоторые из этих книг привлекают не только качеством полиграфического исполнения, но и живой непринуждённостью стиля.

Вот, например, книга по фотографии профессора Дуловича «Моя техника — мои снимки». Её автор шутит, спорит, убеждает, и всё это так, будто он написал не учебник по фотоделу, а увлекательную повесть о том, как рождается настоящий художественный фотоснимок. Это очень важно! Как отпугивают книги, рассчитанные на начинающих, — например, учебники по автоделу для любителей, — если они написаны таким сухим языком, так перегружены терминологией, что продрасться сквозь их страницы — подвиг.

...Пачка немецких книг, приобретённых в книжном магазине, где продают иностранные издания, выросла настолько, что её уже трудно оторвать от стола. Надо расставить книги по местам.

Продажа в Москве и Ленинграде иностранных изданий — одно из важных звеньев того контакта в области культуры между народами мира, того всё расширяющегося культурного обмена, который составляет яркую и значительную приметку времени.



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

г. Свердловск,
ул. Ленина, д. 54, кв. 292
О. Марковой.

ПО ПОВОДУ ДВУХ РАССКАЗОВ

Уважаемая товарищ Маркова!

Ваши рассказы «Кнопка» и «Вдова», помещённые в альманахе «Уральский современник», останавливают на себе внимание бесспорной своей талантливостью и жизненностью поднятых Вами тем.

В то же время кое-что в этих рассказах вызывает и возражения.

Что же именно в них хорошего и что плохого? Давайте поговорим. Ведь для писателя очень важно во-время увидеть достоинства и недостатки своего произведения. Это, пожалуй, не менее важно, чем самый труд над произведением. Не ощущая качества своей работы, писатель не может успешно двигать её дальше. Дело даже не столько в том, чтобы исправлять уже опубликованное, сколько в том, чтобы учесть свои промахи для дальнейшей работы. «...Искусство необратимо,— писал Михаил Пришвин на закате своей длинной жизни,— после каждого шага назад всё обваливается, итти можно вперёд и только вперёд».

Начнём с того, что попробуем вкратце изложить содержание Ваших рассказов. Это в известной мере является и проверкой того, насколько правильно они сложены.

Неизлечимая болезнь приковала к постели одного из героев рассказа «Кнопка», старого кузнеца Ивана Евсеевича. Вся семья его — он да дочь Марина, колхозная бригадирша. Из-за болезни отца девушка не может поехать в город, о чём она страстно мечтает. Что её манит в город? Вот тут в Вашем рассказе, товарищ Маркова, неясность. Продолжать учёбу, как она об этом говорит? Но из рассказа явствует, что это она может делать и в колхозе, в вечернем девятом классе, или даже в заочном техникуме. А с другой стороны:

«Девушку манил город. Представляла она его искрящимся огнями, как пруд в лунную ночь, неожиданным и прекрасным, как новогодняя школьная ёлка. Учиться, ей казалось, можно только в городе».

И всё же Марина не покинула колхоза и не уехала в город. Почему? Вы мотивируете это, во-первых, тем, что председатель колхоза пригрозил, что поставит на маринино место ленивую Гутьку Ползункову, а во-вторых — внезапно вспыхнувшей любовью Марины к родным местам.

Но оба эти мотива только названы, а не разработаны образно. Точно так же, как бледно изображена тяга Марины в город, не доведены до художественной убедительности и её привязанность к родным местам, чувство долга и ревность к Ползунковой.

Но вернёмся к изложению рассказа.

Иван Евсеевич — человек изобретательный; на своём веку он придумал и осуществил немало технических усовершенствований для колхозных сельскохозяйственных машин. Даже и сейчас, несмотря на тяжкую болезнь, он вызвал к себе молодого кузнеца Сергея и поделился с ним своей идеей усовершенствования зерносушилки. Сергей, застенчивый, молчаливый парень, давно питает тайное расположение к Марине. Марина же считает, что она так некрасива, что не может рассчитывать на личное счастье. Всё это окрашивает жизнь Марины в тоскливые тона. Смерть отца усугубляет это состояние. Теперь девушка свободна и могла бы уехать в город. Но чувство долга и привязанность к родным местам удерживают её. И в этот момент ей открывается, что Сергей любит её и что он ей дорог. На этой светлой лирической ноте рассказ кончается.

Должен признаться, что передать содержание рассказа «Кнопка» нелегко. Он написан полутонами, краски его мягки, местами блёклы и в пересказе грубеют, а то и вовсе пропадают.

С другой стороны, мне думается, что лаконично сформулировать содержание этого рассказа затруднительно ещё и потому, что в нём, несомненно, есть тематическая недодуманность, неточность.

Недаром второй Ваш рассказ, «Вдова», поддаётся пересказу значительно легче. Лёгкость или трудность пересказа может до некоторой степени служить проверкой того, насколько созрел тот или иной рассказ. Недодуманность, фальшь, алогичность тотчас же при этом обнаруживаются сюжетной неувязкой.

Муж героини рассказа «Вдова», Катерины Измоденовой, погиб на войне. Детей у неё нет. Молодая женщина одинока. В этом — источник её душевных страданий. Коллизия поначалу примерно та же, что и в первом рассказе: хороший советский человек, передовая работница (на Катерине, в сущности, держится колхозная птицеферма), она несчастлива в личной жизни. И вот Катерине показалось, что личное счастье снова улыбнулось ей. Она привязалась к Николаю Златоустову, вновь назначенному колхозному бухгалтеру. Однако через некоторое время обнаруживается, что Златоустов скрылся от своих детей от прежнего брака и бросил их на произвол судьбы. Катерина тяжело переживает разочарование в любимом человеке. Её прямая чистая натура находит единственный выход из создавшегося положения: взять детей Златоустова в свою семью. Но Николай, холодный, равнодушный эгоист, не соглашается на это. Катерина выгоняет его. И снова она одна. Нет, не одна, потому что чувствует в себе рождение новой жизни: она ждёт ребёнка. И это сознание наполняет её радостью. Таким образом, и этот рассказ завершается светлой оптимистической нотой.

Рассказы Ваши, товарищ Маркова, явно неравноценны. «Вдова» глубже по мысли, значительнее по теме. Чувствуется, что в этом рассказе Вы лучше владеете жизненным материалом, оттого и форма его совершеннее. Так оно, кстати, большей частью и бывает, что, между прочим, и дало Флоберу повод сказать: «Слово всегда найдётся, если владеешь идеей».

Другой рассказ, «Кнопка», при целом ряде достоинств страдает некоторой надуманностью, искусственностью. Да и написан он бегло, местами небрежно, вероятно, всё по той же причине: тема недодумана.

В самом деле, нетрудно заметить, что тема рассказа «Кнопка» явно двоятся. То большое, настоящее, что волнует Вас как автора и заражает сочувственным волнением читателя,— это смена противоположных и борющихся чувств в душе героини рассказа, Маринки Замятиной. Но Вы сочли, повидимому, эту тему недостаточно, что ли, «высокой» и ввели в рассказ эпизоды, повествующие об усовершенствовании зерносушилки.

Но первая тема, несмотря на свою недостаточную разработанность, звучит в рассказе, ибо всё же она выражена эмоциональными средствами. А вторая, касающаяся зерносушилки, осталась сухими строчками из технической инструкции, не преобразованными в искусство.

Как удачно, например, Вами показан нежный период зарождения любви между Мариной и Сергеем! С какой краткой — и оттого тем более действенной — выразительностью написан эпизод, где влюблённая Марина смотрит в зеркало и кажется себе красавицей. Это одна из тех счастливо и точно найденных художественных деталей, о которых Гоголь писал: «...нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным: будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет всё ничтожно».

И вот, к сожалению, таким лицом «идеальным», но безжизненным становится влюблённый Сергей, когда говорит любимой девушке во время лирического объяснения с ней:

«— ...А вчера из «Заготзерна» ремень прислали. Сегодня я его уже приспособил... Теперь зерно ещё сырое по транспортёру прямо в бункер засыпать будем, хорошо! Мешков не требуется, людей вдвое меньше, и легко!»

Сами по себе вполне справедливые, слова эти не очень уместны в лирическом объяснении. Не правда ли?

Что касается деталей, то, разумеется, тут нужен строгий отбор. Он не всегда виден в рассказе «Кнопка». Иные места его завалены нефункционирующими подробностями (например, затянутый эпизод, где описана «сенокосная избушка»). Это делает ткань повествования дряблой, чего, кстати сказать, не наблюдается во втором рассказе — «Вдова». Вот почему «Вдова», будучи объёмом больше «Кнопки», кажется короче, лаконичнее. Стройность развития особенно важна для небольшого рассказа, где малейшая несоразмерность, дробность, противоречивость бросается в глаза.

Мне хотелось бы обратить Ваше внимание на злоупотребление в рассказе «Кнопка» словами «неожиданно» и «почему-то». Тут дело не в чистоте языка, а в более глубоком явлении — в необоснованности мотивировок. Вы хотите изобразить некое психологическое состояние. Но оно не вытекает из предыдущего повествования. Тогда-то Вы (может быть, даже незаметно для себя) и хватаетесь за эти спасительные словечки: «неожиданно для себя подумала...», «почему-то подумала...», «неожиданно старик запел...», «неожиданным и прекрасным...», «неожиданно для себя рассмеялась...», «почему-то вспомнила...», «неожиданно остановился...».

Однако этот приём не восполняет слабости мотивировок и сообщает повествованию неприятную импрессионистичность. Недаром этот род туманных речений был таким ходким в дурной декадентской литературе, столь приверженной к ложной многозначительности. Вам это не нужно. Ваша Маринка — живая. Портрет этой некрасивой, но обаятельной девушки сделан в хорошей реалистической манере.

Совершенно естественно, что сильная и слабая стороны замысла соответственно отразились и на образной системе рассказа «Кнопка». Один пример. У Марины умер отец. Она пошла посетить места, связанные с воспоминаниями об отце. Горе её велико. А кругом великолепная природа, шумит лес, веет ветер, сияет солнце. «Но то, что оно светит, что лес, как всегда, стоит и сверкает, а ветер трубит в уши, показалось Маринке обидным».

Подчеркнув обидное равнодушие природы перед лицом человеческих страданий, Вы, товарищ Маркова, добились, по моему мнению, гораздо большего художественного эффекта, чем если бы написали, что окружающая природа горюет в унисон с Вашей героиней. Дальше я покажу, как в рассказе «Вдова» Вы применили тот же приём с ещё большим успехом.

Однако наряду с простыми, сильными образами попадают у Вас образы замысловатые, вычурные, например: «Взволнованно задрожали морщинки вокруг зеленоватых глаз Ильи Назаровича», или: «Что-то горячее плеснуло в сердце Маринке». То же и в языке рассказа. Живой и меткий, особенно в диалоге, порой он становится неряшливым; например, о небе сказано: «Обещающее дождь, оно придавило село...»

При всём том, думается мне, рассказ «Кнопка» неправильно было бы назвать произведением неудавшимся. Это — другое: это ещё не произведение. В нём ещё не достигнута цельность. Две тематические струи ещё не слились в один поток. Это пока полуфабрикат. Отсюда неровность рассказа и недоработанность мотивировок. Он вырван из стадии черновика.

Другое впечатление от рассказа «Вдова». Если в «Кнопке» психологического материала явно не хватает, то здесь его переизбыток. Печальное вдовство Катерины Изможеновой, встреча с Николаем Златоустовым и начало счастливой жизни с ним, последующее раскрытие Николая как эгоиста и негодяя, разрыв с ним и преодоление Катериной своего горя — весь этот жизненный материал Вам удалось уместить на немногих страницах с художественной убедительностью. Разберёмся, как это у Вас получилось. Ибо разбирать удаchi так же поучительно, как и поражения.

Мы знаем, что мастерство само по себе, отвлечённо от идейного содержания, существует разве только в вышивках, но никак не в литературе. Конечно, каждый художник совершенствует свой инструмент, которым он выражает строй своих мыслей и чувств. Но — было бы что выразать!

Тема рассказа «Вдова» глубоко человекна в обоих своих полюсах — положительном (Катерина) и отрицательном (Николай). И в той и в другом нет ничего плакатного, тезисно-заданного. Это люди, живые и простые. Но ведь простые люди бывают разные, простые хорошие и простые плохие. В Николае Златоустове есть привлекательные черты, составляющие, так сказать, первый, внешний план его характера. Катерина, при всей

её прямоте и нравственной чистоте, несколько раз закрывает глаза на вдруг открывшиеся некрасивые побуждения Николая. Это и было её тяжкой ошибкой.

Но рассказ оптимистичен. Самая фактура его — крепкая, яркая. Рассказ вселяет уверенность, что, несмотря на драматизм событий, переживаемых Катериной, она ещё будет счастлива. Характеры развёртываются здесь в действии. Жизнь не распадается, как в первом рассказе, на домашнюю и служебную, на общественную и личную. Нет ничего обособленного, одно переходит в другое с жизненной естественностью.

С такой же естественностью развивается течение рассказа. Отнюдь не лишними представляются некоторые детали, прямо на развитие сюжета, казалось бы, не играющие, но нужные ассоциативно, то есть создающие атмосферу рассказа, его дух и мир (например, описание жучка с золотой спинкой, мальчиков-рыболовов и др.).

В отличие от вычурной образности «Кнопки», здесь простая точная живопись: «Утро вставало свежее и прозрачное, в лужах на дороге отражалось розовое небо, солнце золотило крыши...»

Мне нравится смелость эпитета, найденного Вами для солнца: «Доброе солнце, высунувшись из-за трубы на крыше, заглянуло во двор...»

Не могу не процитировать следующего, отличного, на мой взгляд, куска:

«В грозу оставаться одной легче, чем в ясную лунную ночь: дождь постучит в крышу, ветер шевельнёт скобкой ворот, молния ударит в окно яркой вспышкой и уйдёт, небо прогрехочет, и чувствуется вокруг жизнь, её трепет. Можно даже подумать, что всё это делается только для того, чтобы напомнить: жизнь есть вокруг и ты — не одна!

Но когда луна засеет свой мёртвый пепел в избу и переплёты рам лягут на половики крестами, а за печью спрячутся тени и вокруг всё тихо, тогда кажется, что больше на свете никого нет. Есть сторожкая тишина, одиночество и страх за себя».

Здесь тот же приём, что был применён в рассказе «Кнопка» для изображения горя Марины посреди ликующей природы. Но тут этот контрастный образ ещё более широк и значителен. Мирная традиционно-живописная лунная ночь для смятенной души кажется гораздо более страшной, нежели бушующая гроза.

Не могу, товарищ Маркова, не обратить Вашего внимания на неряшливость некоторых оборотов. Выписываю:

«То, что кто-то назначает встречу у неё без ведома хозяйки, несло что-то стыдное».

«...достал свёрток и, громко стук а я грязными сапогами, прошёл в передний угол, швырнул его на стол...»

Эта неряшливость тем более поразительна, что рассказ «Вдова» радуется своим метким и чистым языком. Фраза пульсирует чётко и энергично. Как и в первом рассказе, лучше всего здесь прямая речь. Приведу несколько примеров:

«...не живу я — тень отбрасываю, себя пестую».

Ленивая птичница Гутька ворчит в ответ на упрёки Катерины:

«...ты всё хочешь сверх моды на вершок!»

Катерина о Николае после их разрыва:

«...Он сорняк сеет, так пусть не розы и снимает».

Нет сомнения, эти выражения и многие другие услышаны в народе. И это очень хорошо, потому что чувства, одушевляющие Ваших героев, — в русле чувств, дум, усилий и идеалов нашего народа.

Лев СЛАВИН.



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лазарев. Рождение драматурга.— **Н. Леонтьев.** Поэзия народа мари.— **Г. Владимов.** Спасённое искусство.— **Р. Фаизова.** Поэма о любви и дружбе.— **Сергей Васильев.** Боевая книжка.— **П. Антокольский.** Новое о Лермонтове.— **А. Штейн.** Ценная книга о Шекспире.— **Анна Илупина.** Артисты — труженикам целины.— **И. Орнатский, Э. Вартумян.** В борьбе за будущее.— **Д. Брегова.** Живой образ писателя.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Член-корреспондент Академии наук СССР **А. Аванян.** Мичуринское учение в действии.— **И. Крупеников.** Малоизвестные труды великого учёного.— Кандидат биологических наук **И. Халифман.** Цветы и пчёлы.— Заслуженный деятель науки, профессор **А. Цейтлин.** Как укрепить сердце.— **Н. Сергеева.** Париж наших дней.— **Б. Леонтьев.** Американский посол об Индии.

Литература и искусство

Рождение драматурга

Имя сибирского драматурга Виктора Лаврентьева не так давно появилось на театральных афишах. А перед нами уже три его пьесы: «Без правды счастья не жди», «Кряжевы», «Светлая».

В обрисовке характеров и в языке персонажей этих пьес есть что-то строгое, суровое и в то же время яркое. Это сочетание по своей сути, если искать сравнение, очень близко характеру сибирской природы. Интерес у драматурга вызывают самобытные и сильные люди, пусть порой внешне угловатые и скупые на проявление чувств, но всегда цельные, с большими и глубокими страстями. В одной из пьес В. Лаврентьев нашёл фамилию, очень точно выражающую внутреннее содержание этих цельных, словно из одного куска дерева вырубленных героев,— Кряжев. Его излюбленный герой — человек, не гнушающийся под тяжестью испытаний и невзгод, крепкими корнями связанный с глубинами народной жизни.

Знание жизни — вот то, с чем пришёл В. Лаврентьев в театр. Это — большое достоинство, и жаль, что мы иногда присваи-

ваем его не по заслугам. Подлинное, глубокое знание действительности рождается из ежедневного общения с людьми, из раздумий над жизнью, из общественного опыта писателя. А ведь порой отсутствие в произведении ошибок в изображении производственных процессов, более или менее точное описание профессиональных навыков и действий героя принимаются за хорошее знание жизни. Спору нет, писатель должен ясно представлять себе профессию своего героя, знать производство, на котором тот работает. Но этого ещё недостаточно. Писатель — не инженер, который может ограничиться доскональным знанием станков и технологического процесса. Он инженер человеческих душ. Его задача — проникновение в мир человеческих мыслей и чувств, горестей и радостей, желаний и стремлений. Если художнику это удастся, о нём можно сказать с полным правом: он хорошо знает жизнь. И именно это мы имеем в виду, когда говорим, что В. Лаврентьев обнаруживает в своих пьесах хорошее знание жизни.

Ситуации, сходные с теми, которые лежат в основе пьес В. Лаврентьева, можно найти в ряде произведений последних лет. Но подлинное знание жизни, знание души

В. Лаврентьев. Пьесы. Новосибирск, 1954. Редактор Е. Шарнина.

В. Лаврентьев. «Светлая». «Театр» № 1, М. 1955.

простого человека делает удивительные вещи: перед нами раскрывается новый, неизвестный доселе мир, в котором живут люди, каких прежде мы не встречали ни в одном из прочитанных произведений. Таковы центральные персонажи пьес «Без правды счастья не жди» и «Светлая». Лишь в «Кряжевых» некоторые образы (Плахина, Людмила, врача Гладышева) кажутся нам не результатом самостоятельных наблюдений, а вариациями некоторых уже известных в литературе характеров.

Драматизм является самой сильной стороной писательской манеры В. Лаврентьева. Ему присуще это особо ценное для драматурга умение раскрывать характеры в споре, в столкновениях. Он всегда стремится обнаружить драматическую суть событий, даже если она глубоко спрятана.

В пьесах В. Лаврентьева почти нет искусственно сконструированных драматических ситуаций. Логика развития характеров рождает драматические ситуации. Достаточно, например, вспомнить судьбу таких его героев, как Михаил Кряжев, лишённый в условиях самодержавного режима возможности заниматься любимым делом и потерявший из-за этого веру в себя («Кряжевы»), или как Григорий Батурич, которому пришлось пережить драму из-за того, что его честный, самоотверженный труд был использован во вред коллективу («Без правды счастья не жди»), или как Анна Погожева, обманутая мерзавцем мужем («Светлая»). Нужно отметить, что комедийные фигуры хуже удаются В. Лаврентьеву (мы имеем в виду главным образом персонажей пьесы «Без правды счастья не жди»). И дело здесь, повидимому, в том, что драматург обращается только к «испытанным» комедийным приёмам, не пытаясь отыскать свой, оригинальный путь.

Язык драмы несёт гораздо большую смысловую и эмоциональную нагрузку, чем язык прозы. В. Лаврентьев владеет приёмами экономного письма, без которого невозможна успешная работа в драматургии. Многие персонажи его пьес, особенно характерные, говорят ярко, самобытно, метко. У В. Лаврентьева есть хорошее стремление к афористичному языку, а ведь Горький говорил, что действующие лица в хорошей пьесе должны говорить афоризмами. Приведём для примера несколько реплик Михаила Кряжева: «Бог тоже деньгу любит. Лишнего не платил»; «Подлеца

нельзя обидеть»; «Чем жизнь-то надо кончать? Не крестом на могиле, а чтобы и через сто лет твою работу люди видели и хвалили»; «Нет своего ума — займи, да пойма». Менее выразительны в пьесах В. Лаврентьева речевые характеристики персонажей-интеллигентов. В этих характеристиках зачастую не находят отражения профессия, склонности, темперамент, привычки — всё то, что делает речь каждого человека сугубо индивидуальной.

Уязвимое место пьес В. Лаврентьева — композиция. В одном из писем А. Островский писал, что «самое трудное дело для начинающих драматических писателей — это расположить пьесу», что этому «можно научиться только из опыта». Видно, В. Лаврентьеву порой ещё недостаёт такого опыта. Его пьесы лишены необходимой стройности, цельности, органичности. Случается, что в одних картинах драматическое напряжение падает, в других действие развёртывается с чрезмерной поспешностью. Иногда возникают даже лишние сцены — такие, например, как пролог в пьесе «Кряжевы», — сцены, ничем не обогащающие произведение. Но особенно ощутима эта слабость в финальных актах пьес В. Лаврентьева. Драматургу не удалось уберечься от той опасности, о которой Чехов как-то предупреждал своего брата, затеявшего писать пьесу: «Гвоздь пьесы — III акт, но не настолько гвоздь, чтоб убить последний акт».

В последнем акте «Кряжевых» враги — Гладышев-старший, Плахин — побеждены, жалки и едва ли способны к какому-либо серьёзному сопротивлению. Острота классовых схваток гражданской войны поэтому оказывается в пьесе смазанной. Судьба других персонажей, отражая общие перемены, происшедшие в жизни народа, индивидуальных черт лишается. Появляется в произведении и ряд новых героев, для сценических портретов которых драматург не нашёл выразительных красок. Автор мог бы нам возразить, что он писал произведение, близкое по своим жанровым особенностям к исторической хронике, и поэтому имел все основания ослабить сюжетные связи между третьим и последним актами. Но почему же тогда характеры основных действующих лиц ничем не обогащаются в последнем акте? Почему первые акты, где меньше действующих лиц, дают более законченное представление об эпохе, чем последний акт?

Эта же слабость даёт себя знать и в пьесе «Светлая». В её последнем акте также появляется много новых персонажей, и те герои, что были до этого всё время в центре внимания зрителей, неправомерно отходят на второй план. Более того, в последнем акте вдруг возникают новые сюжетные линии. Появляется даже ощущение, что мы смотрим не финал пьесы, а начало второй части задуманной автором драматической диалогии.

В. Лаврентьеву не хватает опытности. Судя по его трём пьесам, столь разным по содержанию, по изображённой эпохе, по жизненному материалу, драматург только ищет свою главную, внутреннюю тему, то, что Белинский называл пафосом творчества. Пусть нас не поймут превратно, мы не призываем писателя к тематической ограниченности, не требуем от него искусствен-

ного сужения круга творческих интересов. Но талантливый художник рано или поздно находит ту сферу действительности, которую в силу индивидуальных особенностей дарования, склонностей, жизненного опыта изображает с наибольшей полнотой и выразительностью, обретает тот самостоятельный угол зрения, то поэтическое видение окружающего мира, которые мы безошибочно узнаём во всех его произведениях. Это больше, чем оригинальность манеры. Это свой путь в искусстве. В. Лаврентьеву предстоит его отыскать.

Нет нужды соразмерять достоинства и недостатки пьес В. Лаврентьева. Достоинств, несомненно, больше. Но особенно важно, что драматург растёт, что он ищет свой путь и его творческие искания направлены в правильную сторону.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

Поэзия народа мари

„Мы, мари́йский народ, ничего не знаем, кто мы такие, какие прекрасные песни, сказки и древние памятники имеются у нас...» Это горькое признание было сделано в предисловии к «Мари́йскому календарю» за 1909 год, выходящему в Казани на мари́йском языке. С тех пор появлялись только случайные, крайне редкие издания мари́йских песен, выходившие к тому же очень маленькими тиражами. На другие языки они никогда не переводились.

Перед нами объёмистый, отлично изданный том — сборник мари́йских народных песен в переводах Сергея Подделкова. Много в этом сборнике радует, привлекает и покоряет читателя: кованая чёткость и рельефность, великолепная образность поэтической речи, предметная осязаемость метафор и сравнений.

Переживания, настроения, чувства человека предстают в песнях народа мари не изолированно, а во взаимодействии со всем многообразием мира. Возьмём для примера раздел старинных семейных песен. В песне «Далёко реченька бежит» о радости отца и матери, любящихся на своих детей, говорится всего лишь в двух строках:

А наши матери-отцы
Глядят на нас — и рады.

«Мари́йские народные песни». В переводах Сергея Подделкова. 496 стр. Под редакцией В. В. Казина. Государственное издательство художественной литературы, М. 1955.

Но эти простые строки перекликаются со всем предыдущим, о чём говорилось в песне. Одновременно с родителями радуется вся природа: река — своим берегам, берега — раскинувшимся на них поёмным лугам, луга — зелёным кочкам, кочки — цветущим на них красивым цветам, цветы — пчёлам, пчёлы — мёду. В этом контексте человеческая радость окрашивает в радостные тона всё окружающее, и сама она находит свои истоки в этой мирной радости природы. Человек здесь ощущает себя составной, неотделимой частицей окружающего мира.

И в ином случае, когда человеку горько, его настроение так же неизбежно отражается на восприятии природы. Скорбящие люди всходят на вершину горы и ничего не видят — «ни солнца, ни звёзд, ни просторов с полями, с лесами, — вся паром и дымом горячим объята вселенная...» И вдруг, в самой концовке песни, обнаруживается знаменательная ошибка:

Нет, это наши глаза
Застланы жизни слезами...
(«Взошли на вершину горы»).

Эти слёзы старой жизни дают о себе знать в большинстве старинных песен. Они чувствуются подчас даже и тогда, когда прямо о них песня не напоминает. В песне-раздумье «Брызг-брызг» под монотонный шум дождя текут горькие размышле-

ния бедняка мари: мол, «дождик — пиво наше», «снег — мучица наша», «ветер — песни наши». И дождь и снег пройдут, «только долго длится, длится, не проходит горе наше».

Но горе не подавляет воли людей. Человек, не склоняющий своей головы перед нуждой, бедами и лишениями, выходящий победителем из любых драматических ситуаций, широко обрисован во многих марийских песнях, представленных в сборнике.

Непоколебимый в своём оптимизме труженик любит повеселиться. Со всей семьёй, в платках, сверкающих, как молнии, в нарядах, подобных облакам, под гром барабана и музыки национальных инструментов, едет он в гости и везёт с собой «веселья целый воз» («Праздничная»). Свой «неважный хлеб» и соль он приправляет острым словом («Ой ты, мой праздник...»). И польщённый хозяин «от радости великой, кажется, до потолка растёт» («Гостья»).

Всю жизнь — от колыбельной поры до самой смерти — сопутствует человеку десня. В старых песнях народа мари мы видим ребёнка, которому рубашкой служит вязовый, а постелью — липовый лист. Оставшись сиротой, он горько сетует на то, что ему «в жизни места не хватило». Но и с родителями-бедняками ему немногим слаще: он завидует даже одуванчику и жёсткому осоту, ведь их семена ветер может унести подальше от неласковой земли.

Но вот приходит зрелый возраст. Судя по песням, посвящённым этой поре, жизнь предстаёт причудливым сплетением различных человеческих судеб, встреч и расставаний, потерь и находок, радостей и сожалений, сплетен и доброй славы. И здесь человек-художник не обошёл ни одной из типичных жизненных ситуаций, смело, подчас дерзновенно, рисуя борьбу добра и зла.

Сборник вместил в себя всё богатство песенных жанров. Циклы, посвящённые сиротской и рекрутской доле, весёлые гостевые песни, щедро окрашенные народной мудростью песни-раздумья, песни о любви и брачном обряде, песни лирические и, наконец, песни о новой жизни — это лишь далеко не полный перечень того, что есть в сборнике. Четыре сотни песен, включённых в сборник, дают широкое представление о характере народной поэзии мари. Песня за песней служат читателю как бы отдельными штрихами, рисующими социальный и нравственный портрет труженика-мари. И когда ознакомление со сборником окон-

чено, перед читателем встаёт полный обаяния и благородства образ трудолюбивого, негибаемого в испытаниях народа.

Трудно переоценить ту длительную, кропотливую и в то же время вдохновенную работу, какую проделал составитель и переводчик сборника Сергей Поделков. Цели, поставленные им, достигнуты. Расшифровано ещё одно «белое пятно» в области изучения народной поэзии. Как бы заново открыт ещё один народ со своей самобытной поэзией, с трудным и победоносным историческим путём. Самый сборник — живая поэтическая биография народа мари. Переводы, как правило, доносят до читателя не только смысл, но и благоухание подлинников. Приведём хотя бы два примера:

Вспоминаю: ходил по земле,
Пил и ел ради радости тела, —
Не заметил, как мимо меня
Настоящая жизнь пролетела.

(«Тутугун»).

Или очаровательная песня, отнесённая составителем к разряду любовных.

Солнце-то всходит, ох, издалече!
Хоть издалече, а всё же печёт,
А встречи в письмах, ну, что за
встречи, —
Душу не вложишь в письмо — не
войдёт.

Лишь глядя сквозь слёзы друг
другу в лицо,
Досыта можно наговориться.

(«Солнце-то всходит...»)

Как много сказано в этих немногих строках! Таких запоминающихся песен и отдельных строк, иногда отточенных до афористического блеска, в сборнике немало. И если самый оригинал любой песни содержал в себе ту или иную поэтическую мысль уже в готовом виде и в полном объёме, заслуга переводчика этим обстоятельством ничуть не умаляется: для того, чтобы дать вторую жизнь художественному произведению, заставить звучать его на другом языке, нужен, может быть, не меньший талант, нежели для того, чтобы создать это произведение. Поэтические достоинства марийских народных песен на русском языке красноречивее слов говорят о том, что С. Поделков как переводчик выдержал серьёзный экзамен.

Мы не останавливаемся на отдельных (не так уж частых) стилистических погрешностях, шероховатостях и промахах,

допущенных в сборнике. Будем надеяться, переводчик постарается избежать их в следующем издании. Гораздо более полезно отметить промахи С. Поделкова как составителя.

Весь сборник распадается на два больших раздела: песни старинные и современные. По своему объёму и числу содержащихся в них песен они почти равновелики. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что такое соотношение старых и новых песен — результат чисто механического их разделения. Из 120 лирических песен, отнесённых составителем к разряду

«современных», не наберётся и двух десятков песен, своим происхождением обязанных современности. 80 песен из этого же раздела неизвестно у кого записаны, а половина из них — даже неизвестно где (отсутствует точный адрес).

Очень жаль, что сборник составлен предвзятой мыслью о существовании в наше время некой безымянной стихии в творчестве народа. Умолчание об авторстве не позволяет составить правильное представление о процессах, происходящих в нашей поэзии.

Н. ЛЕОНТЬЕВ.

★

Спасённое искусство

С завидным постоянством возвращается Юрий Герман к своим любимым героям: в его маленькой повести «Хорьковская шуба» вновь рассказывается о чекистах первых революционных лет. И вновь оживают перед читателями эти необычайные, полупоэтические люди, знакомые по рассказам о Феликсе Дзержинском, эти «худые, с красными от бессонницы глазами, с обмороженной и обветренной кожей, плохо одетые, кто в шинели, кто в ватнике, кто в ютёртом драповом пальтишке...», мужественные и прекрасные люди. На этот раз они предстают перед нами в несколько неожиданной роли: они не раскрывают крупных контрреволюционных заговоров, не ликвидируют диверсионных или шпионских групп. Точнее, они это делают, но за пределами повести, а в самой повести они заняты одним — спасением искусства.

В повести нет людей, занимающихся новым, революционным искусством профессионально. Единственный вероятный представитель искусства, Вася Свешников, — художник в прошлом, ныне же он чекист и лишь мечтает о живописи. Характерна в этом отношении сцена, в которой Свешников встречается с бывшим своим противником, «революционером в искусстве» Егоршиным:

«Кривя рот, Егоршин сказал:

— Ну как, господин пролетарий? Наступили ваши красные денёчки? Искусство, понятное народу? Волга, Волга, чей стон раздаётся? Поделитесь вашими творческими

планами. Над каким полотном сейчас работаете?

— Над полотном я сейчас не работаю! — бледнея от бешенства, сказал Вася. — Никогда!

— Чем это вы так заняты?

— Борьбой с такими господами, как вы! — произнёс Вася. — Пока мы с вами не справимся, ничем другим заниматься невозможно».

Егоршин и прочие, с их кубизмом и мертвечиной, суть для Свешникова откровенное зло. В процессе развёртывающейся борьбы Егоршин и Свешников неизбежно должны столкнуться на такой арене, где первый окажется в самом жестоком и гнусном разладе с искусством и жизнью, а второй воплотит в себе гармонию настоящего художественного чувства и страсти политического борца.

В повести Юрия Германа речь идёт о старинных полотнах, но вокруг них-то и завязывается ожесточённая политическая борьба, и роли при этом меняются самым неожиданным образом. «Глупый мальчик со старомодным Пушкиным в руках», разевающий рот перед полотнами Сурикова и Репина, становится неустрашимым чекистом. А признанный и прославленный «революционер в искусстве» изгаживает старинные полотна малеванием снарядных стаканов, разлагающихся трупов, зелёных мух на жёлтом фоне и всё это — за водку, жареное мясо и пшеничный хлеб — переправляет через границу «людям мистера Фишера» в качестве «не имеющих художественной ценности» футуристических холстов.

Юрий Герман. «Хорьковская шуба». Повесть. «Нева» № 4, 1955. Главный редактор А. Черненко.

Действие повести начинается в маленькой пограничной таможене. Здесь тоже проходит линия фронта, прочерченная ничуть не слабее, чем в самых кипучих революционных центрах, а может быть, и сильнее, потому что посланцу Дзержинского приходится один на один столкнуться с опытом и всеилием чиновников. Именно через эту маленькую таможену, при попустительстве её служащих, люди мистера Фишера пытаются провезти украденные полотна. Всё это не только придаёт повести стремительное движение и захватывающий интерес, но и освещает историю о полотнах со стороны её государственной важности, того значения, которое всегда и для всякой революции представляют старые национальные традиции культуры.

Социалистическая революция нашла решительную, повсеместную и прочную поддержку всего демократического мира ещё и потому, что проводила последовательно и на деле свой великий лозунг: «Духовные ценности — массам», подразумевая под этим не только новейшее искусство и революционную для данного момента культуру. Массы всегда оказывались органически подготовленными к восприятию именно классических ценностей, которые надолго пережили своих мастеров. Мало того, именно эта бессмертная классика, часто третируемая новыми веяниями, являлась для масс той ступенью, с которой они переходили потом к усвоению искусства, рождённого революцией. В повести Юрия Германа есть такая прекрасная сцена:

«Павел Петрович налил на ватку мутной, с острым запахом жидкости. Быков затаил дыхание, в висках у него стучало, на минуту показалось даже, что в этой холодной комнате душно. Очень бережно, легко-легко ватка коснулась картины. Зелёная мусть тонким ручейком полилась вниз. И через несколько минут там, где раньше безобразно торчал стакан от снаряда, вдруг открылось небо — прекрасное, голубое, весёлое — и край белого пушистого облачка. Это всё было, как чудо, как небывалое на земле чудо: подлая, серая, унылая пакость, намалёванная сверху прекрасного произведения искусства. И вот это произведение искусства открывается усталым и полуголодным людям в шинелях, в кожанках, в бушлатах; люди стоят неподвижно, застыв от радости, от удивления, от восторга, и, не отрываясь, смотрят.

— Тётка тут нарисована! — заметил Веретилин.

— А всёёлая! — сказал Аникиев, поправляя очки. — Замечаете, стирала она?

— Стирала, а теперь отдыхает! — объяснил Чистосердов. — Довольная, улыбается...

Реставратор отступил на шаг от полотна. У него было такое лицо, будто эту картину написал он».

Чистые сердцем люди труда, воспринимающие искусство непосредственно, так, как оно и должно восприниматься, улавливают в нём глубокую, близкую народу правду.

Полноправно принимают они наследство старой культуры — им безгранично дороги эти потускневшие старинные полотна. Вот почему прав старый художник Лебедев, когда, ероша бороду, говорит сердито: «Имена чекистов, спасших для народа, для республики, для всех нас эти сокровища, надобно золотом, понимаете, золотом на мраморе высечь, чтобы люди знали, помнили, как всё было...»

О том, как спасали эти полотна, писатель рассказывает темпераментно, увлекательно. Читатель встретит в повести простые и человеческие образы чекистов того времени и знакомый уже по рассказам Юрия Германа характер Дзержинского, раскрываемый ныне с несколько неожиданной стороны. Дзержинский рассказывает Лебедеву о том периоде своей молодости, когда и его охватила страстная жажда искусства, могучее тяготение к живописи, которому он в годы подполья и тюрем не смог и не хотел дать воли. «Потом, позже, а сейчас неммыслимо».

Нечто похожее мы уже слышали от Васи Свешникова, и этот мотив самоотверженности представляется нам основным идейным мотивом повести. Ну что ж, бывают дни и годы, когда такая жертва необходима. Люди, которым надо найти силы, чтобы принести эту жертву, уже сами по себе замечательны. Это истинные художники, которыми по праву наравне с прославленными мастерами может гордиться мир, — одни из них слишком взыскательно и жестоко судят своё дарование, другие ведут «жизнь солдата, которому нужно спасать горящий дом». Жизнь искусства равно зависит и от тех, кто проводит бессонные ночи в мучительных поисках с кистью у полотна, и от тех, кто бессонными ночами защищает искусство от осквернителей прекрасного.

Г. ВЛАДИМОВ.

★

объявило мобилизацию казахов на тыловые работы. В степи зреет восстание. Во главе одного из повстанческих отрядов становится Дуйсен. Однако в тот момент, когда отряд должен идти в бой против царских войск, Идрис убивает из-за угла Дуйсена. Мария в отчаянии. Но вдруг она слышит, как джигиты скачут на врагов с её песней. Лирическая песня любви в эту трагическую минуту как бы начинает звучать грозно, призывно. Мария седлает коня Дуйсена и, повторяя своё «Дударари-дудым», скачет за отрядом. Так поэт сумел поднять трагический эпизод гибели героя до высокого оптимистического утверждения его бессмертия.

Трудно писать о поэтическом произведении, не обращаясь к примерам из самого произведения. Но в подстрочных переводах нельзя передать ни красочности языка автора, ни его поэтических находок. А их много в поэме «Мария — дочь Егора». Полные напряжения строки главы «Джут», дающие почувствовать сковывающую, ледяную стужу в степи, и лирическая глава «Песня Марии», раскрывающая богатую чув-

ством свободную душу девушки, и драматическая сцена-диалог в мечети, и смерть Дуйсена — все главы написаны стихом чётким и упругим, каждая в своей особой ритмической манере.

Конечно, есть в чём и упрекнуть Калижана Бекхожина. Это относится и к отдельным стихотворческим неудачам и в большей степени к изображению некоторых персонажей поэмы. Риторичен образ Тимофея — политического ссыльного. Без необходимой подготовки дана в самом начале поэмы сцена столкновения Дуйсена с Идрисом. Думается также, что эпилог поэмы, в котором описывается чествование в казахском оперном театре Марии Рекиной, далеко не усиливает впечатления от произведения. Правда, можно понять, что автор решил в эпилоге показать полный расцвет дружбы народов в наши дни, ибо в зале театра сидит много «Марий и Дуйсенов», но, право, он и без этого сумел поднять тему любви в поэме до высокого обобщения: дружба между русским и казахским народами исконна, нерушима.

Р. ФАИЗОВА.

★

Боевая книжка

К сожалению, ещё редко, очень редко наши издательства выпускают в свет юмористические и сатирические книги.

Да издательствам, собственно, трудно поставить в вину это обстоятельство: такие книги редко пишутся.

Сборник сатирических стихотворений Сергея Швецова — нужная, полезная и боевая книжка, она лучшей своей частью ярко прозвучит с эстрады, будет хорошим подспорьем для читателя, желающего глубже разобраться в некоторых отрицательных явлениях нашей литературной действительности, которые умело бичует автор.

Я говорю «в некоторых отрицательных явлениях нашей литературной действительности», имея в виду второй раздел сборника — «литературную сатиру», раздел, с моей точки зрения, наиболее интересный и наиболее удавшийся автору.

Дело в том, что этих «некоторых» отрицательных сторон в практике наших прозаиков, критиков, драматургов и особенно поэтов, что называется, хватает.

Сергей Швецов. Сатирические стихи. Редактор И. Рябов. 104 стр. «Советский писатель», М. 1955.

Самые распространённые из них — это безудержное строчкогонство, легкомысленное сочинительство холодных, риторических виршей, лишённых мысли, штукачество, претендующее на оригинальность, а на самом деле не идущее далее эпигонства, неумеренная стилизация «под народный говор», злоупотребление фольклором, старомодная, отжившая свой век, псевдонародная писанина, вызывающая или раздражение, или улыбку сожаления у читателя.

В равной степени С. Швецов подвергает сатирическому осмеянию самомнение, высокомерие некоторых литераторов, угодничество, безосновательное захваливание и такой же безосновательный «критический разнос» — явления, встречающиеся в литературной среде.

Безжалостно и по заслугам высмеивает С. Швецов всяческих болтунов, отгородившихся от жизни бумагомарателей, кичащихся своими мнимыми успехами халтурщиков от литературы.

Вызывает сочувствие в большинстве сатирических стихотворений С. Швецова на литературные темы воинственный дух непримиримости, даже резкость, с которыми

поэт обрушивается на литературных бракоделов и ловкачей.

В книжке есть просто отличные образцы литературной сатиры, особенно эпиграмматического характера.

Вот как, например, остроумно и кратко, средствами тонкой иронии раскрыта сущность окололитературного дельца:

Он требует от нас одних похвал,
Не признаёт литературных правил.
От критики он сам себя застраховал,
А от таланта бог его избавил.

Или вот такое справедливое и полное едкого смысла замечание по поводу неумеренных похвал в адрес некоторых молодых поэтов:

Лирик не вырос ещё из пелёнок,
кормят его поэтической соскою,
а критики пишут, что этот ребёнок
уже овладел высотой философскою!

Так же хороша эпиграмма на литератора, замкнувшегося в тесных рамках своего тишайшего обывательского быта, человека, оторвавшегося от жизни и по существу потерявшего представление о современности:

Он не любил больших собраний,
В своей норе сидел, как крот,
И даже посещение бани
Считал «хождением в народ».

Броско и, можно сказать, афористично выглядит «Юбилейщик»:

Пишет отзывы елейные
На издания юбилейные
И рецензии приятные
На труды лауреатные.

Реалистическое изображение увиденного, стремление быть понятным и злободневным, политическая оценка отрицательных явлений литературной повседневности—вот основа эпиграмм С. Швецова, как правило, точно и выразительно сформулированных, выраженных весёлым, метким языком.

Значительно слабее в книжке пародии. В них обнаруживаются элементы той самой вялости, которая чаще всего приживается в условиях непреодоленной схемы, граничит с пустопорожним многословием на темы «вообще».

Происходит это, вероятно, потому, что Сергей Швецов в своих пародиях утрачивает чувство адресата, обезличивает содержание иронического рассказа, не прибегает к самому решающему в искусстве пародии

рования приёму — проникновению в стиль пародируемого объекта.

Конечно, это делать трудно, но без этого нет и не может быть настоящей пародии, как бы сатирик ни был заряжен сарказмом.

И есть ещё одно, что умаляет деятельность С. Швецова-пародиста: снисходительность, а иногда и беззубость. Так, например, пародия на Сергея Смирнова «О сухоее и «Москвошвее» не поднимается выше забавной шутки, освобождена от воинственности, лукавности и поэтому скучна. А между тем Сергей Смирнов, при всей своей талантливости и самобытности, вполне подаётся критическому пародированию, хотя бы за частое, иногда даже несколько однообразное употребление бытовых словечек и выражений, прозаизмов и т. д.

Острее и внушительнее написаны пародии «Голубые заклёпки», «Отрывки» и «Философемы», но они лишены конкретного адреса, созданы, так сказать, «не называя фамилий», и потому сила их воздействия обеднена и притуплена.

Прямо надо сказать: либо поэт-сатирик С. Швецов не овладел конкретным материалом, не смог «схватить быка за рога», либо неосмотрительно изменил боевому правилу настоящего пародиста и уклонился от ясно видимой цели.

Это не значит, конечно, что подобные пародии не имеют права на существование, они могут быть напечатаны, но лично я в искусстве пародирования решительно не понимаю обезлички и вегетарианства.

Что же касается стихов на международные темы, то, независимо от разнообразия материала, они выглядят однотонно.

Стихи эти мало изобретательны, неживучи, однотипны. Это не больше чем стихотворные комментарии, часто уступающие по силе воздействия на читателя сообщениям о самых фактах.

Эпиграмма уже не эпиграмма и фельетон уже не фельетон, если прозаический, чисто информационный эпиграф к ним сам по себе производит большее впечатление, чем стихотворное повествование.

Сергей Швецов — опытный поэт-сатирик, уже не один десяток лет работающий на ниве злободневной международной темы, и ему, как никому другому, должно быть понятно, что стихотворные подвески к прозаическим цитатам остаются всего лишь подвесками.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Новое о Лермонтове

Недавно нам пришлось на страницах «Нового мира» писать о серьёзном откритии в пушкиноведении, о книге И. Фейнберга. На этот раз речь идёт о работе, проливающей новый свет на многие вопросы творческой биографии второго величайшего русского поэта — Лермонтова.

Книга С. А. Андреева-Кривича представляет собой итог многолетнего исследовательского труда. Основная часть её посвящена ранним кавказским поэмам Лермонтова: «Измаил-бей», «Аулу Бастунджи» и «Каллы». Андреев-Кривич заново ставит вопрос как о происхождении этих поэм, так и о значимости их в лермонтовском творчестве.

Дворянское и буржуазное литературоведение свысока трактовало эти юношеские создания гения. В них искали любых отголосков, но только не самобытности. Учёные словесникам они казались несамостоятельными, оторванными от жизни. Эта тенденция не изжита, к сожалению, и в советском литературоведении. Как ни скупы обычные комментарии в наших изданиях классиков, но даже в изданиях Лермонтова, вышедших сравнительно недавно, мы наталкиваемся на те же поиски заимствований, и при этом иногда замалчивается новаторское и самобытное значение поэзии Лермонтова.

Андрееву-Кривичу удалось убедительно раскрыть связь юношеских кавказских поэм Лермонтова с действительностью, окружавшей его, с историей присоединения Северного Кавказа, с преданиями и фольклором народов Северного Кавказа, с биографиями живых людей той эпохи.

Особенно ярко и широко это показано на примере поэмы «Измаил-бей». Андреев-Кривич впервые определяет живой прототип лермонтовского героя. Это офицер русской армии, участник суворовских походов, кабардинец Измаил-бей Атажукин. Привлекая не использованный до сей поры архивный материал, автор этап за этапом прослеживает судьбу Атажукина, в конечном счёте трагическую. Становится ясным, что именно он, а не кто другой стал героем поэмы. Становится ясным и почему это

произошло, чем привлёк Лермонтова этот образ.

Но этого мало. Автор раскрывает также страницы кабардинского фольклора — бытующие до наших дней песни о народном герое Исмеле Хатакшоко. И этот впервые поднятый материал связывается и с реально существовавшим Атажукиным и с лермонтовским Измаил-беем.

Фигура Атажукина-Хатакшоко весьма привлекательна и характерна для своей эпохи. Сначала русские официальные документы свидетельствуют о его высокой воинской доблести, о здравых взглядах Атажукина на возможность приобрести доверие горских народов, о пользе, которую может принести Атажукин. Потом возникает сомнение в искренней преданности Атажукина самодержавию. Сомнение крепнет, крепнет уверенность в том, что Атажукин является вождём «людей неблагонамеренных». Конфликт между ним и военными властями на Кавказе растёт.

Все эти данные русских официальных документов перекликаются с показаниями кабардинского фольклора. Здесь тоже речь идёт о верной службе царю. «Но царь был хитёр, коварен, он пошёл войной на адыгов. И тогда Исмелё ушёл от царя». В народной памяти Атажукин-Хатакшоко остаётся как верный сын народа, как богатырь, всю свою жизнь провоевавший «подобно Нарту», как мститель «за обиду Кабарды».

Таким образом Андреев-Кривич устанавливает, что в годы своей первой ссылки на Кавказе Лермонтов старательно искал и счастливо находил подлинный, живой, со звучащим себе материал для поэтического творчества. Он хотел быть и действительно был поэтическим летописцем недавней истории края, свидетельства которой окружали его на каждом шагу. Это был сознательный выбор глубоко оригинального художника, сознательное решение.

Выводы Андреева-Кривича неопровержимы, а материал, который их подпирает, интересен читателям и сам по себе. Мы ещё слишком мало знаем о прошлом народов, составляющих братскую семью социалистических наций. Нас радует каждый заново открытый кусок их живой истории. Он служит делу дружбы народов, их сближению между собой. Эпизоды истории Кабарды,

С. А. Андреев-Кривич. «Лермонтов. Вопросы творчества и биографии». Редактор И. В. Шамриков. 152 стр. Издательство Академии наук СССР, М. 1954.

песня и эпос кабардинского народа не раз вспоминаются на страницах этой книги.

Литературоведы прошлого изучали поэта в недрах своих учёных кабинетов. Им казалось вполне достаточным найти соответствия и совпадения в произведениях поэта с каким-либо другим литературным оригиналом. Они создавали Лермонтова по своему образу и подобию. Советский исследователь пошёл путём иным: он пошёл по следам самого Лермонтова — конечно, это работа гораздо более трудоёмкая, но ведь и гораздо более увлекательная и плодотворная!

Да, ничем иным не мог быть занят Лермонтов, никем иным не был он, как только таким поэтом, которого рисует Андреев-Кривич. Это был поэт, кровно связанный с жизнью своего общества и своего времени, поэт, страстно ищущий героя себе под стать и по сердцу, героя — борца за народную свободу.

Мне нужно действовать. Я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.

Эти юношеские строки Лермонтова не раз вспоминаются при чтении книги Андреева-Кривича.

Как справедливо утверждает он, «уже на самом раннем этапе творческого развития лермонтовское вольнолюбие проявлялось в форме конкретно-политической». В данной связи — в связи с циклом ранних кавказских поэм, создававшихся в те годы, когда складывался характер поэта, когда Лермонтов принимал решение поступить на военную службу, подавал прошение о зачислении в школу гвардейских прапорщиков, — утверждение Андреева-Кривича имеет особенно острый характер. Не случайно была у Лермонтова тяга к вольным племенам Северного Кавказа, не случаен его интерес к их преданиям, воспевающим доблесть борцов за народную свободу. Если в «Последнем сыне вольности», работая над воссозданием новгородской вольницы и над образом Вадима, Лермонтов шёл по следам декабристской традиции, если здесь у него были такие предшественники, как Пушкин и Рылеев, то в кавказских поэмах юный поэт вводил в обиход русской культуры совершенно неведомое до сей поры богатство. За этим стояло передовое мировоззрение юноши, активное неприятие всех и всяческих

официальных версий о войне на Кавказе. Оно уже тогда было выстрадано Лермонтовым. Пройдёт несколько лет, и рано повзрослевший офицер на основе личного армейского опыта с новой силой произнесёт свой приговор колониальной войне Николая:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет!. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

Многочисленные частные сближения лермонтовского творчества с кабардинскими, черкесскими, азербайджанскими и другими народными источниками не однажды подтверждают основной тезис исследователя: «лермонтовский гений искал вдохновения в подлинной жизни, в народной поэзии, в фактах действительности».

Наконец, в последней главе книги Андреев-Кривич касается вопроса, давно уже волновавшего многих исследователей: какова была в конечном счёте роль николаевского правительства в последней ссылке Лермонтова, в назначении его в Тенгинский полк, в обстоятельствах его трагической гибели в июле 1841 года? Действительно ли Николай был палачом Лермонтова? Действительно ли царь сознательно, всеми способами, доступными самодержцу, привёл поэта к неизбежной в данных условиях дуэли? Несколькими новыми штрихами, извлечёнными из разного рода архивов, несколько биографических справок относительно должностных лиц, принимавших непосредственное участие в драме в Пятигорске, окончательно дорисовывают страшную картину. Да, Николай был палачом поэта. Да, вырвавшееся сквозь зубы царское восклицание: «Собаке собачья смерть» — действительно характеризует нетерпение, с которым ждали в Зимнем дворце известия о том, что тайный приказ выполнен.

Такой представляется нам эта важная и крайне нужная книга. Есть одно обстоятельство, которое делает наш писательский отклик на неё особенно взволнованным, — обстоятельство, схожее с тем, что побудило нас выступить о книге Фейнберга.

Дело в том, что, помимо многолетнего труда, затраченного автором на его ценное исследование, ему потребовались дополнительные, столь же многолетние усилия, что,

бы увидеть наконец свою рукопись напечатанной. В течение чуть ли не десяти лет рукопись Андреева-Кривича благополучно пролежала под сукном в недрах Института мировой литературы имени А. М. Горького. Её читали, одобряли, рассматривали, переодобряли, перестраховывали — и только.

В чём дело? Почему и здесь, как в случае с Фейнбергом, смелая, новаторская мысль с таким трудом, с такой нецелесообразной затратой времени пробивает для себя дорогу? Кто несёт за это ответственность?

П. АНТОКОЛЬСКИЙ.

★

Ценная книга о Шекспире

Гослитиздат выпустил посмертный сборник избранных статей и переводов М. М. Морозова. Это как бы итог деятельности выдающегося шекспироведа. Превосходный знаток английского языка и текстов Шекспира, М. Морозов был и исследователем проблем шекспировского творчества, и переводчиком, и комментатором. Выступая как пропагандист великой английской культуры, он сыграл видную роль в деле укрепления англо-советских культурных связей. Не случайно книга М. Морозова «Шекспир на советской сцене», переведённая в своё время на английский язык, встретила сочувственный приём английской общественности.

Сборник содержит исследования на разные темы. Здесь статьи, посвящённые балладам о Робин Гуде, творчеству шотландского народного поэта Роберта Бёрнса, небольшая монография о выдающемся предшественнике Шекспира драматурге Кристофере Марло и, конечно, главным образом работы, посвящённые разным сторонам творчества самого Шекспира.

В этих работах исследователь касается ряда кардинальных проблем шекспировского творчества, интересно связывает их с историей русской культуры.

Такова, например, впервые публикуемая работа М. Морозова «Белинский о Шекспире». Исследователь убедительно доказывает, что Белинский — автор специальной работы «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». — является одним из наиболее выдающихся представителей мирового шекспироведения. С гениальной смелостью он преодолел господствовавшую в то время точку зрения Гёте, писавшего о Гамлете как о слабом человеке, и развил иную и вполне оригинальную мысль: «от природы Гамлет — человек сильный». По мнению Белинского, нерешительность Гамлета не

есть следствие слабости его природы, а порождена определёнными объективными условиями. Исследование М. Морозова показывает, что принятая советским шекспироведением трактовка Гамлета как сильного человека, который не действует лишь из-за сложности и неразрешимости объективной общественной ситуации, в которой он находится, была уже намечена Белинским.

Содержательной и принципиально важной является другая статья М. Морозова, также посвящённая отечественному шекспироведению, — «А. Н. Островский — переводчик Шекспира». Остроумно и весьма убедительно опровергает исследователь укоренившееся мнение о том, что перевод «Укрощения строптивой», сделанный нашим великим драматургом, якобы отяжеляет оригинал, не передаёт стилистических особенностей Шекспира. В отличие от лёгкой, живой, как бы порхающей французской комедии, пишет Морозов, английской шекспировской комедии свойствен медлительный, неспешный, плавный ритм. И потому медлительный, несколько даже тяжеловесный, но выразительный стих, который применяет Островский при переводе «Укрощения строптивой», превосходно передаёт стиль английской комедии. Любопытно, что методы, которые применял переводчик Островский для того, чтобы приблизить Шекспира к восприятию русского читателя, очень близки к тем методам, которые использовал сам Шекспир для того, чтобы приблизить к английскому зрителю своего времени жизнь других народов.

Разработка проблемы народности является центральной темой сборника. Именно она и придаёт всему сборнику единство.

Статья «Баллады о Робин Гуде» содержит не только богатую фактическим материалом характеристику английского фольклора, но и показывает влияние народной поэзии на творчество Шекспира. Фигура Бёрнса также интересует исследователя в

связи с его близостью к шотландскому народному творчеству.

Особенно интересна статья «Язык и стиль Шекспира». М. Морозов исходит в этой статье из того, что Шекспир сочинял свои пьесы для народного театра. Великая прогрессивная роль Шекспира в развитии английского литературного языка объясняется тем, что он широко распахивал двери перед живой народной речью, опирался на языко-творчество народа. Для зрителей театра «Глобус» Шекспир не был «тёмным» и непонятным писателем; наоборот, он иногда труден нам именно потому, что был доступен современникам Шекспира.

Западное шекспироведение многократно сопоставляло произведения Шекспира с такими источниками, как итальянские новеллы, «Биографии» Плутарха, хроники Голлиншеда. Советского исследователя интересует прежде всего та глубокая органическая связь, которая существует между произведениями Шекспира и английским народным творчеством.

Шаг за шагом показывает М. Морозов, как использовал Шекспир английские баллады и песни, как народные пословицы и поговорки, присказки и изречения входили в самую ткань его пьес. Шекспир брал у народа многие свои сравнения и метафоры, исходил из его преданий, взглядов и представлений.

Однако, развивая мысль о народности Шекспира, М. Морозов порой допускает известное упрощение. Так, он в ряде случаев ставит знак равенства между Шекспиром и народным творчеством, сводит народность Шекспира к фольклорным влияниям.

Это — упрощённая постановка вопроса. Шекспир был связан с передовым гуманистическим движением своего времени. Его кругозор был неизмеримо шире, чем поле зрения создателей английских баллад

XV века. Именно поэтому Шекспир смог дать такое правдивое и глубокое отражение сложной и противоречивой эпохи, борьбы социальных сил, положения и роли народа в этой борьбе, какого мы, конечно, не найдём в английском фольклоре.

Много интересного и полезного высказывает М. Морозов о проблеме реализма, в частности об одной из важнейших сторон этой проблемы — построении характеров. В статье «О динамике созданных Шекспиром образов» он развивает замечательную мысль Пушкина о том, что характеры героев Шекспира меняются в ходе трагедии, что различные обстоятельства раскрывают разные стороны характеров.

Особое место в сборнике занимает статья «Шекспир на советской сцене». Она содержит историю шекспировских постановок и показывает, как, преодолевая и отбрасывая вульгарно-социологические нелепости и формалистическую шелуху, советский театр шёл к глубокому и верному истолкованию Шекспира. В этом большую помощь оказывал театру М. Морозов.

В книге М. Морозова есть пробелы, есть отдельные спорные и даже ошибочные положения. Но недостатки эти не могут заслонить главного — статьи М. Морозова, конкретные, творческие, будят мысль, толкают на размышления, споры, двигают вперёд науку.

Советские учёные, работающие над изучением творчества Шекспира, актёры и режиссёры, занятые постановкой его пьес, не раз и не два будут обращаться к работам М. Морозова и с благодарностью вспоминать этого умного, талантливого человека, сумевшего так ярко, живо, увлекательно и проникновенно раскрыть перед нами многие важные черты творчества великого английского писателя.

А. ШТЕЙН.

★

Артисты — труженикам целины

Патриотический подъём советских людей, уехавших на целину, захватил и тех, кто, казалось бы, прямого отношения к задачам освоения новых земель не имеет, в частности артистов. Десятки творческих

бригад уже побывали на целинных землях. Труженики целины встречали их с большой теплотой.

Невозможно без волнения читать строки из статьи руководителя выездной бригады Ленинградского академического театра имени А. С. Пушкина Е. Березницкого, статьи, помещённой в сборнике «Артисты у новосёллов целины».

«Артисты у новосёллов целины. Из опыта участников выездных бригад театров». Под общей редакцией Ф. В. Евсеева. «Искусство», М. 1955.

«...Верхний Чик. МТС. Играем в помещении при керосиновых лампах — непогода не позволяет выступать на открытом воздухе. Не умолкает смех. Спектакль окончен. Возникает своеобразный стихийный митинг. Выходит один из лучших трактористов района. Немигословна его речь:

— Вот, товарищи, спасибо. Завтра поработаем на славу...

И действительно, спустя сутки нам рассказывают в районном комитете партии, что механизаторы этой МТС дали наутро после спектакля двойную выработку».

В таких эпизодах — огромное содержание: трудные условия, в которых приходится выступать на целине; сила воздействия искусства; благодарная отзывчивость аудитории; и главное — люди целины, которые, подобно трактористу Шамову, говорят артистам: «Отвечать на такое внимание надо не речами, а делами. Если я тут чего не договорил, за меня доскажет мой «НАТИ». Мы смотрели вашу работу. Хорошая работа. Без огрехов. Коли будет время, приходите на поле, посмотрите нашу работу. Думаю, не осрамимся...»

Люди, с которыми участники выездных бригад сталкивались на целине, их скупые слова и щедрые дела — такие же герои этой книги, как и её девятнадцать авторов, побывавших в новых сельскохозяйственных районах летом и зимой прошлого года.

Среди тех, кто выступил в рецензируемом сборнике, — артисты и театральные художники, работники постановочной части и писатели. Писатели, впрочем, один — Николай Погодин. Его «Путевые заметки» открывают книгу и задают тон последующим статьям. Н. Погодин ставит в своих заметках важнейшие вопросы культурного обслуживания деревни.

Первый вывод, к которому он приходит, разбирая виденные им выездные спектакли, — это необходимость для показываемой пьесы иметь острую фабулу, которая могла бы «держаться в руках» любой, даже самый «неустроенный» зал. Второй — необходимость глубины, содержательности исполняемого произведения и третий — никаких скидок «на деревню!» Выводы справедливые, и воспринимаются они как исходные пункты для серьёзного разговора о репертуаре, о большей смелости в выборе материала для художественного чтения, о широте и многообразии вокальной литературы, представленной в программах певцов...

Следует отметить несомненную значи-

мость большинства помещённых в сборнике статей. То, например, что говорит артист МХАТ В. Баталов о необходимости предельной собранности участников спектакля на целине, о том, что надо считаться с желанием целинников, предпочитающих смотреть целые спектакли, а не отрывки из разных пьес, — заслуживает самого пристального внимания. Чрезвычайно важный вопрос обслуживания целинников в наиболее удобное и свободное для них время — поздней осенью и зимой — поставили в своей статье руководители Московского театра драмы и комедии Гастрольбюро СССР — Я. Кракопольский и Вл. Добровольский.

Замечания артистов театра имени Евг. Вахтангова М. Жарковского о желательности более длительной подготовки выездных спектаклей и Я. Смоленского о подборе репертуара чтеца (не случайно, конечно, во время концертов так хорошо принимались стихи Маяковского!) также весьма существенны. В ряде статей отмечается, что длительность концертов должна быть не сорок—пятьдесят минут, а не менее полутора—двух часов, и это совершенно верно: нам доводилось наблюдать разочарование зрителей, перед которыми выступали артисты с ограниченной программой. «Хорошо?» — спросишь их после такого микроконцерта и услышишь в ответ: «Было бы хорошо, если б не так всё коротко, не так поспешно...»

Остановимся на двух частных соображениях, высказанных в статьях артистов Малого театра В. Тёмкиной и Г. Куликова. Первый автор подчёркивает: «Поездки в сельскохозяйственные районы не могут быть просто гастрольными. Это — средство постоянного общения театров страны с народом». Мысль очень важная и полезная, но, к сожалению, не получившая в книге своего развития. Между тем, если бы составители сборника задумались над нею, если бы они просто были более осведомлены о том, что делается в этом направлении, то, вероятно, сочли бы нужным рассказать об опыте, скажем, Калининского драматического театра, уже организовавшего свои сельские филиалы.

В связи с этим интересно высказывание Г. Куликова об исключительной пользе участия в спектаклях для села театральной молодёжи. Ни для кого не секрет, что сплошь и рядом даже в наших лучших театрах молодые артисты годами дожидаются излюбленной роли, тщетно надеются на

«чудо», которое приблизит их к воплощению дорогого образа на сцене. Известно, что выпускники театральных школ разбредаются по городам и весям, тогда как в вузе учебные группы студентов представляли сплочённый и подчас сильный своей творческой монолитностью коллектив.

Теперь представьте себе, что из выпуска, к примеру, училища имени Щепкина создаётся сельский филиал Малого театра: студенты приезжают к месту назначения готовой труппой, воспитанной на лучших традициях Дома Островского, лучшими мастерами щепкинской школы. Молодые артисты оказываются перед необходимостью ставить много пьес, много играть, осуществлять самые заветные творческие мечты и дерзания, отдавая свои создания на суд самого благожелательного, самого непосредственного, самого откровенного в своих оценках зрителя. Может ли быть лучшая участь у молодого работника театра?

Эта мысль приходит сама собой, когда читаешь рецензируемую книгу, и было бы весьма отраднo, если бы такой сильный организм, как Малый театр, помог своей молодёжи на известное время обосноваться на целине, с тем чтобы потом первую группу энтузиастов сменила вторая и т. д..

Этим летом бригад, выезжающих на целину, было намного больше, чем в 1954 году. Надо думать, что издательство «Искусство» сделает попытку не только показать, но и обобщить их опыт, подчеркнув то новое, что появилось в минувшие месяцы, осветить те проблемы, которые выдвигает практика культурного обслуживания новых земель, когда на них уже появились клубы и дома культуры, когда окрепли местные коллективы самодеятельности.

Хотелось бы видеть в сборнике подобного

типа и выступления представителей периферийных театров. Почему, например, не пригласили принять участие в сборнике артистов кустанайского театра, барнаульцев или чкаловцев? Их рассказ о сорока спектаклях в оренбургских степях — в Илекском, Краснохолмском, Ак-Булакском и других районах, где подымалась целина, о работе художников чкаловского театра С. Александрова и Д. Фомичёва над портативным оформлением был бы небезинтересен. Опыт периферийного театра, располагающего куда меньшими возможностями, чем театры Москвы и Ленинграда, и при этом чаще выезжающего на село, очень важен десяткам, может быть сотням, таких же театров..

Сборник много выиграл бы и от статей работников совсем маленького — пугачёвского — театра Саратовской области, который показал за лето 1954 года 203 спектакля 35 тысячам сельских зрителей, выходящая и на тех далёких целинных землях, которые граничат с Казахстаном... Пугачёвцы, в частности, могли бы рассказать и о том, как вследствие жёсткости финансового плана они лишены возможности давать максимальное количество спектаклей в поле, ибо, конечно же, там следует выступать бесплатно..

Недостатком рецензируемого сборника являются также многочисленные повторы, из статьи в статью переходят почти одинаковые описания. Немало в сборнике и поверхностных, стереотипных высказываний, взятых из плохих газетных статей, вроде того, что «работники искусств — в долгу перед тружениками полей». Необходимо было тщательно отредактировать сборник; в нём встречаются небрежности, неточности.

Анна ИЛУПИНА.

★

В борьбе за будущее

Герой нового романа прогрессивного английского писателя Дж. Олдриджа — молодой англичанин Нед Гордон, способный учёный-историк, приехавший в Аравию в годы второй мировой войны в качестве военнослужащего английской армии. Видя страдания обездоленного арабского народа,

J. Aldridge. „Heroes of the Empty view“. The Bodley Head, London, 1954 (Дж. Олдридж. «Герои пустынных горизонтов». Издательство Бодлей, Лондон, 1954).

Гордон проникается глубоким сочувствием к арабам и решает связать свою судьбу с их борьбой за освобождение.

Гордон примыкает к восставшему племени кочевников. После подавления восстания англичанами британские власти принуждают его вернуться в Англию. Здесь Гордон встречается с любимой девушкой — коммунисткой Тэсс, но он не в состоянии понять и разделить её политические идеалы. Все его старания найти своё место в обществен-

ной жизни страны также оказываются тщетными. Узнав из газет, что арабы восстали вновь, Гордон немедленно возвращается в Аравийскую пустыню. На этот раз восстание заканчивается победой.

Таков вкратце ход развития описываемых в романе событий.

Центральный герой романа — Гордон — честный, прямой и смелый человек, целиком посвятивший себя делу освобождения угнетённого народа. «Моя единственная забота здесь, единственная цель моей жизни,— говорит он,— спасти, сохранить старую жизнь племён. Весь смысл восстания в этом только для меня и состоит, и ни в чём другом». Вместе с тем он выступает и против приобщения кочевников к достижениям цивилизации, выдвигая реакционно-утопическую идею возвращения их к первобытному образу жизни. Гордон не видит прогрессивного значения промышленного развития слаборазвитых стран. Он уверен, что индустрия лишь поработит арабов, лишит их последних остатков свободы.

Писатель не случайно делает Гордона главным героем романа. На его примере Олдридж показал представителя английской интеллигенции, не имеющего ясных идейных взглядов. Если передовые деятели английской культуры, к числу которых принадлежит и сам Олдридж, твёрдо выступают против социального и национального угнетения в любой форме, то многие английские интеллигенты ещё колеблются между двумя лагерями или замыкаются в своём одиночестве. Так и Нед Гордон. Он не знает, к какому берегу пристать. В своих исканиях он обращается к различным политическим направлениям, но ни одно из них не удовлетворяет его. В конце концов он терпит неудачу и остаётся человеком без перспектив, «героем пустынных горизонтов».

Этим безуспешным поискам индивидуальной свободы Олдридж противопоставляет единственно правильный путь — путь борьбы за освобождение народов, путь, которым идут араб Зейн, англичанка Тэсс и миллионы их единомышленников во всех странах мира.

Новым в романе Олдриджа является то, что здесь писатель впервые попытался создать образы коммунистов — передовых людей своего народа, подлинных борцов за освобождение от угнетения, за счастье людей.

Коммунист Зейн, как и Гордон, решил бороться за освобождение арабов, но если Гордон видит свой идеал в том, чтобы вернуть арабов назад, к кочевому образу жизни, к скитанию по пустыне, то Зейн мыслит совершенно иначе:

«Разве можно отбрасывать племена назад, в трясину феодальных порядков? Разве есть благо в любви к нищете? Племена переменят свою жизнь. Они пойдут вместе с нами по пути прогресса. Пойдут по собственной воле».

Образ Зейна, пожалуй, самый яркий и привлекательный из всех образов арабов, действующих в книге. Это необычайно энергичный, спокойный и уверенный в правоте своего дела человек. Именно он становится «мозгом и душой» восстания.

Гордон боится не только машинной индустрии, но и самого пролетариата, который приходит вместе с нею. Зейн же, наоборот, считает, что национально-освободительное движение может увенчаться успехом лишь в том случае, если восставшие кочевые племена объединятся с рабочими и крестьянами Бахрази.

Совершенно по-разному относятся Гордон и Зейн к судьбе захваченных английских нефтепромыслов. Если для Гордона эти нефтепромыслы — только «отвратительный символ механической силы, которая всегда вмешивалась в жизнь племён, диктовала им свою волю», то Зейн уверен, что теперь «эти нефтяные поля войдут в жизнь племён, будут принадлежать народу. Кончатся одинокие скитания араба, он начнёт новую жизнь».

Образ английской коммунистки Тэсс, любимой девушки Гордона, обрисован менее отчётливо, однако уже сама попытка показать представительницу рабочего класса Англии является шагом вперёд в творческом развитии Олдриджа.

Тэсс вышла из рабочих низов, она тесно связана с народом и не мыслит себе жизни без постоянного общения с людьми фабрик и шахт, доков и мастерских. Она горячо любит Гордона и старается помочь ему выйти из идейного тупика. Но, поняв, что он не в состоянии переменить своё отношение к происходящим событиям, Тэсс находит в себе достаточно сил, чтобы порвать с ним.

В романе обрисованы политические деятели разных направлений. Острыми и меткими штрихами писатель набрасывает портрет твердолобого консерватора, члена пар-

ламент Моркара. Этот реакционер отлично сознаёт, что на сторону демократии и прогресса переходит всё больше честных людей, что влияние идеологов капитализма ослабевает. Передовым идеям современности Моркар не в состоянии противопоставить ничего, кроме грубой силы. Но в ответ Моркару звучат беспощадно верные слова Гордона:

«Сила никогда не останавливала распространения идей. Сила не помешала китайским крестьянам пойти за марксистами. Если сила является вашим ответом, то не потому ли, что лучшей идеи вы предложить не в состоянии?»

Рядом с Моркаром стоят фигуры Макквина и Фримена, именующих себя социалистами. Макквин — один из тех министров-лейбористов, которые умеют даже одеваться и говорить, «как рабочие». Явно позируя, вспоминает Макквин те дни, когда он грузил уголь. «Я не политик, — горячо убеждает он Гордона, — я всё ещё рабочий! Я присутствую здесь как представитель рабочих!» Но этот «представитель рабочих», не задумываясь, предаёт интересы своих избирателей.

Правый лейборист Фримен — ещё более отвратительная фигура. На словах он всегда выступает против жестокости и убийств. Он деланно возмущается тем, что восстание арабов связано с человеческими жертвами, он «принципиально» никогда не носит оружия. Но в то же время этот «друг арабов» подкупает местных князьков, натравливает племена друг на друга, нако-

нец, совершает самое гнусное злодеяние — отравляет колодцы в пустыне. «Вероломный убийца» — так характеризует его Гордон.

С большой симпатией и теплотой описывает Олдридж быт и нравы арабского народа. При этом он чужд всякой стилизации и всякой экзотики.

Однако, несмотря на все очевидные достоинства романа, читатель не может не посетовать на то, что в образах передовых людей — Зейна и Тэсс — порой чувствуется некоторый схематизм, они не даны в процессе формирования и развития. Это прежде всего относится к образу Тэсс. Она стоит как-то особняком, и все её рассуждения не получают в книге подтверждения делом. Следует заметить также, что страницы, посвящённые Англии, менее удались Олдриджу, нежели описание событий в Аравии.

Роман Олдриджа «Герои пустынных горизонтов» — значительное явление в прогрессивной английской литературе.

Талантливый писатель смело обратился к проблемам, особенно волнующим английскую общественность, к проблемам, от решения которых в большой мере зависит будущее Британии. С решительностью и идейной глубиной он оценил и эти проблемы и те противоречия, которые стоят на пути к их успешному разрешению, и твёрдо стал на позиции, единственно верные как для народа Англии, так и для народов зависимых стран.

И. ОРНАТСКИЙ, Э. ВАРТУМЯН.

★

Живой образ писателя

Далеко не в каждом критико-биографическом очерке мы найдём живой образ писателя, творчеству которого этот очерк посвящён. Конечно, такой образ может быть и не обязателен в работе научного характера, но думается, что присутствие его значительно обогащает книгу, сообщает ей эмоциональность и ту скрытую теплоту изложения, которая так пленяет нас не только в художественных произведениях, но порой и в критических статьях и даже в научных исследованиях.

Подтверждением этому может служить критико-биографический очерк о Борисе

Житкове, написанный Л. Чуковской. Приятно было убедиться в том, что за тщательным анализом творчества Житкова, за множеством интересных и разнообразных критических наблюдений явственно вырисовывается хорошо знакомый и взрослым и детям образ замечательного писателя.

Очень экономно обращаясь к интересной и весьма «выигрышной» биографии Бориса Житкова, Л. Чуковская сосредоточивает своё внимание на раскрытии пафоса его произведений. Критик видит этот пафос в изображении «высокой духовной красоты трудового человека». «О чём бы ни шла речь в книгах Житкова, — пишет Л. Чуковская, — о пожаре ли на море, о Волховстрое или об охоте, о прошлом или

Л. Чуковская. «Борис Житков». Редактор И. Козлов. 124 стр. «Советский писатель», М. 1955.

настоящем, — все они написаны про одно и то же: про вдохновенный труд, про красоту труда, мастерства, умения, про красоту мужественного товарищества, про великое чувство трудового долга, сближающее между собой людей».

Анализируя с этой точки зрения почти все значительные произведения Бориса Житкова, написанные им для детей, автор очерка показывает, что секрет их педагогичности, доходчивости, действенности состоит как в богатстве, многообразии, конкретности привлечённого материала, так и в многообразии изобразительных средств художника, в том, что писатель воспроизводит жизнь во всей её сложности, без каких бы то ни было «скидков» на детское восприятие. Именно эта мысль является основной в очерке Л. Чуковской.

Л. Чуковская специально останавливается на обострённом чувстве ответственности, всегда отличавшем работу Бориса Житкова, и читатель её книги прекрасно понимает, что именно этим сознанием ответственности, своей нетерпимостью к ремесленничеству Житков особенно близок и дорог нам. Разоблачая узкоутилитарную, деляческую позицию и порождённый ею ремесленный «способ» создания произведений для детей, Л. Чуковская утверждает основные писательские принципы Житкова в качестве передовых принципов работы над детской книгой.

В очерке проводится интересное сопоставление «хрестоматийных» нравоучительных рассказов для маленьких (одного из старой, а другого из послереволюционной хрестоматий) с рассказами для малышей, написанными Житковым. Если первые, почти не отличаясь друг от друга, характеризуются нудной назидательностью, узким догматизмом, навязчивостью и, естественно, наводят на ребёнка скуку, то рассказы Бориса Житкова, несмотря на то, что они также неприкрыто подчёркивают моральный вывод и откровенно преподносят маленькому читателю поучение, чужды узкого, педагогического утилитаризма. Автор очерка убедительно объясняет это тем, что, будучи совершенно доступными и совершенно понятными, эти рассказы отнюдь не «просты», а, «наоборот, очень сложны», что они «наполнены свежим воздухом настоящей жизни — с её неожиданностями, тревогами и опасностями», что они «играют разнообразием человеческих интонаций».

С той же точки зрения рассматривается в книге и художественное мастерство Бориса Житкова. Так, исследуя стилевую манеру писателя, Л. Чуковская показывает исключительное богатство, энергию и выразительность его поэтической речи и выступает против встречающейся ещё нивелирующей редакторской практики. При этом критик подчёркивает стремление писателя воспитать у ребёнка активность, волю к действию. Ведь Житков не раз говорил о том, что одной из основных задач детской литературы он считает утоление потребности ребёнка в «самостоятельной человеческой деятельности».

В своё время много спорили о характере, типе критико-биографического очерка о советском писателе. Разумеется, нельзя раз и навсегда установить эталон такого очерка. Его характер в каждом данном случае определяется как конкретным материалом, так и индивидуальностью автора очерка и его отношением к писателю, о котором идёт речь. При чтении книги Л. Чуковской не возникает вопроса, почему одна из глав посвящена рассказам Житкова для старших ребят, другая — книгам для малышей, а третья — научно-художественным произведениям, ибо такое построение книги продиктовано самим материалом. Но наряду с жанровым и тематическим принципом классификации материала в очерке можно заметить и другой принцип, вытекающий из его внутренней логики и соответствующий развитию основной мысли автора. Так, например, не случайно очерк завершается характеристикой Житкова-редактора, с особой наглядностью свидетельствующей о свойственной писателю строгой взыскательности к произведениям для детей.

Есть в очерке и недостатки. Прежде всего следует заметить, что автор слабо связывает творчество Житкова с развитием всей советской детской литературы. Так, указывая на преемственную связь рассказов Житкова для маленьких с рассказами Льва Толстого, Л. Чуковская ни словом не упоминает об общности принципиальных позиций Житкова и Маяковского, который в своих стихотворных рассказах для детей также сочетал богатство и разнообразие художественных средств с обнажённостью нравоучительного вывода.

Л. Чуковская заявила в самом начале, что посвящает свою книгу исключительно

работе Житкова для детей. Жаль, что исследовательница ограничила свою задачу. Конечно, наиболее значительных успехов Житков добился именно в области детской литературы, но и произведения Житкова, адресуемые взрослым, имеют огромное значение для характеристики его писательского облика. Почему, например, автор даже не упоминает о таком несомненно интересном, хотя и спорном произведении Б. Житкова, как его большой роман «Виктор Вавич». Правда, роман этот давно не переиздавался, но можно ли на этом основании начисто обойти его в монографическом очерке?

Можно было бы отметить и менее существенные недостатки книги, как, например, различные по своему смыслу определения основного пафоса творчества Бориса Жит-

кова на страницах 23, 82 и 117 (это расхождение проистекает из того, что исследовательница каждый раз употребляет слово «пафос» в новом значении, мысли же, высказанные ею во всех трёх случаях, верны) или некоторые повторения, связанные с анализом художественного мастерства Житкова в главах, посвящённых различным произведениям писателя. Главное в книге, несомненно, удалось. Чувствуешь, что всей своей творческой практикой, направленной против «ремесленничества» в работе над детской книгой, Борис Житков глубоко импонирует автору очерка. И не потому ли книга оказалась увлекательной и эмоциональной, не потому ли со страниц её встаёт живой образ талантливого писателя?!

Д. БРЕГОВА,

★

Политика и наука

Мичуринское учение в действии

Вообще говоря, мало принято рецензировать отдельно взятый номер журнала. Но вышедший к столетию со дня рождения И. В. Мичурина очередной (четвёртый) номер научно-теоретического журнала «Агробиология» — это по существу сборник, альманах. Он целиком посвящён И. В. Мичурину — смелому преобразователю природы, учёному-биологу, основоположнику того нового направления в науке, которое, как это указано во вступительном слове редакции, связав процесс биологического исследования с процессом агрономического производства, соединив труд с познанием, практику с теорией, нанесло метафизике в биологии сокрушительный удар, положило начало превращению биологии в науку, способную не только объяснять явления и процессы, но и управлять ими.

Эпиграфом к сборнику может быть поставлен призыв «За дальнейшее развитие мичуринского учения». Так именно и озаглавлена открывающая номер статья академика Т. Д. Лысенко.

В рецензируемом сборнике далеко не всё равноценно. В нём не освещены некоторые очень существенные разделы агробиологической науки, не затронуты вопросы цитологии, теории искусственного отбора и т. д., явно недостаёт обобщающих статей. Но от

первой до последней, четырёхсотой страницы сборник насыщен новыми, впервые публикуемыми фактами, результатами многолетних опытов, наблюдений. Всё это показывает мичуринское учение, советский творческий дарвинизм, в действии, показывает, какие широчайшие перспективы перед биологической наукой открыты в нашей стране заботами партии, заботами государства.

Разнообразна «география» сборника. На его страницах напечатаны статьи и письма из Мичуринска, Одессы, Харькова, Подмосковья, Воронежа, Киева, Ростова-на-Дону, Минска, Хабаровска, Красноярска, Чаквы, Млеева, Сухуми, Вильнюса, Сочи, Риги, Ялты, Грибова, Магнитогорска... Вместе с советскими учёными и опытниками отмечают знаменательную дату и учёные зарубежных стран.

Рядом со статьями академиков и профессоров, с воспоминаниями помощников и соратников Мичурина здесь помещены заметки и письма опытников, среди которых и колхозники, и рабочие, и представители советской интеллигенции — учителя, врачи, инженеры.

В сборнике выступает целая плеяда выдающихся советских селекционеров. И это не кабинетные растениеводы, которых в своё время язвительно обличал Мичурин за то, что они, оторвавшись от жизни, за-

нимаются «бесконечным копанием в книжной пыли», а настоящие мастера своего дела, людей, которых так ценил Мичурин, к голосу которых он звал прислушиваться.

Публикуемые статьи селекционеров — это творческие отчёты, показывающие, как идеи Мичурина обогатили теорию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, науку о разведении и содержании животных.

Приводимые в журнале факты и выводы тем убедительнее, что авторы статей в то же время авторы новых сортов пшеницы и кукурузы, сахарной свёклы и льна, картофеля и подсолнечника, чайного куста и мандарина, яблоны, груши, сливы, винограда, томатов, новых пород крупного рогатого скота, овец, птицы.

Общебиологическое значение законов, открытых Мичуриным в основном на плодовых и ягодных растениях, иллюстрируется на примере разнообразных сельскохозяйственных культур.

Мы видим, как мичуринская идея воспитания растений, творчески применённая в сочетании с другими методами в селекции зерновых колосовых культур, позволила Всесоюзному селекционно-генетическому институту имени Т. Д. Лысенко (Одесса) вывести для степных областей Украины новые засухоустойчивые, зимостойкие, урожайные сорта озимой пшеницы, замена которыми старых сортов ежегодно даёт колхозам и совхозам степной зоны УССР миллионы центнеров дополнительного урожая. Но и новые сорта, подобно станкам и машинам, «устаревают». Внедряя в производство свои новые сорта, институт начал работать над выведением сорта, ещё более совершенного. И такой сорт создан: это Одесская-16; он устойчивее и урожайнее своих предшественников. Об этом рассказывает в своей статье видный селекционер Ф. Кириченко. Строго говоря, статья эта отнюдь не юбилейная. Но можно ли лучше воздать должное заслугам учителя, как придя к его юбилею с новым, более урожайным сортом такой важной культуры, как пшеница?

Много лет жизни отдал Иван Владимирович поискам путей продвижения южных сортов на север. Бесценный опыт его работ успешно используется селекционерами, занятыми продвижением на север кукурузы. Об одном из достижений на этом участке борьбы за урожай повествует автор перспективных урожайных сортов кукурузы Московская-3 и Московская-5 Т. Белаш.

Сила мичуринских идей ярко проявилась в селекции масличных культур. Подтверждение этому — факты, приведённые в статье академика ВАСХНИЛ Л. Жданова: советские селекционеры-мичуринцы вывели настолько высокомасличные сорта подсолнечника, что совершенно изменились прежние представления о масличности этой культуры. В дореволюционное время масличность местных сортов подсолнечника не превышала 32—33 процентов, а сейчас выделены гибридные семьи подсолнечника, семена которых содержат свыше 50 процентов масла.

Мичурин завещал селекционерам изучать растение на всех этапах его роста и развития. Это было новым словом в науке. Ещё в двадцатых—тридцатых годах в селекции сахарной свёклы господствовал метод отбора корней по весу и сахаристости уже во время копки. Селекционер изучал не живое растение в целом, а только один его орган — корень, видел лишь конечный результат жизнедеятельности растения.

Выполняя советы и указания Мичурина, сотрудники Рамонской опытно-селекционной станции, а за ними и другие стали изучать свёклу с момента появления всходов до уборки, а полезные признаки корня (вес, сахаристость и т. д.) рассматривать в неразрывной связи с физиологическими особенностями растения. Это помогло уловить закономерности развития сахарной свёклы и создать сорта, в которых высокая урожайность сочетается с высокой сахаристостью. Так была решена задача, считавшаяся ранее неразрешимой. Селекция сахарной свёклы, пишет выдающийся селекционер А. Мазлумов, превратилась из «кладонискательства» в плановое выведение новых форм и сортов.

О творческой роли мичуринских методов селекции говорит А. Алпатьев в статье «35 лет селекции помидоров». Томаты — это в некотором смысле классический объект, на котором биологи многих стран испытывали всевозможные методы селекции, даже создавали генетические «законы». Старейшая в нашей стране овощная селекционная станция — Грибовская, об опыте которой пишет А. Алпатьев, лет двадцать назад руководствовалась положениями формальной генетики. Это была пора бесплодных исканий. Лишь перейдя на мичуринские методы селекции, Грибовская станция получила новые ценные сорта помидоров.

Учение Мичурина о планомерном изменении природы организмов взято на вооружение и животноводами.

Об успехах, достигнутых на этой основе широко известным в нашей стране племенным хозяйством «Караваево», пишут в своей статье С. Штейман и А. Кузьмичёв.

Развитие мичуринского учения продолжается и в работе с теми объектами, которыми занимался всю свою жизнь сам Иван Владимирович. Ближайший ученик великого учёного-биолога, ныне академик ВАСХНИЛ, П. Яковлев сообщает в рецензируемом номере журнала, как ведётся в Центральной генетической лаборатории работа с плодовыми деревьями, посаженными ещё Иваном Владимировичем.

Подобно тому, как продолжатели дела Мичурина в основном питомнике, заложенном им, изучают растения, выращенные из семян, отобранных руками великого преобразователя природы, ученики и последователи Мичурина в самых различных областях, края и республиках Советского Союза развивают драгоценные идеи, во множестве содержащиеся в трудах Ивана Владимировича.

Нельзя без волнения читать рассказ М. Лисавенко о том, как Мичурин помог сибирякам победно завершить почти вековую борьбу за создание сибирского яблчка. Этот рассказ дополняется сообщениями других селекционеров о том, как, следуя заветам своего учителя, они выводят приспособленные к условиям различных районов страны новые сорта яблони, груши, сливы, смородины, крыжовника и т. д.

В наследии Мичурина большое место занимает учение о менторе — растении-«воспитателе» гибридов. В помещённых в сборнике статьях и заметках дано много примеров успешного использования этого метода в разных его вариантах. Профессор С. Исавев делится опытом применения корневого ментора.

В одном из своих писем Мичурин обращал внимание селекционеров Кавказа на дикие заросли плодово-ягодных растений Адыгейской области. Краснодарский учёный-плодовод Н. Тхагушев пятнадцать лет посвятил изучению адыгейских (черкесских) садов, где растут, как писал Мичурин, может быть, единственные в мире экземпляры исходных для селекции форм. Сейчас уже свыше полутора тысяч гектаров на Кубани занимают сады, вновь заложенные адыгейскими сортами.

Не все помнят, что Мичурин был «первым русским розистом», что он автор замечательных сортов лилии, жасмина и других цветов. Интересной теме о мичуринском наследии в цветоводстве посвящена статья В. Алексеева. Мичуринцы-цветоводы создали сотни новых отличных сортов разных декоративных растений.

Четверть века назад Мичурин обратился к уральцам с призывом разводить сады и дал ряд ценных практических советов. В письме магнитогорских мичуринцев рассказывается о том, что сегодня уже плодоносят тысячи садов на приусадебных участках рабочих и гиганты-сады рабочих коллективов.

В сборнике имеется раздел «Зарубежные учёные о Мичурине и мичуринском учении». Здесь опубликованы не только краткие высказывания, но и обстоятельные статьи, в которых показаны результаты, достигнутые учёными и практиками-мичуринцами Китая, Дании, Чехословакии, Болгарии, Мексики, Румынии, Ирана, Германской Демократической Республики, Бельгии, Англии, Италии, Индии, Японии.

Мичуринское учение быстро распространяется в Китае и получает здесь полное признание. В Праге с 1949 года существует «Центр народных новаторов-мичуринцев». В разных областях Чехословакии возникли клубы мичуринцев, имеются сотни мичуринских кружков в школах, сельскохозяйственных кооперативах. Недавно закончился цикл радиовещательных и телевизионных передач «Университеты мичуринского учения».

В Германской Демократической Республике специальный журнал «Мичуринец» был вскоре переименован в «Мичуринский кружок», а сейчас он издаётся под названием «Мичуринское движение». В этой смене названий отражено распространение мичуринских идей в ГДР.

В Бельгии, Франции, Голландии созданы «союзы друзей Мичурина», издаются специальные журналы. В Японии выходит газета мичуринцев. На учредительном съезде японских мичуринцев участвовало семьсот делегатов.

Мичуринское учение распространяется во всём мире, и мы являемся свидетелями его триумфального шествия.

Отношение передовых учёных Запада к Мичурину прекрасно выразил доктор философии датчанин Е. К. Габриельсен:

«Люди, придерживавшиеся странного убеждения о том, что наука может развиваться и жить только под сенью университетов, назвали Мичурина гениальным садовником. За этим определением скрывалась насмешка, но оно превратилось в почётное звание, ибо какого учёного можно считать лучше, чем признав, что он овладел своей наукой до самого дна.

Мичурин-садовник оставил нам в наследство бесчисленное количество сортов, обеспечивающих ему живую память среди садоводов. Мичурин-учёный оставил нам в наследство неисчерпаемое богатство идей и мыслей, обеспечивающих ему в истории науки место, которое сохранится долго после того, как сотрётся воспоминание о его противниках».

Итальянский учёный доктор Феличе Ланца в своей статье «Мичуринцы Италии и

некоторые экспериментальные работы по теории стадийного развития» высказывает надежду, что «недалёк тот день, когда станет возможно синтетическое обобщение итогов всё шире развёртывающихся исследований. Культурный обмен между разными странами, мирное действительное сотрудничество народов, использование великих успехов науки и техники для спокойной работы в обстановке, свободной от страха перед войной,— всё это может и должно способствовать такому обобщению».

Советских учёных не может не радовать, что мичуринское учение объединяет прогрессивных учёных-биологов всех стран. В этом — залог его дальнейших успехов.

Член-корреспондент Академии наук СССР
А. АВАКЯН.

★

Малоизвестные труды великого учёного

Каждый культурный человек знает, что Д. И. Менделеев был выдающимся химиком, создателем всемирно известной периодической системы элементов. Более узкий круг специалистов знаком с его работами по технике и организации промышленности, физике и воздухоплаванию, метеорологии и метрологии. И совсем уже мало кто осведомлён об исследованиях учёного в области агрономии, почвоведения, лесного дела.

Вот почему издание сельскохозяйственных трудов Менделеева следует оценить как знаменательное событие для всех интересующихся историей отечественной науки. Впрочем, многие мысли и идеи автора являются столь свежими, звучат так современно, что могут и сейчас принести немалую практическую пользу работникам нашего сельского хозяйства.

В сборнике впервые собраны ранее рассеянные преимущественно в редких периодических изданиях лекции, статьи, отчёты Менделеева по организации сельскохозяйственного производства, агротехнике, орошению, лесоводству, виноградарству, хлопководству, молочному делу, сыроварению. Все они были написаны в период с 1866

по 1904 год, то есть на протяжении почти сорока лет. Уже одно это говорит о постоянном и глубоком интересе учёного к проблемам русского сельского хозяйства и связанных с ним отраслей лёгкой и пищевой промышленности.

Продолжительное время Менделеев лично вёл экспериментальные работы по многим вопросам агрономии и почвоведения. С этой целью он приобрёл в 1865 году небольшое запущенное имение Боблово, находившееся около города Клина, Московской губернии, решив повысить плодородие местных почв. И хотя, по его словам, «капиталов было мало» и многие скептики «предрекали великий успех, тщету усилий», твёрдое стремление применить на этом клочке земли достижения передовой науки дало изумительные результаты.

В течение шести-семи лет некогда заброшенное Боблово преобразилось неузнаваемо. Новый хозяин ввёл севообороты, травосеяние, с успехом применял удобрения, организовал великолепное молочное хозяйство. Урожай всех возделывавшихся культур удвоились. Видные профессора-агрономы того времени И. А. Стебут и А. П. Людоговский даже привозили студентов Петровской сельскохозяйственной академии знакомиться с менделеевскими методами.

Однако исследовательские работы на сравнительно небольшом участке не мог-

Д. И. Менделеев, «Работы по сельскому хозяйству и лесоводству». Ответственные редакторы С. И. Вольфович и Ф. С. Соболев. 620 стр. Издательство Академии наук СССР, М. 1954.

ли удовлетворить творческих замыслов новатора. Менделеев вступает в члены «Вольного экономического общества» и добивается ассигнований на проведение в разных местах России полевых опытов по применению удобрений. Испытания велись в течение трёх лет (после чего прекратились из-за отсутствия средств) на двух культурах — овсе и ржи. Были созданы четыре «опытные точки» — в Смоленской, Петербургской, Московской и Сибирской губерниях. К. А. Тимирязев — тогда ещё совсем молодой учёный, работавший наблюдателем на одной из этих точек, — говорил, что то была «система опытных полей — несомненно первая, когда-либо осуществлённая в России».

Стремясь разработать основы отечественной агрономии, Менделеев задумал свои опыты очень широко. Он изучал влияние на урожайность не только навоза, но и минеральных удобрений, которые в те времена были ещё в диковинку, и доказал исключительно благотворное воздействие извести на подзолистые почвы. Значительный эффект дало также применение азотистых удобрений.

Большое значение придавал учёный и способам обработки почвы. «Я восстаю против тех, — писал он, — кто печатно и устно проповедует, что всё дело в удобрении, что, хорошо удобрявая, можно и кой-как пахать». Очень тонкий наблюдатель природы, Менделеев установил, что глубина и качество вспашки играют важную роль в повышении урожайности. Он говорил: «Что касается до числа паханий, то очень многие впадают в ошибку, полагая, что чем больше раз вспахать, тем лучше. Ошибка эта есть следствие неправильного понимания значения разрыхления». Уместно заметить, что известный колхозный новатор Т. С. Мальцев, обосновывая свой метод обработки почвы и ухода за посевами, ссылается на менделеевские указания.

В семидесятых—девяностых годах Д. И. Менделеев очень сблизился со своим бывшим учеником по Петербургскому университету В. В. Докучаевым. Во многих выступлениях и статьях он ратует за необходимость переделки, улучшения природы путём орошения, борьбы с оврагами, наса-

ждения лесов, научной организации земельной территории. «Соответствие лесной поверхности с площадью лугов и пашен, — настойчиво подчёркивал учёный, — составляет основное условие земледельческого благоустройства как для отдельных имений или округов, так и для целых стран». И теперь, в наши дни, мы всё более убеждаемся в справедливости этих замечаний, подтверждённой практикой колхозов и совхозов.

Большой интерес представляют труды Менделеева по виноградарству и виноделию. «Россия, — говорил он, — должна быть считаемая страной, более каких-либо иных европейских снабжённую землями, способными к разведению винограда». Значительное место в работах Менделеева занимают вопросы развития в России хлопководства и расширения орошаемых земель. Особенно настанвал он на орошении почв Закавказья, района низовьев Волги и «Закаспийского Края».

Широта взглядов, верное понимание исторических процессов проявились у Менделеева и в рассуждениях о взаимосвязях сельского хозяйства и промышленности. Земледелие, по его мнению, не может достигнуть совершенства иначе, как «при помощи промышленности, необходимой не только для дешёвизны перевозки, но и для орудий, удобрений, развитых знаний и усовершенствованных видов потребления, совместимых только с развитием промышленности». Наиболее важным он считал это положение для России, отмечая, что слабый рост индустрии «не пригоден нашему краю и неприличен нашему народу».

Богатство мыслей и фактических данных составляет отличительную черту всех агрономических работ Д. И. Менделеева. Несомненно, ознакомление с ними будет полезно каждому советскому читателю, в особенности же тем, кто непосредственно связан с сельским хозяйством.

Составители сборника проделали большую и нужную работу. Книга издана очень тщательно, хорошо иллюстрирована. Обстоятельная вводная статья академика С. И. Вольфовича и профессора Ф. С. Соболева читается с заслуженным интересом.

И. КРУПЕНИКОВ.

Цветы и пчёлы

Смело можно утверждать, что ни об одном насекомом не написано столько книг, сколько о пчеле. Объясняется это не только практическим значением пчеловодства, но и многими любопытнейшими особенностями, присущими пчёлам и вызывающими широкий к ним интерес, и не только со стороны специалистов.

Среди биологов, посвятивших себя изучению жизни пчёл, хорошо известно имя Карла Фриша. Ещё тридцать лет назад академик И. П. Павлов отметил глубокое теоретическое и познавательное значение опытов этого немецкого учёного. Позже в переводе на русский язык вышла и выдержала два издания книга К. Фриша «Из жизни пчёл», написанная им в 1927 году. Это был своеобразный, популярно написанный отчёт о первых работах исследователя. Сегодня, как и полвека назад, К. Фриш, профессор зоологии Мюнхенского университета, занят изучением всё той же, на первый взгляд узкой, но и теоретически и практически важной, проблемы: он исследует органы чувств и поведение медоносной пчелы, точнее — способы оповещения пчёлами-разведчицами остальных пчёл улья о местоположении источника корма. В результате его опытов выяснено, как пчёлы сообщаются друг с другом, получено много новых данных о биологии пчёл, изучены их зрение, обоняние, вкус.

В рецензируемой работе «Пчёлы, их зрение, обоняние, вкус и язык» К. Фриш снова предстаёт перед читателем как замечательный мастер точного, остроумно поставленного эксперимента, как человек большой целеустремлённости и неистощимой научной изобретательности.

Работы К. Фриша, замечает в предисловии к книге академик Е. Н. Павловский, поначалу вызывают удивление и даже недоверие. Такое чувство могут вызвать уже и ранние опыты Фриша, в которых получены первые данные о цветовом зрении пчёл, то есть об их способности различать окраски. Ещё больше неожиданных и интересных сведений содержит глава «Чувство вкуса и обоняние пчёл». Однако специалисты знают, что опыты К. Фриша были в дальнейшем повторены учёными в разных странах

(в том числе и в Советском Союзе), причём его выводы нашли подтверждение.

К. Фриш не ограничивается описанием собственных экспериментов. Мастерски владея умением доходчиво говорить о самых сложных вещах, он знакомит читателей с содержанием и методами исследований многих учёных (Ильзе, Лотмар, Герц и др.). Представляется, однако, странным, что К. Фриш ни разу не называет имени И. П. Павлова, хотя его собственные опыты построены на принципах павловского учения.

Чтобы сразу же показать, какие тонкие связи между пчёлами и цветами исследует К. Фриш, приведём один пример. Он касается цветового зрения пчёл. У некоторых цветков вход в трубочку, содержащую нектар, окрашен иначе, нежели другие части венчика. Эти ярко окрашенные части цветка — в одних случаях более тёмные, в других более светлые — носят название «нектарных пятен», или «указателей нектара». Около полутора столетия назад была высказана мысль, что подобные пятна помогают насекомым, посещающим цветы, находить нектарники с кормом. Возражая биологам, которые высказывали сомнения по этому поводу, К. Фриш отмечает: «Если положить на стол большой кусок синего картона с небольшим жёлтым пятном, то оно привлекает пчёл, и в поисках пищи они садятся преимущественно на это пятно».

Далее учёный доказывает, что различные части цветка обладают неодинаковым запахом, который и помогает пчеле ориентироваться. К. Фриш описывает специальный опыт: «У нарцисса, например, жёлтый указатель нектара отличается от белого венчика не только по окраске, но и по запаху. Отделив жёлтые части цветка от белых и приучив пчёл к запаху тех или других частей, можно показать, что они различают эти запахи», причём прилетевшие на цветок пчёлы «благодаря расположенным на поверхности их антенн органам обоняния легко улавливают эти различия и направляются к местоположению нектара, руководствуясь этими пахучими указателями».

Почти половину книги составляют обстоятельная третья глава и приложение, посвящённые вопросу о «языке» пчёл, а также о факторах, обуславливающих ориентировку насекомых при полётах за кормом. Здесь описаны опыты, связанные с изуче-

К. Фриш. «Пчёлы, их зрение, обоняние, вкус и язык». Редактор Н. Юзбашеза. 92 стр. Издательство иностранной литературы, М. 1955.

нием «танцев». Именно они, как выяснилось, являются способом связи у пчёл, то есть по существу биологическим сигналом не только о наличии взятка, но и о местонахождении источника корма, направлении полёта к этому месту, расстяннии до него. Всё это определяется характером танца.

Советский читатель впервые узнает по первоисточнику известное ему до сих пор только, так сказать, из вторых рук содержание работ К. Фриша в этой области, проводившихся до 1950 года. Этими исследованиями установлено, что способность пчёл указывать направление полёта к месту подкормок, к месту взятка связана не только с непосредственным восприятием местонахождения солнца на небе, как считалось ранее, но и с обусловленной положением солнца поляризацией света на любом участке небосвода. Вкратце опыты К. Фриша сводились к следующему.

Кто рассматривал небо сквозь поляроид, знает, что при вращении прибора оно кажется то более светлым, то более тёмным. Известны зоны наибольшей и наименьшей поляризации света на небе при солнце. «Теоретически,— пишет К. Фриш,—возможно определить положение солнца путём осмотра любого участка синего неба, если только имеется какой-либо анализатор для определения направления поляризации света».

Возможность использовать напоминаемые здесь сведения для разгадки тайн пчелиной ориентировки может показаться фантастической, но она была строго доказана в эксперименте. К. Фриш прикрыл стеклянное окно наблюдаемого улья поляроидом, и это сразу отразилось на танцах пчёл. «При таком положении пластинки поляроида,— пишет К. Фриш,—когда плоскость колебаний светового луча при прохождении сквозь неё существенно не изменялась, танцующие пчёлы вполне правильно указывали направление к месту подкормки. Если мы поворачивали поляроид, подобно турникету, так что плоскость колебаний поляризованного света смещалась, танцы пчёл отклонялись в том же направлении;

если мы поворачивали поляроид в противоположном направлении, то танцы опять-таки отклонялись в соответствии с поворотом».

Поворот лежащего на крышке улья поляроида, который направленно меняет танец пчёл на сотах внутри улья,— это ли не наглядное доказательство положений материалистической диалектики о всеобщей связи явлений, о причинности процессов, о познаваемости мира?

Рассказ обо всех этих опытах, а также о том, например, как была построена модель пчелиного глаза (собственно, не всего глаза, а одного из нескольких тысяч составляющих сложный глаз пчелы элементов—омматидия), чрезвычайно поучителен и интересен.

Помогая понять, как пчела находит дорогу к цветку, К. Фриш вводит читателя в мир, полный чудес и неожиданностей.

Но этот рассказ мог быть ещё более содержательным. Здесь приходится бросить серьёзный упрёк издательству, выпустившему книгу. Она представляет обработанные К. Фришем стенограммы лекций, читанных им в 1949 году в США. Но ведь за истекшее время книга успела устареть. Работы К. Фриша продвинулись далеко вперёд. В 1953 году в Западной Германии вышло в свет новое издание его книги, в которой все труды учёного излагаются гораздо более обстоятельно и приводится ряд новых сведений. В частности, описаны результаты опытов, проведённых после 1950 года. Затем появились статьи, указывающие на важную роль наземных ориентиров. Таким образом, К. Фриш признаёт, что советские специалисты справедливо критиковали его в своё время за переоценку роли «небесных ориентиров» и недооценку роли земных. Жаль, что всё это остаётся неизвестным нашим читателям. Зачем же было издавать перевод старой работы К. Фриша, когда уже вышли другие его книги, содержащие новейшие данные науки о пчёлах?

Кандидат биологических наук
И. ХАЛИФМАН.

Как укрепить сердце

Как-то я спросил одного много заседающего товарища, склонного к излишней полноте:

— Много ли вы ходите пешком?

— По воскресеньям, — ответил он.

Не знаю, понял ли этот товарищ непосредственную связь, существовавшую между подобным режимом и постигшим его в дальнейшем серьёзным сердечным заболеванием: ведь люди обычно тщательно заботятся о желудке или о почках и порой совсем забывают о сердце.

Этот маленький эпизод вспомнился мне, когда я знакомился с книгой действительного члена Академии медицинских наук СССР заслуженного деятеля науки профессора В. Ф. Зеленина «Как укрепить сердце».

Книга эта относится к жанру научно-популярной литературы — жанру, предъявляющему большие требования к авторам: просто говорить о сложном — дело очень трудное. Оставаясь на строго научной почве, автор в понятной, легко доступной форме даёт читателю основные сведения по гигиене сердца и профилактике сердечных заболеваний, которые нужно знать каждому человеку — и когда он здоров и когда он болен.

Тема, которой посвящена книга В. Ф. Зеленина, важна и своевременна. Рост благосостояния и подъём культурного уровня советского народа, а также широкие санитарные мероприятия, проводимые в нашей стране, способствовали тому, что в СССР удалось полностью ликвидировать очень многие инфекционные заболевания и значительно уменьшить число других. Однако сердечно-сосудистые болезни ещё довольно сильно распространены и подчас надолго отрывают человека от его работы. В наших условиях в основе подобных болезней лежат индивидуальные причины — случайное ревматическое поражение, грипп или другая инфекция. Но весьма часто сердечные заболевания возникают по вине самого больного.

Человек может жить и даже сохранять работоспособность без селезёнки, без желудка или части кишечника, без одного лёгкого, одной почки. Но прекращение деятельности сердца хотя бы на одну минуту

означает смерть. Сердце начинает биться у человека ещё до рождения и, не прерывая своей работы ни днём, ни ночью, заканчивает её в последний момент жизни. Сердце — этот удивительно чувствительный инструмент — реагирует на всякую не только физическую, но и психическую нагрузку, на все эмоции, вызванные радостью и горем. Недаром с древнейших времён люди видели в сердце не только источник жизненных функций, но и хранилище страстей. «Любить всем сердцем», «ненавидеть всем сердцем» — эти выражения бытуют во всех языках мира.

Сердце обладает специальным, чрезвычайно чувствительным аппаратом, регулирующим всю его работу. Он состоит из ряда тончайших нервных связей, соединяющих сердце со всеми внутренними органами и, что особенно важно, с центральной нервной системой и с центром психической деятельности — корой головного мозга. Связь эта доходчиво объясняется в книге наглядными схемами.

Сердце отличает ещё одна, свойственная только ему особенность. Вырезанное из организма и снабжённое надлежащим питанием, оно продолжает функционировать, то есть ритмично сокращаться в течение многих часов, а иногда и дней. Это возможно лишь потому, что сердце обладает специальным центром — нервным узлом, обуславливающим автоматизацию его деятельности. В живом организме этот центр подчинён головному мозгу. Сложная физиология сердечно-сосудистой системы изложена в книге достаточно популярно и в полном соответствии с последними научными достижениями, главным образом с учением И. П. Павлова.

Чтобы на долгие годы сохранить нормальную работоспособность сердца, нужно соблюдать правила профилактики и тренировки, оберегать его от физической и психической травмы. Мы находим в книге целый ряд ценных указаний, связанных с этой проблемой. В. Ф. Зеленин напоминает известную истину, гласящую, что легче предупредить заболевание, чем лечить его. Но хотя многие из советов автора хорошо известны всякому культурному человеку, они, как показывает повседневный опыт, редко выполняются.

Уверен, что многие из читателей, «положив руку на сердце», должны будут при-

знаться, что плохо его закаляют. Вспомним хотя бы об утренней зарядке. Она необходима и доступна всем без исключения, невзирая на возраст, хотя бы весьма пожилых. Но многим людям как раз этих десяти—пятнадцати минут почему-то и не хватает. А между тем систематические занятия физкультурой (не говоря уже о спорте) способствуют укреплению сердца. Общее самочувствие человека улучшается, работоспособность повышается. Следует целиком присоединиться к пожеланию В. Ф. Зеленина о том, чтобы наши спортивные общества создали специальные секции для пожилых людей. Правильное решение этого вопроса помогло бы сохранить работоспособность многих очень полезных обществу людей.

Долголетние врачебные наблюдения показывают, что сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, стенокардией, инфарктом, склерозом — особенно часто страдают люди умственного труда. Дело, конечно, не в том, что такой труд требует большего напряжения и усилий, чем труд физический. Но люди, принадлежащие к этой категории, ведут, как правило, сидячий образ жизни, меньше бывают на воздухе, часто работают ночью. Ясно, что всё это не может не сказаться на их здоровье.

Одна из глав книги посвящена начальным признакам сердечного заболевания. Автор правильно учитывает, что далеко не все разумно относятся к своему недугу. Одни долгое время стараются «перебороть» болезнь, перенести её на ногах и, насколько возможно, не прибегать к врачебной помощи. Другие, наоборот, склонны впасть чуть ли не в паническое состояние, значительно преувеличивая опасность своего заболевания. В. Ф. Зеленин указывает единственно правильный путь. Человек, почувствовавший первые признаки болезни, должен немедленно обратиться к врачу и стро-

го выполнять его предписания. Автор — и в этом немалая его заслуга — сумел так изложить симптомы болезни и её причину, чтобы не вызывать у больного депрессии и упадка духа, а, наоборот, вселить в него оптимизм, уверенность в выздоровлении при своевременном и правильном лечении. Давно известно, что выдержка, самообладание и бодрость больного — бесценные помощники врача.

За последнее десятилетие медицина достигла больших успехов в распознавании и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Открытия советских и зарубежных учёных значительно усовершенствовали методы врачебного исследования. Специальные приборы и аппаратура регистрируют малейшие изменения в деятельности сердца и сосудов и точно устанавливают степень их поражения.

Уточнение диагностики сделало возможным применение более целесообразных методов лечения. Особенно значительны достижения современной хирургии. Ещё двадцать—тридцать лет назад даже опытный хирург не решался приступить к операции на сердце или крупных сосудах. Сейчас подобное вмешательство применяется всё более широко и стало доступным любой клинике. В частности, возвращено к жизни и трудовой деятельности множество людей, страдающих врождённым пороком сердца, ранее считавшимся неизлечимым.

Нужно, однако, твёрдо помнить, что для успеха всякой терапии (если уже не удалось предотвратить заболевание) сердце и сосуды должны сохранять определённую степень жизнеспособности и необходимые резервные силы. Это достигается соблюдением правил профилактики и тренировки, о которых столь убедительно рассказано в книге В. Ф. Зеленина.

Заслуженный деятель науки профессор
А. ЦЕЙТЛИН.

★

Париж наших дней

У меня было слишком мало времени, чтобы изучить Париж, но достаточно, чтобы полюбить его».

Этими словами включает писатель Александр Чаковский свою небольшую книгу очерков, которая называется «Тридцать

дней в Париже». Своё тёплое чувство к Парижу и его людям автор сумел передать читателю.

С интересом читаются заметки советского литератора о Париже наших дней, хотя, как признаёт сам автор, эти заметки не претендуют на то, чтобы дать полное и последовательное представление о жизни Франции, о её политике, экономике или литературе. Тем

Александр Чаковский. «Тридцать дней в Париже». Редактор В. А. Сытин. 104 стр. «Советский писатель», М. 1955.

не менее то, что удалось увидеть и услышать писателю за тридцать дней пребывания в Париже, представляет общественный интерес.

В книге А. Чаковского можно проследить две темы. Одна — это общественность Франции и планы вооружения Западной Германии. Вторая — это встречи с французскими писателями: Луи Арагоном, Эльзой Триоле, Эрве Базеном, Франсуа Мориак и другими.

Пребывание А. Чаковского в Париже совпало с обсуждением во французском парламенте пресловутого плана создания «европейского оборонительного сообщества» — ЕОС, который год назад так волновал общественное мнение всего мира. Страницы книги, посвящённые этой теме, представляют собой политические очерки в лучшем смысле слова.

Казалось бы, ЕОС — дело прошлого. Отгремели бури, отшумели речи; французскому народу удалось выйти победителем из стычки с реакцией — проект ЕОС не был принят французским парламентом. Поборники вооружения Германии вынуждены были начать новые манёвры, пойти на известные уступки, выдвинуть новый план. Впоследствии им удалось проташить лондонско-парижские соглашения о включении Западной Германии в Атлантический союз и о восстановлении вермахта.

Но всем известно, что дело на этом далеко не кончилось. Борьба против восстановления германского милитаризма, за мирное урегулирование германского вопроса продолжается с новой силой. Французскому народу и Франции принадлежит здесь важная роль. Поэтому и не устарели очерки А. Чаковского. Наоборот, не без волнения следит читатель за всеми перипетиями парламентских дебатов, за бурным развитием событий, за действиями французской общественности в этот острый период французской политической истории. Писатель сумел передать настроения народа, его решимость, его дух. Наблюдения А. Чаковского вполне оправдывают вывод о том, что борьба французов за независимость и безопасность своей страны будет продолжаться. Автор видел, как сильна воля народа к этой борьбе, видел во время обсуждения проекта ЕОС. Он с полным правом пишет: «Вот поэтому я считаю эти факты не столько «историческими», сколько имеющими прямое отношение к современности».

Вторая тема очерков — встречи с писателями — также представляет немалый интерес. А. Чаковский встретился с несколькими из наиболее популярных во Франции писателей, произведения которых, к сожалению, до сих пор ещё мало известны широкому советскому читателю. Он даёт, например, краткую, но выразительную характеристику творчества Эрве Базена, пытается понять и объяснить, почему столь противоречиво это творчество, почему мрачные и безотрадные книги вдруг сменяются оптимистическим произведением, а затем писатель снова возвращается на прежние позиции. Ответ надо искать в противоречиях современной французской действительности. Важно, однако, что Эрве Базен, автор «далёких, в общем, от передовой, прогрессивной литературы» книг, поступил смело и благородно, поехав на Венский конгресс защиты мира, за что навлек на себя резкие нападки со стороны буржуазной печати и своего издателя.

Разговор Эрве Базена с советским писателем раскрывает сложную драму художника в буржуазном обществе, где, как говорит Базен, писателю никогда не скажут прямо: «не пишите прогрессивной книги, не ставьте острых, жизненно важных для народа вопросов». Но если он задумает такую книгу, то её или не выпустят, или, если она, вопреки всему, выйдет, её будут замалчивать, ей будет трудно пробиться к читателю. А критики если и напишут о таком произведении, то объявят его прежде всего бездарным и неинтересным, то есть сделают всё для того, чтобы «убить» книгу.

Не менее интересны записи А. Чаковского о встрече с Франсуа Мориак, одним из крупных французских католических писателей, неоднократно выступавшим против нашей Советской страны и против прогрессивного движения Франции. Уже в самом характере разговора, который вёл Мориак с Чаковским, видно проявление того духа времени, который отражается пока ещё если не на творчестве многих буржуазных писателей, то, во всяком случае, на их политических позициях. А. Чаковский делает правильное замечание о том, что атмосфера реальной жизни Франции диктует сейчас каждому честному французу его поступки. Поэтому и Мориак в разговоре с советским писателем — хотя разговор и шёл главным образом о литературных делах — неоднократно возвращался к вопросам франко-советских отношений, причём не только

выразил надежду на дружественное развитие этих отношений, но и сказал, что сам он «будет это отстаивать».

В очерках А. Чаковского можно найти несколько живых зарисовок парижской жизни, несколько пейзажей этого города, прославленного своей обаятельной красотой. Но вся, так сказать, лирика этих описаний неизменно переплетается с наблюдениями и замечаниями, относящимися к политической жизни страны, к жгучим проблемам современности.

Если говорить о недочётах книги и о тех упреках, которые читатель мог бы предъявить к писателю, то прежде всего следует указать на недостаточность познавательного материала о жизни и быте французского народа. Конечно, краткость пребывания в Париже не дала А. Чаковскому возможности увидеть своими глазами, как живёт рядовой француз, но читателю приходится пожалеть об отсутствии такого материала.

Можно отметить в очерках А. Чаковского и некоторую небрежность изложения. Не-

понятны также упреки автора в адрес иностранных туристов, которые слишком увлекаются фотографированием в парижских музеях, на улицах, в парках. Читая эти lamentации, нельзя не пожалеть, почему сам А. Чаковский не вооружился фотоаппаратом и не щёлкал им с таким же увлечением, как критикуемые им путешественники других наций. Может быть, его книга была бы тогда снабжена интересными иллюстрациями, которых ей, конечно, не хватает.

Жанр очерка всё больше пробивает себе дорогу со страниц периодической печати в наши издательства. Это — положительное явление. Самые широкие им массы советских читателей любят и уважают этот жанр, и на страницах нашей периодики разделы очерков являются одними из самых популярных. Это известно каждой редакции. Можно не сомневаться, что читатель тепло примет книгу А. Чаковского. Остаётся только пожелать, чтобы и другие писатели не забывали о том, что хороший публицистический очерк обогащает нашу литературу.

Н. СЕРГЕЕВА.

★

Американский посол об Индии

Американское правительство направило в 1951 году в Индию в качестве посла США в Дели Честера Боулса, видного капиталиста, новичка на дипломатическом поприще. В 1953 году Боулс был отозван из Индии. Непродолжительное, менее чем двухлетнее пребывание в этой стране всё же дало Боулсу обширный и богатый фактический материал, которым он решил поделиться с американской общественностью, издав книгу под заголовком «Отчёт посла».

Книга вдумчивого и наблюдательного американца чрезвычайно поучительна. Она наглядно свидетельствует о необходимости международных контактов, о пользе глубокого изучения жизни других стран и народов, без предвзятости, без заранее составленных представлений. Автор «открывает» для своих соотечественников Индию, знакомит их с историей, культурой, обычаями этой великой страны. Знание фактов помогает самому автору прийти к важным выводам.

Chester Bowles. „Ambassador's report“. New York, 1954 (Честер Боулс. «Отчёт посла». Нью-Йорк, 1954).

Объективность, скромность и понимание — таковы три качества, проявить которые призывает Боулс всех американцев в их сношениях с «обширным районом, простирающимся от Касабланки до Токио». И хотя, как видно из книги, сам Боулс далеко не всегда следует этим заповедям, его «отчёт» может быть весьма полезен для творцов американской внешней политики.

Знакомство с Индией вызвало у Боулса чувство глубокого уважения к индийскому народу. «Как много мы, американцы, теряем от того, что не знаем истории Индии!» — восклицает автор. Знакома своих читателей с основными фактами индийской истории, он часто прибегает к авторитетному свидетельству китайских учёных. Ещё в VII веке наука Индии стояла на исключительно высоком уровне. Математика, анатомия, медицина — во всех этих областях Индия в своё время далеко опередила европейские страны. Боулс напоминает, что две классические поэмы — «Махабхарата» и «Рамаяна» — являются «индийскими эквивалентами древнегреческих Илиады и Одиссеи».

Решительно опровергает Боулс реакционные измышления о том, будто бы евро-

пейские колонизаторы «помогли» поработанным ими народам Азии приобщиться к цивилизации. Используя огромный фактический материал, приведённый в замечательной книге Джавахарлала Неру «Открытие Индии», Боулс показывает, что, наоборот, Англия своим промышленным прогрессом обязана Индии. Англичане, пишет он, «смогли внедрить такие изобретения XVIII века, как летучий челнок, прядильная машина, механический ткацкий станок, паровая машина», только благодаря огромным накоплениям, «созданным в основном за счёт Индии». Более того, автор подчёркивает, что цена индустриализации всей Западной Европы была в значительной степени оплачена колониальными народами Индии, Китая, Южной Азии и Африки. Боулс утверждает, что национальная промышленность Индии (более развитая к моменту колонизации страны, чем в Манчестере и Лондоне) сознательно уничтожалась английскими колонизаторами. Что касается других сторон культурного развития народа, то стоит напомнить, что английская администрация запрещала индийцам пользоваться современными методами книгопечатания...

Ценность книги Ч. Боулса и его методов изучения страны состоит не только в этом глубоком исследовании исторических корней настоящего. Он знакомит американского читателя с сегодняшней Индией, с её основными экономическими трудностями, задачами и стремлениями. В отличие от многих западных «наблюдателей», Боулс верно понимает значение аграрной проблемы для Индии, как и для многих других стран Азии. Знаменательно его осуждение тех деятелей Запада, которые и по отношению к Китаю и в других частях Азии опирались на феодальные круги, на те слои населения, которые тормозили и тормозят социальное и экономическое развитие.

Боулс обеспокоен ростом антиамериканских настроений среди индийской интеллигенции, в частности среди подавляющей массы студенчества, вызванным пресловутой политикой «с позиции силы». Вот некоторые из его выводов.

«Мы не сможем,— пишет Боулс,— убедить индийцев в том, что Америка против колониализма, если не будем проводить по-настоящему антиколониальной политики». «Мы можем лишь в очень ограниченной степени влиять на ход событий в Азии»,— замечает он в другом месте книги, подчёр-

кивая, что народы Азии не желают никакого вмешательства в их внутренние дела,

Боулс осуждает попытки вовлечения Индии и других стран Азии в какие бы то ни было военные блоки, стремление некоторых конгрессменов США требовать от Индии поддержки всех аспектов американской внешней политики, «Одко мне ясно,— пишет автор.— Мы не можем рассчитывать на действительно дружественные отношения между Индией и Америкой до тех пор, пока не будем готовы признать за Индией право иметь свою собственную точку зрения. Настойчивое утверждение многих американцев, что тот, кто «не с нами, тот неизбежно должен быть против нас», лишает нас многих потенциальных друзей не только в Индии, но и во всём мире».

Книгу портит большое количество разбросанных тут и там выпадов против Советского Союза и Китайской Народной Республики. Однако нет уверенности в том, что Боулс твёрдо верит в те басни, которые рассказывали ему о советском «империализме», о стремлении КНР к захватам, о «заговорах» коммунистов, об их «жестокости»...

Сомнение в искренности подобных мест книги подкрепляется тем, что на других её страницах содержатся обоснованные и подкреплённые фактами признания совсем другого рода. Боулс пишет о грандиозных экономических успехах Советского Союза, о превращении отсталой России в крупнейшую индустриальную державу мира («Развитие России, безусловно, было феноменальным»), о том, что советский пример равноправных отношений со всеми нациями поразил и привлекает все народы Азии, о том, что Китайская Народная Республика с успехом разрешила коренной для азиатских народов аграрный вопрос и что китайский народ никогда в истории не был так един, как сейчас.

И в этой связи Боулс призывает к соревнованию двух систем. Таков, в сущности, основной рефрен его книги. «Я вновь и вновь думал,— пишет он,— о конкуренции между свободной Индией и коммунистическим Китаем, которая, как мне кажется, является одним из самых важных факторов нашего времени». Эта мысль повторяется множество раз. Боулс предлагает соревноваться коммунистическим и некоммунистическим странам Азии, всем странам Запада и Востока именно в области мирного, экономического и культурного развития,

используя, в частности, для этой цели значительную долю тех средств, которые идут на вооружение.

Предвзятость, которую Боулс отбросил, постаравшись объективно изучить жизнь Индии, мешает ему видеть то, что происходит в лагере социализма и демократии. Теперь, после Женевского совещания Глаз правительств четырёх держав, американская общественность всё решительнее приходит к выводу, что не только в Индии, но и в СССР, и в Китайской Народной Республике, и в странах народной демократии есть много такого, что необходимо знать, увидеть, изучить. Всё более широкие слои

американского народа начали уже понимать, что человечество может жить только в условиях мирного соревнования двух систем, на основах взаимного уважения, равенства, невмешательства.

О пользе взаимных контактов говорит «Отчёт посла» Боулса. Такие отчёты могли бы дать своему народу все те американцы, которые побывали в других странах. Необходимо только, чтобы ни одна страна не рассматривалась без учёта трёх выдвинутых в книге Боулса требований — объективности, скромности и понимания.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

«ПОЭЗИЯ СОВЕТСКОЙ ЯКУТИИ». Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 543 стр. Цена 11 р. 85 к.

До революции слово «Якутия» вызывало представление о «гиблом крае», «стране живо погребённых». Письменная художественная литература появилась в Якутии только после Октября, когда началась новая эра в её истории. Зачинателем новой литературы был умерший всего 36 лет от роду А. Кюнде, поэт, воспевавший природу своей родины, прозаик и драматург, запечатлевший в своих пьесах и рассказах период гражданской войны и восстановления народного хозяйства.

Сборник «Поэзия Советской Якутии», которому предпослан очерк исторического развития якутской литературы, содержит переводы произведений наиболее значительных поэтов, чьё творчество свидетельствует о непрерывном росте молодой якутской поэзии.

Н. ПРОТАСОВ. «На земле Алтайской». Профиздат. М. 1955. 40 стр. Цена 60 к.

В прошлом году в Павловском районе Алтайского края был создан новый зерновой совхоз. Для освоения целины из разных уголков страны сюда прибыли первые отряды молодых патриотов. Там, где лежала пустая степь, быстро вырос большой посёлок, полным ходом развернулись сельскохозяйственные работы. В этом была немалая заслуга молодёжи, нашедшей широкое применение своим силам и способностям. Признанием её заслуг явилось присвоение совхозу названия «Комсомольский».

О жизни и достижениях молодёжи на Алтайской земле, площадь которой превосходит территорию Англии и незначительно уступает Италии, рассказывает в своей книге председатель рабочкома совхоза Н. Протасов.

ПЁТР НЕГОШ. «Горный венец». Перевод с сербско-хорватского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 158 стр. Цена 3 р. 60 к.

Автор «Горного венца» Пётр Негош (1813—1851) — человек с необычной судьбой. Он рос неграмотным деревенским мальчиком, когда неожиданные обстоятельства резко изменили его жизнь — он получил образование и впоследствии стал просвещённым господарём Черногории, отстаивавшим независимость родного народа.

Современник Байрона, Пушкина, Гейне, Пётр Негош оставил большое литературное наследие. Драматическая поэма «Горный венец» — лучшее его произведение. С большой поэтической силой изображены в ней вольнолюбивый, гордый дух черногорцев, самобытный уклад их жизни.

«ДЕКАБРИСТЫ». Новые материалы. Под редакцией проф. М. К. Азадовского. Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина. Труды отдела рукописей. М. 1955. 374 стр. Цена 15 р.

С 1926 года Государственная библиотека имени В. И. Ленина регулярно публикует хранящиеся в её фондах рукописи, связанные с историей декабристов.

В очередной сборник «Декабристы» вошли новые приобретения отдела рукописей (воспоминания В. С. Толстого, письма И. Д. Якушкина), сообщение о впервые обнаруженной книге Р. С. Батенькова «О египетских письменах», а также известные в науке, но до сих пор не изданные отрывки из автобиографических записок А. Н. Муравьёва.

Воспоминания Владимира Сергеевича Толстого представляют особый интерес как мемуары одного из членов Южного общества, непосредственно связанного с созданием проекта подпольной типографии.

Каждый раздел сборника снабжён вступительной статьёй и комментариями.

ЧЖАН ТЯНЬ-И. Рассказы. Перевод с китайского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 102 стр. Цена 1 р. 35 к.

Рассказы Чжан Тянь-и впервые публикуются на русском языке. Относятся они к разным периодам творчества писателя. Тут и сатирические новеллы о нравах эстетствующих, цинично прожигающих жизнь интеллигентов («Месья», «Новое время», «Усатый Бай»), и полные драматического напряжения рассказы о пробуждении воспитанных в покорности китайских крестьян («Могущество Бодисатвы», «Ненависть»), и волнующий эпизод героической партизанской войны на северо-востоке Китая.

Рассказы Чжан Тянь-и знакомят советских читателей с малоизвестными сторонами жизни различных слоёв китайского общества.

Л. Б. БЕМЕ. «Рассказы натуралиста». Государственное издательство географической литературы. М. 1955. 119 стр. Цена 1 р. 85 к.

Автор «Рассказов», перу которого принадлежат также книги: «По Кавказу», «Жизнь птиц у нас и дома», «Певчие птицы», — недавно умерший профессор зоологии Государственного педагогического института в городе Новозыбкове, Брянской области. Л. Беме изображает жизнь пернатых и четвероногих обитателей степей Казахстана, предгорий и гор Кавказа, пустынь Прикаспия. Его «Рассказы» отличает непосредственность художника и точность учёного-натуралиста. Перед читателем проходят живописные картины родной природы в разные времена года, с типичными для каждого ландшафта обитателями.

Редактор книги профессор А. Н. Формозов указывает в предисловии, что «любители природы почерпнут из этих очерков много сведений о животных, до сих пор оставшихся не описанными в нашей научно-популярной литературе».

ГЕЗА ГАРДНИ. «Звёзды Эгера». Детиздат. М. 1955. 560 стр. Цена 12 р. 40 к.

Роман «Звёзды Эгера» — лучшее произведение венгерского писателя-классика Геза Гардони, одна из любимых книг венгерской молодёжи. Сюжетной основой романа послужила осада Эгерской крепости турками и героическая защита её венгерским народом.

Книга иллюстрирована рисунками венгерского художника Иштвана Биан-Феглейна.

Г. ЕФИМОВ. «Встречи с друзьями». Детиздат. М. 1955. 192 стр. Цена 3 р. 55 к.

В 1952 году в столице Китайской республики — Пекине — состоялся Конгресс сторонников мира Азии и Тихого океана. Г. Ефимов находился в составе делегации Советского Союза. В своей книге он рассказывает о том, что увидел в новом Китае. «Мой рассказ не может охватить все, хотя бы и очень важные, стороны жизни страны, — пишет он во вступлении. — Это запись того, что мы видели, рассказ о встречах, которые были; рассказ, который не может не сопоставлять факты прошлого с фактами настоящего».

Ю. СЕРЫЙ. «Страницы прошлого. (Железнодорожники Ростова и Северного Кавказа в революции 1905—1907 гг.)». Ростовское книжное издательство. 1955. 82 стр. Цена 80 к.

Н. К. ЛИСОВСКИЙ. «Революция 1905—1907 гг. на Урале». Челябинское книжное издательство. 1955. 36 стр. Цена 30 к.

Д. Б. ГРУШ. «Большевики Красноярска в годы первой русской революции». Красноярское книжное издательство. 1955. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

На ярких цветных обложках этих книг — красивые знамена, фигуры рабочих с оружием в руках. Авторы воссоздают в своих кратких исторических очерках события первой русской революции.

Славное революционное прошлое Ростовского паровозоремонтного завода — бывших

главных мастерских Владикавказской железной дороги — было отмечено тридцать лет назад, в двадцатую годовщину первой русской революции. Завод был награждён орденом Красного Знамени, ему было присвоено имя В. И. Ленина. 13 декабря 1905 года рабочие Ростова начали строить на Темернике баррикады. Баррикады облицовывались листовым железом и обливались водой, которая тут же замерзала, — их не брали снаряды. На баррикадах сражались дружинники станции Тихорецкая. Вооружённое восстание охватило всю Владикавказскую железную дорогу. На карте, приложенной к книге Ю. И. Серого, условными значками восстания отмечены Кавказская, Минводы, Сочи, Новороссийск.

Днём раньше подняли вооружённое восстание рабочие Мотовилихи на Урале. Об этом, как и о событиях в Челябинске и Златоусте, кратко рассказано в брошюре Н. К. Лисовского. Автор приводит интересные данные о роли Я. М. Свердлова и Ф. А. Артёма (Сергеева) в первой русской революции.

В книге Д. Б. Груша помещена репродукция пяти номеров газеты «Красноярский рабочий», вышедших легально в декабре 1905 года, когда власть в Красноярске реально принадлежала вооружённым рабочим и солдатам. Газета печаталась в губернской типографии под охраной дружинников. С её страниц звучало большевистское слово. Используя большой архивный материал, автор воссоздал историю борьбы большевиков Красноярска и трудящихся Енисейской губернии против царского самодержавия.

Б. Т. РУБЦОВ. «Гуситские войны. (Великая крестьянская война XV века в Чехии)». Госполитиздат. М. 1955. 324 стр. Цена 5 р. 55 к.

Народы Чехословакии бережно хранят память о Великой крестьянской войне XV века и о её героях — Яне Гусе и Яне Жижке. Каждый год 6 июля в городах и сёлах Чехии зажигают костры, отмечая годовщину гибели Яна Гуса. В петлицах офицеров чехословацкой армии можно увидеть своеобразный значок — изображение палицы Яна Жижки, полководца таборитов.

Автор книги рассматривает гуситские войны в неотрывной связи с социальными и национальными противоречиями в Чехии в начале XV века. Подробно описывая первый период крестьянской войны, походы таборитов, патриотическую деятельность Яна Гуса и Яна Жижки, автор убедительно доказывает, что главной движущей силой гуситских войн было чешское крестьянство и беднейшие слои городского населения.

«ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ». Издательство Академии наук СССР. М. 1955. 216 стр. Цена 13 р.

В 1951 году археологическая экспедиция профессора А. В. Арциховского обнаружила во время раскопок в Новгороде грамоты на берёсте. Оценивая исключительное

значение этой находки, А. В. Арциховский писал, что «древние новгородцы, участники новгородского вече, сограждане Садко и Василия Буслаева, сограждане великих воинов и великих художников, заговорят с нами тысячами голосов».

Берестяные грамоты, драгоценные тем, что они отражают живой разговорный язык народа, сразу же заинтересовали не только историков, но и языковедов. Не дожидаясь, когда будут введены в научный оборот новые грамоты, Институт языкознания Академии наук СССР предпринял издание коллективного труда, посвящённого анализу первых 25 грамот.

Исследования языка новгородских берестяных грамот в статьях сборника помогают установить место новгородского диалекта в начальный период формирования языка великорусской народности.

Берестяные письма, очень часто касающиеся обычных предметов домашнего обихода, свидетельствуют о широком распространении грамотности среди русских людей уже в XI—XII веках.

«МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ СССР. Т. Документы по истории советского общества». Издательство Академии наук СССР. М. 1955. 520 стр. Цена 19 р. 50 к.

Читатель этого интересного и нужного сборника знакомится не с отдельными, разрозненными документами, а с тематическими подборками по ряду важнейших вопросов истории советского общества. В книге приведены документы о подготовке и первых днях Октябрьской революции в Ленинграде и на территории Туркменской республики, о военной интервенции. Значительную часть сборника занимают подборки, посвящённые истории коллективизации сельского хозяйства. Один из разделов посвящён двадцатипятилетиям.

Поддающаяся часть материалов сборника публикуется впервые. Составители проделали большую работу, используя самые разнообразные архивные фонды и в том числе архив так называемого «Российского» белогвардейского посольства в Париже.

Бросается в глаза отсутствие в книге материалов об индустриализации страны. Надо полагать, что в последующих сборниках составители приступят к публикации ценнейших документов, отражающих героическую довоенных пятилеток, Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления.

МИХАИЛ ПРИВАЛОВ. «Большая честь». Трудрезервиздат. М. 1955. 160 стр. Цена 2 р. 50 к.

В прошлом году Трудрезервиздат положил начало хорошему делу: изданию серии книг новаторов производства, в прошлом — воспитанников трудовых резервов. В этой серии вышла и книга прославленного сталеплавильщика Кузнецкого металлургического завода М. Привалова.

На конкретных фактах автор показывает, что сталевар современного мартено-

вого цеха должен обладать серьёзными техническими познаниями, и в этой связи ставит ряд проблем подготовки кадров. Эти проблемы выходят далеко за пределы ремесленного училища № 1 и Кузнецкого завода, о которых пишет автор. М. Привалов предостерегает мастеров-практиков: в цех приходят теперь люди со средним образованием. Если не хочешь отстать от рабочих, учись, иди вперёд!

Б. Б. КУДРЯВЦЕВ. «Первоначала вещей». «Молодая гвардия». М. 1955. 112 стр. Цена 1 р. 55 к.

Ныне любой школьник знает, что все вещества состоят из молекул, представляющих собой различные, иногда очень сложные комбинации из атомов отдельных элементов.

Но тернистым был путь, который пробивала себе наука на протяжении тысячелетий, отделяющих нас от великого древнегреческого философа-материалиста Демокрита, впервые выдвинувшего гипотезу о том, что всё в мире состоит из атомов. Достаточно вспомнить, что в 1626 году парижский парламент под страхом смертной казни запретил распространять мысль об атомном строении Вселенной.

Три раздела книги носят названия: «Хаос», «На пути к порядку», «В мире порядка» — и посвящены трём различным состояниям вещества — газообразному, жидкому и твёрдому. Читатель получает много сведений об окружающем нас материальном мире и происходящих в нём явлениях.

Ю. Г. ГЕЙВИШ. «Поль Ланжевен — учёный, борец за мир и демократию». Издательство Академии наук СССР, М. 1955. 128 стр. Цена 3 р. 70 к.

«Я признаю, что по-настоящему хорошо я понял историю физики лишь после усвоения основных идей диалектического материализма». Эти слова принадлежат крупнейшему французскому физико-коммунисту Полю Ланжевену. Всей своей научной, общественной и педагогической деятельностью Ланжевен содействовал укреплению материалистических позиций в науке, неустанно борясь против идеализма.

Ланжевен гармонично сочетал в себе искусство экспериментатора со способностью к глубокому теоретическому анализу и философским обобщениям. Он обогатил науку своими работами в области ионизации газов, магнетизма и ультразвука. Среди плеяды взращённых им молодых учёных, сыгравших большую роль в прогрессе современного познания мира, мы находим имя Жюлио Кюри.

Ланжевен был последовательным борцом за мир и демократию. Ему принадлежит крылатая фраза: «Европа не может быть Европой без России».

П. Г. ТУРОВСКАЯ. «Электрический свет». Госэнергоиздат. М.—Л. 1955. 124 стр. Цена 3 р. 50 к.

На протяжении человеческой истории в неразрывной связи с техническим прогресс-

сом менялись средства искусственного освещения. В книге рассказывается об основных этапах их развития. Сперва это были костёр и лучина, затем фитильные светильники, свеча, масляные и керосиновые лампы, газ. В наше время повсеместное распространение получило электричество — от обычных лампочек накаливания до сложных светотехнических устройств.

Отдельная глава книги посвящена строению глаза и особенностям человеческого зрения, приспособленного к восприятию солнечного света. Вот почему учёные и изобретатели стремятся искусственное освещение приблизить к естественному дневному свету.

Подлинными «героями» книги являются П. Яблочков, В. Чиголев и А. Лодыгин, познакомившие человечество с электрическим светом.

А. СГИБНЕВ. «В новой Германии». Госполитиздат. М. 1955. 96 стр. Цена 80 к.

Книжка эта создавалась не за письменным столом. Отдельные очерки возникали на заводах, в шахтах, на машинно-тракторных станциях Германской Демократической Республики. Автор книжки — советский журналист — черпал свои наблюдения из самой жизни. Читатель знакомится — и этому помогают фотографии — со знатными людьми ГДР: передовыми шахтёрами, новаторами производства, лауреатами национальной премии, Героями Труда.

В книге рассказывается о дружеских взаимоотношениях между немцами и советскими людьми, оказывающими населению ГДР бескорыстную помощь в переустройстве страны. Выходящая в Потсдаме газета «Нейе нахрихтен» сообщила недавно интересный случай спасения советскими врачами и лётчиками тяжело больного трёхлетнего немецкого мальчика. Угрожавшая его жизни болезнь (тяжёлая форма коклюша, не поддававшаяся обычным способам лечения) была ликвидирована после нескольких «воздушных прогулок» ребёнка на самолёте.

Ф. Д. БУБЛЕЙНИКОВ. «Очерк развития представлений о Земле». Издательство Академии наук СССР. 1955. М. 208 стр. Цена 3 р. 10 к.

В 1616 году кардинал Беллармино обратился с предостерегающим письмом к последователю Коперника патеру Фоскарини. Встревоженный кардинал, упомянув имя Галилея, писал: «Когда начинают говорить, что Земля с большой скоростью вращается вокруг Солнца, то это вещь очень опасная и не только потому, что она раздражает всех философов и учёных-богословов, но и потому, что она вредит святой вере».

Об этом, как и о разных других эпизодах многовековой борьбы между наукой и религией, рассказано в книге Ф. Д. Бублейникова. Читатель знакомится с представлениями о Земле и Вселенной народов древнего Востока, с античной космологией, с возникновением учения о движениях Земли. Отдельные главы посвящены развитию геофизических знаний — о силе тяжести и массе Земли, о её строении, температуре, плотности и давлении в глубинах Земли.

М. П. ЗАБРОДСКАЯ. «Русские путешественники по Африке». Географгиз. М. 1955. 88 стр. Цена 1 р. 35 к.

«Нильская проблема» была одной из важнейших географических проблем начала XIX века. Географы многих стран пытались ответить на вопрос, где находятся истоки Нила, совершая экспедиции в труднодоступные области внутренней Африки. Значительно подвинул вперёд решение проблемы русский путешественник, дипломат и писатель Е. Ковалевский.

Прежние карты Африки, писал другой известный русский путешественник, В. Юнкер, были искажены мнимыми открытиями, в результате которых на карту подчас наносилась фантастическая водная линия. Русские экспедиции в Африку во многом уточнили имевшиеся о ней представления.

К сожалению, до сего времени опубликовано ещё далеко не всё наследие русских путешественников, ценное для истории географической науки. С некоторыми из архивных материалов знакомит читателей книга М. П. Забродской.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агалов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,
М. К. Луконин, **С. Б. Сутоцкий**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 27/VIII-55 г.
А 04555. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. — 24,66 печ. л.

Подписано к печати 26/IX-55 г.
Тираж 140.000. Заказ № 1830.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.